ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1976

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ

ПЬЕСЫ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
1903—1905

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

Р 1
Т 54

Примечания
К. Н. Ломунова

Оформление художника
И. Жихарева

Т $\frac{70301\text{-}028}{028(01)\text{-}76}$ подписное

ПЬЕСЫ

ВЛАСТЬ ТЬМЫ,
ИЛИ
«КОГОТОК УВЯЗ,
ВСЕЙ ПТИЧКЕ
ПРОПАСТЬ»

ДРАМА В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Если же правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.

Мф. V, 28, 29

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЛИЦА ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ

Петр — мужик богатый, 42-х лет, женат 2-м браком, болезненный.

Анисья — его жена, 32-х лет, щеголиха.

Акулина — дочь Петра от первого брака, 16-ти лет, крепка на ухо, дурковатая.

Анютка — вторая дочь, 10-ти лет.

Никита — их работник, 25-ти лет, щеголь.

Аким — отец Никиты, 50-ти лет, мужик невзрачный, богобоязненный.

Матрена — его жена, 50-ти лет.

Марина — девка-сирота, 22-х лет.

Действие происходит осенью в большом селе. Сцена представляет просторную избу Петра. Петр сидит на лавке, чинит хомут. Анисья и Акулина прядут.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Петр, Анисья и Акулина. Последние поют в два голоса.

Петр *(выглядывает из окна)*. Опять лошади ушли. Того и гляди, жеребенка убьют. Микита, а Микита! Оглох! *(Прислушивается. На баб:)* Будет вам, не слыхать ничего.

Голос Никиты *(с надворья)*. Чего?

Петр. Лошадей загони.

Голос Никиты. Загоню, дай срок.

Петр *(качая головой)*. Уж эти работники! Был бы здоров, ни в жисть бы не стал держать. Один грех с ними... *(Встает и опять садится.)* Микит!.. Не докличешься. Подите, что ль, кто из вас. Акуль, поди загони.

Акулина. Лошадей-то?

Петр. А то чего ж?

Акулина. Сейчас. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Петр и Анисья.

Петр. Да и лодырь малый, нехозяйственный. Коли повернется, коли что.

Анисья. Сам-то ты больно шустер, с печи да на лавку. Только с людей взыскивать.

Петр. С вас не взыскивать, так в год дома не найдешь. Эх, народ!

Анисья. Десять делов в руки сунешь, да и ругаешься. На печи лежа приказывать лёгко.

Петр *(вздыхая)*. Эх, кабы не хворь эта привязалась, и дня бы не стал держать.

За сценой голос Акулины: «Псе, псе, псе...» Слышно, жеребенок ржет, и лошади вбегают в ворота.
Ворота скрипят.

Бахарить — вот это его дело. Право, не стал бы держать.

Анисья *(передразнивая)*. Не стану держать. Ты бы сам поворочал, тогда бы говорил.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и Акулина.

Акулина *(входит)*. Насилу загнала. Всё чалый...

Петр. Микита-то где ж?

Акулина. Микита-то? На улице стоит.

Петр. Чего ж он стоит?

Акулина. Чего стоит-то? Стоит за углом, калякает.

Петр. Не добьешься от нее толков. Да с кем калякает-то?

Акулина *(не расслышав)*. Чего?

Петр махает на Акулину рукой; она садится за пряжу.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Анютка.

Анютка *(вбегает. К матери)*. К Микитке отец с матерью пришли. Домой берут жить, однова дыхнуть.

Анисья. Врешь?

Анютка. Пра! сейчас умереть! *(Смеется.)* Я мимо иду, Микита и говорит: прощай, говорит, теперь, Анна Петровна. Приходи ужо ко мне на свадьбу гулять. Я, говорит, ухожу от вас. Смеется сам.

Анисья *(к мужу)*. Не больно тобою нуждаются. Вон он и сам сходить собрался... «Сгоню!», говорит...

Петр. И пущай идет; разве других не найду?

Анисья. А деньги-то зададены?..

Анютка подходит к двери, слушает, что говорят, и уходит.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Анисья, Петр и Акулина.

Петр *(хмурится)*. Деньги, коли что, летом отслужит.

Анисья. Да ты рад отпустить,— тебе с хлеба долой. Да зиму-то я одна и ворочай, как мерин какой. Девка-то не больно охоча работать, а ты на печи лежать будешь. Знаю я тебя.

Петр. Да что, ничего не слыхамши, попусту язык трепать.

Анисья. Полон двор скотины. Не продал корову-то и овец всех на зиму пустил, корму и воды не наготовишься,— а работника отпустить хочешь. Да не стану я мужицкую работу работать! Лягу, вот как ты же, на печь — пропадай все; как хочешь, так и делай.

Петр *(к Акулине)*. Иди за кормом-то, что ли,— пора.

Акулина. За кормом? Ну, что ж. *(Надевает кафтан и берет веревку.)*

Анисья. Не буду я тебе работать. Буде уж, не стану. Работай сам.

Петр. Да буде. Чего взбеленилась? Ровно овца круговая.

Анисья. Сам ты кобель бешеный! Ни работы от тебя, ни радости. Только поедом ешь. Кобель потрясучий, право.

Петр *(плюет и одевается)*. Тьфу ты! Прости, господи! Пойти узнать толком. *(Выходит.)*

Анисья *(вдогонку)*. Гнилой черт, носастый!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Анисья и Акулина.

Акулина. Ты за что батю ругаешь?

Анисья. Ну тебя, дура. Молчи.

Акулина *(подходит к двери)*. Знаю, чего ругаешь. Сама дура, пес ты. Не боюсь я тебя.

Анисья. Ты чего? *(Вскакивает и ищет, чем бы ударить.)* Мотри, я тебя рогачом.

Акулина *(отворив дверь)*. Пес ты, дьявол, вот ты кто! Дьявол, пес, пес, дьявол! *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Анисья одна.

Анисья *(задумывается)*. На свадьбу, говорит, приходи. Это что ж они вздумали? женить? Мотри, Микитка: коли это твои умыслы, я то сделаю... Нельзя мне без него жить. Не пущу я его.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Анисья и Никита.

Никита *(входит, оглядываясь. Видя, что Анисья одна, быстро подходит к ней. Шепотом)*. Что, братец ты мой, беда. Приехал родитель, снимать хочет,— домой идти велит. Окончательно, говорит, женим тебя, и живи дома.

Анисья. Что же, женись. Мне-то что?

Никита. Вот так — так. Я рассчитываю, как получше дело обсудить, а она вон как: жениться велит. Что ж так? *(Подмигивает.)* Аль забыла?..

Анисья. И женись, очень нужно...

Никита. Да ты что фыркаешь-то? Вишь ты, и погладиться не дается... Да ты чего?

Анисья. А того, что бросить хочешь... А хочешь бросить, так и я не нуждаюсь. Вот тебе и сказ!

Никита. Да буде, Анисья. Разве я тебя забыть хочу? Ни в жисть. Окончательно тебя, значит, не брошу. А я так рассчитываю: что и женят, так к тебе же назад приду; только бы домой не брал.

Анисья. Очень ты мне нужен женатый-то.

Никита. Да как же, братец ты мой,— из отцовской воли опять-таки невозможно никак.

Анисья. На отца сворачиваешь, а умыслы — твои всё. Давно ты подлаживаешь с мазихой своей, с Маринкой. Она тебе это намазала. Недаром намедни прибегала.

Никита. Маринка?! Очень она мне нужна!.. Мало их вешаются-то!..

Анисья. Зачем же отец приехал? Ты велел! Обманывал ты!.. *(Плачет.)*

Никита. Анисья! веришь ты богу аль нет? Ничего-то я и во сне не видал. Окончательно знать не знаю, ведать не ведаю. Всё мой старик с своей головы уздумал.

Анисья. Сам не захочешь, так кто ж тебя, ослом, что ль, притянет?

Никита. Тоже, рассчитываю, невозможно супротив родителя будет исделать. А неохота мне.

Анисья. Упрись, да и всё.

Никита. Уперся один такой-то, так его в волостной так вспрыснули. Очень просто. Тоже не хочется. Сказывают — щекотно.

Анисья. Буде шутить-то. Ты слушай, Микита: коли ты за себя Марину возьмешь, я не знаю, что над собой сделаю... Жизни решусь! Согрешила я, закон рушила, да уж не ворочаться стать. Коли да ты только уйдешь, я то сделаю...

Никита. Мне что ж уходить? Кабы я уйти хотел, я бы давно ушел. Меня как намедни Иван Семеныч приглашал в кучера... А уж жизнь какая! Не пошел же. Потому я так рассчитываю, что я всякому хорош. Если бы ты меня не любила, то другой расчет.

Анисья. То-то и помни. Старик не нынче-завтра помрет, думаю,— все грехи прикроем. Закон приму, думала, будешь хозяином.

Никита. И, что загадывать. Мне что? Я работаю, как для себя стараюсь. Меня и хозяин любит, и баба его, значит, любит. А что меня бабы любят, так я в этом не причинен,— очень просто.

Анисья. Будешь меня любить?

Никита *(обнимает ее)*. Во как! Как была ты у меня в душе...

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же и Матрена (входит и долго крестится на образа; Никита и Анисья отстраняются друг от друга).

Матрена. А я что и видела, не видала, что и слышала, не слыхала. С бабочкой поиграл, — что ж? И теленок, ведашь, и тот играет. Отчего не поиграть? — дело молодое. А тебя, сынок, хозяин на дворе спрашивает.

Никита. Я за топором зашел.

Матрена. Знаю, знаю, родной, за каким топором. Этот топор все больше около баб.

Никита *(нагибается, берет топор)*. Что ж, матушка, аль и вправду женить меня? Я рассчитываю, что совсем напрасно. Опять-таки и мне бы неохота.

Матрена. И-и! Касатик, зачем женить? Живешь да живешь. Это старик все. Поди, родной, мы и без тебя все дела рассудим.

Никита. Чудно, право: то женить, а то не надо. Окончательно не разберу ничего. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Анисья и Матрена.

Анисья. Что ж, тетка Матрена, аль и вправду женить хотите?

Матрена. С чем женить-то, ягодка! Наш, ведашь, какой достаток? Так себе старичок мой зря болтает: женить да женить. Да не его ума дело. От овса, ведашь, кони не рыщут, от добра добра не ищут, — так и это дело. Разве я не вижу *(подмигивает)*, к чему дело клонит.

Анисья. Что же мне, тетка Матрена, от тебя хорониться. Ты все дела знаешь. Согрешила я, полюбила сына твоего.

Матрена. Ну, новости сказала. А тетка Матрена и не знала. Эх, деушка, тетка Матрена терта, терта да перетерта. Тетка Матрена, я тебе скажу, ягодка, под землей-то на аршин видит. Все знаю, ягодка! Знаю, зачем молодым бабам сонных порошков надоть. Принесла. *(Развязывает узелок платка, достает в бумаге порошки.)* Чего надо, то вижу, а чего не надо, того знать не знаю, ведать не ведаю. Так-то. Тоже и тетка Матрена молодая была. Тоже с своим дураком, ведашь, умеючи прожить надо. Все семьдесят семь уверток знаю. Вижу, ягодка, зачиврел, зачиврел твой-то старик. С чем тут жить? Его вилами ткни, кровь не пойдет. Глядишь, на весну похоронишь. Принять во двор кого-нибудь да надо. А сынок чем не мужик? Не хуже людей. Так что же мне за корысть сына-то с доброго дела снять? Разве я своему детищу враг?

Анисья. Только б не сходил он от нас.

Матрена. И не сойдет, ласточка. Все глупость одна. Старика моего ведашь. Ум у него вовсе расхожий, а тоже

другой раз заберет что в башку, как колом подопрет, никак не выбьешь.

Анисья. Да с чего взялось-то дело это?

Матрена. А видишь ли, ягодка,— малый, сама знаешь, до баб какой, да и красик, нечего сказать. Ну жил он, ведашь, на чугунке, а там у них девчонка-сирота — в куфарках жила. Ну и стала вязаться за ним девчонка эта.

Анисья. Маринка?

Матрена. Она, паралик ее расшиби. Ну и было ли что, нет ли, только и дознайся мой старик. От людей ли, или сама она ему наклявузничала!..

Анисья. Смелая же какая, подлюга!

Матрена. Вот и поднялся мой-то, дурья голова: женить, говорит, да женить, грех покрыть. Возьмем, говорит, малого домой да женим. Разговаривала всячески. Куды тебе! Ну, думаю, ладно. Дай по-иному поверну. Их, дураков, ягодка, все так-то манить надо. Всё в согласье как будто. А до чего дело дойдет, сейчас на свое и повернешь. Баба, ведашь, с печи летит, семьдесят семь дум передумает, так где ж ему догадаться. Что ж, говорю, старичок, дело хорошее. Только подумать надо. Пойдем, говорю, к сынку да посоветуем с Петром Игнатьичем. Что он скажет? Вот и пришли.

Анисья. О-ох, тетушка, как же так? Ну, как отец-то велит?

Матрена. Велит? А веленье-то его псу под хвост. Уж ты не сумлевайся, не бывать этому делу, я сейчас с твоим стариком все дела просею, процежу, ничего не останется. Я и пошла с ним — один пример сделать. Как же сынок в счастье живет, счастья ждет, а я за него потаскуху сватать стану. Что ж, я дура, что ль.

Анисья. Она и сюда к нему бегала, Маринка-то. Веришь ли, тетушка, как сказали мне, что женить его, как ножом по сердцу полоснуло меня. Думаю, в сердце она у него.

Матрена. И, ягодка! Что ж, он дурак, что ли? Станет он шлюху бездомовную любить. Микишка, ведашь, малый тоже умный. Он знает, кого любить. А ты, ягодка, не сумлевайся. Не снимем его ни в жизнь. И женить не станем. А деньжонок ублаготворите, и пусть живет.

Анисья. Кажется, уйди Микита, не стану на свете жить.

Матрена. Дело молодое. Легко ли! Баба ты в соку, с таким осметком жить...

Анисья. Веришь ли, тетушка, постыл, уж постыл мне мой-то кобель носастый, и не смотрели бы па него глаза.

Матрена. Да, уж это дело такое. Глянь-ка сюда. *(Шепотом, оглядываясь.)* Была я, ведашь, у старичка этого за порошками, — он мне на две руки дал снадобья. Глянь-ка сюда. Это, говорит, сонный порошок. Дай, говорит, один — сон такой возьмет, что хоть ходи по нем. А это, говорит, такое снадобье, если, говорит, давать пить — никакого духа нет, а сила большая. На семь, говорит, разов, по щепоти на раз. До семи разов давай. И слобода, говорит, ей скоро откроется.

Анисья. О-о-о... Что ж это?

Матрена. Приметки, говорит, никакой. Рублевку взял. Меньше нельзя, говорит. Потому, ведашь, добывать их тоже хитро. Я свою, ягодка, отдала. Думаю, возьмет, не возьмет, Михайловне снесу.

Анисья. О-о! Да може что худое от них?

Матрена. Чему худому-то быть, ягодка? Добро бы мужик твой твердый, а то что ж, только славу делает, что живет. Не жилец ведь он. Много таких-то бывает.

Анисья. О, ох, головушка моя бедная! Боюсь я, тетенька, как бы греха не было. Нет, это что ж?

Матрена. Можно и назад снесть.

Анисья. Что ж их, как и те, в воде распущать?

Матрена. В чаю, говорит, лучше. Ничего, говорит, неприметно, ни духу от них нет, ничего. Тоже человек умный.

Анисья (*берет порошки*). О, о, головушка моя бедная. Пошла бы разве на такие дела, кабы не жисть каторжная.

Матрена. А рублевку-то не забудь, я пообещалась старичку занесть. Тоже хлопочет.

Анисья. Уж известно. (*Идет к сундуку и прячет порошки.*)

Матрена. А ты, ягодка, потеснее держи, чтоб люди не знали. А коли что, помилуй бог, коснется, от тараканов мол... (*Берет рубль.*) Тоже от тараканов идет... (*Обрывает речь.*)

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Те же, Петр и Аким. Аким входит, крестится на образа.

Петр *(входит и садится)*. Так как же, дядя Аким?

Аким. Получше, Игнатьич, как бы получше, тае, получше... Потому как бы не того. Баловство, значит. Хотелось бы, тае... к делу, значит, хотелось малого-то. А коли ты, значит, тае, можно и того. Получше как...

Петр. Ладно, ладно. Садись, потолкуем.

Аким садится.

Что ж так? Аль женить хочешь?

Матрена. Женить-то и повременить можно, Петр Игнатьич. Нужда наша, сам знаешь, Игнатьич. Где тут женить. Сами живота не надышим. Где ж женить!..

Петр. Судите, как лучше.

Матрена. Женить тоже спешить некуда. Это такое дело. Не малина, не опанет.

Петр. Что ж, коли женить — дело хорошее.

Аким. Хотелось бы, значит, тае... Потому мне, значит, тае... работишка в городу, работишка выпала, сходная, значит...

Матрена. Ну уж работа! Ямы чистить. Приехал намедни, так блевала, блевала, тьфу!

Аким. Это точно, сперначала она ровно и тае, шибает, значит, дух-то, а обыкнешь — ничего, все одно, что барда, и значит, тае, сходно... А что дух, значит, тае... это нашему брату обижаться нельзя. Одежонку сменить тоже можно. Хотелось, значит, Микитку дома. Пущай оправдает, значит. Он пущай дома оправдает. А уж я, тае, в городу добуду.

Петр. Хочешь сына дома оставить, оно точно. Да забраты деньги-то как?

Аким. Это верно, верно, Игнатьич, сказал это, значит, тае, правильно, потому нанялся, продался — это пусть доживат, значит, а вот только, тае, женить; на время, значит, отпусти коли что.

Петр. Что ж, это можно.

Матрена. Да дело-то у нас несогласное. Я перед тобой, Петр Игнатьич, как перед богом откроюсь. Ты хоть нас с стариком рассуди. Заладил, что женить да женить. А на ком женить-то, ты спроси! Кабы невеста настоящая, разве я своему детищу враг, а то девка с пороком...

Аким. Вот это напрасно. Напрасно, тае, наносишь на девку-то. Напрасно. Потому ей, девке этой самой, обида от сына мого, обида, значит, есть. Девке, значит.

Петр. Какая же такая обида?

Аким. А выходит, значит, тае, с сыном Никиткою. С Никиткою, значит, тае.

Матрена. Ты погоди говорить, у меня язык помягче, дай я скажу. Жил это малый-то наш до тебя, сам ведашь, на чугунке. И привяжись там к нему девка, так, ведашь, немудрящая, Маринкой звать, — куфаркой у них в артели жила. Так вот, показывает она, эта самая девка, на сына на нашего, что, примерно, он, Микита, будучи, ее обманул.

Петр. Хорошего тут нет.

Матрена. Да она сама непутевая, по людям шляется. Так, потаскуха.

Аким. Опять ты, значит, старуха, не тае, и все ты не тае, всё, значит, не тае...

Матрена. Вот только и речей от орла от моего — тае, тае, тае, а что тае — сам не знаешь. Ты, Петр Игнатьич, не у меня, у людей спроси про девку, всякий то же скажет. Так — шалава бездомовная.

Петр (*Акиму*). Что ж, дядя Аким, коли такое дело, тоже женить незачем. Ведь не лапоть, с ноги не снимешь, хоть бы сноху.

Аким (*разгорячась*). Облыжно, старуха, значит, на девку, тае, облыжно. Потому девка, тае, дюже хороша, дюже хороша девка, значит; жаль мне, жаль, значит, девку-то.

Матрена. Уж прямо Маремьяна-старица, по всем мире печальница, а дома не емши сидят. Жаль девку, а сына не жаль. Навяжи ее себе на шею, да и ходи с ней. Буде пустое-то говорить.

Аким. Нет, не пустое.

Матрена. Да ты не залетай, дай я скажу.

Аким (*перебивает*). Нет, не пустое. Значит, ты на свое воротишь, хоть бы про девку али про себя, — ты на свое воротишь, как тебе лучше, а бог, значит, тае, на свое поворотит. Так и это.

Матрена. Эх, только с тобой язык терзать.

Аким. Девка работящая, важковатая и, значит, тае, вокруг себе... значит. А по нашей бедности нам и тае, рука, значит: и свадьба недорогая. А дороже всего

обида есть девке-то, значит, тае, сирота, вот что, девка-то. А обида есть.

Матрена. Всякая, тоже говорит...

Анисья. Ты, дядя Аким, больше слушай нашу сестру. Они тебе расскажут!

Аким. А бог-то, бог! Разве она не человек, девка-то? Значит, тоже, тае, богу-то она человек. А ты как думаешь?

Матрена. А, заладил...

Петр. А вот что, дядя Аким, тоже ведь этим девкам верить нельзя. А малый-то жив. Ведь он вот он! Послать его да спросить толком, правда ли? Он души не убьет. Покличьте малого-то!

Анисья встает.

Скажи ты, отец зовет.

Анисья уходит.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Те же без Анисьи.

Матрена. Вот это, родной, рассудил, как водой разлил; пущай сам малый скажет. Ведь тоже по нынешнему времю сило́м женить не велят. Тоже спросить малого надо. Не захочет он ни в жисть на ней жениться, себя осрамить. На мой разум, пусть у тебя живет да служит хозяину. И на лето брать незачем, принанять можно. А ты нам десяточку дай, пусть живет.

Петр. Та речь впереди, порядком надо. Одно кончи, тогда другое затевай.

Аким. Я, значит, к тому говорю, Петр Игнатьич, потому, значит, тае, трафлялось. Ладишь, значит, как себе лучше, да про бога, тае, и запамятуешь; думаешь лучше... на себя воротишь, глядь, ан накошлял на шею себе, значит; думал как лучше, ан хуже много, без бога-то.

Петр. Известное дело! бога помнить надо.

Аким. Глядь, оно хуже, а как по закону, да по-божьи, все как-то, тае, оно тебя веселит. Манится, значит. Так и угадывал себе, значит, женю, значит, малого, от греха, значит. Он дома, значит, тае, как должно по закону, а уж я, значит, тае, в городу похлопочу. Ра-

ботишка-то любезная. Сходно. По-божью-то, значит, тае, и лучше. Сирота ведь тоже. Примером, летось дрова тож у приказчика взяли таким манером. Думали обмануть; приказчика-то обманули, а бога-то, значит, тае, не обманули, ну и того...

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же, Никита и Анютка.

Никита. Спрашивали? (*Садится, достает табак.*)

Петр (*тихо, укоризненно*). Что ж ты, аль порядка не знаешь. Тебя отец спрашивать будет, а ты табаком балуешь да сел. Поди-ка сюда, встань!

Никита становится у стола, развязно облокачиваясь и улыбаясь.

Аким. Выходит, значит, тае, примерно на тебя, Микишка, жалоба, жалоба, значит.

Никита. От кого жалоба?

Аким. Жалоба? От девицы, от сироты, значит, жалоба есть. От ней, значит, и жалоба на тебя, от Марины от этой самой, значит.

Никита (*посмеиваясь*). Чудно, право. Какая ж такая жалоба? Это кто ж тебе сказывал: она, что ли?

Аким. Я таперь, тае, спрос делаю, а ты, значит, тае, должен ответ произвесть. Обвязался ты с девкой, значит, то есть обвязался ты с ней, значит?

Никита. И не пойму окончательно, чего спрашиваете.

Аким. Значит, глупости, тае, глупости, значит, были у тебя с ней, глупости, значит?

Никита. Мало что было. С куфаркой от скуки и пошутишь и на гармонии поиграешь, а она попляшет. Какие же еще глупости?

Петр. Ты, Микита, не костыляй, а что спрашивает родитель, ты и отвечай толком.

Аким (*торжественно*). Микита! От людей утаишь, а от бога не утаишь. Ты, Микита, значит, тае, думай не моги врать! Сирота она, значит, обидеть можно. Сирота, значит. Ты говори получше как.

Никита. Да что, говорить-то нечего. Окончательно все и говорю, потому и говорить нечего. (*Разгорячась.*) Она чего не скажет. Говори, что хошь, как на мертвого. Чего ж она на Федьку Микишкина не сказывала? А это

что ж, по нынешнему времени, значит, и пошутить нельзя? А ей вольно говорить.

Аким. Ой, Микишка, мотри! Неправда наружу выйдет. Было аль нет?

Никита (*в сторону*). Вишь, привязались, право. (*К Акиму.*) Сказываю, что ничего не знаю. Ничего у меня с ней не было. (*С злобой.*) Вот те Христос, не сойти мне с доски с этой. (*Крестится.*) Ничего знать не знаю. (*Молчание. Никита продолжает еще горячее.*) Что ж это вы меня на ней женить вздумали? Что ж, в самом деле, право, скандал. Нынче и правов таких нет, чтоб силòм женить. Очень просто. Да и побожился я — знать не знаю.

Матрена (*на мужа*). То-то, глупая твоя башка, дурацкая; что ему наболтают, а он всему и верит. Только напрасно малого оконфузил. А лучше как живет, так пускай и живет у хозяина. Хозяин нам теперь на нужду десяточку даст. А время придет, и женим.

Петр. Ну, как же, дядя Аким?

Аким (*щелкает языком; к сыну*). Мотри, Микита, обижена слеза, тае, мимо не канет, а всё, тае, на человеческу голову. Мотри, как бы не того.

Никита. Да что смотреть-то, ты сам смотри. (*Садится.*)

Анютка. Пойти мамушке сказать. (*Убегает.*)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Петр, Аким, Матрена и Никита.

Матрена (*к Петру*). Вот так-то всё, Петр Игнатьич. Баламутный он у меня, втемяшит что в башку, не выбьешь никак; только даром тебя потревожили. А как жил малый, так пусть и живет. Держи малого — твой слуга.

Петр. Так как же, дядя Аким?

Аким. Что ж, я, тае, воли с малого не снимал, только бы не тае. Хотелось было, значит, тае...

Матрена. И что путаешь, сам не знаешь. Пусть живет, как жил. Малому и самому сходить неохота. Да и куда нам его, сами управим.

Петр. Одно, дядя Аким: если ты его на лето сымешь, он мне на зиму не нужен. Уж жить, так в год.

Матрена. На год и заложится. Мы дома, в рабо-

чую пору, коли что, принаймем, а малый пусть живет, а ты нам теперича десяточку.

Петр. Так как же, еще на год?

Аким (*вздыхает*). Да что ж, уж, видно, тае, коли так, значит, видно, уж тае.

Матрена. Опять на год, от Митриевой субботы. В цене ты не обидишь, а десяточку теперь дай. Вызволь ты нас. (*Встает и кланяется.*)

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Те же, Анисья и Анютка. (Анисья садится к сторонке.)

Петр. Что ж? Коли так, так так — до трактира дойти и магарычи. Пойдем, дядя Аким, водочки выпьем.

Аким. Не пью я ее, вино-то, не пью.

Петр. Ну, чайку попьешь.

Аким. Чаем грешен. Чаем, точно.

Петр. И бабы-то чайку попьют. Ты, Микита, смотри, овец-то перегони да солому подбери.

Никита. Ладно.

Все уходят, кроме Никиты. Смеркается.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Никита один.

Никита (*закуривает папироску*). Вишь, пристали, скажи да скажи, как с девками гулял. Эти истории рассказывать долго будет. Женись, говорит, на ней. На всех да жениться — это жен много наберется. Нужно мне очень жениться, и так не хуже женатого живу, завидуют люди. И как это меня как толконул кто, как я на образ перекрестился. Так сразу всю канитель и оборвал. Боязно, говорят, в неправде божиться. Всё одна глупость. Ничего, одна речь. Очень просто.

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Никита и Акулина.

Акулина (*входит в кафтане, кладет веревку, раздевается и идет в чулан*). Ты бы хоть огонь засветил.

Никита. На тебя глядеть? Я тебя и так вижу.

Акулина. Ну тебя!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Те же и Анютка.

Анютка (*вбегает; к Никите шепотом*). Микита, иди скорей, тебя человек один спрашивает, однова дыхнуть.

Никита. Какой человек?

Анютка. Маринка с чугунки. За углом стоит.

Никита. Врешь.

Анютка. Однова дыхнуть.

Никита. Чего же ей?

Анютка. Тебе приходить велела. Мне, говорит, Миките только слово одно сказать надо. Стала я спрашивать, а она не сказывает. Только спросила: правда ли, что он от вас сходит? А я говорю: неправда, его отец хотел снять да женить, да он отказался, у нас на год еще остался. А она и говорит: пошли ты его ко мне, ради Христа. Мне, говорит, беспременно нужно ему слово сказать. Она уж давно ждет. Иди же к ней.

Никита. Ну ее к богу. Куда я пойду?

Анютка. Она говорит, коль не прийдет, я сама в избу к нему пойду. Однова дыхнуть, приду, говорит.

Никита. Небось постоит да уйдет.

Анютка. Аль, говорит, его на Акулине женить хотят?

Акулина (*подходит к Никите за своей прялкой*). Кого на Акулине женить?

Анютка. Микиту.

Акулина. Легко ль? Да кто говорит-то?

Никита. Да, видно, люди говорят. (*Смотрит на нее, смеется.*) Акулина, что, пойдешь за меня?

Акулина. За тебя-то? Може, допрежь и пошла бы, а теперь не пойду.

Никита. Отчего теперь не пойдешь?

Акулина. А ты меня любить не будешь.

Никита. Отчего не буду?

Акулина. Тебе не велят. (*Смеется.*)

Никита. Кто не велит?

Акулина. Да мачеха. Она все ругается, все за тобой глядит.

Никита (*смеется*). Вишь ты! Однако ты приметливая.

Акулина. Я-то? Что мне примечать? Разве я слепая? Нынче она батю пузырила, пузырила. Ведьма она толстомордая. (*Уходит в чулан.*)

Анютка. Никита! глянь-ка. (*Глядит в окно.*) Идет. Однова дыхнуть, она. Я уйду. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Никита, Акулина в чулане и Марина.

Марина (*входит*). Что ж это ты со мной делаешь?

Никита. Что делаю? Ничего не делаю.

Марина. Отречься хочешь?

Никита (*сердито подымаясь*). Ну, к чему подобно, что пришла?

Марина. Ах, Микита!

Никита. Чудные вы, право. Зачем пришла?

Марина. Микита!

Никита. Ну что Микита? Микита и есть. Чего надо-то? Иди, говорю.

Марина. Так, вижу, бросить, позабыть хочешь?

Никита. Что помнить-то? Сами не знают. За углом стояла, Анютку послала, не пришел я к тебе. Значит, не надобна ты мне, очень просто. Ну и уйди.

Марина. Не надобна! Не надобна теперь стала. Поверила я тебе, что любить будешь. А потерял ты меня, и не надобна стала.

Никита. И все ни к чему ты это говоришь, все несообразно. Ты и отцу наговорила. Уйди, сделай милость.

Марина. Сам знаешь, что никого, кроме тебя, не любила. Взял бы не взял замуж, я на то бы не обижалась. Не повинна я перед тобой ничем. За что разлюбил? За что?

Никита. Нечего нам с тобою переливать из пустого в порожнее. Уйди ты. То-то бестолковые!

Марина. Не то мне больно, что обманул меня, жениться обещал, а что разлюбил. И не то больно, что разлюбил, а на другую променял, — на кого, знаю я!

Никита (*злобно идет к ней*). Эх! С вашей сестрой разговаривать, никаких резонов не понимают; уйди, говорю, до худа доведешь.

Марина. До худа? Что ж, меня бить будешь? Бей, на! Что морду-то отворотил? Эх, Никита.

Никита. Известно, нехорошо, народ придет. А что ж попусту толковать.

Марина. Так конец, значит, что было, то уплыло. Позабыть велишь! Ну, Никита, помни. Берегла я свою честь девичью пуще глаза. Погубил ты меня ни за что, обманул. Не пожалел сироту (*плачет*), отрекся от меня. Убил ты меня, да я на тебя зла не держу. Бог с тобой. Лучше найдешь — позабудешь, хуже найдешь — воспомянешь. Воспомянешь, Никита. Прощай, коли так. И любила ж я тебя. Прощай в последний. (*Хочет обнять его и берет за голову.*)

Никита (*вырываясь*). Эх! Разговаривать с вами. Не хочешь уходить, я сам уйду, оставайся тут.

Марина (*вскрикивает*). Зверь ты! (*В дверях.*) Не даст тебе бог счастья! (*Уходит, плача.*)

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Никита и Акулина.

Акулина (*выходит из чулана*). А пес ты, Никита.

Никита. А что?

Акулина. Как взвыла-то она. (*Плачет.*)

Никита. Ты-то чего?

Акулина. Чего? О...би...дел ты ее... Ты так-то и меня обидишь... пес ты. (*Уходит в чулан.*)

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Никита один.

Никита. (*Молчание.*) То-то неразбериха. Люблю я этих баб, как сахар; а нагрешишь с ними — беда!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЛИЦА ВТОРОГО ДЕЙСТВИЯ

Петр.
Анисья.
Акулина.
Анютка.
Никита.
Матрена.
Кума — соседка.
Народ.

Сцена представляет улицу и избу Петра. Слева от зрителя — изба в две связи, сени, с крыльцом в середине; справа — ворота и край двора. У края двора Анисья треплет пеньку. После первого действия прошло шесть месяцев.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Анисья одна.

Анисья (*останавливается, прислушиваясь*). Опять что-то бурчит. Должно, слез с печи.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Анисья и Акулина (входит с ведрами на коромысле).

Анисья. Кличет. Поди погляди, чего ему? Во... орет.

Акулина. А ты-то что ж?

Анисья. Иди, говорят.

Акулина идет в избу.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Анисья одна.

Анисья. Измучил он меня. Не открывает, где деньги, да и все. Намедни в сенях был, должно там прятал. Теперь и сама не знаю где. Спасибо, расстаться

с ними боится. Всё в доме они. Только б найти. А на нем вчерась не было. Теперь и сама не знаю где. Измучал меня на отделку.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Анисья и Акулина (выходит, повязываясь платком).

Анисья. Куда ты?

Акулина. Куды? А велел тетушку Марфу позвать. Позови, говорит, сестру ко мне. Я помру, говорит, нужно мне ей сказать слово.

Анисья (*про себя*). Сестру зовет. О, головушка моя! О-о! Должно, ей отдать хочет. Что стану делать! О! *(Акулине.)* Не ходи! Куда ты?

Акулина. За теткой.

Анисья. Не ходи, говорю, я сама схожу, а ты с бельем-то иди на речку. А то до вечера не успеешь.

Акулина. Да он мне велел.

Анисья. Иди, куда посылают. Сама, говорят, схожу за Марфой. Рубахи-то возьми с плетня.

Акулина. Рубахи? Да ты, мотри, не пойдешь. Он велел.

Анисья. Сказала, пойду. Анютка где?

Акулина. Анютка? Она телят стережет.

Анисья. Пошли ее, авось не разбегутся.

Акулина собирает белье и уходит.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Анисья одна.

Анисья. Не пойтить — заругает, а пойтить — отдаст он сестре деньги. Пропадут все мои труды. И что делать, сама не знаю. Расскочилась моя голова. (*Продолжает работать.*)

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Анисья и Матрена (входит с палочкой и узелком по-дорожному).

Матрена. Бог помочь, ягодка.

Анисья (*оглядывается, бросает работу и всплескивает руками от радости*). Вот не чаяла, тетушка. Лучил же бог какого гостя ко времени.

Матрена. Ну, что?

Анисья. Уж я и в уме смешалась. Беда!

Матрена. Что ж, жив, сказывают?

Анисья. И не говори. Жить не живет и помирать не помирает.

Матрена. Деньги-то не передал кому?

Анисья. Сейчас за Марфой, за сестрой родной посылает. Должно, об деньгах.

Матрена. Видимое дело. Да не передал ли кому помимо?

Анисья. Некому. Я, как ястреб, над ним стерегу.

Матрена. Да где ж они?

Анисья. Не сказывает. И не дознаюсь никак. Хоронит где-то из одного места в другое. А мне тоже от Акульки нельзя. Дура-дура, а тоже подсматривает, караулит. О, головушка моя! Измучилась я.

Матрена. Ох, ягодка, отдаст денежки помимо твоих рук, век плакаться будешь. Сопхают они тебя со двора ни с чем. Маялась ты, маялась, сердечная, век-то свой с немилым, да и вдовой с сумой пойдешь.

Анисья. И не говори, тетка. Изныло мое сердце, и не знаю, как быть, и посоветовать не с кем. Говорила Миките. А он робеет, не хочет в это дело вступать. Только сказал мне вчерась, что в полу они.

Матрена. Что ж, лазила?

Анисья. Нельзя — сам тама. Я примечаю, — он их то на себе носит, то хоронит.

Матрена. Ты, деушка, помни: раз маху дашь, век не справишься. (*Шепотом.*) Что ж, крепкого чаю-то давала?

Анисья. О-о! (*Хочет отвечать, видит соседку, замолкает.*)

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и кума (проходит мимо избы, прислушивается к крику в избе. К Анисье).

Кума. Кума! Анисья, а Анисья! Твой, никак, кличет.

Анисья. Он все так кашляет, ровно кричит. Плох уж очень.

Кума (*подходит к Матрене*). Здорово, баушка, отколь бог несет?

Матрена. А из двора, милая. Сынка проведать пришла. Рубах принесла. Тоже свое детище, ведашь, жалко.

Кума. Да уж такое дело. (*К Анисье.*) Хотела, кума, кросна белить, да, думается, рано. Люди не зачинали.

Анисья. Куда спешить-то?

Матрена. Что ж, сообщали?

Анисья. Как же, вчерась поп был.

Кума. Поглядела я вчерась тоже, матушка моя, и в чем душа держится. Измадел как. А уж намедни, матушка моя, совсем помирал, под святые положили. Уж и оплакали, омывать собирались.

Анисья. Ожил — поднялся; опять бродит теперь.

Матрена. Что ж, соборовать станете?

Анисья. Люди приглашают. Коли жив будет, хотим завтра за попом посылать.

Кума. Ох, скучно, чай, тебе, Анисьюшка? Недаром молвится: не тот болен, кто болит, а кто над болью сидит.

Анисья. Уж как скучно-то. Да уж одно бы что.

Кума. Известно дело, легко ли, год целый помирает. По рукам связал.

Матрена. Тоже и вдовье дело горькое. Хорошо дело молодое, а на старости лет кто пожалеет. Старость — не радость. Хоть бы мое дело. Недалеко прошла, уморилась, ног не слышу. Сынок-то где?

Анисья. Пашет. Да ты заходи, самовар поставим, чайком душеньку отведешь.

Матрена (*садится*). И то уморилась, миленькие. А что соборовать — это беспременно надо. Люди говорят — тоже душе на пользу.

Анисья. Да завтра пошлем.

Матрена. То-то, оно лучше. А у нас, деушка, свадьба.

Кума. Что ж так, весной?

Матрена. Да, видно, пословица недаром молвится: бедному жениться и ночь коротка. Семен Матвеевич за себя Маринку взял.

Анисья. Нашла-таки себе счастье!

Кума. Вдовец, должно, на детей пошла.

Матрена. Четверо. Какая же путная пойдет! Ну, ее и взял. Она и рада. Вино пили, ведашь, стаканчик не крепкий был, — проливали.

Кума. Вишь ты! Слух-то был? А с достатком мужик-то?

Матрена. Живут ничего пока.

Кума. Оно точно, что на детей кто пойдет. Вот хоть бы у нас Михайло. Мужик-то, матушка моя...

Голос мужика. Эй, Мавра, куда тебя дьявол носит? Поди корову загони.

Соседка уходит.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Анисья и Матрена.

Матрена (*пока соседка уходит, говорит ровным голосом*). Выдали, деушка, от греха, по крайности мой дурак об Микишке думать не будет. (*Вдруг переменяет голос на шепот.*) Ушла! (*Шепотом.*) Что ж, говорю, чайком-то поила?

Анисья. И не поминай. Помирал бы лучше сам. Все одно не помирает, только греха на душу взяла. О-о! головушка моя! И зачем ты мне давала порошки эти?

Матрена. Что ж порошки? Порошки, деушка, сонные, что ж не дать? От них худа не будет.

Анисья. Я не про сонные, а про те, про белесые-то.

Матрена. Что ж, те порошки, ягодка, лекарственные.

Анисья (*вздыхает*). Знаю, да боязно. Измучал он меня.

Матрена. Что ж, много извела?

Анисья. Два раза давала.

Матрена. Что ж, не приметно?

Анисья. Я сама в чаю пригубила, чуть горчит. А он выпил с чаем-то, да и говорит: мне и чай-то противен. Я говорю: больному все горько. Да и жутко же мне стало, тетушка.

Матрена. А ты не думай. Что думать, то хуже.

Анисья. И лучше ты мне не давала бы и на грех не наводила. Как вспомнишь, так на душе загребтит. И зачем ты дала мне их?

Матрена. И, что ты, ягодка! Христос с тобой. Что ж ты на меня-то сворачиваешь? Ты, деушка, мотри, с больной головы на здоровую не сворачивай. Коли чего коснется, мое дело сторона, я знать не знаю, ведать не

ведаю, — крест поцелую, никаких порошков не давала и не видала и не слыхала, какие такие порошки бывают. Ты, деушка, сама думай. Мы и то намеднись про тебя разговорились, как она, мол, сердечная, мается. Падчерица — дура, а мужик гнилой — присуха одна. С этой жизни чего не сделаешь.

Анисья. Да я и то не отрекусь. От моего житья не то что эти дела, а либо повеситься, либо его задушить. Разве это жизнь?

Матрена. То-то и дело. Рот разевать некогда. А как-никак, обыскать деньги да чайком попоить.

Анисья. О-о, головушка моя бедная! И что делать теперь, сама не знаю, и жутость берет, — помирал бы уж лучше сам. Тоже на душу брать не хочется.

Матрена (*с злобой*). А что ж он деньги-то не открывает? Что ж, он их с собой возьмет, никому не достанутся? Разве это хорошо? Помилуй бог, такие деньжищи да дуро̀м пропадут. Разве это не грех? Что ж он-то делает? На него и смотреть?

Анисья. Уже и сама не знаю. Измучал он меня.

Матрена. Чего не знать-то? Дело на виду. Промашку теперь сделаешь, век каяться будешь. Передаст он сестре деньги, а ты оставайся.

Анисья. О-ох, и то посылал ведь за ней, — идти надо.

Матрена. А ты погоди ходить, а первым делом самоварчик поставь. Мы его чайком попоим да деньги вдвоем поищем — дощупаемся небось.

Анисья. О-о! Как бы чего не было.

Матрена. А то что ж? Что смотреть-то. Что ж ты деньги-то только глазами поваляешь, а в руки не попадут? Ты делай.

Анисья. Так я пойду самовар поставлю.

Матрена. Иди, ягодка, дело делай как надо, чтоб после не тужить. Так-то. (*Анисья отходит, Матрена подзывает.*) Одно дело: Микитке не сказывай про все дела. Он дурашный. Избави бог, узнает про порошки. Он бог знает что сделает. Жалостлив он очень. Он, ведашь, и курицы, бывало, не зарежет. Не сказывай ему. Беда, он того не рассудит. (*Останавливается в ужасе, на пороге показывается Петр.*)

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же и Петр (держась за стенку, выползает на крыльцо и кличет слабым голосом).

Петр. Что ж вас не дозовешься. О-ох! Анисья, кто здесь? (*Падает на лавку.*)

Анисья (*выходит из-за угла*). Чего вылез? Лежал бы, где лежал.

Петр. Что, за Марфой ходила девка-то?.. Тяжко... Ох, хоть бы смерть скорее!..

Анисья. Недосуг ей, я ее на речку послала. Дай срок, управлюсь, сама схожу.

Петр. Анютку пошли. Где она? Ох, тяжко! Ох, смерть моя!

Анисья. Я и то послала за ней.

Петр. Ох! Где ж она?

Анисья. Где она там, пралик ее расшиби?

Петр. Ох, мочи моей нет. Сожгло нутро. Ровно буравцом сверлит. Что ж меня бросили, как собаку... и напиться подать некому... Ох... Анютку пошли ко мне.

Анисья. Вот она, Анютка, иди к отцу.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же и Анютка (вбегает, Анисья уходит за угол).

Петр. Поди ты... ох... к тетке Марфе, скажи: отец, мол, зовет, пришла чтоб, нужно мне.

Анютка. Ну что ж.

Петр. Постой. Скорее нужно, скажи. Скажи — помирать хочу. О-ох...

Анютка. Только платок возьму, а я сейчас. (*Убегает.*)

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Петр, Анисья и Матрена.

Матрена (*подмигивая*). Ну, деушка, дело свое помни. Иди в избу, везде ошарь. Ищи, как собака блох ищет; все перебери, а я на нем обыщу.

Анисья (*к Матрене*). Сейчас. Все с тобой смелей как будто. (*Подходит к крыльцу. К Петру.*) Самовар не поставить ли тебе? И тетка Матрена к сыну пришла, — с ней попьете.

Петр. Что ж, поставь.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Петр и Матрена. Матрена подходит к крыльцу.

Петр. Здорово.

Матрена. Здравствуй, благодетель. Здравствуй, касатик. Хвораешь, видно, все. И старик мой как жалеет. Поди, говорит, проведай. Поклон прислал. (*Еще раз кланяется.*)

Петр. Помираю я.

Матрена. И то, посмотрю на тебя, Игнатьич, не по лесу, видно, а по людям боль-то ходит. Исчадел, исчадел ты весь, сердечный, погляжу на тебя. Не красит, видно, хворь-то.

Петр. Пришла смерть моя.

Матрена. Что ж, Петр Игнатьич, божья воля, сообщили, особоруют, бог даст; баба у тебя, слава богу, умная, и похоронят и помянут, всё честь честью. И мой сыночек тоже, поколе что, по дому хлопотать будет.

Петр. Приказать некому! Необстоятельна баба, глупостями занимается, ведь все знаю я... знаю... Девка дурковата, да и млада. Дом собирал, а обдумать некому. Жаль тоже. (*Хнычет.*)

Матрена. Что ж, коли деньги или что, приказать можно...

Петр (*к Анисье в сенцы*). Пошла, что ль, Анютка-то?

Матрена (*в сторону*). Ишь, вспомнил.

Анисья (*из сеней*). В ту же пору пошла. Иди в избу-то, что ль, я проведу.

Петр. Дай посижу напоследях. Дух тяжкий там. Тяжко мне... Ох, сожгло сердце все... Хоть бы смерть...

Матрена. Бог души не вынет, сама душа не выйдет. В смерти и животе бог волен, Петр Игнатьич. Тоже и смерти не угадаешь. Бывает, и поднимешься. Так-то вот у нас в деревне мужик совсем уж было помирал...

Петр. Нет. Чую я, что нынче помру, чую. (*Прислоняется и закрывает глаза.*)

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же и Анисья.

Анисья *(входит)*. Ну что ж, пойдешь али нет? Тебя не дождешься. Петра? А Петра?

Матрена *(отходит и манит к себе пальцем Анисью)*. Ну что ж?

Анисья *(сходит с крыльца к Матрене)*. Нету.

Матрена. Да ты всё ли обыскала? В полу-то?

Анисья. И там нету. Нешто в пуньке. Вчера туда лазил.

Матрена. Ищи, пуще всего ищи. Как языком вылижи. А я примечаю — нынче и так помереть: ноготь синий, и на лицо земля пала. Самовар-то поспел, что ль?

Анисья. Закипать хочет.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Те же и Никита (приходит с другой стороны, а если можно, приезжает на лошади к воротам; не видит Петра).

Никита *(к матери)*. Здорово, матушка! Здоровы ли дома?

Матрена. Слава господу богу, живем, пока хлеб жуем.

Никита. Ну что, хозяин как?

Матрена. Тише, вон он сидит. (*Показывает на крыльцо.*)

Никита. Так что же, пущай сидит. Мне чего?

Петр *(открывает глаза)*. Микита, а Микита, подька сюда.

Никита подходит. Анисья шепчется с Матреной.

Что рано приехал?

Никита. Допахал.

Петр. За мостом полоску пахал?

Никита. Туда далече ехать.

Петр. Далече? Из дома дальше. За нарочным поедешь. Заодно бы.

Анисья, не показываясь, прислушивается.

Матрена *(подходит)*. Ах, сынок, что ж так хозяину не стараешься? Хозяин хворый, на тебя надеется, ты должен, как отцу родному, жилы вытягивай, а служи. Так я тебе приказывала.

П е т р. Так ты того, ох!.. картошки повытаскай, бабы... о!.. переберут.

А н и с ь я *(про себя)*. Как же, и пошла я. Опять от себя всех услать хочет; должно, на нем теперь деньги-то. Куда-нибудь схоронить хочет.

П е т р. А то, о-ох!.. сажать время придет, а они попрели. Ох, мочи нет. *(Поднимается.)*

М а т р е н а *(вбегает на крыльцо, поддерживает Петра)*. Аль в избу свесть?

П е т р. Сведи. *(Останавливается.)* Микита!

Н и к и т а *(сердито)*. Чего еще?

П е т р. Не увижу тебя... Помру нынче... Прости меня, Христа ради, прости, когда согрешил перед тобой... Словом и делом, согрешил когда... Всего было. Прости.

Н и к и т а. Что ж прощать, мы сами грешные.

М а т р е н а. Ах, сынок, — ты чувствуй.

П е т р. Прости, Христа ради. *(Плачет.)*

Н и к и т а *(сопит)*. Бог простит, дядя Петр. Что ж, мне на тебя обижаться нечего. Я от тебя худого не видал. Ты меня прости. Может, я виноватее перед тобою. *(Плачет. Петр хныкая, уходит. Матрена поддерживает его.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Н и к и т а и А н и с ь я.

А н и с ь я. О, головушка моя бедная! Неспроста он это. Задумал, видно, что. *(Подходит к Никите.)* Что ж ты сказывал, что деньги в полу, — нету там.

Н и к и т а *(не отвечает, плачет)*. Я от него худого, окромя хорошего, ничего не видал. А я вот что сделал!

А н и с ь я. Ну, буде. Деньги-то где?

Н и к и т а *(сердито)*. А кто его знает. Ищи сама.

А н и с ь я. Что больно жалостлив?

Н и к и т а. Жалко мне его. Как жалко его! Заплакал как! Э-эх!

А н и с ь я. Вишь, жалость напала, есть кого жалеть! Он тебя собачил, собачил, и сейчас приказывал, чтоб согнать тебя со двора долой. Ты бы меня пожалел.

Н и к и т а. Да что тебя жалеть-то?

А н и с ь я. Помрет, деньги скроет...

Н и к и т а. Небось не скроет...

Анисья. Ох, Никитушка! За сестрой ведь послал, ей отдать хочет. Беда наша, как нам жить будет, как он деньги отдаст. Ссунут они меня со двора! Уж ты бы похлопотал. Ты сказывал, в пуньку вечор лазял он?

Никита. Видел, он оттель идет, а куда сунул, кто его знает.

Анисья. О, головушка, пойду там поищу.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Те же и Матрена (выходит из избы, спускается к Анисье и Никите, шепотом).

Матрена. Никуда не ходи, деньги на нем, я ощупала, на гайтане они.

Анисья. О, головушка моя бедная!

Матрена. Теперь сморгаешь, ищи тогда на орле — на правом крыле. Сестра придет — и прощайся.

Анисья. И то придет, отдаст ей. Как быть-то? О, головушка!

Матрена. Как быть-то? А ты смотри сюда. Самовар-то вскипел, поди ты завари чайкю да налей ему *(шепотом)*, да из грамотки-то всю высыпь, да попои его. Выпьет чашку, тогда и тащи. Небось не расскажет.

Анисья. О, боязно!

Матрена. Ты это не толкуй, живо делай, а я сестру-то постерегу, коли что. Оплошки не давай. Тащи деньги да и неси сюда, а Микита схоронит.

Анисья. О, головушка! Как приступиться-то и... и...

Матрена. Говорю, не толкуй; делай, как велю. Микита!

Никита. Чего?

Матрена. Ты тут постой, посиди на завалинке, коли что, дело будет.

Никита *(махая рукой)*. Уж эти бабы придумают. Окончательно завертят. Ну вас совсем! Пойти и то — картошки повытаскать.

Матрена *(останавливает его за руку)*. Говорю, постой.

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Те же и Анютка (*входит*).

Анисья. Ну, что?

Анютка. Она у дочери на огороде была, сейчас придет.

Анисья. Придет она, что делать будем?

Матрена (*Анисье*). Поспешь, делай, что велю.

Анисья. Уж сама не знаю — не знаю ничего, в уме смешалось. Анютка! Иди, донюшка, к телятам, разбежались. Ох, не насмелюсь.

Матрена. Иди, что ль, самовар ушел, я чай.

Анисья. Ох, головушка моя бедная! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Матрена и Никита.

Матрена (*подходит к сыну*). Так-то, сынок. (*Садится рядом с ним на завалинку.*) Дело твое тоже обдумать надо, а не как-нибудь.

Никита. Да какое дело-то?

Матрена. А то дело, как тебе на свете прожить.

Никита. Как на свете прожить? Люди живут, так и я.

Матрена. Старик-то, должно, нынче помрет?

Никита. Помрет, царство небесное. Мне-то что?

Матрена (*все время говорит и поглядывает на крыльцо*). Эх, сынок! Живой живое и думает. Тут, ягодка, тоже ума надо много. Ты как думаешь, я по твоему делу по всем местам толкалась, все ляжки измызгала, об тебе хлопотамши. А ты помни, тогда меня не забудь.

Никита. Да о чем хлопотала-то?

Матрена. О деле о твоем, об судьбе об твоей. Загодя не похлопотать, ничего и не будет. Иван Мосеича знаешь? Я до него тоже притолчна. Зашла намедни. Я ему, ведашь, тоже дело одно управила. Посидела, к слову разговорились. Как, говорю, Иван Мосеич, рассудить дело одно. Примерно, говорю, мужик вдовый, взял, примерно, за себя другую жену и, примерно, только и детей, что дочь от той жены да от этой. Что, говорю, как помрет мужик этот, можно ли, я говорю, войти на вдову эту в двор чужому мужику? Можно, я говорю, этому мужику дочерей замуж отдать и самому

по дворе остаться? Можно, говорит, да только надо, говорит, старанья тут много. С деньгами, говорит, можно это дело оборудовать, а без денег, говорит, и соваться нечего.

Никита *(смеется)*. Да уж это что говорить, только подавай им деньги-то. Денежки всем нужны.

Матрена. Ну, ягодка, я и открылась ему во всех делах. Первым делом, говорит, надо твоему сыночку в ту деревню приписаться. На это денежки нужно,— стариков попоить. Они, значит, и руки приложат. Все, говорит, надо с умом делать. Глянь-ка сюда *(достает из платка бумагу)*. Вот и бумагу отписал, почитай-ка, ведь ты дошлый. *(Никита читает, Матрена слушает.)*

Никита. Бумага, известно, приговор значит. Тут мудрости большой нет.

Матрена. А ты слухай, что Иван Моссеич приказывал. Пуще всего, говорит, тетка, смотри, чтоб денежки не упустить. Не ухватит, говорит, она деньги, не дадут ей на себя зятя принять. Деньги, говорит, всему делу голова. Так мотри. Дело, сынок, доходит.

Никита. Мне что? Деньги ее, она и хлопочи.

Матрена. Эка ты, сынок, судишь! Разве баба может обдумать? Если что и возьмет она деньги, где ж ей обдумать,— бабье дело известно, а ты все мужик. Ты, значит, можешь и спрятать и все такое. У тебя все-таки ума больше, коли чего коснется.

Никита. Эх! женское ваше понятие необстоятельное совсем.

Матрена. Как же необстоятельно! Ты заграбь денежки-то. Баба-то у тебя в руках будет. Если случаем и похрапывать начнет или что, ей укороту можно сделать.

Никита. Ну вас совсем, пойду.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Никита, Матрена и Анисья (выбегает бледная из избы за угол к Матрене).

Анисья. На нем и были. Вот они. *(Показывает под фартуком.)*

Матрена. Давай Микитке, он схоронит. Микитка, бери, схорони куда.

Никита. Что ж, давай.

Анисья. О-ох, головушка, да уж я сама, что ли. *(Идет к воротам.)*

Матрена *(хватает ее за руку)*. Куда идешь? Хватятся, вон сестра идет, ему давай, он знает. Эка бестолковая!

Анисья *(останавливается в нерешительности)*. О, головушка!

Никита. Что ж, давай, что ль, суну куда.

Анисья. Куда сунешь-то?

Никита. Аль робеешь? *(Смеется.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Те же и Акулина (идет с бельем).

Анисья. О-ох, головушка моя бедная! *(Отдает деньги.)* Микита, мотри.

Никита. Чего боишься-то? Туда запхаю, что и сам не найду. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Матрена, Анисья и Акулина.

Анисья *(стоит в испуге)*. О-ох!.. Что как он...

Матрена. Что ж, помер?

Анисья. Да помер, никак. Я снимала, он и не почуял.

Матрена. Иди в избу-то, вон Акулина идет.

Анисья. Что ж, я нагрешила, а он да что с деньгами...

Матрена. Буде, иди в избу, вот и Марфа идет.

Анисья. Ну, поверила я ему. Что-то будет. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Марфа, Акулина, Матрена.

Марфа *(идет с одной, Акулина с другой стороны. К Акулине)*. Я бы даве пришла, да к дочери пошла. Ну, что старик-от? Аль помирать хочет?

Акулина *(снимает белье)*. А кто его знает. Я на речке была.

Марфа *(указывая на Матрену)*. Это чья ж?

Матрена. А из Зуева, Микиты мать я, из Зуева, родимая. Здравствуйте. Изныл, изныл сердечный, братец-то. Сам выходил. Пошли мне, говорит, сестрицу, потому, говорит... О! да уж не кончился ли?

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Те же и Анисья (*выбегает из избы с криком, хватается за столбик и начинает выть*).

О-о-о, и на кого-о-о и оставил и о-о-о и на ко-ого-о-о по-ки-и-нул о-о-о... вдовой горемычной... век вековать, закрыл ясны очи...

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и кума. Кума и Матрена подхватывают ее под руки. Акулина и Марфа идут в избу. Народ приходит.

Один голос из народа. Старух позвать, убирать надо.

Матрена (*засучивает рукава*). Вода в чугуне-то есть, что ли? А то и в самоваре, я чай, есть. Не вылили. Потружусь и я.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЛИЦА ТРЕТЬЕГО ДЕЙСТВИЯ

Аким.
Никита.
Акулина.
Анисья.
Анютка.
Митрич — старик-работник, отставной солдат.
Кума Анисьи.

Изба Петра. Зима. После второго действия прошло девять месяцев. Анисья ненарядная сидит за станом, ткет. Анютка на печи. Митрич, старик-работник.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Митрич *(входит медленно, раздевается)*. О, господи помилуй! Что ж, не приезжал хозяин-то?

Анисья. Чего?

Митрич. Микита-то из города не бывал?

Анисья. Нету.

Митрич. Загулял, видно. О господи!

Анисья. Убрался на гумне-то?

Митрич. А то как же? Все как надо убрал, соломкой прикрыл. Я не люблю как-нибудь. О господи! Микола милослевый! *(Ковыряет мозоли.)* А то бы пора ему и быть.

Анисья. Чего ему торопиться. Деньги есть, гуляет с девкой, я чай...

Митрич. Деньги есть, так чего ж не гулять. Акулина-то почто в город поехала?

Анисья. А ты спроси ее, зачем туда нелегкая понесла.

Митрич. В город-то зачем? В городу всего много, только бы было на что. О господи!

Анютка. Я, матушка, сама слышала. Полушальчик, говорит, тебе куплю, однова дыхнуть, куплю, говорит; сама, говорит, выберешь. И убралась она хорошо как: безрукавку плисовую надела и платок французский.

Анисья. Уж и точно девичий стыд до порога, а переступила — и забыла. То-то бесстыжая!

Митрич. Вона! Чего стыдиться-то? Деньги есть, так и гуляй. О господи! Ужинать-то рано, что ли?

Анисья молчит.

Пойти погреться пока что. *(Лезет на печь.)* О господи, матерь пресвятая богородица, Микола-угодник!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и кума.

Кума *(входит)*. Не ворочался, видно, твой-то?

Анисья. Нету.

Кума. Пора бы. В наш трактир не заехал ли. Сестра Фекла сказывала, матушка моя, стоят там саней много из города.

Анисья. Анютка! а Анютка!

Анютка. Чего?

Анисья. Сбегай ты, донюшка, в трактир, посмотри, уж не туда ли он спьяна заехал?

Анютка *(спрыгивает с печи, одевается)*. Сейчас.

Кума. И Акулину с собой взял?

Анисья. А то бы ехать незачем. Из-за нее дела нашлись. В банку, говорит, надо, получка вышла, а все только она его путает.

Кума *(качает головой)*. Уж и что говорить.

Молчание.

Анютка *(в дверях)*. А коли там, сказать что?

Анисья. Ты посмотри только, там ли?

Анютка. Ну что ж, я живо слетаю. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Анисья, Митрич и кума. Долгое молчание.

Митрич *(рычит)*. О господи, Микола милослевый.

Кума *(вздрагивая)*. Ох, напугал. Это кто ж?

Анисья. Да Митрич, работник.

Кума. Ох, натращал как! Я и забыла. А что, кума, сказывали, сватают Акулину-то.

Анисья *(вылезает из-за стана к столу)*. Посыкнулись было из Дедлова, да, видно, слушок-то есть и у них, посыкнулись было, да и молчок; так и запало дело. Кому же охота?

Кума. А из Зуева-то Лизуновы?

Анисья. Засылка была. Да тоже не сошлось. Он и к себе не примает.

Кума. А отдавать бы надо.

Анисья. Уж как надо-то. Не чаю, кума, как со двора спихнуть, да не паит дело-то. Ему неохота. Да и ей тоже. Не нагулялся, видишь, еще с красавой-то с своей.

Кума. И-и-и! грехи. Чего вздумать нельзя. Вотчим ведь ей.

Анисья. Эх, кума. Оплели меня, обули так ловко, что и сказать нельзя. Ничего-то я сдуру не примечала, ничего-то я не думала, так и замуж шла. Ничегохонько не угадывала, а у них согласье уж было.

Кума. О-о, дело-то какое!

Анисья. Дальше — больше, вижу, от меня хорониться стали. Ах, кума, и уж тошно ж мне, тошно житье мое было. Добро б не любила я его.

Кума. Да что уж и говорить.

Анисья. И больно ж мне, кума, от него обиду такую терпеть. Ох, больно!

Кума. Что ж, сказывают, и на руку ерзок стал?

Анисья. Всего есть. Бывало, во хмелю смирен был. Зашибал он и допрежде того, да все, бывало, хороша я ему была, а нынче как надуется, так и лезет на меня, стоптать ногами хочет. Намедни в косы руками увяз, насилу вырвалась. А уж девка хуже змеи, и как только таких злющих земля родит.

Кума. О-о-о! Кума, болезная ж ты, погляжу я на тебя! Каково ж терпеть; нищего приняла, да он над тобой так измываться будет. Ты что ж ему укороту не сделаешь?

Анисья. Ох, кумушка милая! С сердцем своим что сделаю. Покойник на что строг был, а все ж я как хотела, так и вертела, а тут не могу, кумушка. Как увижу его, так и сердце все сойдет. Нет у меня против него и смелости никакой. Хожу перед ним, как куренок мокрый.

Кума. О-о, кума! Да это, видно, сделано над тобой что. Матрена-то, сказывают, этими делами занимается. Должно, она.

Анисья. Да уж я и сама, кума, думаю. Ведь как обидно другой раз. Кажется, разорвала б его. А увижу его,— нет, не поднимается на него сердце.

Кума. Видимое дело, напущено. Долго ль, матушка моя, испортить человека. То-то, погляжу я на тебя, куда что делось.

Анисья. Вовсе в лутошку ноги сошлись. А на дуру-то, на Акулину, погляди. Ведь растрепа-девка, нехалявая, а теперь погляди-ка. Откуда что взялось. Да нарядил он ее. Расфуфырилась, раздулась, как пузырь на воде. Тоже, даром что дура, забрала себе в голову: я, говорит, хозяйка. Дом мой. Батюшка на мне его и женить хотел. А уж зла, боже упаси. Разозлится, с крыши солому роет.

Кума. О-ох, житье твое, кума, погляжу. Завидуют тоже люди. Богаты, говорят. Да, видно, матушка моя, и через золото слезы льются.

Анисья. Есть чему завидовать. Да и богатство-то все так прахом пройдет. Мотает денежки, страсть.

Кума. Да что ж ты, кума, больно просто пустила? Деньги твои.

Анисья. Кабы ты все знала. А то сделала я промашку одну.

Кума. Я бы, кума, на твоем месте прямо до начальника до большого дошла. Деньги твои. Как же он может мотать? Таких правов нет.

Анисья. На это нынче не взирают.

Кума. Эх, кума, посмотрю я на тебя. Ослабла ты.

Анисья. Ослабла, милая, совсем ослабла. Замотал он меня. И сама ничего не знаю. О-о, головушка моя бедная!

Кума. Никак, идет кто? *(Прислушивается. Отворяется дверь, и входит Аким.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Аким.

Аким *(крестится, обивает лапти и раздевается)*. Мир дому сему. Здорово живете? Здорово, тетенька.

Анисья. Здорово, батюшка. Из двора, что ль? Проходи, раздевайся.

Аким. Думал, тае, дай, значит, схожу, тае, к сынку, к сынку пройду. Не рано пошел, пообедал, значит, пошел; ан снежно как, тае, тяжко, идти тяжко, вот и, тае, запоздал, значит. А сынок дома? Дома сынок то есть?

Анисья. Нетути; в городу.

Аким *(садится на лавку)*. Дельце до него, то есть, тае, дельце. Сказывал, значит, ему намедни, тае, значит, об нужде сказывал, лошаденка извелась, значит, лошаденка-то. Объегорить, тае, надоть, лошаденку-то какую ни на есть, лошаденку-то. Вот и, тае, пришел, значит.

Анисья. Сказывал Микита. Приедет, потолкуете. *(Встает к печи.)* Поужинай, а он подъедет. Митрич, иди ужинать, а Митрич?

Митрич *(рычит, просыпается)*. Чего?

Анисья. Ужинать.

Митрич. О господи, Микола милослевый!

Анисья. Иди ужинать.

Кума. Я пойду. Прощавайте. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Аким, Анисья и Митрич.

Митрич *(слезает)*. И не видал, как заснул. О господи, Микола-угодник! Здорово, дядя Аким.

Аким. Э! Митрич! Ты что же, значит, тае?

Митрич. Да вот в работниках, у Никиты, у сына у твоего, живу.

Аким. Ишь ты! Значит, тае, в работниках у сына-то. Ишь ты!

Митрич. То в городу жил у купца, да пропился там. Вот и пришел в деревню. Причалу у меня нет, ну и нанялся. *(Зевает.)* О господи!

Аким. Что ж, тае, али, тае, Микишка-то что делает? Дело, значит, еще какое, что работника, значит, тае, работника нанял?

Анисья. Какое ему дело? То управлялся сам, а нынче не то на уме, вот и работника взял.

Митрич. Деньги есть, так что ж ему...

Аким. Это, тае, напрасно. Вот это совсем, тае, напрасно. Напрасно это. Баловство, значит.

Анисья. Да уж избаловался, избаловался, что и беда.

Аким. То-то, тае, думается, как бы получше, тае, а оно, значит, хуже. В богатстве-то избалуется человек, избалуется.

Митрич. С жиру-то и собака бесится. С жиру как не избаловаться! Я вон с жиру-то как крутил. Три недели пил без просыпу. Последние портки пропил. Не на что больше, ну и бросил. Теперь зарекся. Ну ее.

Аким. А старуха-то, значит, твоя где же?..

Митрич. Старуха, брат, моя к своему месту пристроена. В городу по кабакам сидит. Щеголиха тоже — один глаз выдран, другой подбит, и морда на сторону своротена. А тверезая, в рот ей пирога с горохом, никогда не бывает.

Аким. О-о! Что же это?!

Митрич. А куда же солдатской жене место? К делу своему пределена.

Молчание.

Аким *(к Анисье)*. Что ж Никита-то в город, тае, повез что, продавать, значит, повез что?

Анисья *(накрывает на стол и подает)*. Порожнем поехал. За деньгами поехал, в банке деньги брать.

Аким *(ужинает)*. Что ж вы их, тае, деньги-то куда еще пределить хотите, деньги-то?

Анисья. Нет, мы не трогаем. Только двадцать или тридцать рублей; вышло, так взять надо.

Аким. Взять надо? Что ж их брать-то, тае, деньги-то? Нынче, значит, тае, возьмешь, завтра, значит, возьмешь, — так все их и, тае, переберешь, значит.

Анисья. Это окромя получай. А деньги все целы.

Аким. Целы? Как же, тае целы? Ты бери их, а они, тае, целы. Как же, насыпь ты, тае, муки, значит, и всё, тае, в рундук, тае, или амбар, да и бери ты оттуда муку-то, — что ж она, тае, цела будет? Это, значит, не тае. Обманывают они. Ты это дознайся, а то обманут они. Как же целы? Ты, тае, бери, а они целы.

Анисья. Уж я и не знаю. Нам тогда Иван Мосеич присудил. Положите, говорит, деньги в банку — и деньги целее, и процент получать будете.

Митрич *(кончил есть)*. Это верно. Я у купца жил. У них всё так. Положи деньги да и лежи на печи, получай.

Аким. Чудно, тае, говоришь ты. Как же, тае, получай, ты, тае, получай, а им, значит, тае, с кого же, тае, получать-то? Деньги-то?

Анисья. Из банки деньги дают.

Митрич. Это что? Баба, она раздробить не может. А ты гляди сюда, я тебе все толки найду. Ты помни. У тебя, примерно, деньги есть, а у меня, примерно, весна пришла, земля пустует, сеять нечем, али податишки, что ли. Вот я, значит, прихожу к тебе. Аким, говорю, дай красненькую, а я уберусь с поля, тебе к покрову отдам да десятину уберу за уваженье. Ты, примерно, видишь, что у меня есть с чего потянуть: лошаденка ли, коровенка, ты и говоришь: два ли, три ли рубля отдай за уваженье, да и всё. У меня óсел на шее, нельзя обойтись. Ладно, говорю, беру десятку. Осенью переверт делаю, приношу, а три рубля ты окроме с меня лупишь.

Аким. Да ведь это, значит, тае, мужики кривье как-то, тае, делают, коли кто, тае, бога забыл, значит. Это, значит, не к тому.

Митрич. Ты погоди. Она сейчас к тому же натрафит. Ты помни. Теперича, значит, ты так-то сделал, ободрал меня, значит, а у Анисьи деньги, примерно, залежные. Ей девать некуда, да и бабье дело — не знает, куда их პределить. Приходит она к тебе; нельзя ли, говорит, и на мои деньги пользу сделать. Что ж, можно, говоришь. Вот ты и ждешь. Прихожу я опять на лето. Дай, говорю, опять красненькую, а я с уважением... Вот ты и смекаешь: коли шкура на мне еще не ворочена, еще содрать можно, ты и даешь Анисьины деньги. А коли, примерно, нет у меня ни шиша, жрать нечего, ты, значит, разметку делаешь, видишь, что содрать нечего, сейчас и говоришь: ступай, брат, к богу, а изыскиваешь какого другого, опять даешь и свои и Анисьины пределяешь, того обдираешь. Вот это и значит самая банка. Так она кругом и идет. Штука, брат, умственная.

Аким *(разгорячась)*. Да это что ж? Это, тае, значит, скверность. Это мужики, тае, делают так, мужики и то, значит, за грех, тае, почитают. Это тае, не по закону, не по закону, значит. Скверность это. Как же ученые-то, тае...

Митрич. Это, брат, у них самое любезное дело. А ты помни. Вот кто поглупей, али баба, да не может сам деньги в дело произвесть, он и несет в банку, а они, в рот им ситного пирога с горохом, цапают да этими денежками и облупляют народ-то. Штука умственная!

Аким *(вздыхая)*. Эх, посмотрю я, тае, и без денег, тае, горе, а с деньгами, тае, вдвое. Как же так. Бог трудиться велел. А ты, значит, тае, положил в банку деньги,

да и спи, а деньги тебя, значит, тае, поваля кормить будут. Скверность это, значит, не по закону это.

Митрич. Не по закону? Это, брат, нынче не разбирают. А как еще околузывают-то дочиста. То-то и дело-то.

Аким (*вздыхает*). Да уж, видно, время, тае, подходит. Тоже сортиры, значит, тае, посмотрел я в городу. Как дошли то есть. Выглажено, выглажено, значит, нарядно. Как трактир исделано. А ни к чему. Всё ни к чему. Ох, бога забыли. Забыли, значит. Забыли, забыли мы бога-то, бога-то. Спасибо, родная, сыт, доволен.

Вылезают из-за стола; Митрич лезет на печь.

Анисья (*убирает посуду и ест*). Хоть бы отец усовестил, да и сказывать-то стыдно.

Аким. Чего?

Анисья. Так, про себя.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Анютка. Анютка входит.

Аким. А! умница. Все хлопочешь! Перезябла, я чай?

Анютка. И то озябла страсть. Здорово, дедушка.

Анисья. Ну, что? Тама?

Анютка. Нету. Только Андриян там из города, сказывал, видел их еще в городу, в трактире. Батя, говорит, пьяный-распьяный.

Анисья. Есть хочешь, что ли? На вот.

Анютка (*идет к печи*). Уж и холодно же. И руки зашлись.

Аким разувается. Анисья перемывает ложки.

Анисья. Батюшка!

Аким. Чего скажешь?

Анисья. Что ж, Маришка-то хорошо живет?

Аким. Ничаво. Живет. Бабочка, тае, умная, смирная, живет, значит, тае, старается. Ничаво. Бабочка, значит, истовая, и всё, тае, старательная и, тае, покорлива. Бабочка, значит, ничаво, значит.

Анисья. А что, сказывали, с вашей деревни, Маринкиному мужу родня, нашу Акулину сватать хотели. Что, не слыхать?

Аким. Это Мироновы? Болтали бабы чтой-то. Да невдомек, значит. Притаманно, значит, не знаю, тае. Старухи что-то сказывали. Да не памятлив я, не памятлив,

значит. А что ж, Мироновы, тае, мужики, значит, тае, ничего.

Анисья. Уж не чаю, как просватать бы поскорее.

Аким. А что?

Анютка *(прислушивается)*. Приехали.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и Никита. (Входит Никита пьяный с мешком и узлом под мышкой и с покупками в бумаге, отворяет дверь и останавливается.)

Анисья. Ну, не замай их. *(Продолжает мыть ложки и не поворачивает головы, когда отворяется дверь.)*

Никита. Анисья, жена! Кто приехал?

Анисья взглядывает и отворачивается. Молчит.

Никита *(грозно)*. Кто приехал? Аль забыла?

Анисья. Будет форсить-то. Иди.

Никита *(еще грознее)*. Кто приехал?

Анисья *(подходит к нему и берет за руку)*. Ну, муж приехал. Иди в избу-то.

Никита *(упирается)*. То-то, муж. А как звать мужа-то? Говори правильно.

Анисья. Да ну тебя — Микитой.

Никита. То-то! Невежа — по отчеству говори.

Анисья. Акимыч. Ну!

Никита *(всё в дверях)*. То-то. Нет, ты скажи фамилия как?

Анисья *(смеется и тянет за руку)*. Чиликин. Эка надулся!

Никита. То-то. *(Удерживается за косяк.)* Нет, ты скажи, какой ногой Чиликин в избу ступает?

Анисья. Ну, буде — настудишь.

Никита. Говори, какой ногой ступает? Обязательно сказать должна.

Анисья *(про себя)*. Надоест теперь. Ну, левой. Иди, что ль.

Никита. То-то.

Анисья. Ты глянь-ка, в избе-то кто.

Никита. Родитель? Что ж, я родителем не гнушаюсь. Родителю могу уважение исделать. Здорово, батюшка. *(Кланяется ему и подает руку.)* Наше вам почтение.

А к и м *(не отвечая)*. Вино-то, вино-то, значит, что делает. Скверность!

Н и к и т а. Вино? Что выпил? Это окончательно виноват, выпил с приятелем, проздравил.

А н и с ь я. Иди ложись, что ль.

Н и к и т а. Жена, где я стою, говори.

А н и с ь я. Ну, ладно, иди ложись.

Н и к и т а. Я еще самовар с родителем пить буду. Ставь самовар. Акулина, иди, что ль.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Т е ж е и А к у л и н а.

А к у л и н а *(нарядная, идет с покупками. К Никите)*. Ты что ж все расшвырял. Пряжа-то где?

Н и к и т а. Пряжа? Пряжа там. Эй, Митрич! Где ты там? Заснул? Иди лошадь убери.

А к и м *(не видит Акулины и глядит на сына)*. Что делает-то! Старик, значит, тае, уморился, значит, молотил, а он, тае, надулся. Лошадь убери. Тьфу! Скверность!

М и т р и ч *(слезает с печи, обувает валенки)*. О господи милослевый! На дворе лошадь-то, что ль? Уморил, я чай. Ишь, дуй его горой, налакался как. Доверху. О господи! Микола-угодник. *(Надевает шубу и идет на двор.)*

Н и к и т а *(садится)*. Ты меня, батюшка, прости. Выпил, это точно, ну, что ж делать? И курица пьет. Так, что ль? А ты меня прости. Что ж, Митрич — он не обижается, он уберет.

А н и с ь я. Вправду ставить самовар-то?

Н и к и т а. Ставь. Родитель пришел, я с ним говорить хочу, чай пить буду. *(К Акулине.)* Покупку-то всю вынесла?

А к у л и н а. Покупку? Свое взяла, а то в санях. Вот это на, не моя. *(Кидает на стол сверток и убирает в сундук покупку. Анютка смотрит, как Акулина укладывает; Аким не глядит на сына и убирает онучи и лапти на печь.)*

А н и с ь я *(уходит с самоваром)*. И так полон сундук, — еще накупил.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Аким, Акулина, Анютка и Никита.

Никита *(берет на себя трезвый вид)*. Ты, батюшка, на меня не обижайся. Ты думаешь, я пьян. Я положительно все могу. Потому пей, да ума не теряй. Я с тобой, батюшка, сейчас разговаривать могу. Все дела помню. Насчет денег приказывал, лошаденка извелась — помню. Это все возможно. Это все у нас в руках. Если бы сумма денег требовалась огромадная, тогда можно бы повременить, а то это все могу! Вот они!

Аким *(продолжает возиться с оборками)*. Эх, малый, тае, значит, вешний путь, тае, не дорога...

Никита. Это ты к чему? С пьяным речь не беседа? Да ты не сумлевайся. Чайку попьем. А я все могу, положительно все дела исправить могу.

Аким *(качает головой)*. Э, эх-хе-хе!

Никита. Деньги, вот они. *(Лезет в карман, достает бумажник, вертит бумажки, достает десятирублевую.)* Бери на лошадь. Бери на лошадь, я родителя не могу забыть. Обязательно не оставлю. Потому родитель. На, бери. Очень просто. Не жалею. *(Подходит и сует Акиму деньги. Аким не берет денег.)*

Никита *(хватает за руку)*. Бери, говорят, когда даю, я не жалею.

Аким. Не могу, значит, тае, брать и не могу, тае, говорить с тобой, значит. Потому в тебе, тае, образа нет, значит.

Никита. Не пущу. Бери. *(Сует Акиму в руку деньги.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же и Анисья.

Анисья *(входит и останавливается)*. Да ты уж возьми. Ведь не отстанет.

Аким *(берет, качая головой)*. Эх, вино-то! Не человек, значит...

Никита. Вот так-то лучше. Отдашь — отдашь, а не отдашь — бог с тобой. Я вот как! *(Видит Акулину.)* Акулина, покажь гостинцы-то.

Акулина. Чего?

Никита. Покажь гостинцы.

Акулина. Гостинцы-то? Что их показывать. Я уж убрала.

Никита. Достань, говорю: Анютке поглядеть лестно. Покажь, говорю, Анютке. Полушальчик-то развяжи. Подай сюда.

Аким. О-ох, смотреть тошно! *(Лезет на печь.)*

Акулина *(достает и кладет на стол)*. Ну на, что их смотреть-то?

Анютка. Уж хороша же! Эта не хуже Степанидиной.

Акулина. Степанидиной? Куда Степанидина против этой годится. *(Оживляясь и развертывая.)* Глянь-ка сюда, доброта-то... Французская.

Анютка. И ситец же нарядный! У Машутки такой, только тот светлее, по лазоревому полю. Эта страсть хороша.

Никита. То-то!

Анисья проходит сердито в чулан, возвращается с трубой и столешником и подходит к столу.

Анисья. Ну вас, разложили.

Никита. Ты глянь-ка сюда!

Анисья. Чего мне глядеть! Не видала я, что ль? Убери ты. *(Смахивает рукой на пол полушальчик.)*

Акулина. Ты что швыряешься?.. Ты своим швыряй. *(Поднимает.)*

Никита. Анисья! Мотри!

Анисья. Чего смотреть-то?

Никита. Ты думаешь, я тебя забыл. Гляди сюда. *(Показывает сверток и садится на него.)* Тебе гостинец. Только заслужи. Жена, где я сижу?

Анисья. Будет куражиться-то. Не боюсь я тебя. Что ж, ты на чьи деньги гуляешь да своей жирехе гостинцы купляешь? На мои.

Акулина. Как же, твои! Украсть хотела, да не пришлось. Уйди, ты! *(Хочет пройти, толкает.)*

Анисья. Ты что толкаешься-то? Я те толкану.

Акулина. Толкану? Ну-ка, сунься. *(Напирает на нее.)*

Никита. Ну, бабы, бабы. Буде! *(Становится между ними.)*

Акулина. Тоже лезет. Молчала бы, про себя бы знала. Ты думаешь, не знают?

Анисья. Что знают? Сказывай, сказывай, что знают!

Акулина. Дело про тебя знаю.

Анисья. Шлюха ты, с чужим мужем живешь.

Акулина. А ты своего извела.

Анисья *(бросается на Акулину)*. Брешешь.

Никита *(удерживает)*. Анисья! Забыла?

Анисья. Что стращаешь? Не боюсь я тебя.

Никита. Вон! *(Поворачивает Анисью и выталкивает.)*

Анисья. Куда я пойду? Не пойду я из своего дома.

Никита. Вон, говорю. И ходить не смей.

Анисья. Не пойду. (*Никита толкает. Анисья плачет и кричит, цепляясь за дверь.)* Что ж это, из своего дома взашей гонят? Что ж ты, злодей, делаешь? Думаешь, на тебя и суда нет. Погоди ж ты!

Никита. Ну, ну!

Анисья. К старосте, к уряднику пойду.

Никита. Вон! говорю. *(Выталкивает.)*

Анисья *(из-за двери)*. Удавлюсь!

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Никита, Акулина, Анютка и Аким.

Никита. Небось.

Анютка. О-о-о! Матушка милая, родимая. *(Плачет.)*

Никита. Как же, испугался я ее очень. Ты чего плачешь? Придет небось! Поди самовар погляди.

Анютка выходит.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Никита, Аким и Акулина.

Акулина *(собирает покупку, складывает)*. Ишь, подлая, загваздала как! Погоди ж ты, я ей безрукавку изрежу. Пра, изрежу.

Никита. Выгнал я ее, ну чего ж ты?

Акулина. Новую шаль испачкала. Пра, сука, кабы она не ушла, я бельмы-то бы ей повыдрала.

Никита. Будет серчать. Тебе что серчать-то? Кабы я ее любил?

Акулина. Любил? Есть кого любить, толстомордую-то. Бросил бы ее тогда, ничего б не было. Согнал бы ее

к черту. А дом все равно мой и деньги мои. Тоже хозяйка, говорит, хозяйка, какая она мужу хозяйка? Душегубка она, вот кто. С тобой то же сделает.

Никита. Ох, бабий кадык не заткнешь ничем. Что болтаешь, сама не знаешь.

Акулина. Нет, знаю. Не стану с ней жить. Сгоню со двора. Не может она со мной жить. Хозяйка тоже. Не хозяйка она, острожная шкура.

Никита. Да буде. Чего тебе с ней делить? Ты на нее не гляди. На меня гляди. Я хозяин. Что хочу, то и делаю. Ее разлюбил, тебя полюбил. Кого хочу, того люблю. Моя власть. А ей арест. Она у меня вот где. *(Показывает под ноги.)* Эх, гармошки нет!

На печи калачи,
На приступке каша,
А мы жить будем
И гулять будем;
А смерть придет,
Помирать будем.
На печи калачи,
На приступке каша...

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же и Митрич (входит, раздевается и лезет на печь).

Митрич. Подрались, видно, опять бабы-то! Попапались. О господи! Микола милослевый.

Аким *(сидит с краю на печи, достает онучи, лапти и обувается)*. Пролезай, пролезай в угол-то.

Митрич *(лезет)*. Все не разделят, видно. О господи!

Никита. Достань наливку-то. С чаем выпьем.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Те же и Анютка.

Анютка *(входит; к Акулине)*. Нянька, самовар уходить хочет.

Никита. А мать где?

Анютка. Она в сенцах стоит, плачет.

Никита. То-то. Зови ее, вели самовар несть. Да давай, Акулина, посуду-то.

Акулина. Посуду-то? Ну что ж. *(Собирает посуду.)*

Никита *(достает наливку, баранки, селедки)*. Это, значит, себе, это бабе пряжа, карасин там в сенях. А вот и деньги. Постой. *(Берет счеты.)* Сейчас смекну. *(Кидает.)* Мука пшеничная восемь гривен, масло постное... Батюшке 10 рублев. Батюшка! Иди чай пить.

Молчание. Аким сидит на печи и перевивает оборы.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Те же и Анисья.

Анисья *(вносит самовар)*. Куда ставить-то?

Никита. Ставь на стол. Что, али сходила к старосте? То-то, говори да и откусывай. Ну, будет серчать-то. Садись, пей. *(Наливает ей рюмку.)* А вот и гостинчик тебе. *(Подает сверток, на котором сидел. Анисья берет молча, качая головой.)*

Аким *(слезает и надевает шубу; подходит к столу, кладет на него бумажку)*. На деньги твои. Прибери.

Никита *(не видит бумажку)*. Куда собрался одемши-то?

Аким. А пойду, пойду я, значит, простите Христа ради. *(Берет шапку и кушак.)*

Никита. Вот-те на! Куда пойдешь-то ночным делом?

Аким. Не могу я, значит, тае, в вашем доме, тае, не могу, значит, быть, быть не могу, простите.

Никита. Да куда ж ты от чаю-то?

Аким *(подпоясывается)*. Уйду, потому, значит, нехорошо у тебя, значит, тае, нехорошо, Микишка, в доме, тае, нехорошо. Значит, плохо ты живешь, Микишка, плохо. Уйду я.

Никита. Ну, буде толковать. Садись чай пить.

Анисья. Что ж это, батюшка, перед людьми стыдно будет. На что ж ты обижаешься?

Аким. Обиды мне, тае, никакой нет, обиды нет, значит, а только что, тае, вижу я, значит, что к погибели, значит, сын мой, к погибели сын, значит.

Никита. Да какая погибель? Ты докажь.

Аким. Погибель-то, погибель, весь ты в погибели. Я тебе летось что говорил?

Никита. Да мало ты что говорил.

Аким. Говорил я тебе, тае, про сироту, что обидел ты сироту, Марину, значит, обидел.

Никита. Эк помянул. Про старые дрожжи не поминать двожды, то дело прошло...

Аким *(разгорячась)*. Прошло? Не, брат, это не прошло. Грех, значит, за грех цепляет, за собою тянет, и завяз ты, Микишка, в грехе. Завяз ты, смотрю, в грехе. Завяз ты, погруз ты, значит.

Никита. Садись чай пить, вот и разговор весь.

Аким. Не могу я, значит, тае, чай пить. Потому от скверны от твоей, значит, тае, гнусно мне, дюже гнусно. Не могу я, тае, с тобой чай пить.

Никита. И, канителит. Иди к столу-то.

Аким. Ты в богатстве, тае, как в сетях. В сетях ты, значит. Ах, Микишка, душа надобна!

Никита. Какую ты имеешь полную праву в моем доме меня упрекать? Да что ж ты в самом деле пристал? Что я тебе мальчик дался, за виски драть! Нынче уж это оставили.

Аким. Это точно, слыхал я нынче, что и тае, что и отцов за бороды трясут, значит, да на погибель это, на погибель, значит.

Никита *(сердито)*. Живем, у тебя не просим, а ты ж к нам пришел с нуждой.

Аким. Деньги? Деньги твои вон они. Побираться, значит, пойду, а не тае, не возьму, значит.

Никита. Да буде. И что серчаешь, компанию расстраиваешь. *(Удерживает за руку.)*

Аким *(взвизгивает)*. Пусти, не останусь. Лучше под забором переночую, чем в пакости в твоей. Тьфу, прости господи! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Никита, Акулина, Анисья и Митрич.

Никита. Вот на!

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Те же и Аким.

Аким *(отворяет дверь)*. Опамятуйся, Микита. Душа надобна. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Никита, Акулина, Анисья и Митрич.

Акулина *(берет чашки)*. Что ж, наливать, что ль?

Все молчат.

Митрич *(рычит)*. О господи, помилуй мя грешного!

Все вздрагивают.

Никита *(ложится на лавку)*. Ох, скучно, скучно, Акулька! Где ж гармошка-то?

Акулина. Гармошка-то? Ишь, хватился. Да ты ее чинить отдал. Я налила, пей.

Никита. Не хочу я. Тушите свет... Ох, скучно мне, как скучно! *(Плачет.)*

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЛИЦА ЧЕТВЕРТОГО ДЕЙСТВИЯ

Никита.
Матрена.
Анисья.
Анютка.
Митрич.
Соседка.
Кума.
Сват — угрюмый мужик.

Осень. Вечер. Месяц светит. Внутренность двора. В середине сенцы, направо теплая изба и ворота, налево холодная изба и погреб. В избе слышны говор и пьяные крики. Соседка выходит из сеней, манит к себе Анисьину куму.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Кума и соседка.

Соседка. Чего ж Акулина-то не вышла?

Кума. Чего не вышла? И рада бы вышла, да недосуг, слышь. Приехали сваты невесту смотреть, а она, матушка моя, в холодной лежит и глаз не кажет, сердечная.

Соседка. Да что ж так?

Кума. С глазу, говорит, живот схватило.

Соседка. Да неужто?!

Кума. А то что ж. *(Шепчет на ухо.)*

Соседка. Ну? Вот грех-то. А ведь дознаются сваты.

Кума. Где ж им дознаться. Пьяные все. Да больше за приданым гонятся. Легко ли, дают за девкой-то две шубы, матушка моя, расстегаев шесть, шаль французскую, холстов тоже много что-то да денег, сказывали, две сотни.

Соседка. Ну, уж это и деньгам не рад будешь. Срамота такая.

Кума. Шш... Сват, никак.

Замолкают и входят в сени.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Сват один выходит из сеней, икает.

Сват. Упарился. Жарко страсть. Простудиться маленько. *(Стоит, отдувается.)* И бог е знает как... что-то не того, не радует... Ну, да как старуха...

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Сват и Матрена.

Матрена *(выходит из сеней же)*. А я смотрю: где сват, где сват? А ты, родной, во где... Ну, что ж, родимый, слава те господи, всё честь честью. Сватать не хвастать. А я хвастать и не училась. А как пришли вы за добрым делом, так, даст бог, и век благодарить будете. А невеста-то, ведашь, на редкость. Такой девки в округе поискать.

Сват. Оно так, да насчет денег не сморгать бы.

Матрена. А насчет денег не толкуй. Что ей от родителей награждение было, все при ней. По нонешнему времени, легко ли, три полста.

Сват. Мы и не обижаемся, а свое детище. Все как получше хочется.

Матрена. Я тебе, сват, истинно говорю: кабы не я, в жисть бы тебе не найти. У них от Кормилиных тоже засылка была, уж я застояла. А насчет денег — верно сказываю: как покойник, царство небесное, помирал, так и приказывал, чтоб в дом вдова Микиту приняла, потому мне через сына все известно, а денежки, значит, Акулине. Ведь другой бы покорыствовался, а Микита все дочиста отдает. Легко ли, деньжищи какие.

Сват. Народ болтает, денег больше за ней приказано. Малый-то тоже провор.

Матрена. И, голубчики белые. В чужих руках ломоть велик; что было, то и дают. Я тебе сказываю, ты все четки брось. Закрепляй тверже. Девка-то какая; как бобочек хорошая.

Сват. Оно так. Мы одно с бабой мекаем насчет девки-то. Что ж не вышла? Думаем, что ж, как хворая?

Матрена. И, и... Она-то хворая? Да против ней в округе нет. Девка как литая — не ущипнешь. Да ведь ты намедни видел. А работать страсть. С глушинкой она, это точно. Ну, да червоточинка красному яблочку не покор. А что не вышла-то, это, ведашь, с глазу. Сделано над ней. И знаю, чья сука смастерила. Знали, ведашь, что сговор,

пу, и напущено. Да я отговор знаю. Завтра встанет девка. Ты насчет девки не сумлевайся.

Сват. Да что ж, дело полажено.

Матрена. То-то, ты уж того, и не пяться. Да меня не забудь. Хлопотала я тоже. Уж ты не оставь...

Голос бабы из сеней. Ехать так ехать, иди, что ли, Иван.

Сват. Сейчас. *(Уходит.)*

Толпятся в сенях, уезжают.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Анисья и Анютка.

Анютка *(выбегает из сеней и манит к себе Анисью).* Матушка!

Анисья *(оттуда).* Чего?

Анютка. Мамушка, подь сюда, а то услышат. *(Отходит с ней под сарай.)*

Анисья. Ну чего? Где Акулина-то?

Анютка. Она в амбар ушла. Что она там делает, страсть! Однова дыхнуть, нет, говорит, мочи терпеть. Закричу, говорит, на весь голос. Однова дыхнуть.

Анисья. Авось подождет. Дай гостей проводим.

Анютка. Ох, мамушка! Тяжко ей как. Да и серчает. Напрасно, говорит, они меня пропивают. Я, говорит, не пойду замуж, я, говорит, помру. Мамушка, как бы она не померла! Страсть, я боюсь!

Анисья. Небось не помрет; а ты не ходи к ней. Иди.

Анисья и Анютка уходят.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Митрич *(один; идет от ворот и принимается подбирать натрушенное сено).* О господи, Микола милослевый! Винища-то что выдули. Да и духу же напустили. Аж во дворе воняет. Да нет, не хочу, ну его! Вишь, нашвыряли сено-то! Есть не едят — только копают. Глядишь, вязанка. Дух-то! Ровно под носом. Ну его! *(Зевает.)* Спать время. Да неохота в избу идти. Так вокруг носу и вьется. Духовита ж, проклятая.

Слышно — уезжают.

Ну, уехали. О господи, Микола милослевый! Тоже хомутаются, друг дружку околпачивают. А пустое все.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Митрич и Никита.

Никита *(входит)*. Митрич! Иди, что ли, на печку, я подберу.

Митрич. Ну что ж; ты овцам кинь. Что ж, проводили?

Никита. Проводили, да неладно все. Уж и не знаю, как быть.

Митрич. Эка дерьма! Чего ж тут. На то спитательный. Там кто хошь его вырони, он все подберет. Давай сколько хошь, не спрашивают. Да еще деньги дают. Только поди в кормилицы. Нынче это просто.

Никита. Ты, Митрич, смотри, если что, лишнего не болтай.

Митрич. А мне что. Заметай след, как знаешь. Эка винищем от тебя разит как. Пойти в избу. *(Уходит, зевая.)* О господи!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Никита долго молчит; садится на сани.

Никита. Ну дела!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Никита и Анисья.

Анисья *(выходит)*. Ты где ж тут?

Никита. Здеся.

Анисья. Чего сидишь? Ждать неколи. Сейчас выносить надо.

Никита. Что ж делать будем?

Анисья. Я тебе сказывала что. То и делай.

Никита. Да вы бы в воспитательный, коли что.

Анисья. Возьми да и неси, коли тебе охота. На пакости-то лаком. А на разделку-то слаб, вижу.

Никита. Что делать-то?

Анисья. Говорю, поди в погреб, яму вырой.

Никита. Да вы бы так как-нибудь.

Анисья *(передразнивая его)*. Так как-нибудь. Нельзя, видно, так-то. А ты бы загодя думал. Иди, куда посылают.

Никита. Ах, дела, дела!

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же и Анютка.

Анютка. Мамушка! Бабка зовет. Должно, у няньки робеночек, однова дыхнуть, закричал.

Анисья. Что брешешь, пралик тебя расшиби. Котята там пищат. Иди в избу да спи. А то я тебя.

Анютка. Мамушка, милая, пра, ей-богу...

Анисья (*замахивается на нее*). Я тебя! Чтоб духу твоего не слыхала!

Анютка убегает.

Анисья *(Никите)*. Поди, делай, что говорят. А то смотри! (*Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Никита один, долго молчит.

Никита. Ну, дела! Ох, эти бабы. Беда! Ты, говорит, загодя думал бы. Когда загодя думать-то? Когда думать-то? Что ж, летось пристала эта Анисья. Ну, что ж? Разве я монах? Помер хозяин, что ж, я и грех прикрыл, как должно. Тут моей причины нет. Разве мало бывает так-то? А тут порошки эти. Разве я на это склонял ее? Да кабы я знал, я бы ее, суку, убил тогда! Право, убил бы! Участником в этих пакостях сделала, паскудница! И опостылела ж она мне с этого раза. Как мне мать сказала тогда, опостылела, опостылела она мне, не смотрели б па нее глаза. Ну, как с ней жить? И пошло это у нас!.. Стала эта девка вешаться. Что ж мне? Не я, так другой. А оно вон что! Опять-таки моей причины нет никакой. Ох, дела!.. *(Сидит задумавшись.)* Смелы ж эти бабы, — что придумали. Да не пойду я на это.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Никита и Матрена (с фонарем и скребкой впопыхах выходит).

Матрена. Ты что ж сидишь, как курица на насесте? Тебе что баба велела? Готовь дело-то.

Никита. Да вы что ж делать-то будете?

Матрена. Да мы знаем, что делать. Ты-то свое дело справляй.

Никита. Запутляете вы меня.

Матрена. Ты что ж? Али пятиться думаешь? До чего дошло, ты и пятиться.

Никита. Ведь это какое дело! Живая душа тоже.

Матрена. Э, живая душа! Чего там, чуть душа держится. А куда его деть-то? Поди, понеси в воспитательный, — все одно помрет, а помолвка пойдет, сейчас расславят, и сядет у нас девка на руках.

Никита. А как узнают?

Матрена. В своем дому да не сделать дела? Так сделаем, что и не попахнет. Только делай, что велю. А то наше дело бабье, тоже без мужика никак нельзя. На-ка скребочку-то, да слезь, да и справь там. А я посвечу.

Никита. Что справлять-то?

Матрена *(шепотом)*. Ямку выкопай. А тогда вынесем и живо приберем там. Вон она опять кличет. Иди, что ль! А я пойду.

Никита. А что ж, помер он?

Матрена. Известно, помер. Только живей надо. А то народ не полегся. Услышат, увидят, — им все, подлым, надо. А урядник вечор проходил. А ты вот что. *(Подает скребку.)* Слезь в погреб-то. Там в уголку выкопай ямку, землица мягкая, тогда опять заровняешь. Земля-матушка никому не скажет, как корова языком слижет. Иди же. Иди, родной.

Никита. Запутляете вы меня. Ну вас совсем. Право, уйду. Делайте одни, как знаете.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Те же и Анисья.

Анисья *(из двери)*. Что ж, выкопал он, что ли?

Матрена. Ты что ж ушла? Куда дела-то его?

Анисья. Веретьем прикрыла. Не слыхать будет. Что ж он, выкопал?

Матрена. Не хочет!

Анисья *(выскакивает в бешенстве)*. Не хочет! А в остроге вшей кормить хочет?! Сейчас пойду, все уряднику скажу. Пропадать заодно. Сейчас все скажу.

Никита *(оторопевши)*. Что скажешь-то?

Анисья. Что? Все скажу! Деньги кто взял? Ты!

Никита молчит.

А яду кто давал! Я давала! Да ты знал, знал, знал! С тобой в согласье была!

Матрена. Да будет. Ты, Микишка, что костричишься? Ну, что ж делать? Потрудиться надо. Иди, ягодка.

Анисья. Ишь ты, чистяк какой! Не хочет! Надругался ты надо мной, да будет. Поездил ты на мне, да и мой черед пришел. Иди, говорю, а то я то сделаю!.. На скребку-то, на! Иди!

Никита. Да ну же; что пристала? *(Берет скребку, но жмется.)* Не захочу — не пойду.

Анисья. Не пойдешь? *(Начинает кричать.)* Народ! Э-э!

Матрена *(закрывает ей рот)*. Что ты! Очумела! Он пойдет... Иди, сынок, иди, роженый.

Анисья. Сейчас караул закричу.

Никита. Да будет! Эх, народ этот. Да вы живей, что ли. Уж заодно. (*Идет к погребу.)*

Матрена. Да, уж дело такое, ягодка: умел гулять, умей и концы хоронить.

Анисья *(всё в волнении)*. Измывался он надо мной с висюгой своей! Да будет! Пусть не я одна. Пусть-ка и он душегубец будет. Узнает, каково.

Матрена. Ну, ну, распалилась. А ты, деушка, не серчай, а потихоньку да помаленьку, как получше. Иди к девке-то. Он потрудится. *(Идет за ним с фонарем. Никита влезает в погреб.)*

Анисья. Ему и задушить велю отродье свое поганое. *(Всё в волнении.)* Измучалась я одна, Петровы кости-то дергаючи. Пускай и он узнает. Не пожалею себя; сказала, не пожалею!

Никита *(из погреба)*. Посвети-ка, что ль!

Матрена *(светит; к Анисье)*. Копает. Иди неси.

Анисья. Постой над ним. А то он, подлый, уйдет. А я пойду вынесу.

Матрена. Мотри, окрестить не забудь. А то я потружусь. Крестик-то есть?

Анисья. Найду, я знаю как. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Матрена (одна) и Никита (в погребе).

Матрена. Тоже острабучилась как баба. Да и то сказать, обидно. Ну, да слава богу, дай это дело прикроем, и концы в воду. Спихнем девку без греха. Останется сы-

нок жить покойно. Дом, слава богу, полная чаша. Тоже и меня не забудет. Без Матрены что б они были? Ничего б им не обдумать. (*В погреб.*) Готово, что ли, сынок?

Никита *(вылезает, голова видна)*. Чего ж там? Несите, что ль! Что валандаетесь? Делать так делать.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Те же и Анисья. Матрена идет к сеням и встречает Анисью. Анисья выходит с ребенком, завернутым в тряпье.

Матрена. Что ж, окрестила?

Анисья. А то как же? Насилу отняла, — не дает. (*Подходит и подает Никите.*)

Никита *(не берет)*. Да ты сама снеси.

Анисья. На, бери, говорю. *(Кидает ему ребенка.)*

Никита *(подхватывает)*. Живой! Матушка родимая, шевелится! Живой! Что ж я с ним буду...

Анисья *(выхватывает ребенка у него из рук и кидает в погреб)*. Задуши скорей, не будет живой. *(Сталкивает Никиту вниз.)* Твое дело, ты и прикончи.

Матрена *(садится на приступку)*. Жалостлив он. Трудно ему, сердечному. Ну, да что ж! Его грех тоже. (*Анисья стоит над погребом. Матрена садится на приступок крыльца, поглядывает на нее и рассуждает.*) И-и-и как испужался! Ну, да что ж? хоть и трудно, помимо-то нельзя. Куда денешься-то? Тоже, подумаешь, как другой раз просят детей! Ан, глядь, бог не дает, всё мертвеньких рожают. Вон хоть бы попадья. А тут не надо его, тут и живой. *(Глядит к погребу.)* Должно, покончил. *(К Анисье.)* Ну что?

Анисья *(глядя в погреб)*. Доской прикрыл, на доску сел. Кончил, должно.

Матрена. О-ох! И рад бы не грешить, а что сделаешь?

Никита *(вылезает, трясется весь)*. Жив все! Не могу! Жив!

Анисья. А жив, так куда ж ты? *(Хочет остановить его.)*

Никита *(бросается на нее)*. Уйди ты! Убью я тебя! *(Схватывает ее за руку, она вырывается, он бежит за ней с скребкой. Матрена бросается к нему навстречу, останавливает его. Анисья убегает на крыльцо. Матрена хочет отнять скребку. Никита на мать.)* Убью, и тебя убью,

уйди! *(Матрена убегает к Анисье на крыльцо. Никита останавливается.)* Убью. Всех убью!

Матрена. С испугу это. Ничего, сойдет это с него.

Никита. Что ж это они сделали? Что они со мной сделали? Пищал как... Как захрустит подо мной. Что они со мной сделали! И жив, все, право, жив! *(Молчит и прислушивается).* Пищит... Во пищит. *(Бежит к погребу.)*

Матрена *(к Анисье).* Идет, видно, зарыть хочет. Микита, тебе бы фонарь.

Никита *(не отвечая, слушает у погреба).* Не слыхать. Примстилось. *(Идет прочь и останавливается.)* И как захрустят подо мной косточки. Кр... кр... Что они со мной сделали? *(Опять прислушивается.)* Опять пищит, право, пищит. Что ж это? Матушка, а матушка! *(Подходит к ней.)*

Матрена. Что, сынок?

Никита. Матушка родимая, не могу я больше. Ничего не могу. Матушка родимая, пожалей ты меня!

Матрена. Ох, напугался же ты, сердечный. Поди, поди. Винца, что ль, выпей для смелости.

Никита. Матушка родимая, дошло, видно, до меня. Что вы со мной сделали? Как захрустят эти косточки, да как запищит!.. Матушка родимая, что вы со мной сделали! *(Отходит и садится на сани.)*

Матрена. Поди, родной, выпей. Оно, точно, ночным делом жутость берет. А дай срок, ободняет, да, ведашь, денек-другой пройдет, и думать забудешь. Дай срок, девку отдадим и думать забудем. А ты выпей, выпей поди. Я уж сама приберу в погребе-то.

Никита *(встряхивается).* Вино осталось там? Не запью ли?! *(Уходит. Анисья, стоявшая все время у сеней, молча сторонится.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Матрена и Анисья.

Матрена. Иди, иди, ягодка, а уж я потружусь, полезу сама, закопаю. Скребку-то куда он тут бросил? *(Находит скребку, спускается в погреб до половины.)* Анисья, подь-ка сюда, посвети, что ль?

Анисья. А он-то что ж?

Матрена. Да напугался больно. Напорно уж больно ты налегла на него. Не замай, опамятуется. Бог

с ним, уж я сама потружусь. Фонарь-то поставь тут. Я увижу. *(Матрена скрывается в погребе.)*

Анисья *(на дверь, куда ушел Никита)*. Что, догулялся? Широк ты был, теперь, погоди, сам узнаешь каково. Пыху-то сбавишь.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Те же и Никита (выскакивает из сеней к погребу).

Никита. Матушка, а матушка?

Матрена *(высовывается из погреба)*. Чего, сынок?

Никита *(прислушивается)*. Не зарывай, живой он. Разве не слышишь? Живой! Во... пищит. Во, внятно...

Матрена. Да где ж пищать-то? Ведь ты его в блин расплющил. Всю головку раздребезжил.

Никита. Что ж это? *(Затыкает уши.)* Все пищит! Решился я своей жизни. Решился! Что они со мной сделали?! Куда уйду я?! *(Садится на приступки.)*

Занавес

ВАРИАНТ

Вместо явлений двенадцатого — четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого действия четвертого можно читать следующий вариант.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Изба первого действия.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Анютка раздетая лежит на коннике под кафтаном, Митрич сидит на хорах и курит.

Митрич. Ишь, духу-то напустили, в рот им ситного пирога с горохом. Мимо лили добро-то. И табаком не заглушишь. Так в носу и вертит. О господи! Спать, видно. *(Подходит к лампочке, хочет завернуть.)*

Анютка *(вскакивает, садится)*. Дедушка, не туши, голубчик!

Митрич. Чего не тушить?

Анютка. А на дворе-то гомонили как. *(Прислушивается.)* Слышишь опять в амбар пошли?

Митрич. Тебе-то чего? Авось тебя не спрашивают. Ложись да и спи. А я вот заверну свет. *(Завертывает.)*

Анютка. Дедушка, золотой! не гаси совсем. Хоть в мышиный глазок оставь, а то жуть.

Митрич *(смеется)*. Ну, ладно, ладно. *(Присаживается подле нее.)* Чего жутко-то?

Анютка. Как не жутко, дедушка! Нянька как билась. Об рундук головой билась. *(Шепотом.)* Я ведь знаю... У ней робеночек родиться хочет... Родился уж, никак...

Митрич. Эка егоза, залягай тебя лягушки. Все тебе знать надо. Ложись, да и спи.

Анютка ложится.

Вот так-то. *(Закрывает ее.)* Вот так-то. А то много знать будешь, скоро состаришься.

Анютка. А ты на печку пойдешь?

Митрич. А то куды ж? То-то глупая, посмотрю я. Все ей знать надо. *(Закрывает ее еще и поднимается идти.)* Вот так-то лежи, да и спи. *(Идет к печи.)*

Анютка. Разочек крикнул, а теперь не слыхать.

Митрич. О господи, Микола милослевый!.. Чего не слыхать-то?

Анютка. Робеночка.

Митрич. А нет его, так и не слыхать.

Анютка. А я слышала, однова дыхнуть, слышала. Тоооненько так.

Митрич. Много ты слышала. А слышала так, как вот такую-то девчонку, как ты, детосека в мешок посадил, да и ну ее.

Анютка. Какой такой детосека?

Митрич. А вот такой самый. *(Лезет на печь.)* И хороша ж печка нынче, тепла. Любо! О господи, Микола милослевый!

Анютка. Дедушка! Ты заснешь?

Митрич. А то что ж ты думала — песни играть буду?

Молчание.

Анютка. Дедушка, а дедушка! Копают! Ей-богу, копают, в погребе копают, слышь! Однова дыхнуть, копают!

Митрич. Чего не вздумает. Ночью копают. Кто копает? Корова чешется, а ты — копают! Спи, говорю, а то сейчас свет потушу.

Анютка. Голубчик, дедушка, не туши. Не буду. Ей-богу, не буду, однова дыхнуть, не буду. Страшно мне.

Митрич. Страшно? Ты не бойся ничего, вот и не будет страшно. А то сама боится и страшно, говорит. Как же не страшно, как ты боишься? Эка девчонка глупая какая.

Молчание. Сверчок.

Анютка *(шепотом)*. Дедушка! А дедушка! Ты заснул?

Митрич. Ну, чего еще?

Анютка. Кака же така детосека?

Митрич. А вот така. Вот как попадется такая же, как ты, — не спит, он придет с мешком, да девчонку шварк в мешок, да сам туда же с головой, подымет ей рубашонку, да и ну хлестать.

Анютка. Да чем же он хлестает?

Митрич. А веник возьмет.

Анютка. Да он там не увидит, в мешке-то.

Митрич. Небось увидит.

Анютка. А я его укушу.

Митрич. Нет, брат, его не укусишь.

Анютка. Дедушка, идет кто-то! Кто это? Ай, матушки родимые! Кто это?

Митрич. Идет, так идет. Чего ж ты? Мать, я чай, идет.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Анисья (входит).

Анисья. Анютка!

Анютка притворяется, что спит.

Митрич!

Митрич. Чего?

Анисья. Что свет-то жжете? Мы в холодной ляжем.

Митрич. Да вот только убрался. Я потушу.

Анисья *(ищет в сундуке и ворчит)*. Как надо, его никак и не найдешь.

Митрич. Да ты чего ищешь-то?

Анисья. Крест ищу. Окрестить надо. Помилуй бог, помрет! Некрещеный-то! Грех ведь!

Митрич. А то как же, известно, порядок надо... Что, нашла?

Анисья. Нашла. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Митрич и Анютка.

Митрич. То-то, а то бы я свой дал. О господи!

Анютка *(вскакивает и дрожит)*. О-о, дедушка! Не засыпай ты, Христа ради. Страшно как!

Митрич. Да чего страшно-то?

Анютка. Помрет, должно, робеночек-то? У тетки Арины так же бабка окрестила,— он и помер.

Митрич. Помрет — похоронят.

Анютка. Да, может, он бы и не помер, да бабка Матрена тут. Ведь я слышала, что бабка-то говорила, однова дыхнуть, слышала.

Митрич. Чего слышала? Спи, говорю. Закройся с головой, да и все.

Анютка. А кабы жив был, я б его нянчила.

Митрич *(рычит)*. О господи!

Анютка. Куды ж они его денут?

Митрич. Туда и денут, куда надо. Не твоя печаль. Спи, говорю. Вот мать придет — она тебя!

Молчание.

Анютка. Дедушка! А ту девчонку, ты сказывал, ведь не убили же?

Митрич. Про ту-то? О, та девчонка в дело вышла.

Анютка. Как ты, дедушка, сказывал, нашли-то ее?

Митрич. Да так и нашли.

Анютка. Да где ж нашли? Ты скажи.

Митрич. В ихнем доме и нашли. Пришли в деревню, стали солдаты шарить по домам, глядь — эта самая девчонка на пузе лежит. Хотели ее пришибить. Да так мне скучно стало, взял я ее на руки. Так ведь не дается. Отяжелела, как пять пудов в ней сделалось; а руками цапается за что попало, не отдерешь никак. Ну, взял я ее, да по головке, по головке. А шаршавая, как еж. Гладить, гладить — затихла. Помочил сухарика, дал ей. Поняла-таки. Погрызла. Что с ней делать? Взяли ее. Взяли, стали кормить да кормить, да так привыкла, с собой в поход взяли, так с нами и шла. Хороша девчонка была.

А н ю т к а. Что ж, а некрещеная?

М и т р и ч. А кто е знает. Сказывали, что не вполне. Потому народ ненашенский.

А н ю т к а. Из немцов?

М и т р и ч. Эка ты: из немцов. Не из немцов, а азиаты. Они всё равно как жиды, а не жиды тоже. Из поляков, а азиаты. Крудлы, круглы прозвище им. Да уж забыл я. Девчонку-то мы Сашкой прозвали. Сашка, а хороша была. Ведь вот все забыл, а на девчонку, в рот ей ситного пирога с горохом, как сейчас гляжу. Только и помню из службы из всей. Как пороли, помню, да вот девчонка в памяти. Повиснет, бывало, на шее, и несешь ее. Такая девчонка была, что надо лучше, да некуда. Отдали потом. Ротного жена в дочери взяла. И в дело вышла. Жалели как солдаты!

А н ю т к а. А вот, дедушка, тоже батя, я помню, как помирал. Ты еще не жил у нас. Так он позвал Микиту, да и говорит, прости меня, говорит, Микита... а сам заплакал. *(Вздыхает.)* Тоже как жалостно.

М и т р и ч. А вот то-то и оно-то...

А н ю т к а. Дедушка, а дедушка. Вот опять шумят чтой-то в погребе. Ай, матушки, сестрицы-голубушки! Ох, дедушка, сделают они что над ним. Загубят они его. Махонький ведь он... О-о! *(Закрывается с головой и плачет.)*

М и т р и ч *(прислушивается)*. И впрямь что-то пакостят, дуй их горой. А пакостницы же бабы эти! Мужиков похвалить нельзя, а уж бабы... Эти как звери лесные. Ничего не боятся.

А н ю т к а *(поднимается)*. Дедушка, а дедушка!

М и т р и ч. Ну, чего еще?

А н ю т к а. Намедни прохожий ночевал, сказывал, что младенец помрет — его душка прямо на небу пойдет. Правда это?

М и т р и ч. Кто е знает, должно так. А что?

А н ю т к а. Да хоть бы и я померла. *(Хнычет.)*

М и т р и ч. Помрешь, из счета вон.

А н ю т к а. До десяти годов все младенец, душа к богу, может, еще пойдет, а то ведь изгадишься.

М и т р и ч. Еще как изгадишься-то! Вашей сестре как не изгадиться? Кто вас учит? Чего ты увидишь? Чего услышишь? Только гнусность одну. Я хоть немного учен, а кое-что да знаю. Не твердо, а все не как деревенска баба. Деревенска баба что? Слякоть одна. Вашей сестры

в России большие миллионы, а все, как кроты слепые,— ничего не знаете. Как коровью смерть опахивать, привороты всякие, да как под насест ребят носить к курам — это знают.

Анютка. Мамушка и то носила.

Митрич. А то-то и оно-то. Миллионов сколько баб вас да девок, а все, как звери лесные. Как выросла, так и помрет. Ничего не видала, ничего не слыхала. Мужик — тот хоть в кабаке, а то и в зàмке, случаем, али в солдатстве, как я, узнает кое-что. А баба что? Она не то что про бога, она и про пятницу-то не знает толком, какая такая. Пятница, пятница, а спроси какая, она и не знает. Так, как щенята слепые ползают, головами в навоз тычатся. Только и знают песни свои дурацкие: го-го, го-го. А что го-го, сами не знают...

Анютка. А я, дедушка, Вотчу до половины знаю.

Митрич. Знаешь ты много! Да и спросить с вас тоже нельзя. Кто вас учит? Только пьяный мужик когда вожжами поучит. Только и ученья. Уж и не знаю, кто за вас отвечать будет. За рекрутов так с дядьки или с старшóго спросят. А за вашу сестру и спросить не с кого. Так, беспастушная скотина, озорная самая, бабы эти. Самое глупое ваше сословие. Пустое самое ваше сословие.

Анютка. А как же быть-то?

Митрич. А так и быть. Завернись с головой да и спи. О господи!

Молчание. Сверчок.

Анютка *(вскакивает)*. Дедушка! Кричит кто-то, не путем кто-то! Ей-богу, право, кричит. Дедушка, милый, сюда идет.

Митрич. Говорю, с головой укройся.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, Никита и Матрена.

Никита *(входит)*. Что они со мной сделали? Что они со мной сделали?!

Матрена. Выпей, выпей, ягодка, винца-то. *(Достает вино и ставит.)* Что ты?

Никита. Давай. Не запью ли?

Матрена. Тише! Не спят ведь. На, выпей.

Никита. Что ж это? Зачем вы это вздумали? Снесли бы куда.

Матрена *(шепотом)*. Посиди, посиди тут, выпей еще, а то покури. Оно разобьет мысль-то.

Никита. Матушка родимая, дошло, видно, до меня. Как запищит, да как захрустят эти косточки — кр... кр... не человек я стал.

Матрена. И-и! Что говоришь несуразно совсем. Оно точно — ночным делом жутость берет, а дай ободняет, денек-другой пройдет, и думать забудешь. *(Подходит к Никите, кладет ему руку на плечо.)*

Никита. Уйди от меня. Что вы со мной сделали?

Матрена. Да что ты, сынок, в самом деле. *(Берет его за руку.)*

Никита. Уйди ты от меня! Убью! Мне теперь всё нипочем. Убью!

Матрена. Ах, ах, напугался как! Да иди, что ль, спать-то.

Никита. Некуда мне идти. Пропал я!

Матрена *(качает головой)*. Ох, ох, пойти убрать, а он обсидится, сойдет это с него. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Никита, Митрич, Анютка.

Никита *(сидит, закрыв лицо руками. Митрич и Анютка замерли)*. Пищит, право, пищит, во, во... внятно. Зароет, она его, право, зароет! *(Бежит в дверь.)* Матушка, не зарывай, живой он...

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Матрена.

Матрена *(возвращаясь, шепотом)*. Да что ты, Христос с тобой! И что не примстится. Где же живому быть! Ведь и косточки-то все раздребезжены.

Никита. Давай еще вина. *(Пьет.)*

Матрена. Иди, сынок. Заснешь теперь, ничего.

Никита *(стоит, слушает)*. Жив все... во... пищит. Разве не слышишь? Во!

Матрена *(шепотом)*. Да нет же!

Никита. Матушка родимая! Решился я своей жизни. Что вы со мной сделали! Куда уйду я? *(Выбегает из избы, и Матрена за ним.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Митрич и Анютка.

Анютка. Дедушка, милый, голубчик, задушили они его!

Митрич *(сердито)*. Спи, говорю. Ах ты, лягай тебя лягушки! Вот я тебя веником! Спи, говорю.

Анютка. Дедушка, золотой! Хватает меня ктой-то за плечушки, хватает ктой-то, лапами хватает. Дедушка, милый, однова дыхнуть, пойду сейчас.. Дедушка, золотой, пусти ты меня па печь! Пусти ты меня ради Христа... Хватает... хватает... А-а! *(Бежит к печке.)*

Митрич. Ишь натращали девчонку как. То-то пакостницы, лягай их лягушки. Ну! пролезай, что ль.

Анютка *(лезет на печь)*. Да ты не уходи.

Митрич. Куда я пойду? Лезь, лезь! О господи, Микола-угодник, матерь пресвятая богородица казанская... Натращали девчонку как. *(Прикрывает ее.)* То-то дурочка, право, дурочка... Натращали, право, паскудницы, в рот им ситного пирога с горохом.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЛИЦА ПЯТОГО ДЕЙСТВИЯ

Никита.
Анисья.
Акулина.
Аким.
Матрена.
Анютка.
Марина.
Муж Марины.
1-я девка.
2-я девка.
Урядник.
Извозчик.
Дружко.
Сваха.
Жених Акулины.
Староста.
Гости, бабы, девки, народ на свадьбе.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Гумно. На первом плане одонье, слева ток, справа сарай гуменный. Открыты ворота сарая; в воротах солома; в глубине виден двор и слышны песни и бубенцы. Идут по дорожке мимо сарая к избе две девки.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Две девки.

1-я девка. Вот видишь, как прошли, и полусапожек не замарали, а слободой-то беда! — грязно...

Останавливаются, отирают соломой ноги.

1-я девка *(глядит в солому и видит что-то)*. Это что ж тут?

2-я девка *(разглядывает)*. Митрич это, работник ихний. Вишь, налился как.

1-я девка. Да он не пил, никак?

2-я девка. До поднесенного дня, видно.

1-я девка. Глянь-ка, он, видно, сюда за соломой пришел. Вишь, и веревка в руках, да так и заснул.

2-я девка *(прислушивается)*. Всё еще величают. Должно, еще не благословляли. Акулина-то, сказывали, и выть не выла.

1-я девка. Мамушка сказывала, неохотой идет. Ей вотчим пригрозил, а то бы в жисть не пошла. Ведь про нее что болтали!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Марина догоняет девок.

Марина. Здорово, деушки!

Девки. Здорово, тетенька!

Марина. На свадьбу, миленькие?

1-я девка. Да уж отошла. Так, поглядеть.

Марина. Покличьте вы моего старика, Семена из Зуева. Знаете, я чай?

1-я девка. Как не знать? Родня он жениху, никак.

Марина. Как же, племянник моему хозяину-то жених-от.

2-я девка. Что ж сама не идешь? На свадьбу да не идти.

Марина. Неохота, деушка, да и недосуг. Ехать надо. Мы не на свадьбу и сбирались. Мы с овсом в город. Покормить остановились, а старика-то моего и зазвали.

1-я девка. Вы к кому же заехали? К Федорочу?

Марина. У него. Так я здесь постою, а ты покличь, миленькая, старика-то моего. Вызови, касатка. Скажи: баба твоя, Марина, велела ехать; товарищи запрягают.

1-я девка. Что ж, ладно, коли сама не пойдешь.

Девки уходят по тропинке ко двору. Слышны песни и бубенцы.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Марина одна.

Марина *(задумывается)*. Пойти бы ничего, да неохота, потому не видалась я с ним с той самой поры, как отказался он. Другой год. А взглянула бы глазком, как живет он с своей с Анисьей. Говорят люди — нелады у них. Баба она грубая, характерная. Поминал, я чай, не раз. Позарился на прокладную жизнь. Меня променял. Ну да бог с ним, я зла не помню. Тогда обидно было. Ах, больно было! А теперь перетерлось на себе — и забыла.

А поглядела б его... *(Смотрит ко двору, видит Никиту.)* Вишь ты! Чего ж это он идет? Али девки ему сказали? Что ж это он от гостей ушел? Уйду я.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Марина и Никита (идет сначала повеся голову и, махая руками, бормочет).

Марина. Да и сумрачный же какой!

Никита *(видит Марину, узнает)*. Марина! Друг любезный, Маринушка! Ты чего!

Марина. Я за стариком за своим.

Никита. Что ж на свадьбу не пришла? Посмотрела б, посмеялась на меня.

Марина. Чего ж мне смеяться-то? Я за хозяином пришла.

Никита. Эх, Маринушка! *(Хочет ее обнять.)*

Марина *(сердито отстраняется)*. А ты, Микита, эту ухватку оставь. То было, да прошло. За хозяином пришла. У вас он, что ль?

Никита. Не поминать, значит, старого? Не велишь?

Марина. Старое нечего поминать. Что было, то прошло.

Никита. И не воротится, значит?

Марина. И не воротится. Да ты что ж ушел-то? Хозяин, да со свадьбы ушел.

Никита *(садится на солому)*. Что ушел-то? Эх, кабы знала ты да ведала!.. Скучно мне, Марина, так скучно, не глядели б мои глаза. Вылез из-за стола и ушел, от людей ушел, только бы не видать никого.

Марина *(подходит к нему ближе)*. Что ж так?

Никита. А то, что в еде не заем, в питье не запью, во сне не засплю. Ах, тошно мне, так тошно! А пуще всего тошно мне, Маринушка, что один я и не с кем мне моего горя размыкать.

Марина. Без горя, Микита, не проживешь. Да я свое переплакала — и прошло.

Никита. Это про прежнее, про старинное. Эх, друг, переплакала ты, а мне вот дошло!

Марина. Да что ж так?

Никита. А то, что опостылело мне все мое житье. Сам себе опостылел. Эх, Марина, не умела ты меня держать, погубила ты меня и себя тоже! Что ж, разве это житье?

Марина *(стоит у сарая, плачет и удерживается).* Я на свое житье, Никита, не жалюсь. Мое житье — дай бог всякому. Я не жалюсь. Покаялась я тогда старику моему. Простил он меня. И не попрекает. Я на свою жизнь не обижаюсь. Старик смирный и желанный до меня; я его детей одеваю, обмываю. Он меня тоже жалеет. Что ж мне жалиться. Так, видно, бог присудил. А твое житье что ж? В богатстве ты...

Никита. Мое житье!.. Только свадьбу тревожить не хочется, а вот взял бы веревку, вот эту *(берет в руки веревку с соломы),* да на перемете вот на этом перекинул бы. Да петлю расправил бы хорошенько, да влез на перемет, да головой туда. Вот моя жизнь какая!

Марина. Полно, Христос с тобой!

Никита. Ты думаешь, я в шутку? Думаешь, что пьян? Я не пьян. Меня нынче и хмель не берет. А тоска, съела меня тоска на отделку. Так заела, что ничто-то мне не мило! Эх, Маринушка, только я пожил, как с тобою, помнишь, на чугунке ночи коротали?

Марина. Ты Микита, не вереди, где наболело. Я закон приняла и ты тож. Грех мой прощеный, а старое не вороши...

Никита. Что ж мне с своим сердцем делать? Куда деваться-то?

Марина. Чего делать-то? Жена у тебя есть, на других не зарься, а свою береги. Любил ты Анисью, так и люби.

Никита. Эх, эта мне Анисья — полынь горькая, только она мне, как худая трава, ноги оплела.

Марина. Какая ни есть — жена. Да что толковать! Поди лучше к гостям да мне мужа покличь.

Никита. Эх, кабы знала ты все дела... Да что говорить!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Никита, Марина, муж ее и Анютка.

Муж Марины *(выходит от двора красный, пьяный).* Марина! Хозяйка! Старуха! Здесь ты, что ль?

Никита. Вот и твой хозяин идет, тебя кличет. Иди.

Марина. А ты что ж?

Никита. Я? Я полежу тут. *(Ложится в соломе.)*

Муж Марины. Где ж она!

Анютка. А вон она, дяденька, дле сарая.

Муж Марины. Чего стоишь? Иди на свадьбу-то! Хозяева велят тебе идти, честь сделать. Сейчас поедет свадьба, и мы пойдем.

Марина *(выходит навстречу мужу)*. Да неохота было.

Муж Марины. Иди, говорю. Выпьешь стаканчик. Петрунькю-шельмеца проздравишь. Хозяева обижаются, а мы во все дела поспеем. *(Муж Марины обнимает ее и, шатаясь, с ней вместе уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Никита и Анютка.

Никита *(поднимается и садится на соломе)*. Эх, увидал я ее, еще тошней стало. Только и было жизни, что с нею. Ни за что про что загубил свой век; погубил я свою голову! *(Ложится.)* Куда денусь? Ах! Расступись, мать сыра земля!

Анютка *(видит Никиту и бежит к нему)*. Батюшка, а батюшка! Тебя ищут. Все уже, и крестный, благословили. Однова дыхнуть, благословили. Уж серчают.

Никита *(про себя)*. Куда денусь.

Анютка. Ты чего? Чего говоришь-то?

Никита. Ничего я не говорю. Что пристала?

Анютка. Батюшка! пойдем, что ль? *(Никита молчит. Анютка тянет за руку.)* Батя, иди благословлять-то! Право слово, серчают, ругаются.

Никита *(выдергивает руку)*. Оставь!

Анютка. Да ну же!

Никита *(грозит ей вожжами)*. Ступай, говорю. Вот я тебя.

Анютка. Так я ж мамушку пришлю. *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Никита один.

Никита *(поднимается)*. Ну как я пойду? Как я образ возьму? Как я ей в очи гляну? *(Ложится опять.)* Ох, кабы дыра в землю, ушел бы. Не видали б меня люди, не видал бы никого. *(Опять поднимается.)* Да не пойду я... Пропадай они совсем. Не пойду. *(Снимает сапоги и берет веревку; делает из нее петлю, прикидывает на шею.)* Так-то вот.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Н и к и т а и М а т р е н а. Никита видит мать, снимает веревку с головы и ложится опять в солому.

М а т р е н а *(подходит впопыхах)*. Микита! А, Микита? Вишь ты, и голоса не подает. Микита, что ж ты, аль захмелел? Иди, Микитушка, иди, иди, ягодка. Заждался народ.

Н и к и т а. Ах, что вы со мной сделали? Не человек я стал.

М а т р е н а. Да чего ты? Иди, родной, честь честью благословенье сделай, да и к стороне. Ждет ведь народ-от.

Н и к и т а. Как мне благословлять-то?

М а т р е н а. Известно как. Разве не знаешь?

Н и к и т а. Знаю я, знаю я. Да кого благословлять-то буду? Что я с ней сделал?

М а т р е н а. Что сделал? Эка вздумал поминать! Никто не знает: ни кот, ни кошка, ни поп Ерошка. А девка сама идет.

Н и к и т а. Как идет-то?

М а т р е н а. Известно, из-под страху идет-то. Да идет же. Да что же делать-то? Тогда бы думала. А теперь ей упираться нельзя. И сватам тоже обиды нет. Смотрели два раза девку-то, да и денежки за ней. Все шито-крыто.

Н и к и т а. А в погребе-то что?

М а т р е н а *(смеется)*. Что в погребе? Капуста, грибы, картошки, я чай. Что старое поминать?

Н и к и т а. Рад бы не поминал. Да не могу я. Как заведешь мысль, так вот и слышу. Ох, что вы со мной сделали?

М а т р е н а. Да что ты в сам деле ломаешься?

Н и к и т а *(переворачивается ничком)*. Матушка! Не томи ты меня. Мне вот по куда дошло.

М а т р е н а. Да все ж надо. И так болтает народ, а тут вдруг ушел отец, нейдет, благословлять не насмелится. Сейчас прикладать станут. Как заробеешь, сейчас догадываться станут. Ходи тором, не положат вором. А то бежишь от волка, напхаешься на ведмедя. Пуще всего виду не показывай, не робь, малый, а то хуже вознают.

Н и к и т а. Эх, запутляли вы меня!

М а т р е н а. Да буде, пойдем. А выдь да благослови; всё как должно, честь честью, и делу конец.

Н и к и т а *(лежит ничком)*. Не могу я.

М а т р е н а *(сама с собой)*. И что сделалось? Все ничего, ничего, да вдруг нашло. Напущение, видно. Микитка, вставай! Гляди, вон и Анисья идет, гостей побросала.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Н и к и т а, М а т р е н а и А н и с ь я.

А н и с ь я *(нарядная, красная, выпивши)*. И хорошо как, матушка. Так хорошо, честно! И как народ доволен. Где ж он?

М а т р е н а. Здесь, ягодка, здесь. В солому лег, да и лежит. Нейдет.

Н и к и т а *(глядит на жену)*. Ишь, тоже пьяная! Гляжу, так с души прет. Как с ней жить? *(Поворачивается ничком.)* Убью я ее когда-нибудь. Хуже будет.

А н и с ь я. Вишь куда, в солому забрался. Аль хмель изнял? *(Смеется.)* Полежала бы я с тобой тут, да неколи. Пойдем, доведу. А уж как хорошо в доме-то! Лестно поглядеть. И гармония! Играют бабы, хорошо как. Пьяные все. Уж так почестно, хорошо так!

Н и к и т а. Что хорошо-то?

А н и с ь я. Свадьба, веселая свадьба. Все люди говорят, на редкость свадьба такая. Так честно, хорошо все. Иди же. Вместе пойдем... я выпила, да доведу. *(Берет за руку.)*

Н и к и т а *(отдергивается с отвращением)*. Иди одна. Я приду.

А н и с ь я. Чего кауришься-то! Все беды избыли, разлучницу сбыли, жить нам только, радоваться. Всё так честно, по закону. Уж так я рада, что и сказать нельзя. Ровно я за тебя в другой замуж иду. И-и! народ как доволен! Все благодарят. И гости всё хорошие. И Иван Мосеич — тоже и господин урядник. Тоже повеличали.

Н и к и т а. Ну, и сиди с ними,— зачем пришла?

А н и с ь я. Да и то идти надо. А то к чему пристало? Хозяева ушли и гостей побросали. А гости всё хорошие.

Н и к и т а *(встает, обирает с себя солому)*. Идите, а я сейчас приду.

М а т р е н а. Ночная-то кукушка денную перекуковала. Меня не послухал, а за женой сейчас пошел. *(Матрена и Анисья идут.)* Идешь, что ль?

Никита. Сейчас приду. Вы идите, я следом. Приду, благословлять буду...

Бабы останавливаются.

Идите... а я следом. Идите же!

Бабы уходят. Никита глядит им вслед задумавшись.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Никита один, потом Митрич.

Никита *(садится и разувается)*. Так и пошел я! Как же! Нет, вы поищите, на перемете нет ли. Распростал петлю да прыгнул с перемета, и ищи меня. И вожжи, спасибо, тута. *(Задумывается.)* То бы размыкал. Какое ни будь горе, размыкал бы! А то вон оно где — в сердце оно, не вынешь никак. *(Приглядывается ко двору.)* Никак, опять идет. *(Передразнивает Анисью.)* «Хорошо, и хорошо как! Полежу с тобой!» У! шкуреха подлая! На ж тебе, обнимайся со мной, как с перемета снимут. Один конец. *(Схватывает веревку, дергает ее.)*

Митрич *(пьяный поднимается, не пуская веревку)*. Не дам. Никому не дам. Сам принесу. Сказал, принесу солому — принесу! Микита, ты? *(Смеется.)* Ах, черт! Аль за соломой?

Никита. Давай веревку.

Митрич. Нет, ты погоди. Послали меня мужики. Я принесу... *(Поднимается на ноги, начинает сгребать солому, но шатается, справляется и под конец падает.)* Ее верх. Пересилила...

Никита. Давай вожжи-то.

Митрич. Сказал, не дам. Ах, Микишка, глуп ты, как свиной пуп. *(Смеется.)* Люблю тебя, а глуп ты. Ты глядишь, что я запил. А мне черт с тобой! Ты думаешь, ты мне нужен... Ты гляди на меня. Я унтер! Дурак, не умеешь сказать: унтер-офицер гренадерского ее величества самого первого полка. Царю, отечеству служил верой и правдой. А кто я? Ты думаешь, я воин? Нет, я не воин, а я самый последний человек, сирота я, заблудущий я. Зарекся я пить. А теперь закурил!.. Что ж, ты думаешь, я боюсь тебя? Как же! Никого не боюсь. Запил, так запил! Теперь недели две смолить буду, картошку под орех разделаю. До креста пропьюсь, шапку пропью, билет заложу и не боюсь никого. Меня в полку пороли,

чтоб не пил я. Стегали, стегали... «Что, говорят, будешь?» Буду, говорю. Чего бояться дерьма-то? Вон он я! Какой есть, такого бог зародил. Зарекся не пить. Не пил. Теперь запил — пью. И не боюсь никого. Потому не вру, а как есть... Чего бояться, дерьма-то? На-те, мол, вот он я. Мне поп один сказывал. Дьявол — он самый хвастун. Как говорит, начал ты хвастать, сейчас ты и заробеешь. А как стал робеть от людей, сейчас он, беспятый-то, сейчас и сцапал тебя и попер, куда ему надо. А как не боюсь я людей-то, мне и легко! Начхаю ему в бороду, лопатому-то, — матери его поросятины! Ничего он мне не сделает. На, мол, выкуси!

Никита *(крестится)*. И что ж это я в самом деле? *(Бросает веревку.)*

Митрич. Чего?

Никита *(поднимается)*. Не велишь бояться людей?

Митрич. Есть чего бояться, дерьма-то. Ты их в бане-то погляди. Все из одного теста. У одного потолще брюхо, а то потоньше, только и различки в них. Вона! кого бояться, в рот им ситного пирога с горохом!

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Никита, Митрич, Матрена (выходит из двора).

Матрена *(кличет)*. Что, идешь, что ли?

Никита. Ох! Да и лучше так-то. Иду. *(Идет ко двору.)*

Занавес

СЦЕНА ВТОРАЯ

Перемена декорации. Изба первого действия, полна народом, сидящим за столами, и стоящими. В переднем углу Акулина с женихом. На столе иконы и хлеб. В числе гостей Марина, муж ее и урядник. Бабы поют песни. Анисья разносит вино. Песни замолкают.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Анисья, Марина, муж Марины, Акулина, жених, извозчик, урядник, сваха, дружко, Матрена, гости и народ.

Извозчик. Ехать так ехать, а церковь разве близко.

Дружко. А вот дай срок, вотчим благословит. Да где ж он?

Анисья. Идет. Сейчас идет, миленькие. Кушайте еще по стаканчику, не обижайте.

Сваха. Что ж долго? Уж с какого времени ждем.

Анисья. Придет. Сейчас придет. Стриженая девка косы не заплетет, тут будет. Кушайте, миленькие. *(Подносит вино.)* Сейчас идет. Поиграйте еще, красавицы, пока что.

Извозчик. Да уж все песни пропели ожидамши.

Бабы поют. Посередине песни входят Никита и Аким.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же, Никита и Аким.

Никита *(держит Акима за руку и подталкивает вперед себя)*. Иди, батюшка, без тебя нельзя.

Аким. Не люблю я, значит, тае...

Никита *(на баб)*. Буде, замолчите. *(Оглядывает всех в избе.)* Марина, ты тут?

Сваха. Иди, бери образ, благословляй.

Никита. Погоди, дай срок. *(Оглядывается.)* Акулина, ты здесь?

Сваха. Да что ты народ перекликаешь? Где ж ей быть-то. Что он чудной какой...

Анисья. Батюшки родимые! Да что ж он разутый!

Никита. Батюшка! ты здесь? Гляди на меня. Мир православный, вы все здесь, и я здесь! Вот он я! *(Падает на колени.)*

Анисья. Микитушка, чтой-то ты? О, головушка моя!

Сваха. Вот на!

Матрена. Я и говорю: перепил он французского, что ли, много. Опамятуйся, что ты? *(Хотят поднять его, он не обращает ни на кого внимания, глядит перед собой.)*

Никита. Мир православный! Виноват я, каяться хочу.

Матрена *(тащит его за плечо)*. Что ты, с ума спятил? Миленькие, у него ум зашелся. Увести его надо.

Никита *(отстраняет ее плечом)*. Оставь! А ты, батюшка, слушай. Первое дело: Маринка, гляди сюда. *(Кланяется ей в ноги и поднимается.)* Виноват я перед тобой, обещал тебя замуж взять, соблазнил тебя. Тебя обманул, кинул, прости меня Христа ради! *(Опять кланяется в ноги.)*

Анисья. И чего разлопоушился? Не к лицу совсем. Что никто не спрашивает. Встань ты, что озорничаешь?

Матрена. О-ох, напущено это на него. И что это сделалось? Попорчен он. Встань. Что пустое болтаешь! *(Тянет его.)*

Никита *(мотает головой)*. Не тронь! Прости, Марина, грех мой перед тобой. Прости Христа ради.

Марина закрывается руками, молчит.

Анисья. Встань, говорю, что озорничаешь. Вспоминать вздумал. Буде форсить. Стыдно! О, головушка моя! Что это, очумел совсем.

Никита *(отталкивает жену, поворачивается к Акулине)*. Акулина, к тебе речь теперь. Слушайте, мир православный! Окаянный я. Акулина! виноват я перед тобой. Твой отец не своею смертью помер. Ядом отравили его.

Анисья *(вскрикивает)*. Головушка моя! Да что он?

Матрена. Не в себе человек. Уведите ж вы его.

Народ подходит, хочет взять его.

Аким *(отстраняет руками)*. Постой! Вы, ребята, тае, постой, значит.

Никита. Акулина, я его ядом отравил. Прости меня Христа ради.

Акулина *(вскакивает)*. Брешет он! Я знаю кто.

Сваха. Что ты? Ты сиди.

Аким. О господи! Грех-то, грех-то.

Урядник. Берите его! А старосту пошлите да понятых. Надо акт составить. Встань-ка ты, поди сюда.

Аким *(на урядника)*. А ты, значит, тае, светлые пуговицы, тае, значит, погоди. Дай он, тае, скажет, значит.

Урядник *(Акиму)*. Ты, старик, смотри не мешайся. Я должен составить акт.

Аким. Экий ты, тае. Погоди, говорю. Об ахте, тае, не толкуй, значит. Тут, тае, божье дело идет... кается человек, значит, а ты, тае, ахту...

Урядник. Старосту!

Аким. Дай божье дело отойдет, значит, тогда, значит, ты и, тае, справляй, значит.

Никита. Еще, Акулина, перед тобою грех мой великий: соблазнил я тебя, прости Христа ради! *(Кланяется ей в ноги.)*

Акулина *(выходит из-за стола)*. Пусти меня, не пойду замуж. Он мне велел, а теперь не пойду.

Урядник. Повтори, что сказал.

Никита. Погодите, господин урядник, дайте досказать.

Аким *(в восторге)*. Говори, дитятко, все говори, легче будет. Кайся богу, не бойся людей. Бог-то, бог-то! Он во!..

Никита. Отравил я отца, погубил я, пес, и дочь. Моя над ней власть была, погубил ее и ребеночка.

Акулина. Правда это, правда.

Никита. На погребице доской ребеночка ее задушил. Сидел на нем... душил... а в нем косточки хрустели. *(Плачет.)* И закопал в землю. Я сделал, один я!

Акулина. Брешет. Я велела.

Никита. Не щити ты меня. Не боюсь я теперь никого. Прости меня, мир православный! *(Кланяется в землю.)*

Молчание.

Урядник. Вяжите его, свадьба ваша, видно, расстроилась.

Подходит народ с кушаками.

Никита. Погоди, поспеешь... *(Отцу кланяется в ноги.)* Батюшка родимый, прости и ты меня, окаянного! Говорил ты мне спервоначала, как я этой блудной скверной занялся, говорил ты мне: «Коготок увяз, и всей птичке пропасть», не послушал я, пес, твоего слова, и вышло по-твоему. Прости меня Христа ради.

Аким *(в восторге)*. Бог простит, дитятко родимое. *(Обнимает его.)* Себя не пожалел, он тебя пожалеет. Бог-то, бог-то! Он во!..

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и староста.

Староста *(входит)*. Понятых и здесь много.

Урядник. Сейчас допрос снимем.

Никиту вяжут.

Акулина *(подходит и становится рядом)*. Я скажу правду. Допрашивай и меня.

Никита *(связанный)*. Нечего допрашивать. Все я один сделал. Мой и умысел, мое и дело. Ведите куда знаете. Больше ничего не скажу.

Занавес.

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

КОМЕДИЯ В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Леонид Федорович Звездинцев, отставной поручик конной гвардии, владетель 24 тысяч десятин в разных губерниях. Свежий мужчина, около 60 лет, мягкий, приятный, джентльмен. Верит в спиритизм и любит удивлять других своими рассказами.

Анна Павловна Звездинцева, его жена, полная, молодящаяся дама, озабоченная светскими приличиями, презирающая своего мужа и слепо верящая доктору. Дама раздражительная.

Бетси, их дочь, светская девица, лет 20-ти, с распущенными манерами, подражающими мужским, в pince-nez[1]. Кокетка и хохотунья. Говорит очень быстро и очень отчетливо, поджимая губы, как иностранка.

Василий Леонидыч, их сын, 25-ти лет, кандидат юридических наук, без определенных занятий, член общества велосипедистов, общества конских ристалищ и общества поощрения борзых собак. Молодой человек, пользующийся прекрасным здоровьем и несокрушимой самоуверенностью. Говорит громко и отрывисто. Либо вполне серьезен, почти мрачен, либо шумно-весел и хохочет громко.

Алексей Владимирович Кругосветлов, профессор. Ученый, лет 50-ти, с спокойными, приятно самоуверенными манерами и такою же медлительною, певучей речью. Охотно говорит. К не соглашающимся с собой относится кротко-презрительно. Много курит. Худой, подвижный человек.

Доктор, лет 40, здоровый, толстый, красный человек. Громогласен и груб. Постоянно самодовольно посмеивается.

Марья Константиновна, девица лет 20-ти, воспитанница консерватории, учительница музыки, с махрами на лбу, в преувеличенно модном туалете, заискивающая и конфузящаяся.

Петрищев, лет 28, кандидат филологических наук, ищущий деятельности, член тех же обществ, как и Василий Леонидыч, и, кроме того, общества устройства

---

[1] пенсне *(франц.)*.

ситцевых и коленкоровых балов. Плешивый, быстрый в движениях и речи и очень учтивый.

Баронесса, важная дама, лет 50-ти, неподвижная, говорит без интонаций.

Княгиня, светская дама, гостья.

Княжна, светская девица, гримасница, гостья.

Графиня, древняя дама, насилу движущаяся, с фальшивыми буклями и зубами.

Гросман, брюнет еврейского типа, очень подвижный, нервный, говорит очень громко.

Толстая барыня, Марья Васильевна Толбухина, очень важная, богатая и добродушная дама, знакомая со всеми замечательными людьми, прежними и теперешними. Очень толстая, говорит поспешно, стараясь переговорить других. Курит.

Барон Клинген (Коко́), кандидат Петербургского университета, камер-юнкер, служащий при посольстве. Вполне correct[1] и потому спокоен душою и тихо весел.

Дама.

Барин (без слов).

Сахатов, Сергей Иванович, лет 50-ти, бывший товарищ министра, элегантный господин, широкого европейского образования, ничем не занят и всем интересуется. Держит себя достойно и даже несколько строго.

Федор Иваныч, камердинер, лет под 60. Образованный и любящий образование человек, злоупотребляющий употреблением pince-nez и носового платка, который он медленно развертывает. Следит за политикой. Человек умный и добрый.

Григорий, лакей, лет 28, красавец собой, развратный, завистливый и смелый.

Яков, лет 40, буфетчик, суетливый, добродушный, живущий только деревенскими семейными интересами.

Семен, буфетный мужик, лет 20. Здоровый, свежий, деревенский малый, белокурый, без бороды еще, спокойный, улыбающийся.

Кучер, лет 35. Щеголь, с усами только, грубый и решительный.

Старый повар, лет 45, лохматый, небритый, раздутый, желтый, трясущийся, в нанковом летнем оборванном пальто и грязных штанах и опорках, говорит хрипло. Слова вырываются из него как бы через преграду.

Кухарка, говорунья, недовольная, лет 30.

Швейцар, отставной солдат.

Таня, горничная, лет 19-ти, энергичная, сильная, веселая и быстро изменяющая настроение девушка. В минуты сильного возбуждения радости взвизгивает.

1-й мужик, лет 60-ти, ходил старшиной, полагает, что знает обхождение с господами, и любит себя послушать.

2-й мужик, лет 45, хозяин, грубый и правдивый, не любит говорить лишнего. Отец Семена.

---

[1] корректный *(франц.)*.

3-й мужик, лет 70-ти, в лаптях, нервный, беспокойный, торопится, робеет и разговором заглушает свою робость.

1-й выездной лакей графини. Старик старого завета, с лакейской гордостью.

2-й выездной лакей, огромный, здоровый, грубый.

Артельщик из магазина. В синей поддевке, с чистым румяным лицом. Говорит твердо, внушительно и ясно.

Действие происходит в столице, в доме Звездинцевых.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Театр представляет переднюю богатого дома в Москве. Три двери: наружная, в кабинет Леонида Федоровича и в комнату Василья Леонидыча. Лестница наверх, во внутренние покои; сзади нее проход в буфет.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Григорий (молодой и красивый лакей, глядится в зеркало и прихорашивается).

Григорий. А жаль усов! Не годится, говорит, лакею усы! А отчего? Чтобы видно было, что ты лакей. А то как бы не превзошел сынка ее любезного. И есть кого! Хоть и без усов, а далеко ему... *(Вглядывается с улыбкой.)* И сколько их за мной волочатся! Только никто вот не нравится, как Таня эта! Простая горничная! Нда! А вот лучше барышни. *(Улыбается.)* Да и мила! *(Прислушивается.)* Вот, она и есть! *(Улыбается.)* Вишь, постукивает каблучками... в-ва!..

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Григорий и Таня (с шубкой и ботинками).

Григорий. Татьяне Марковне мое почтение!

Таня. Что, смотритесь всё? Думаете, очень из себя хороши?

Григорий. А что, неприятен?

Таня. Так, ни приятен, ни неприятен, а середка на половину. Что ж это у вас шубы-то понавешаны?

Григорий. Сейчас, сударыня, уберу. *(Снимает шубу и накрывает ею Таню, обнимая ее.)* Таня, что я тебе скажу...

Таня. Ну вас совсем! И к чему это пристало! *(Сердито вырывается.)* Говорю же, оставьте!

Григорий *(оглядывается)*. Поцелуйте же.

Таня. Да что вы в самом деле пристали? Я вас так поцелую!.. *(Замахивается.)*

Василий Леонидыч. *(За сценой слышен звонок и потом крик.)* Григорий!

Таня. Вон, идите, Василий Леонидыч зовет.

Григорий. Подождет, он только глаза продрал. Слушай-ка, отчего не любишь?

Таня. И какие такие любови выдумали! Я никого не люблю.

Григорий. Неправда, Семку любишь. И нашла же кого, буфетного мужика сиволапого!

Таня. Ну, какой ни на есть, да вот вам завидно.

Василий Леонидыч *(за сценой)*. Григорий!

Григорий. Поспеешь!.. Есть чему завидовать! Ведь ты только начала образовываться и с кем связываешься? То ли дело меня бы полюбила... Таня...

Таня *(сердито и строго)*. Говорю, не будет вам ничего.

Василий Леонидыч *(за сценой)*. Григорий!!!

Григорий. Уж очень строго себя ведете.

Василий Леонидыч *(за сценой, упорно, ровно, во всю мочь кричит)*. Григорий! Григорий! Григорий!

Таня и Григорий смеются.

Григорий. Меня ведь какие любили!

Звонок.

Таня. Ну и идите к ним, а меня оставьте.

Григорий. Глупая ты, посмотрю. Ведь я не Семен.

Таня. Семен жениться хочет, а не глупости.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Григорий, Таня и артельщик (несет большой картон с платьем).

Артельщик. С добрым утром!

Григорий. Здравствуйте. От кого?

Артельщик. От Бурде, с платьем, да вот записка барыне.

Таня *(берет записку)*. Посидите тут, я подам. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Григорий, артельщик и Василий Леонидыч (высовывается из двери в рубашке и туфлях).

Василий Леонидыч. Григорий!

Григорий. Сейчас!

Василий Леонидыч. Григорий! разве не слышишь!

Григорий. Я только пришел.

Василий Леонидыч. Воды теплой и чаю.

Григорий. Сейчас Семен принесет.

Василий Леонидыч. А это что? От Бурдье?

Артельщик. Так точно-с.

Василий Леонидыч и Григорий уходят. Звонок.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Артельщик и Таня (вбегает на звонок и отворяет дверь).

Таня *(артельщику)*. Подождите.

Артельщик. И так дожидаюсь.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Артельщик, Таня и Сахатов (входит в дверь).

Таня. Извините, сейчас вышел лакей. Да вы пожалуйте. Позвольте! *(Снимает шубу.)*

Сахатов *(оправляясь)*. Дома Леонид Федорович? Встали?

Звонок.

Таня. Как же, давно уж!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Артельщик, Таня и Сахатов. Входит доктор.

Доктор *(ищет лакея. Увидав Сахатова, с развязностью)*. А? мое почтение!

Сахатов *(пристально вглядывается)*. Доктор, кажется?

Доктор. А я думал, что вы за границей. К Леониду Федоровичу?

Сахатов. Да. А вы что же? Болен разве кто?

Доктор *(посмеиваясь)*. Не то чтобы болен, а, знаете, с этими барынями беда! До трех часов каждый день сидит за винтом, а сама тянется в рюмку. А барыня сырая, толстая, да и годочков-то немало.

Сахатов. Вы так и Анне Павловне высказываете ваш диагноз? Ей не нравится, я думаю.

Доктор *(смеясь)*. Что же, правда. Все эти штуки проделывают, а потом расстройство пищеварительных органов, давление на печень, нервы, — ну, и пошла писать, а ты ее подправляй. Беда с ними! *(Посмеивается.)* А вы что? Вы, кажется, спирит тоже?

Сахатов. Я? Нет, я не спирит тоже... Ну, мое почтение! *(Хочет идти, но доктор останавливает.)*

Доктор. Нет, ведь я тоже не отрицаю вполне, когда такой человек, как Кругосветлов, принимает участие. Нельзя же! Профессор, европейская известность. Что-нибудь да есть. Хотелось бы как-нибудь посмотреть, да все некогда, другое дело есть.

Сахатов. Да, да. Мое почтение! *(Уходит с легким поклоном.)*

Доктор *(Тане)*. Встали?

Таня. В спальне. Да вы пожалуйте.

Сахатов и доктор расходятся в разные стороны.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Артельщик, Таня и Федор Иваныч (входит с газетой в руках).

Федор Иваныч *(к артельщику)*. Вы что?

Артельщик. От Бурде, с платьем да с запиской. Велели подождать.

Федор Иваныч. А, от Бурде! *(К Тане.)* Кто это прошел?

Таня. Сахатов, Сергей Иваныч, и еще доктор. Они тут постояли, поговорили. Все о спиритичестве.

Федор Иваныч *(поправляя)*. Об спиритизме.

Таня. Да я и говорю об спиритичестве. А вы слышали, Федор Иваныч, как прошлый раз удалось хорошо? *(Смеется.)* И стучало, и вещи перелетали.

Федор Иваныч. А ты почем знаешь?

Таня. А Лизавета Леонидовна сказывали.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Таня, Федор Иваныч, артельщик и Яков-буфетчик (бежит с стаканом чаю).

Яков *(к артельщику)*. Здравствуйте!

Артельщик *(грустно)*. Здравствуйте.

Яков стучит в дверь к Василью Леонидычу.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же и Григорий.

Григорий. Давай.

Яков. А стаканы вчерашние всё не принесли, да и поднос от Василья Леонидыча. Ведь с меня спросят.

Григорий. Поднос занят у него с сигарками.

Яков. Так вы переложите. Ведь с меня взыскивают.

Григорий. Принесу, принесу!

Яков. Вы говорите, принесу, а его нет. Намедни хватились, а подавать не на чем.

Григорий. Да принесу, говорю. Эка суета!

Яков. Вам хорошо так говорить, а я вот третий чай подавай да завтракать собирай. Треплешься, треплешься день-деньской. Есть ли у кого в доме больше моего дела? А все нехорош!

Григорий. Да уж чего лучше? Вишь, как хорош!

Таня. Вам все нехороши, только вы один...

Григорий *(к Тане)*. Тебя не спросили! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Таня, Яков, Федор Иваныч и артельщик.

Яков. Да что, я не обижаюсь, Татьяна Марковна, барыня не говорила ничего про вчерашнее?

Таня. Это об лампе-то?

Яков. И как это она вырвалась из рук, бог ее знает. Только стал обтирать, хотел перехватить, — вышмыгнула как-то... В мелкие кусочки! Все мое несчастье! Ему хорошо, Григорию-то Михайлычу, говорить, как он один головой, а вот как семья? Ведь тоже надо обдумать да прокормить. Я на труды не смотрю. Так ничего не говорила? Ну, и слава богу! А ложечки у вас, Федор Иваныч, одна или две?

Федор Иваныч. Одна, одна. *(Читает газету.)*

Яков уходит.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Таня, Федор Иваныч и артельщик. Слышен звонок. Входят Григорий с подносом и швейцар.

Швейцар *(Григорию)*. Доложите барину, мужики из деревни.

Григорий *(указывая на Федора Иваныча)*. Дворецкому доложи, а мне некогда. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Таня, Федор Иваныч, швейцар и артельщик.

Таня. Откуда мужики?

Швейцар. Из Курской, кажется...

Таня *(взвизгивает)*. Они... Это Семенов отец о земле. Пойду встречу. *(Бежит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Федор Иваныч, швейцар и артельщик.

Швейцар. Так как скажете: пустить их сюда или как? Они говорят — об земле, барин знает.

Федор Иваныч. Да, о покупке земли. Так, так. Гость у него теперь. Ты вот что: скажи, чтоб подождали.

Швейцар. Где ж ждать?

Федор Иваныч. Пусть на дворе подождут, я тогда вышлю.

Швейцар уходит.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Федор Иваныч, Таня, за ней три мужика, Григорий и артельщик.

Таня. Направо. Сюда, сюда!

Федор Иваныч. Я не велел пускать было сюда.

Григорий. То-то, егоза!

Таня. Да ничего, Федор Иваныч, они тут с краюшка.

Федор Иваныч. Натопчут.

Таня. Они ноги обтерли, да я и подотру. *(Мужикам.)* Вот тут и станьте.

Мужики входят, несут гостинцы в платках: кулич, яйца, полотенца, ищут, на что креститься. Крестятся на лестницу, кланяются Федору Иванычу и становятся твердо.

Григорий *(Федору Иванычу)*. Федор Иваныч! вот говорили, от Пироне фасонисты щиблетки, уж это чего лучше у энтого-то? *(Показывает на третьего мужика в чунях.)*

Федор Иваныч. Все вам только пересмеивать людей!

Григорий уходит.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Таня, Федор Иваныч и три мужика.

Федор Иваныч *(встает и подходит к мужикам)*. Так вы самые курские, о покупке земли?

1-й мужик. Так точно. Происходит, примерно, насчет свершения продажи земли мы. Доложить бы как?

Федор Иваныч. Да, да, знаю, знаю. Подождите здесь, я сейчас доложу. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Таня и три мужика. Василий Леонидыч (за сценой). Мужики оглядываются, не знают, куда деть гостинцы.

1-й мужик. Как же, значит, это, не знаю, как назвать, на чем бы подать? Хворменно, чтоб предмет изделать. Блюдце бы, что ли?

Таня. Сейчас, сейчас. Давайте сюда; покамест вот так. *(Ставит на диванчик.)*

1-й мужик. Это какого звания, примерно, почтенный подходил-то к нам?

Таня. Это камердин.

1-й мужик. Прямое дело, камардин. В распоряжении, значит, тоже. *(К Тане.)* А вы, примерно, тоже при услужении будете?

Таня. В горничных я. Ведь я тоже деменская. Я ведь вас знаю, и вас знаю, только энтого дяденьку не знаю. *(Указывает на третьего мужика.)*

3-й мужик. Тех вознала, а меня не вознала?

Таня. Вы Ефим Антоныч?

1-й мужик. Двистительно.

Таня. А вы Семенов родитель, Захар Трифоныч?

2-й мужик. Верно.

3-й мужик. А я, скажем, Митрий Чиликин. Вознала теперь?

Таня. Теперь и вас знать будем.

2-й мужик. Ты чья же будешь?

Таня. А Аксиньи, солдатки покойной, сирота.

1-й и 3-й мужики *(с удивлением)*. Ну-у?!

2-й мужик. Недаром говорится: дай за поросенка грош, посади в рожь, он и будет хорош.

1-й мужик. Двистительно. Сходственно, вроде как мамзель.

3-й мужик. Это как есть. О господи!

Василий Леонидыч *(за сценой звонит, а потом кричит)*. Григорий! Григорий!

1-й мужик. Кто ж это так очень себя беспокоит, примерно?

Таня. Молодой барин это.

3-й мужик. О господи! Сказывал, пока что, лучше бы наружу подождали.

Молчание.

2-й мужик. Тебя-то Семен замуж берет?

Таня. А разве он писал? *(Закрывается фартуком.)*

2-й мужик. Стало, писал! Да не дело задумал. Избаловался, вижу, малый.

Таня *(живо)*. Нет, он ничего не избаловался. Послать его вам?

2-й мужик. Чего посылать-то. Дай срок. Успеем!

Слышны отчаянные крики Василья Леонидыча: «Григорий! черт тебя возьми!»

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Те же. Из двери Василий Леонидыч (в рубашке, надевает pince-nez).

Василий Леонидыч. Вымерли все?

Таня. Нет его, Василий Леонидыч... Сейчас я пошлю. *(Направляется к двери.)*

Василий Леонидыч. Ведь я слышу, что разговаривают. Это что за чучелы явились? А, что?

Таня. Это мужички из курской деревни, Василий Леонидыч.

Василий Леонидыч *(на артельщика)*. А это кто? А, да, от Бурдье!

Мужики кланяются. Василий Леонидыч не обращает на них внимания, Григорий встречается с Таней в дверях, Таня остается.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Те же и Григорий.

Василий Леонидыч. Я тебе говорил,— те ботинки. Не могу я эти носить!

Григорий. Да и те там же стоят.

Василий Леонидыч. Да где же там?

Григорий. Да там же.

Василий Леонидыч. Врешь!

Григорий. Да вот увидите.

Василий Леонидыч и Григорий уходят.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Таня, три мужика и артельщик.

3-й мужик. А може, скажем, не время таперь, пошли бы на фатеру, обождали бы пока что.

Таня. Нет, ничего, подождите. Вот я вам сейчас тарелки для гостинцев принесу. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Те же, Сахатов, Леонид Федорович, и за ними Федор Иваныч.

Мужики берут гостинцы и становятся в позы.

Леонид Федорович *(мужикам)*. Сейчас, сейчас, подождите. *(На артельщика.)* А это кто?

Артельщик. От Бурде.

Леонид Федорович. А, от Бурдье!

Сахатов *(улыбаясь)*. Да я не отрицаю; но, согласитесь, что, не видав всего того, что вы говорите, нашему брату, непосвященному, трудно верить.

Леонид Федорович. Вы говорите: я не могу верить. Но мы и не требуем веры. Мы требуем исследованья. Ведь не могу же я не верить этому кольцу. А кольцо получено мною оттуда.

Сахатов. Как *оттуда?* Откуда?

Леонид Федорович. Из того мира. Да.

Сахатов *(улыбаясь)*. Очень интересно, очень интересно!

Леонид Федорович. Но, положим, вы думаете, что я увлекающийся человек, воображающий себе то, чего нет, но ведь вот Алексей Владимирович Кругосветлов, кажется, не кто-нибудь, а профессор, и вот признает то же. Да не он один. А Крукс? А Валлас?

Сахатов. Да ведь я не отрицаю. Я говорю только, что это очень интересно. Интересно знать, как Кругосветлов объясняет?

Леонид Федорович. У него своя теория! Да вот приезжайте нынче вечером; он будет непременно. Сначала Гросман будет... знаете, известный угадыватель мыслей.

Сахатов. Да, я слышал, но ни разу не случалось видеть.

Леонид Федорович. Ну так приезжайте. Сначала Гросман, а потом Капчич, и наш сеанс медиумический... *(Федору Иванычу.)* Не вернулся посланный от Капчича?

Федор Иваныч. Нет еще.

Сахатов. Так как же бы мне узнать?

Леонид Федорович. Да вы приезжайте, все равно приезжайте. Если Капчича и не будет, мы найдем своего медиума. Марья Игнатьевна — медиум; не такой сильный, как Капчич, но все-таки...

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Те же и Таня (входит с тарелками для гостинцев. Прислушивается к разговору).

Сахатов *(улыбаясь)*. Да, да. Но только вот обстоятельство: почему медиумы всегда из так называемого образованного круга? И Капчич и Марья Игнатьевна. Ведь если это особенная сила, то она должна бы встречаться везде, в народе, в мужиках.

Леонид Федорович. Так и бывает. Так часто бывает, что у нас в доме один мужик, и тот оказался медиумом. На днях мы позвали его во время сеанса. Нужно было передвинуть диван — и забыли про него. Он, вероятно, и заснул. И, представьте себе, наш сеанс уж кончился, Капчич проснулся, и вдруг мы замечаем, что в другом углу комнаты около мужика начинаются медиумические явления: стол двинулся и пошел.

Таня *(в сторону)*. Это когда я из-под стола лезла.

Леонид Федорович. Очевидно, что он тоже медиум. Тем более, что лицом он очень похож на Юма. Вы помните Юма? — белокурый, наивный.

Сахатов *(пожимая плечами)*. Вот как. Это очень интересно! Так вот вы его бы и испытали.

Леонид Федорович. И испытаем. Да и не он один. Медиумов бездна. Мы только не знаем их. Вот на днях одна больная старушка передвинула каменную стену.

Сахатов. Передвинула каменную стену?

Леонид Федорович. Да, да, лежала в постели и совсем не знала, что она медиум. Уперлась рукой о стену, а стена и отодвинулась.

Сахатов. И не завалилась?

Леонид Федорович. И не завалилась.

Сахатов. Странно! Ну, так я приеду вечером.

Леонид Федорович. Приезжайте, приезжайте! Сеанс будет во всяком случае.

Сахатов одевается. Леонид Федорович провожает его.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Те же, без Сахатова.

Артельщик *(Тане)*. Доложите же барыне! Что же, мне ночевать, что ли?

Таня. Подождите. Оне едут с барышней, так скоро сами выйдут. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, без Тани.

Леонид Федорович *(подходит к мужикам, те кланяются и подают гостинцы)*. Не надо это!

1-й мужик *(улыбаясь)*. Да уж это первым долгом происходит. Как и мир нам предлегал.

2-й мужик. Уж это как водится.

3-й мужик. И не толкуй! Потому, как мы много довольны... Как родители наши, скажем, вашим родителям, скажем, служили, так и мы жалаем от души, а не то чтобы как... *(Кланяется.)*

Леонид Федорович. Да что вы? Чего вы именно желаете?

1-й мужик. К вашей милости, значит.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ

Те же и Петрищев (быстро вбегает в шинели).

Петрищев. Василий Леонидыч проснулся? *(Увидев Леонида Федоровича, кланяется ему одной головой.)*

Леонид Федорович. Вы к сыну?

Петрищев. Я? Да, я на минутку к Вово.

Леонид Федорович. Пройдите, пройдите.

Петрищев снимает шинель и скоро идет.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Те же, без Петрищева.

Леонид Федорович *(к мужикам)*. Да-с. Ну, так вы что ж?

2-й мужик. Прими гостинцы-то.

1-й мужик *(улыбаясь)*. Значит, деревенские предложения.

3-й мужик. И не толкуй,— что там! Мы жалаем, как отцу родному. И не толкуй.

Леонид Федорович. Ну что ж... Федор, прими.

Федор Иваныч. Ну, давайте сюда. *(Берет гостинцы.)*

Леонид Федорович. Так в чем же дело?

1-й мужик. Да к вашей милости мы.

Леонид Федорович. Вижу, что ко мне; да чего же вы желаете?

1-й мужик. А насчет совершения продажи земли движение исделать. Происходит...

Леонид Федорович. Что же, вы покупаете землю, что ли?

1-й мужик. Двистительно, это как есть. Происходит... значит, насчет покупки собственности земли. Так мир нас, примерно, и вполномочил, чтобы взойтить, значит, как полагается, через государственную банку с приложением марки узаконенного числа.

Леонид Федорович. То есть вы желаете купить землю через посредство банка,— так, что ли?

1-й мужик. Это как есть, как летось вы нам предлог исделали. Происходит, значит, всей суммы полностью тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят четыре рубля в покупки собственности земли.

Леонид Федорович. Это так, но как же приплату?

1-й мужик. А приплату предлагает мир, чтоб, как летось говорено, рассрочить, значит, в получении в наличностях, по законам положений, четыре тысячи рублей полностью.

2-й мужик. Четыре тысячи получи денежки теперь, значит, а остальные чтоб обождать.

3-й мужик *(пока развертывает деньги)*. Уж это будь в надежде, себя заложим, а того не сделаем, чтоб как-нибудь, а скажем, как-никак, а чтобы, скажем, того... как должно́.

Леонид Федорович. Да ведь я писал вам, что я согласен только в таком случае, коли соберете все деньги.

1-й мужик. Это, двистительно, приятнее бы, да не в возможностях, значит.

Леонид Федорович. Так что же делать?

1-й мужик. Мир, примерно, на то упевал, что как летось предлог исделали в отсрочке платежа...

Леонид Федорович. То было прошлого года; тогда я соглашался, а теперь не могу...

2-й мужик. Да как же так? Обнадежил, мы и бумагу выправили, и деньги собрали.

3-й мужик. Помилосердствуй, отец. Земля наша малая, не то что скотину, — курицу, скажем, и ту выпустить некуда. *(Кланяется.)* Не греши, отец! *(Кланяется.)*

Леонид Федорович. Это, положим, правда, что прошлого года я соглашался отсрочить, да тут вышло обстоятельство... Так что мне теперь это неудобно.

2-й мужик. Нам без этой земли надо жизни решиться.

1-й мужик. Двистительно, без земли наше жительство должно ослабнуть и в упадок произойти.

3-й мужик *(кланяется)*. Отец! земля малая, не то что скотину, — куренка, скажем, и того выпустить некуда. Отец! помилосердствуй. Прими денежки, отец.

Леонид Федорович *(просматривает пока бумагу)*. Я понимаю, мне самому хотелось бы вам сделать доброе. Вы подождите. Я вам через полчаса ответ дам. Федор, скажи, чтоб никого не принимать.

Федор Иваныч. Очень хорошо.

Леонид Федорович уходит.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

Те же, без Леонида Федоровича. Мужики в унынии.

2-й мужик. Ишь ты дело-то! Всё, говорит, подавай. А где их возьмешь?

1-й мужик. Кабы летось не обнадежил нас. А то мы так упевали, двистительно, что как летось говорено.

3-й мужик. О господи! Я было деньги раскутал. *(Завертывает деньги.)* Теперь что станем делать?

Федор Иваныч. Да у вас в чем дело состоит?

1-й мужик. Дело у нас, почтенный, зависит, примерно, вот в чем: предлегал он нам летось рассрочить. Мир на то и взошел мнением и нас вполномочил; а теперь он, примерно, предлегает, чтобы всю сумму полностью. А выходит дело никак неспособно.

Федор Иваныч. Денег-то много ль?

1-й мужик. Всей суммы в поступлении четыре тысячи рублей, значит.

Федор Иваныч. Так что ж? — понатужьтесь, соберите еще.

1-й мужик. И так натурно собирали. Пороху в этих смыслах, господин, не хватает.

2-й мужик. Как их нет, зубами не натянешь.

3-й мужик. Мы бы всей душой, да, скажем, и так под метелочку и эти-то собрали.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

Те же, Василий Леонидыч и Петрищев (в дверях, оба с папиросками).

Василий Леонидыч. Да уж я сказал, буду стараться. Так буду стараться, что как только возможно. А, что?

Петрищев. Ты пойми, что если ты не достанешь, то это черт знает какая гадость!

Василий Леонидыч. Да уж сказал — буду стараться, и буду. А, что?

Петрищев. Да ничего. Я только говорю, что добудь непременно. Я подожду. *(Уходит, запирая дверь.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Те же, без Петрищева.

Василий Леонидыч *(махая рукой)*. Черт знает что такое.

Мужики кланяются.

(Смотрит на артельщика. Федору Иванычу.) Что это вы этого от Бурдье не отпустите? Он уж совсем жить к нам переехал. Смотрите, он заснул. А, что?

Федор Иваныч. Да подали записку, велели подождать. Когда Анна Павловна выйдут.

Василий Леонидыч *(смотрит на мужиков и вззривается на деньги)*. А это что? Деньги? Это кому? Нам деньги? *(К Федору Иванычу.)* Это кто такие?

Федор Иваныч. Это крестьяне курские, землю покупают.

Василий Леонидыч. Что ж, продали?

Федор Иваныч. Да нет, не сошлись еще. Вот скупятся они.

Василий Леонидыч. А? Это надо их уговорить. *(К мужикам.)* Вы что ж, покупаете, а?

1-й мужик. Двистительно, мы предлегаем, чтобы как приобресть собственность владения земли.

Василий Леонидыч. А вы не скупитесь. Вы знаете, я вам скажу, как земля мужичку нужна! А, что? Очень нужна,

1-й мужик. Двистительно, земля мужику пристекает первая статья. Это как есть.

Василий Леонидыч. Ну, вот вы и не скупитесь. Ведь земля что? Можно ведь на ней пшеницу рядами, я вам скажу, посеять. Триста пудов можно взять, по рублю за пуд, триста рублей. А, что?.. А то мяту, так тысячу рублей, я вам скажу, можно с десятины слупить!

1-й мужик. Двистительно, это вполне, все продухты можно в действие произвесть, кто понятие имеет.

Василий Леонидыч. Так непременно мяту. Ведь я учился про это. Это в книгах напечатано. Я вам покажу. А, что?

1-й мужик. Двистительно, что касающее вам по книгам виднее. Умственность, значит.

Василий Леонидыч. Так покупайте, не скупитесь, а давайте деньги. *(Федору Иванычу.)* Папа где?

Федор Иваныч. Дома. Они просили не беспокоить их теперь.

Василий Леонидыч. Что ж, вероятно, у духа спрашивает, продать ли землю, или нет? А, что?

Федор Иваныч. Этого не могу сказать. Знаю, что пошли в нерешительности.

Василий Леонидыч. Как ты думаешь, Федор Иваныч, есть у него деньги? А, что?

Федор Иваныч. Уж не знаю. Едва ли. А вам зачем? Ведь вы на прошлой неделе взяли куш не маленький.

Василий Леонидыч. Да ведь я за собак отдал. А теперь ведь ты знаешь: наше новое общество, и Петрищев выбран, а я брал у Петрищева деньги, а теперь надо внести за него и за себя. А, что?

Федор Иваныч. Это какое ваше новое общество? Велосипедистов?

Василий Леонидыч. Нет, я тебе сейчас скажу: это новое общество. Очень, я тебе скажу, серьезное общество. И ты знаешь, кто председатель? А, что?

Федор Иваныч. В чем же это новое общество?

Василий Леонидыч. Общество поощрения разведения старинных русских густопсовых собак. А, что? И я тебе скажу: нынче первое заседание и завтрак. А вот денег-то нет! Пойду к нему, попытаюсь. *(Уходит в дверь.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТОЕ

Мужики, Федор Иваныч и артельщик.

1-й мужик *(Федору Иванычу)*. Это кто же, почтенный, будут?

Федор Иваныч *(улыбаясь)*. Молодой барин.

3-й мужик. Наследник, скажем. О господи! *(Прячет деньги.)* Прибрать, видно, пока что.

1-й мужик. А нам сказывали, что военный, в заслуге кавалерии, примерно.

Федор Иваныч. Нет, он, как единственный сын, уволен от воинской повинности.

3-й мужик. Для прокорму, скажем, родителев оставлен. Это правильно.

2-й мужик *(качает головой)*. Этот прокормит, что и говорить.

3-й мужик. О господи!

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Федор Иваныч, три мужика, Василий Леонидыч, за ним в дверях Леонид Федорович.

Василий Леонидыч. Вот это всегда так. Право, удивительно. То говорят мне, отчего я ничем не занят, а вот когда я нашел деятельность и занят, основалось общество серьезное, с благородными целями, тогда жалко каких-нибудь триста рублей!..

Леонид Федорович. Сказал, что не могу, и не могу. Нет у меня.

Василий Леонидыч. Да ведь продали землю.

Леонид Федорович. Во-первых, не продал, и главное — оставь меня в покое. Ведь тебе сказали, что мне некогда. *(Захлопывает дверь.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ

Те же, без Леонида Федоровича.

Федор Иваныч. Я вам говорил, что теперь не время.

Василий Леонидыч. Вот, я вам скажу, положение, а? Пойду к мама, одно спасенье. А то сумасшествует с своим спиритизмом и всех забыл. *(Идет наверх.)*

Федор Иваныч садится было за газету.

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Те же. Сверху сходят Бетси и Марья Константиновна. За ними Григорий.

Бетси. Карета готова?

Григорий. Выезжает.

Бетси *(Марье Константиновне)*. Пойдемте, пойдемте! Я видела, что это он.

Марья Константиновна. Кто он?

Бетси. Очень хорошо знаете, что Петрищев.

Марья Константиновна. Так где же он?

Бетси. У Вово сидит. Вот увидите.

Марья Константиновна. А вдруг не он?

Мужики и артельщик кланяются.

Бетси *(к артельщику)*. А, вы от Бурдье, с платьем?

Артельщик. Так точно. Прикажите отпустить.

Бетси. Да я не знаю. Это мама.

Артельщик. Не могу знать кому. Нам приказано снести и деньги получить.

Бетси. Ну так подождите.

Марья Константиновна. Это все тот же костюм для шарады?

Бетси. Да, прелестный костюм. А мама не берет и не хочет платить.

Марья Константиновна. Отчего же?

Бетси. А вот спросите у мама. Для Вово за собак заплатить пятьсот рублей не дорого, а платье сто рублей дорого. А не могу же я играть чучелой! *(На мужиков.)* А это кто такие?

Григорий. Мужики, землю покупают какую-то.

Бетси. А я думала, охотники. Вы не охотники?

1-й мужик. Никак нет-с, госпожа. Мы насчет свершения продажи акта земли, к Леониду Федоровичу.

Бетси. Как же, к Вово должны были прийти охотники? Да вы наверное не охотники?

Мужики молчат.

Какие глупые! *(Подходит к двери.)* Вово! *(Хохочет.)*

Марья Константиновна. Да ведь мы его встретили сейчас.

Бетси. Охота вам помнить!.. Вово, ты здесь?

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Петрищев.

Петрищев. Вово нет, но я готов исполнить за него все, что потребуется. Здравствуйте! Здравствуйте, Марья Константиновна! *(Трясет руку сильно и долго Бетси, а потом Марье Константиновне.)*

2-й мужик. Вишь, ровно воду накачивает.

Бетси. Заменить не можете, но все-таки лучше, чем ничего. *(Хохочет.)* Какие это у вас дела с Вово?

Петрищев. Дела? Дела фи-нансовые, то есть они, дела наши — фи! и вместе с тем нансовые, и кроме еще финансовые.

Бетси. Что же значит нансовые?

Петрищев. Вот вопрос! В том-то и штука, что ничего не значит!

Бетси. Ну, это не вышло, совсем не вышло! *(Хохочет.)*

Петрищев. Нельзя ведь, чтобы всякий раз выходило. Это вроде аллегри. Аллегри, аллегри, а потом и выигрыш.

Федор Иваныч уходит в кабинет Леонида Федоровича.

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ

Те же, без Федора Иваныча.

Бетси. Ну, это не вышло; а скажите, вы вчера были у Мергасовых?

Петрищев. Не столько у mère Gassof, сколько у père Gassof, и даже не père Gassof, а у fils Gassof [1].

Бетси. Не может без jeu de mots? [2] Это болезнь. И цыгане были? *(Смеется.)*

Петрищев *(поет)*. На фартучках петушки, золотые гребешки!..

Бетси. Экие счастливые! А мы скучали у Фофо́.

Петрищев *(продолжая напевать)*. И божилась, и клялась — побывать ко мне... Как дальше? Марья Константиновна, как дальше?

Марья Константиновна. Ко мне на час...

---

[1] *Игра слов:* Не столько у мамаши Гасовой, сколько у папаши Гасова, и даже не папаши Гасова, а у сына Гасова.

[2] игры слов? *(франц.)*

Петрищев. Как? Как, Марья Константиновна? *(Хохочет.)*

Бетси. Cessez, vous devenez impossible! [1]

Петрищев. J'ai cessé, j'ai bébé, j'ai dédé... [2]

Бетси. Я вижу одно средство избавиться от ваших острот — это заставить вас петь. Пойдемте к Вово в комнату, у него и гитара есть. Пойдемте, Марья Константиновна, пойдемте!

Бетси, Марья Константиновна и Петрищев уходят в комнату Василия Леонидыча.

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Григорий, три мужика и артельщик.

1-й мужик. Это чьи же?

Григорий. Одна — барышня, а другая — мамзель, музыки учит.

1-й мужик. В науку производит, значит. А как аккуратна. Настоящий патрет.

2-й мужик. Что же замуж не выдают? Года-то уж небось вышли?

Григорий. Разве как у вас, пятнадцати лет?

1-й мужик. А мужчинка-то тот, примерно, из музыканщиков?

Григорий *(передразнивая)*. Из музыканщиков!.. Ничего-то вы не понимаете!

1-й мужик. Это, двистительно, глупость наша, значит, необразованность.

3-й мужик. О господи!

Слышно пение цыганских песен с гитарой из комнаты Василия Леонидыча.

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

Григорий, три мужика, артельщик, входит Семен и вслед за ним Таня. Таня наблюдает за встречей отца с сыном.

Григорий *(к Семену)*. Ты чего?

Семен. К господину Капчичу посылали.

Григорий. Ну, что?

---

[1] Перестаньте, вы становитесь невыносимы! *(франц.)*

[2] J'ai cessé *(франц.)* — я перестал. Далее игра созвучий. J'ai bébé *(франц.)* — буквально — я имею малютку.

Семен. На словах приказали сказать, нынче никак быть не могут.

Григорий. Хорошо, я доложу. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

Те же, без Григория.

Семен *(отцу)*. Здорово, батюшка! Дяде Ефиму, дяде Митрию — почтение! Дома здоровы ли?

2-й мужик. Здорово, Семен.

1-й мужик. Здорово, братец.

3-й мужик. Здорово, малый. Жив ли?

Семен *(улыбаясь)*. Что ж, батюшка, пойдем, что ль, чайку попить?

2-й мужик. Погоди, отделаемся,— разве не видишь, недосуг таперь?

Семен. Ну, ладно, я у крыльца ждать буду. *(Уходит.)*

Таня *(бежит за ним)*. Ты что ж ничего не сказал?

Семен. Как же теперь говорить при народе? Дай срок, пойдем чай пить, я и скажу. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Те же, без Семена, Федор Иваныч выходит и садится к окну с газетой.

1-й мужик. Ну что ж, почтенный, как дело наше происходит?

Федор Иваныч. Погодите, сейчас выйдет, кончает.

Таня *(к Федору Иванычу)*. А вы почем, Федор Иваныч, знаете, что кончает?

Федор Иваныч. А я знаю, когда он вопросы окончит, то он вслух перечитывает вопрос и ответ.

Таня. Неужели ж правда, что блюдечком можно разговаривать с духами?

Федор Иваныч. Стало быть, можно.

Таня. Ну что ж, они ему скажут подписать — он и подпишет?

Федор Иваныч. А то как же?

Таня. Да ведь они словами не говорят?

Федор Иваныч. Азбукой. Против какой буквы остановится, он и замечает.

Таня. Ну, а если в сиансе?..

ЯВЛЕНИЕ СОРОКОВОЕ

Те же и Леонид Федорович.

Леонид Федорович. Ну, друзья мои, не могу. Очень бы желал, но никак не могу. Если все деньги, то другое дело.

1-й мужик. Это, двистительно, чего б лучше. Да маломочен народ, никак невозможно.

Леонид Федорович. Не могу, не могу никак. Вот и бумага ваша. Не могу подписать.

3-й мужик. А ты пожалей, отец, помилосердствуй!

2-й мужик. Что ж так делать? Обида это.

Леонид Федорович. Обиды, братцы, нету. Я вам тогда летом говорил: коли хотите, делайте. Вы не захотели, а теперь мне нельзя.

3-й мужик. Отец! смилосердуйся. Как жить таперича? Земля малая, не то что скотину — курицу, скажем, и ту выпустить некуда.

Леонид Федорович идет и останавливается в дверях.

ЯВЛЕНИЕ СОРОК ПЕРВОЕ

Те же, барыня и доктор сходят сверху. За ними Василий Леонидыч, в веселом и игривом настроении духа, укладывает деньги в бумажник.

Барыня *(затянутая, в шляпке)*. Так принять?

Доктор. Коли повторные явления будут, непременно принять. А главное — ведите себя лучше. А то как же вы хотите, чтобы густой сироп прошел через тоненькую волосяную трубочку, когда еще мы эту трубочку зажмем? Нельзя? Так и желчепровод. Все ведь это очень просто.

Барыня. Ну, хорошо, хорошо.

Доктор. То-то хорошо, а все по-старому; а так, барыня, нельзя, нельзя. Ну прощайте!

Барыня. Не прощайте, а до свиданья. Вечером я вас все-таки жду; без вас я не решусь.

Доктор. Ладно, ладно. Коли время будет, заверну. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ СОРОК ВТОРОЕ

Те же, без доктора.

Барыня *(увидав мужиков)*. Это что? Что это? Что это за люди?

Мужики кланяются.

Федор Иваныч. Это крестьяне из Курской о покупке земли к Леониду Федоровичу.

Барыня. Я вижу, что крестьяне, да кто их пустил?

Федор Иваныч. Леонид Федорович приказали. Они с ними сейчас говорили о продаже земли.

Барыня. И какая продажа? Совсем не нужно продавать. А главное — как же пускать людей с улицы в дом! Как пускать людей с улицы! Нельзя пускать в дом людей, которые ночевали бог знает где... *(Разгорячается все более и более.)* В одеждах, я думаю, всякая складка полна микроб: микробы скарлатины, микробы оспы, микробы дифтерита! Да ведь они из Курской, из Курской губернии, где повальный дифтерит!.. Доктор, доктор! Воротите доктора!

Леонид Федорович уходит, закрывая дверь. Григорий выходит за доктором.

ЯВЛЕНИЕ СОРОК ТРЕТЬЕ

Те же, без Леонида Федоровича и Григория.

Василий Леонидыч *(курит на мужиков)*. Ничего, мама, хотите я их окурю так, что всем микробам капут? А, что?

Барыня строго молчит, ожидая возвращения доктора.

(К мужикам.) А вы свиней выкармливаете? Вот выгодно-то!

1-й мужик. Двистительно, пускаем когда и по свиной части.

Василий Леонидыч. Таких... Иу, иу! *(Хрюкает поросенком.)*

Барыня. Вово, Вово! перестань!

Василий Леонидыч. Похоже? А, что?

1-й мужик. Двистительно, сходственно.

Барыня. Вово, перестань, я тебе говорю!

2-й мужик. Это к чему же?

3-й мужик. Сказывал, на фатеру бы пока что.

ЯВЛЕНИЕ СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, доктор и Григорий.

Доктор. Ну, что еще? Что такое?

Барыня. Да вот вы говорите, чтобы не волноваться. Ну как тут быть спокойной? Я сестру не вижу два месяца, я остерегаюсь всякого сомнительного посетителя. И вдруг люди из Курска, прямо из Курска, где повальный дифтерит,— в середине моего дома!

Доктор. То есть вот эти молодцы-то?

Барыня. Ну да, прямо из дифтеритной местности!

Доктор. Да, коли из дифтеритной местности, то, разумеется, неосторожно, но все-таки очень-то волноваться незачем.

Барыня. Да ведь вы сами же предписываете осторожность?

Доктор. Ну да, ну да, только волноваться-то очень незачем.

Барыня. Да ведь как же? Полную дезинфекцию надо.

Доктор. Нет, что ж полную, это дорого слишком, рублей триста, а то и больше станет. А я вам дешево и сердито устрою. Возьмите-ка на большую бутылку воды...

Барыня. Отварной?

Доктор. Все равно. Отварной лучше... Так на бутылку воды столовую ложку салициловой кислоты, да и велите перемыть все, чего касались даже, а их самих, молодцов этих, разумеется, вон. Вот и все. Тогда смело. Да того же состава через пульверизатор в воздух пропустите, стаканчика два, три, и посмотрите, как хорошо будет. Совершенно безопасно!

Барыня. Таня где? Позовите Таню!

ЯВЛЕНИЕ СОРОК ПЯТОЕ

Те же и Таня.

Таня. Что прикажете?

Барыня. Знаешь большую бутылку в уборной?

Таня. Из которой прачку вчера брызгали?

Барыня. Ну да, а то какая же! Так вот возьми ты эту бутыль и вымой прежде, где они стоят, мылом, потом этим...

Таня. Слушаю-с. Я знаю как.

Барыня. Да потом возьми пульверизатор... Впрочем, я вернусь, сама сделаю.

Доктор. Так и сделайте, и не бойтесь. Ну, так до свиданья, до вечера. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ СОРОК ШЕСТОЕ

Те же, без доктора.

Барыня. А их вон, вон, чтоб их духу не было. Вон, вон. Идите, что смотрите?

1-й мужик. Двистительно, мы как по глупости, как нам предлегаить...

Григорий *(выпроваживая мужиков)*. Ну, ну, идите, идите.

2-й мужик. Платок-то мой дай!

3-й мужик. О господи! Говорил я — па фатеру бы покуда что.

Григорий выталкивает его.

ЯВЛЕНИЕ СОРОК СЕДЬМОЕ

Барыня, Григорий, Федор Иваныч, Таня, Василий Леонидыч и артельщик.

Артельщик *(несколько раз порывавшийся говорить)*. Будет ответ какой?

Барыня. А, это от Бурдье? *(Горячась.)* Никакого, никакого, и несите назад. Я ей говорила, что я такого костюма не заказывала и дочери своей носить не позволю.

Артельщик. Не могу знать, меня послали.

Барыня. Ступайте, ступайте и несите назад. Я сама заеду.

Василий Леонидыч *(торжественно)*. Господин посланник от Бурдье, ступайте!

Артельщик. Давно бы сказали. Что ж я пять часов сидел?

Василий Леонидыч. Посланец Бурдье, ступайте!

Барыня. Перестань, пожалуйста.

Артельщик уходит.

ЯВЛЕНИЕ СОРОК ВОСЬМОЕ

Те же, без артельщика.

Барыня. Бетси! Где она? Вечно ее ждать.

Василий Леонидыч *(кричит во все горло)*. Бетси! Петрищев! Идите скорей! Скорей! Скорей! А, что?

ЯВЛЕНИЕ СОРОК ДЕВЯТОЕ

Те же, Петрищев, Бетси и Марья Константиновна.

Барыня. Вечно тебя ждешь.

Бетси. Напротив, я вас жду.

Петрищев кланяется одной головой и целует руку барыне.

Барыня. Здравствуйте! *(К Бетси.)* Всегда отвечать!

Бетси. Если вы, мама, не в духе, так лучше я не поеду.

Барыня. Едем или не едем?

Бетси. Да едемте, что ж делать?

Барыня. Видела от Бурдье?

Бетси. Видела и очень была рада. Я заказывала костюм и надену, когда заплатят за него деньги.

Барыня. Я не заплачу и не позволю надеть неприличный костюм.

Бетси. Отчего он стал неприличный? То был приличен, а то на вас pruderie [1], напала.

Барыня. Не pruderie, а переделать весь лиф, тогда можно.

Бетси. Мама, право, это невозможно.

Барыня. Ну, одевайся же.

Садятся. Григорий надевает ботики.

Василий Леонидыч. Марья Константиновна! А вы видите, какая пустота в передней?

Марья Константиновна. А что? *(Вперед смеется.)*

Василий Леонидыч. А от Бурдье ушел. А, что? Хорошо? *(Хохочет громко.)*

Барыня. Ну, едем. *(Выходит в дверь и тотчас же возвращается.)* Таня!

Таня. Что прикажете?

---

[1] преувеличенная стыдливость *(франц.)*.

Барыня. Фифку без меня чтоб не простудить. Если будет проситься выпускать, то непременно надеть капотец желтенький. Она не совсем здорова.

Таня. Слушаю-с.

Барыня, Бетси и Григорий уходят.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТОЕ

Петрищев, Василий Леонидыч, Таня и Федор Иваныч.

Петрищев. Ну что же, добыл?

Василий Леонидыч. Я тебе скажу, с трудом. Сначала сунулся к родителю,— зарычал и прогнал. Я к родительнице,— ну, и добился. Тут! *(Хлопает по карману.)* Уж если я возьмусь, от меня не уйдешь... Мертвая хватка. А, что? А нынче ведь приведут моих волкодавов.

Петрищев и Василий Леонидыч одеваются и уходят. Таня идет за ними.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ

Федор Иваныч один.

Федор Иваныч. Да, все неприятности. И как это они не могут в согласии жить? Да и правду сказать, молодое поколенье — не то. А царство женщин? Как давеча Леонид Федорович хотели было вступиться, да увидали, что она в экстазе, захлопнули дверь. Редкой доброты человек! Да, редкой доброты... Это что? Таня-то их опять ведет.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ

Федор Иваныч, Таня и три мужика.

Таня. Идите, идите, дяденьки, ничего.

Федор Иваныч. Зачем же ты их опять привела?

Таня. Да как же, Федор Иваныч, батюшка, надо же как-нибудь похлопотать за них. А я уж вымою заодно.

Федор Иваныч. Да ведь не сойдется дело, я уж вижу.

1-й мужик. Как же, поштенный, наше дело в действие произвесть? Вы, ваше степенство, побеспокойтесь как-нибудь, а уж мы в награждение хлопот от миру благодарность представить можем вполне.

3-й мужик. Постарайся, соколик, жить нам нельзя. Земля малая,— не то что скотину, а курицу, скажем, и ту выпустить некуда.

Кланяются.

Федор Иваныч. И жалко мне вас, да не знаю, братцы. Я ведь очень понимаю. Да ведь отказал он. Теперь как же? Да и барыня еще несогласна. Едва ли! Ну, да давайте бумагу,— пойду, попытаюсь, попрошу его. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ

Таня и три мужика (вздыхают).

Таня. Да вы мне скажите, дяденьки, в чем дело-то стало?

1-й мужик. Да вот только бы подписом приложения руки.

Таня. Только чтоб барин бумагу подписал, да?

1-й мужик. Только всего, приложить руку и деньги взять, вот бы и развязка.

3-й мужик. Написал бы только: как мужички, скажем, жалают, так, скажем, и я жалаю. И всего дела: взял, подписал, и крышка.

Таня. Только подписать? На бумаге только чтоб барин подписал? *(Задумывается.)*

1-й мужик. Двистительно, только всего и зависит дело. Подписал, значит, и больше никаких.

Таня. Вы погодите, что вот Федор Иваныч скажет. Если он не уговорит, я попытаю одну штуку.

1-й мужик. Объегоришь?

Таня. Попытаю.

3-й мужик. Ай, деушка, хлопотать хочет. Только выхлопочи ты дело, всю жизнь, скажем, кормить миром обвяжемся. Во как!

1-й мужик. Кабы в действие произвесть такое дело, двистительно озолотить можно.

2-й мужик. Да уж что говорить!

Таня. Верно не обещаю; как это говорится, попытка — не шутка, а...

1-й мужик. А спрос — не беда. Это двистительно.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Федор Иваныч.

Федор Иваныч. Нет, братцы, не выходит ваше дело, не согласился и не согласится. Берите бумагу. Идите, идите.

1-й мужик *(берет бумагу, к Тане)*. Так уж на тебя, примерно, упевать станем.

Таня. Сейчас, сейчас. Вы идите, на улице подождите, а я сию минутую выбегу, скажу что́.

Мужики уходят.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ

Федор Иваныч и Таня.

Таня. Федор Иваныч, голубчик, доложите барину, чтоб он ко мне вышел. Мне ему словечко сказать надо.

Федор Иваныч. Это что за новости?

Таня. Да нужно, Федор Иваныч. Доложите, пожалуйста, худого ничего, ей-богу.

Федор Иваныч. Какое такое дело?

Таня. Да секрет маленький. Я вам после открою. Вы доложите только.

Федор Иваныч *(улыбаясь)*. И что ты строишь, не пойму! Да ну, скажу, скажу. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ

Таня одна.

Таня. Право, сделаю. Ведь он сам говорил, что сила в Семене есть, а ведь я все знаю, как делать. Тогда никто не догадался. А теперь научу Семена. А не выйдет дело, не беда. Разве грех какой?

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ

Таня, Леонид Федорович и за ними Федор Иваныч.

Леонид Федорович *(улыбаясь)*. Вот просительница-то! Что это у тебя за дело?

Таня. Секрет маленький, Леонид Федорович. Позвольте мне один на один сказать.

Леонид Федорович. Что так? Федор, выдь на минутку.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ

Леонид Федорович и Таня.

Таня. Как я жила, выросла в вашем доме, Леонид Федорович, и как благодарна вам за все, я как отцу родному откроюсь. Живет у вас Семен, и хочет он на мне жениться.

Леонид Федорович. Вот как!

Таня. Открываюсь перед вами, как перед богом. Посоветоваться мне не с кем, как сирота я.

Леонид Федорович. Что ж, отчего же! Он, кажется, малый хороший.

Таня. Это точно, он все бы ничего, только одно я сумлеваюсь. И спросить хотела вас, что есть за ним одно дело, а я и понять не могу... как бы не худое что.

Леонид Федорович. Что ж, он пьет?

Таня. Нет, помилуй бог! А как я знаю, что спиритичество есть...

Леонид Федорович. Знаешь?

Таня. Как же-с! Я очень понимаю. Другие, точно, по необразованию не понимают этого...

Леонид Федорович. Ну так что ж?

Таня. Да вот опасаюсь насчет Семена. С ним это бывает.

Леонид Федорович. Что бывает?

Таня. Да вот вроде, как спири...тичество. Это у людей спросите. Как только он задремлет у стола, сейчас стол затрясется, весь заскрипит так: тук, ту... тук! Все и люди слышали.

Леонид Федорович. Вот как раз то, что я утром Сергею Ивановичу говорил. Ну?..

Таня. А то... когда это было?.. Да, в середу. Сели обедать. Только он сел за стол, а ложка сама к нему в руку — прыг!

Леонид Федорович. А, это интересно! И в руку прыг? Что ж, он задремал?

Таня. Вот уж не приметила. Кажется, что задремал.

Леонид Федорович. Ну?..

Таня. Ну, вот я и опасаюсь и об этом спросить хотела, что не будет ли от этого вреда? Тоже век жить, а в нем такое дело.

Леонид Федорович *(улыбаясь)*. Нет, не бойся, тут худого ничего нет. А это значит только то, что он

медиум,— просто медиум. Я и прежде знал, что он медиум.

Таня. Вот что... А я-то боялась!

Леонид Федорович. Нет, не бойся, ничего. *(Сам с собой.)* Вот и прекрасно. Капчича не будет, мы его нынче и испытаем... Нет, ты, милая, не бойся, он и хороший муж будет, и все... А это особенная сила, она во всех есть. Только в одних слабей, в других сильней.

Таня. Покорно вас благодарю. Я теперь и думать не буду. А то я боялась... Что значит неученье-то наше!

Леонид Федорович. Нет, нет, не бойся. Федор!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ

Те же и Федор Иваныч.

Леонид Федорович. Я пойду со двора. К вечеру приготовь все для сеанса.

Федор Иваныч. Да ведь Капчич не изволит быть.

Леонид Федорович. Ничего, все равно. *(Надевает шинель.)* Пробный сеанс будет с своим медиумом. *(Уходит. Федор Иваныч провожает его.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТИДЕСЯТОЕ

Таня одна.

Таня. Поверил, поверил! *(Взвизгивает, прыгает.)* Ей-богу, поверил! Вот чудо-то! *(Взвизгивает.)* Теперь сделаю, только бы Семен не сробел.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ

Таня и Федор Иваныч (возвращается).

Федор Иваныч. Ну что же, сказала свой секрет?

Таня. Сказала. Да я и вам открою, только после... А у меня и к вам, Федор Иваныч, просьба есть.

Федор Иваныч. Какая же это ко мне-то просьба?

Таня *(стыдливо)*. Вы мне как второй отец были, я вам как перед богом откроюсь.

Федор Иваныч. Да ты не виляй, прямо к делу,

Таня. Да что дело? Дело то, что Семен на мне жениться хочет.

Федор Иваныч. Вот как! То-то я примечаю...

Таня. Да что ж мне скрываться? Мое дело сиротское, а вы сами знаете здешнее городское заведение: всякий пристает; хоть бы Григорий Михайлыч, проходу от него нету. Тоже и этот... знаете? Они думают, что у меня души нет, что я только им для забавы далась...

Федор Иваныч. Умница, хвалю! Ну, так что же?

Таня. Да Семен писал отцу, а он, отец-то, нынче меня увидал, да сейчас и говорит: избаловался,— про сына-то. Федор Иваныч! *(Кланяется.)* Будьте мне заместо отца, поговорите с стариком, с Семеновым отцом. Я бы их в кухню провела, а вы бы зашли, да и поговорили старику.

Федор Иваныч *(улыбаясь)*. Это сватом я, значит, буду? Что ж, можно.

Таня. Федор Иваныч, голубчик, будьте заместо отца родного, а я век за вас буду бога молить.

Федор Иваныч. Хорошо, хорошо; пройду ужо. Обещаю, так сделаю. *(Берет газету.)*

Таня. Второй отец мне будете.

Федор Иваныч. Хорошо, хорошо.

Таня. Так я буду в надежде... *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ

Федор Иваныч один.

Федор Иваныч *(кивает головой)*. А ласковая девочка, хорошая. А ведь сколько их таких пропадает, подумаешь! Только ведь промахнись раз один — пошла по рукам... Потом в грязи ее уж не сыщешь. Не хуже, как Наталья сердечная... А тоже была хорошая, тоже мать родила, лелеяла, выращивала... *(Берет газету.)* Нука, что Фердинанд наш, как изворачивается?..

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Театр представляет внутренность людской кухни. Мужики, раздевшись и запотев, сидят у стола и пьют чай. Федор Иваныч с сигарой на другом конце сцены. На печке старый повар, не видный первые четыре явления.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Три мужика и Федор Иваныч.

Федор Иваныч. Мой совет, ты ему не препятствуй. Если его желание есть и ее тоже, так и с богом. Девушка хорошая, честная. На это не смотри, что она щеголиха. Это по-городски, нельзя без этого. А девушка умная.

2-й мужик. Что ж, коли его охота есть. Ему жить с ней, а не мне. Только уж оченно чиста. Как ее в избу введешь? Свекрови-то она и погладиться не дастся.

Федор Иваныч. Это, братец ты мой, не от чистоты, а от характера. Коли доброго характера, так будет покорна и уважительна.

2-й мужик. Да уж возьму, коли так малый усетился, чтобы беспременно ее взять. Тоже с немилой жить беда! Со старухой посоветуюсь, да и с богом.

Федор Иваныч. Ну, и по рукам.

2-й мужик. Да уж видно, что так.

1-й мужик. И как тебе фортунит, Захар: приехал за совершением дела, а глядь — сноху за сына какую кралю высватал. Только бы спрыснуть, значит, чтобы хворменно было.

Федор Иваныч. Этого совсем не нужно.

Неловкое молчание.

Я ведь вашу жизнь крестьянскую очень понимаю. Я, вам скажу, сам подумываю, где бы землицы купить. Домик

построил бы да крестьянствовал. Хоть бы в вашей стороне.

2-й мужик. Разлюбезное дело!

1-й мужик. Двистительно, при деньгах можно в деревне себе всякое удовольствие получить.

3-й мужик. Что и говорить! Деревенское дело, скажем, во всяком разе слободно, не то, что в городу.

Федор Иваныч. Что ж, примете в общество, коли у вас поселюсь?

2-й мужик. Отчего же не принять? Вина старикам выставишь, сейчас примут.

1-й мужик. Да питейное заведение, примерно, или трактир откроете, житье такое будет, что умирать не надо. Царствуй, и больше никаких.

Федор Иваныч. Там видно будет. А только хочется на старости лет спокойно пожить. Жить мне и здесь хорошо — жалко и оставить: Леонид Федорович ведь редкой доброты человек.

1-й мужик. Это двистительно. Да что же он наше-то дело? Ужели ж так, без последствий?

Федор Иваныч. Он-то бы рад.

2-й мужик. Видно, он жены боится.

Федор Иваныч. Не боится, а тоже согласия нет.

3-й мужик. А ты бы, отец, постарался, а то как нам жить? Земля малая...

Федор Иваныч. Да вот посмотрим, что выйдет от Татьяниных хлопот. Ведь она взялась.

3-й мужик *(пьет чай)*. Отец, помилосердствуй! Земля малая, не токмо скотину,— курицу, скажем, и ту выпустить некуда.

Федор Иваныч. Да кабы в моих руках дело было. *(Ко 2-му мужику.)* Так тàк, братец, сваты мы с тобой будем. Кончено дело об Тане-то?

2-й мужик. Да уж сказал коли я, и без пропою назад не попячусь. Только бы дело наше вышло.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же, входит кухарка, заглядывает на печку, делает туда знаки и тотчас же начинает оживленно говорить с Федором Иванычем.

Кухарка. Сейчас из белой кухни позвали Семена вверх; барин да энтот, что вызывает с ним, лысый-то, посадили его да велели на место Капчича действовать.

Федор Иваныч. Что ты врешь!

Кухарка. Как же! сейчас Тане Яков сказывал.

Федор Иваныч. Чудно́ это!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и кучер.

Федор Иваныч. Ты что?

Кучер *(к Федору Иванычу)*. Так и скажите, что я не нанимался с собаками жить. Пускай другой кто живет, а я с собаками жить не согласен.

Федор Иваныч. С какими собаками?

Кучер. Да привели от Василья Леонидыча трех кобелей к нам в кучерскую. Напакостили, воют, а приступиться нельзя — кусаются. Злые, черти! — того и гляди, сожрут. И то хочу поленом ноги им перебить.

Федор Иваныч. Да когда же это?

Кучер. Да нынче привели с выставки, какие-то дорогие, пустопсовые, что ль, леший их знает! Либо собакам в кучерской, либо кучерам жить. Так и скажите.

Федор Иваныч. Да, это непорядок. Я пойду спрошу.

Кучер. Их бы сюда, что ль, к Лукерье.

Кухарка *(горячо)*. Тут люди обедают, а ты кобелей запереть хочешь. Уж и так...

Кучер. А у меня кафтаны, полости, сбруя. А чистоту спрашивают. Ну, в дворницкую, что ль.

Федор Иваныч. Надо Василью Леонидычу сказать.

Кучер *(сердито)*. Повесил бы себе на шею кобелей этих, да и ходил бы с ними, а то сам-то небось на лошадях ездить любит. Красавчика испортил ни за что. А лошадь была!.. Эх, житье! *(Уходит, хлопая дверью.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, без кучера.

Федор Иваныч. Да, непорядки, непорядки! *(К мужикам.)* Ну, так так-то, пока прощайте, ребята!

Мужики. С богом.

Федор Иваныч уходит.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же, без Федора Иваныча. Как только Федор Иваныч уходит, на печке слышно кряхтенье.

2-й мужик. Уж и гладок же, ровно анарал.

Кухарка. Да что и говорить! Горница особая, стирка на него вся от господ, чай, сахар — это все господское, и пища со стола.

Старый повар. Как черту не жить,— накрал!

2-й мужик. Это чей же, на печке-то?

Кухарка. Да так, человечек один.

Молчание.

1-й мужик. Ну, да и у вас, посмотрел я давеча, ужинали, капиталец дюже хорош.

Кухарка. Жаловаться нельзя. На это она не скупа. Белая булка по воскресеньям, рыба в постные дни по праздникам, а кто хошь, и скоромное ешь.

2-й мужик. Разве постом лопает кто?

Кухарка. Э, да все почитай. Только и постятся, что кучер (не этот, что приходил, а старый...), да Сема, да я, да икономка, а то все скоромное жрут.

2-й мужик. Ну, а сам-то?

Кухарка. Э, хватился! да он и думать забыл, какой такой пост есть.

3-й мужик. О господи!

1-й мужик. Дело господское, по книжкам дошли. Потому умственность!

3-й мужик. Ситник-то каждый день, я чай?

Кухарка. О, ситник! Не видали они твоего ситника! Посмотрел бы пищу у них: чего-чего нет!

1-й мужик. Господская пища, известно, воздушная.

Кухарка. Воздушная-то, воздушная,— ну, да и здоровы жрать.

1-й мужик. В аппеките, значит.

Кухарка. Потому запивают. Вин этих сладких, водок, наливок шипучих, к каждому кушанью — свое. Ест и запивает, ест и запивает.

1-й мужик. Она, значит, в препорцию и проносит пищу-то.

Кухарка. Да уж как здоровы жрать — беда! У них ведь нет того, чтоб сел, поел, перекрестился да встал, а бесперечь едят.

2-й мужик. Как свиньи, в корыто с ногами.

Мужики смеются.

Кухарка. Только, господи благослови, глаза продерут, сейчас самовар, чай, кофе, щиколад. Только самовара два отопьют, уж третий ставь. А тут завтрак, а тут обед, а тут опять кофий. Только отвалятся, сейчас опять чай. А тут закуски пойдут: конфеты, жамки — и конца нет. В постели лежа — и то едят.

3-й мужик. Вот так та̀к. *(Хохочет.)*

1-й и 2-й мужики. Да ты чего?

3-й мужик. Хоть бы денек так пожить!

2-й мужик. Ну, а когда же дела делают?

Кухарка. Какие у них дела? В карты да в фортепьяны — только и делов. Барышня, так та, бывало, как глаза продерет, так сейчас к фортепьянам, и валяй! А эта, что живет, учительша, стоит, ждет, бывало, скоро ли опростаются фортепьяны; как отделалась одна, давай эта закатывать. А то двое фортепьян поставят, да по двое, вчетвером запузыривают. Так-то запузыривают, аж здесь слышно.

3-й мужик. Ох, господи!

Кухарка. Ну, вот только и делов: в фортепьяны, а то в карты. Как только съехались, сейчас карты, вино, закурят — и пошло на всю ночь. Только встанут — поесть опять!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Семен.

Семен. Чай да сахар!

1-й мужик. Милости просим, садись.

Семен *(подходит к столу)*. Благодарю покорно.

1-й мужик наливает ему чай.

2-й мужик. Где был?

Семен. Вверху был.

2-й мужик. Что ж, какие же там дела?

Семен. Да и не поймешь. Не знаю, как сказать.

2-й мужик. Да что ж, дело какое?

Семен. Да и не знаю, как сказать, силу какую-то во мне пытали. Да я не пойму. Татьяна говорит: делай, мы, говорит, нашим мужикам землю охлопочем, продаст.

2-й мужик. Да как же она сделает-то?

Семен. Да не пойму от нее, она не сказывает. Только, говорит, делай, как я велю!

2-й мужик. Что ж делать-то?

Семен. Да сейчас ничего. Посадили меня, свет потушили, велели спать. А Татьяна тут же схоронилась. Они не видят, а я вижу.

2-й мужик. Что ж это, к чему?

Семен. А бог их знает — не поймешь.

1-й мужик. Известно, для разгулки времени.

2-й мужик. Ну, видно, этих делов не разберем мы с тобой. А вот ты сказывай: денег ты много забрал?

Семен. Я не брал, все зажито, двадцать восемь рублей, должно.

2-й мужик. Это ладно. Ну, а коли бог даст, о земле сладимся, ведь я тебя, Семка, домой возьму.

Семен. С моим удовольствием.

2-й мужик. Набаловался ты, я чай. Пахать не захочешь?

Семен. Пахать-то? Давай сейчас. Косить, пахать, это все из рук не вывалится.

1-й мужик. А все, примерно, после городского жительства не поманится.

Семен. Ничего, и в деревне жить можно.

1-й мужик. А вот дядя Митрий на твое место охотится, на великатную жизнь.

Семен. Ну, дядя Митрий, наскучит. Оно, глядеться, легко, а беготни тоже много. Замотаешься.

Кухарка. Вот ты бы, дядя Митрий, посмотрел балы у них. Вот подивился бы!

3-й мужик. А что ж, едят всё?

Кухарка. Куды тебе? Посмотрел бы, что было! Меня Федор Иваныч провел. Посмотрела я: барыни — страсть! Разряжены, разряжены, что куда тебе! А по сих мест голые, и руки голые.

3-й мужик. О господи!

2-й мужик. Тьфу, скверность!

1-й мужик. Значит, клеймàт так позволяет.

Кухарка. Так-то и я, дяденька, глянула: что ж это? — все телешом. Веришь ли, старые — наша барыня, у ней, мотри, внуки,— тоже оголились.

3-й мужик. О господи!

Кухарка. Так ведь что: как вдарит музыка, как взыграли,— сейчас это господа подходят каждый к своей, обхватит и пошел кружить.

2-й мужик. И старухи?

Кухарка. И старухи.

Семен. Нет, старухи сидят.

Кухарка. Толкуй, я сама видела!

Семен. Да нет же.

Старый повар *(высовываясь, хрипло).* Полька-мазурка это. Э, дура, не знает! — танцуют так...

Кухарка. Ну, ты, танцорщик, помалкивай знай. Во, идет кто-то.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и Григорий. Старый повар поспешно скрывается.

Григорий *(кухарке).* Давай капусты кислой!

Кухарка. Только с погреба пришла, опять лезть. Кому это?

Григорий. Барышням тюрю. Живо! С Семеном пришли, а мне некогда.

Кухарка. Вот наедятся сладко, так, что больше не лезет, их и потянет на капусту.

1-й мужик. Для прочистки, значит.

Кухарка. Ну да, опростают место, опять валяй! *(Берет чашку и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же, без кухарки.

Григорий *(мужикам).* Вишь, расселись. Вы смотрите: барыня узнает, она вам такую задаст трепку, не хуже утрешнего. *(Смеется и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Три мужика, Семен и старый повар (на печке).

1-й мужик. Двистительно, штурму сделала давеча — беда!

2-й мужик. Давеча хотел он, видно, вступиться, а потом как глянул, что она крышу с избы рвет, захлопнул дверь: будь ты, мол, неладна.

3-й мужик *(махая рукой).* Все одно положение. Тоже моя старуха, скажем, другой раз распалится — страсть! Уж я из избы вон иду. Ну ее совсем! Того гляди, скажем, рогачом зашибет. О господи!

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же и Яков (вбегает с рецептом).

Яков. Сема, беги в аптеку, живо, возьми порошки вот барыне!

Семен. Да ведь он не велел уходить.

Яков. Успеешь. Твое дело еще, поди, после чаю... Чай да сахар!

1-й мужик. Милости просим.

Семен уходит.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Те же, без Семена.

Яков. Некогда, да уж налейте чашечку для компании.

1-й мужик. Да вот предлегает разговорка, как давеча ваша госпожа очень как себя гордо повела.

Яков. О, эта горяча — страсть! Так горяча — сама себя не помнит. Другой раз заплачет даже.

1-й мужик. А что, примерно, я спросить хотел? Она что-то давеча предлегала макроту. Макроту, макроту, говорит, занесли. К чему это приложить, макроту эту самую?

Яков. О, это макровы. Это, они говорят, такие козявки есть, от них, мол, и болезни все. Так вот, мол, что на вас они. Уж они после вас мыли-мыли, брызгали-брызгали, где вы стояли. Такая специя есть, от ней дохнут они, козявки-то.

2-й мужик. Так где же они на нас, козявки-то эти?

Яков *(пьет чай)*. Да они, сказывают, такие махонькие, что и в стекла не видать.

2-й мужик. А почем она знает, что они на мне? Може, на ней этой пакости больше моего.

Яков. А вот поди, спроси их!

2-й мужик. А я полагаю, пустое это.

Яков. Известно, пустое; надо же дохтурам выдумывать, а то за что бы им деньги платить? Вот к нам каждый день ездит. Приехал, поговорил — десятку.

2-й мужик. Вре?..

Яков. А то один есть такой, что сотенную.

1-й мужик. Ну! и сотенную?

Яков. Сотенную? Ты говоришь: сотенную,— по тысяче берет, коли за город ехать. Давай, говорит, тысячу, а не дашь — издыхай себе!

3-й мужик. О господи!

2-й мужик. Что ж, он слово какое знает?

Яков. Должно, что знает. Жил я прежде у генерала, под Москвой, сердитый был такой, гордый — страсть, генерал-то! Так заболела у него дочка. Сейчас послали за этим. Тысячу рублей — приеду... Ну, сговорились, приехал. Так что-то не потрафили ему. Так, батюшки мои, как цыкнет на генерала. А! говорит, так так-то ты меня уважаешь, так-то? Так не стану ж лечить! — Так куда тебе! генерал-то и гордость свою забыл, всячески улещает. Батюшка! только не бросай!

1-й мужик. А тысячу-то отдали?

Яков. А то как же?..

2-й мужик. То-то шальные деньги-то. Что б мужик на эти деньги наделал!

3-й мужик. А я думаю, пустое все. Как у меня тады нога прела. Лечил, лечил, скажем, рублей пять пролечил. Бросил лечить, а она и зажила.

Старый повар на печке кашляет.

Яков. Опять тут, сердешный!

1-й мужик. Какой такой мужчинка будет?

Яков. Да нашего барина повар был, к Лукерье ходит.

1-й мужик. Кухмистер, значит. Что ж, здесь проживает?

Яков. Не... Здесь не велят. А где день, где ночь. Есть три копейки — в ночлежном доме, а пропьет все — сюда придет.

2-й мужик. Как же он так?

Яков. Да так, ослаб. А тоже человек какой был, как барин! При золотых часах ходил, по сорока рублей в месяц жалованья брал. А теперь давно с голоду бы помер, кабы не Лукерья.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Те же и кухарка (с капустой).

Яков *(к Лукерье)*. А я вижу, Павел Петрович опять тут?

Кухарка. Куда ж ему деться — замерзнуть, что ли?

3-й мужик. Что делает винцо-то! Винцо-то, скажем... *(Щелкает языком с соболезнованием.)*

2-й мужик. Известно, окрепнет человек — крепче камня; ослабнет — слабее воды.

Старый повар *(слезает с печи, дрожит и ногами и руками)*. Лукерья! Говорю, дай рюмочку.

Кухарка. Куда лезешь! Я те дам такую рюмочку!..

Старый повар. Боишься ты бога? Умираю. Братцы, пятачок...

Кухарка. Говорю, полезай на печь.

Старый повар. Кухарка! пор-рюмочки. Христа ради, говорю, понимаешь ты — Христом прошу!

Кухарка. Иди, иди. Чаю вот на!

Старый повар. Что чай? Что чай? Пустое питье, слабое. Винца бы, только глоточек... Лукерья!

3-й мужик. Ах, сердешный, мается как.

2-й мужик. Да дай ему, что ль.

Кухарка *(достает в поставце и наливает рюмку)*. На вот, больше не дам.

Старый повар *(хватает, пьет дрожа)*. Лукерья! Кухарка! Я выпью, а ты понимай...

Кухарка. Ну, ну, разговаривай! Лезь на печку, и чтобы духа твоего не слышно было.

Старый повар лезет покорно и не переставая ворчит что-то себе под нос.

2-й мужик. Что значит — ослаб человек!

1-й мужик. Двистительно, слабость-то человеческая.

3-й мужик. Да что и говорить.

Старый повар укладывается и все ворчит. Молчание.

2-й мужик. Ну, что я хотел спросить: эта вот девушка живет у вас с нашей стороны — Аксиньина-то. Ну что? Как? Как она живет, значит, честно ли?

Яков. Девушка хорошая, похвалить можно.

Кухарка. Я тебе, дядя, истину скажу, как я здешнее заведение твердо знаю: хочешь ты Татьяну за̀ сына брать — бери скорее, пока не изгадилась, а то не миновать.

Яков. Да, это истинно так. Вот летось Наталья, у нас девушка жила. Хорошая девушка была. Так ни за что пропала, не хуже этого... *(Показывает на повара.)*

Кухарка. Потому тут нашей сестры пропадает — плотину пруди. Всякому манится на легонькую работу да на сладкую пищу. Ан глядь, со сладкой-то пищи сей-

час и свихнулась. А свихнулась, им уж такая не нужна. Сейчас эту вон — свеженькую на место. Так-то Наташа сердешная: свихнулась — сейчас прогнали. Родила, заболела, весною прошлой в больнице и померла. И какая девушка была!

3-й мужик. О господи! Народ слабый. Жалеть надо.

Старый повар. Как же, пожалеют они, черти! *(Спускает с печи ноги.)* Я у плиты тридцать лет прожарился. А вот не нужен стал: издыхай, как собака!.. Как же, пожалеют!

1-й мужик. Это двистительно, положения известная.

2-й мужик. Пили, ели, кудрявчиком звали; попили, поели — прощай, шелудяк!

3-й мужик. О господи!

Старый повар. Понимаешь ты много. Что значит: сотей а ла бамон? Что значит: бавасари? Что я сделать мог! Мысли! Император мою работу кушал! А теперь не нужен стал чертям. Да не поддамся я!

Кухарка. Ну, ну, разговорился. Вот я тебя!.. Залезай в угол, чтоб не видать тебя было, а то Федор Иваныч зайдет или еще кто, и выгонят меня с тобой совсем.

Молчание.

Яков. Так знаете мою сторону-то, Вознесенское?

2-й мужик. Как же не знать. От нас верст семнадцать, больше не будет, а бродом меньше. Ты что же, землю-то держишь?

Яков. Брат держит, а я посылаю. Я сам хоть здесь, а умираю об доме.

1-й мужик. Двистительно.

2-й мужик. Анисим, значит, брат тебе?

Яков. Как же, брат родный! На том концу.

2-й мужик. Как не знать — третий двор.

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же и Таня (вбегает).

Таня. Яков Иваныч! что вы тут прохлаждаетесь? Зовет!

Яков. Сейчас. Что там?

Таня. Фифка лает, есть хочет; а она ругается на вас: какой, говорит, он злой. Жалости, говорит, в нем нет. Ей давно обедать пора, а он не несет!.. *(Смеется.)*

Яков *(хочет уходить)*. О, сердита? Как бы чего не вышло!

Кухарка *(Якову)*. Капусту-то возьмите.

Яков. Давай, давай! *(Берет капусту и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Те же, без Якова.

1-й мужик. Кому же это обедать теперь?

Таня. А собаке. Собака эта ее... *(Присаживается и берется за чайник.)* Чай-то есть ли? а то я принесла еще. *(Всыпает.)*

2-й мужик. Обедать собаке?

Таня. Как же! Коклетку особенную делают, чтобы не жирная была. Я на нее, на собаку-то, белье стираю.

3-й мужик. О господи!

Таня. Как тот барин, что собаку хоронил.

2-й мужик. Это как же так?

Таня. А так, — рассказывал один человек, — издох у него пес, у барина-то. Вот он и поехал зимой хоронить его. Похоронил, едет и плачет, барин-то. А мороз здоровый, у кучера из носу течет, и он утирается... Дайте налью. *(Наливает чай.)* Из носу-то течет, а он все утирается. Увидал барин: «Что, говорит, о чем ты плачешь?» А кучер говорит: «Как же, сударь, не плакать, какая собака была!» *(Хохочет.)*

2-й мужик. А сам, я чай, думает: хоть бы ты и сам издох, так я бы плакать не стал... *(Хохочет.)*

Старый повар *(с печки)*. Это правильно, верно!

Таня. Хорошо, приехал домой барин, сейчас к барыне: «Какой, говорит, наш кучер добрый: он всю дорогу плакал, — так ему жаль моего Дружка. Позовите его: на, мол, выпей водки, а вот тебе награда — рубль». Так-то и она, что Яков собаки ее не жалеет.

Мужики хохочут.

1-й мужик. Хворменно!

2-й мужик. Вот так та́к!

3-й мужик. Ай, девушка, насмешила!

Таня *(наливает еще чай)*. Кушайте еще!.. То-то, оно так кажется, что жизнь хорошая, а другой раз противно все эти гадости за ними убирать. Тьфу! В деревне лучше.

Мужики перевертывают чашки.

(Наливает.) Кушайте на здоровье, Ефим Антоныч! Я налью, Митрий Власьевич!

3-й мужик. Ну, налей, налей.

1-й мужик. Ну как же, умница, дело наше происходит?

Таня. Ничего, идет...

1-й мужик. Семен сказывал...

Таня *(быстро)*. Сказывал?

2-й мужик. Да не понять от него!

Таня. Мне сказать теперь нельзя, а только стараюсь, стараюсь. Вот она — и бумага ваша! *(Показывает бумагу за фартуком.)* Только бы одна штука удалась... *(Взвизгивает.)* Уж как бы хорошо было!

2-й мужик. Ты смотри, бумагу-то не затеряй. За нее тоже денежки плачены.

Таня. Будьте покойны. Ведь только чтобы подписал он?

3-й мужик. А то чего же еще? Подписал, скажем, и крышка. *(Перевертывает чашку.)* Да будет уж.

Таня *(сама с собой)*. Подпишет, вот увидите, подпишет. Еще кушайте. *(Наливает.)*

1-й мужик. Только охлопочи насчет свершения продажи земли, миром и замуж можем отдать. *(Отказывается от чая.)*

Таня *(наливает и подает)*. Кушайте.

3-й мужик. Только сделай: и замуж отдадим и на свадьбу, скажем, плясать приду. Хоть отродясь не плясывал, плясать буду!

Таня *(смеется)*. Да уж я буду в надежде.

Молчание.

2-й мужик *(оглядывая Таню)*. Так-то так, а не гожаешься ты для мужицкой работы.

Таня. Я-то? Что ж, вы думаете, силы нету? Вы бы посмотрели, как я барыню затягиваю. Другой мужик так не потянет.

2-й мужик. Да куда ж ты ее затягиваешь?

Таня. Да так на костях исделано, как куртка, по сих пор. Ну, на шнуры и стягиваешь, как вот запрягают, еще в руки плюют.

2-й мужик. Засупониваешь, значит?

Таня. Да, да, засупониваю. А ногой в нее ведь не упрешься. *(Смеется.)*

2-й мужик. Зачем же ты ее затягиваешь?

Таня. А вот затем.

2-й мужик. Что ж, она обреклась, что ль?

Таня. Нет, для красоты.

1-й мужик. Пузу, значит, ей утягивает для хвормы.

Таня. Так та́к стянешь, что у нее глаза вон лезут, а она говорит: «Еще». Так все руки обожжешь, а вы говорите: силы нет.

Мужики смеются и качают головами.

Однако я заболталась. *(Убегает, смеясь.)*

3-й мужик. Вот так девушка, насмешила!

1-й мужик. Да уж как аккуратна!

2-й мужик. Ничего.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Три мужика, кухарка, старый повар (на печке). Входят Сахатов и Василий Леонидыч. У Сахатова в руках ложка чайная.

Василий Леонидыч. Не то чтобы обед, а déjeuner dînatoir[1]. И прекрасный, я вам скажу, был завтрак: поросячьи окорочка — прелесть! Рулье отлично кормит. Я ведь только сейчас приехал. *(Увидев мужиков.)* А мужики опять здесь?

Сахатов. Да, да, это все прекрасно, но мы пришли спрятать предмет. Так куда же спрятать?

Василий Леонидыч. Виноват, я сейчас. *(К кухарке.)* А собаки где же?

Кухарка. В кучерской собаки. Разве можно в людскую?

Василий Леонидыч. А, в кучерской? Ну, хорошо.

Сахатов. Я жду.

Василий Леонидыч. Виноват, виноват. А, что? спрятать? Да, Сергей Иванович, так вот что я вам скажу: мужику, одному из этих, в карман. Вот хоть этому. Ты послушай. А, что? Где у тебя карман?

3-й мужик. А на что тебе карман! Ишь ты, карман! У меня в кармане деньги.

Сахатов. Ну, где кошель?

3-й мужик. А тебе на что?

---

[1] плотный завтрак *(франц.)*.

Кухарка. Что ты! Молодой барин это.

Василий Леонидыч *(хохочет)*. А вы знаете, отчего он испугался так? Я вам сейчас скажу: у него денег пропасть. А, что?

Сахатов. Да, да, понимаю. Ну, так вот что: вы поговорите с ними, а я покамест незаметно положу вон в эту сумку — так, чтоб и они не знали, не могли ничем указать ему. Поговорите с ними.

Василий Леонидыч. Сейчас, сейчас. Ну, так как же, ребятушки, купите землю-то? А, что?

1-й мужик. Мы-то предлегаем как всей душой. Да вот все не происходит в движение делу.

Василий Леонидыч. А вы не скупитесь. Земля — дело важное. Я вам говорил — мяту. А то можно табак еще.

1-й мужик. Это двиствительно, всякие продухты можно.

3-й мужик. А ты, отец, попроси батюшку. А то как жить? Земля малая, — курицу, скажем, и ту выпустить некуда.

Сахатов *(положил ложку в сумку 3-го мужика)*. C'est fait[1]. Готово. Пойдемте. *(Уходит.)*

Василий Леонидыч. А вы не скупитесь. А? Ну, прощайте. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Три мужика, кухарка и старый повар (на печке).

3-й мужик. Я говорил: на фатеру. Ну, по гривне, скажем, отдали бы, по крайности покойно, а тут помилуй бог. Деньги, говорит, давай. К чему это?

2-й мужик. Должно, выпимши.

Мужики переворачивают чашки, встают и крестятся.

1-й мужик. А ты помни, как он слово закинул, чтоб мяту сеять? Тоже понимать надо.

2-й мужик. Как же, мяту сей, вишь. Ты попытай-ка, горбом поворочай — запросишь мяты небось... Ну, благодарим покорно!.. А что ж, умница, где нам лечь тут?

Кухарка. Ложитесь — на печку один, а то по лавкам.

---

[1] Готово *(франц.)*.

3-й мужик. Спаси Христос. *(Молится богу.)*

1-й мужик. Кабы бог дал свершения дела. *(Ложится.)* Завтра после обеда на машину бы закатились, во вторник и дома бы.

2-й мужик. Свет-то тушить будете?

Кухарка. Где тушить! Всё прибегать будут: то того, то другого... Да вы ложитесь, я заверну.

2-й мужик. На малой земле как проживешь? Я нынче ведь с рожества хлеб покупаю. И солома овсяная дошла. А то закатил бы четыре десятинки, Семку бы домой взял.

1-й мужик. Твое дело семейное. Без нужды! Землю уберешь, только подавай. Только бы свершилось дело.

3-й мужик. Царицу небесную просить надо. Авось смилосердуется.

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Тишина, вздохи. Потом слышны топот шагов, шум голосов, двери растворяются настежь, и стремительно вваливаются: Гросман с завязанными глазами, держащий за руку Сахатова, профессор и доктор, толстая барыня и Леонид Федорович. Бетси и Петрищев, Василий Леонидыч и Марья Константиновна, барыня и баронесса, Федор Иваныч и Таня. Три мужика, кухарка и старый повар (невидим). Мужики вскакивают. Гросман входит быстрыми шагами, потом останавливается.

Толстая барыня. Вы не заботьтесь: я слежу, я взялась следить и строго исполняю свою обязанность. Сергей Иваныч, вы не ведете?

Сахатов. Да нет же.

Толстая барыня. Вы не ведите, но и не противьтесь. *(К Леониду Федоровичу.)* Я знаю эти опыты. Я сама их делала. Я, бывало, чувствую истечение, и как только почувствую...

Леонид Федорович. Позвольте попросить соблюдать тишину.

Толстая барыня. Ах, я это очень понимаю! Я это на себе испытала. Как только внимание развлеклось, я уж не могу...

Леонид Федорович. Шш...

Ходят, ищут около 1-го и 2-го мужика и подходят к 3-му. Гросман спотыкается на скамейку.

Баронесса. Mais dites moi, on le paye? [1]

Барыня. Je ne saurais vous dire [2].

Баронесса. Mais c'est un monsieur? [3]

Барыня. Oh, oui [4].

Баронесса. Ça tient du miraculeux. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'il trouve? [5]

Барыня. Je ne saurais vous dire. Mon mari vous l'expliquera. *(Увидав мужиков, оглядывается и видит кухарку.)* Pardon... [6] Это что?

Баронесса подходит к группе.

(Кухарке.) Кто пустил мужиков?

Кухарка. Яков привел.

Барыня. Якову кто приказал?

Кухарка. Не могу знать. Федор Иваныч их видели.

Барыня. Леонид!

Леонид Федорович не слышит, занят отыскиванием и шикает.

Федор Иваныч! Это что значит? Разве вы не видали, что я дезинфицировала всю переднюю, а теперь вы мне всю кухню заразили, черный хлеб, квас...

Федор Иваныч. Я полагал, что здесь не опасно; а люди по делу. Идти им далеко, а из своей деревни.

Барыня. В том-то и дело, что из курской деревни, где, как мухи, мрут от дифтерита. А главное — я приказывала, чтоб их не было в доме!.. Приказывала я или нет? *(Подходит к кучке, собравшейся около мужиков.)* Осторожнее! Не дотрогивайтесь до них: они все в дифтеритной заразе!

Никто ее не слушает; она с достоинством отходит и неподвижно стоит, дожидаясь.

Петрищев *(сопит громко носом)*. Дифтеритная — не знаю, а некоторая другая зараза в воздухе есть. Вы слышите?

Бетси. Полноте врать! Вово, в какой сумке!

Василий Леонидыч. В той, той! Подходит, подходит.

---

[1] Скажите, ему платят? *(франц.)*

[2] Не смогу вам сказать *(франц.)*.

[3] Он из господ? *(франц.)*

[4] О, да *(франц.)*.

[5] Это сверхъестественно. Не правда ли? Как это он находит? *(франц.)*

[6] Не могу вам сказать. Мой муж вам это объяснит... Простите... *(франц.)*

П е т р и щ е в. Что это тут, дух́и или д́ухи?

Б е т с и. Вот когда ваши папироски кстати. Курите, курите, ближе ко мне.

Петрищев нагибается и окуривает.

В а с и л и й Л е о н и д ы ч. Добирается, я вам скажу. А, что?

Г р о с м а н *(с беспокойством шарит около 3-го мужика)*. Здесь, здесь. Я чувствую, что здесь.

Т о л с т а я б а р ы н я. Истечение чувствуете?

Гросман нагибается к сумочке и достает ложку.

В с е. Браво!

Общий восторг.

В а с и л и й Л е о н и д ы ч. А? так вот где наша ложечка нашлась! *(На мужика.)* Так ты так-то?

3-й м у ж и к. Чего так-то? Не брал я твоей ложечки. И что путает? Не брал я, и не брал, и душа моя не знает. А вольно ему! Я видел, он приходил не за добрым. Кошель, говорит, давай. А я не брал, вот те Христос, не брал.

Молодежь обступает и смеется.

Л е о н и д Ф е д о р о в и ч *(сердито на сына)*. Вечно глупости! *(3-му мужику.)* Да не беспокойся, дружок! Мы знаем, что ты не брал; это опыт был.

Г р о с м а н *(снимает повязку и делает вид, как бы очнулся)*. Воды, если можно... позвольте.

Все хлопочут около него.

В а с и л и й Л е о н и д ы ч. Пойдемте отсюда в кучерскую. Я вам покажу, какой кобель один там у меня. Epatant! [1] А, что?

Б е т с и. И какое слово гадкое. Разве нельзя сказать: собака?

В а с и л и й Л е о н и д ы ч. Нельзя. Ведь нельзя про тебя сказать: какая Бетси человек épatant? Надо сказать: девица; так и это. А, что? Марья Константиновна, правда? Хорошо? *(Хохочет.)*

М а р ь я К о н с т а н т и н о в н а. Ну, пойдем.

Марья Константиновна, Бетси, Петрищев и Василий Леонидыч уходят.

---

[1] Поразительный! *(франц.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Те же, без Бетси, Марьи Константиновны, Петрищева и Василия Леонидыча.

Толстая барыня *(Гросману)*. Что? Как? Отдохнули? *(Гросман не отвечает. К Сахатову.)* Вы, Сергей Иванович, чувствовали истечение?

Сахатов. Я ничего не чувствовал. Да, прекрасно, прекрасно. Вполне удачно.

Баронесса. Admirable! Ça ne le fait pas souffrir?[1]

Леонид Федорович. Pas le moins du monde[2].

Профессор *(Гросману)*. Позвольте вас попросить. *(Подает термометр.)* При начале опыта было тридцать семь и две. *(Доктору.)* Так, кажется? Да будьте добры, пульс проверьте. Трата неизбежна.

Доктор *(Гросману)*. Ну-ка, господин, позвольте ваш пульс. Проверим, проверим. *(Вынимает часы и держит его за руку.)*

Толстая барыня *(к Гросману)*. Позвольте. Но ведь то состояние, в котором вы находились, нельзя назвать сном?

Гросман *(устало)*. Тот же гипноз.

Сахатов. Стало быть, надо понимать так, что вы сами гипнотизировали себя?

Гросман. А отчего же нет? Гипноз может наступить не только при ассоциации, при звуке тамтам, например, как у Шаркò, но и при одном вступлении в гипногенную зону.

Сахатов. Это так, положим, но все-таки желательно точнее определить, что такое гипноз?

Профессор. Гипноз есть явление превращения одной энергии в другую.

Гросман. Шаркò не так определяет.

Сахатов. Позвольте, позвольте. Таково ваше определение, но Либò мне сам говорил...

Доктор *(оставляя пульс)*. А, хорошо, хорошо, только температуру теперь.

Толстая барыня *(вмешиваясь)*. Нет, позвольте! Я согласна с Алексеем Владимировичем. И вот вам лучше

---

[1] Восхитительно! Ему не больно? *(франц.)*

[2] Ничуть *(франц.)*.

всех доказательств. Когда я после своей болезни лежала без чувств, то на меня нашла потребность говорить. Я вообще молчалива, но тут явилась потребность говорить, говорить, и мне говорили, что я так говорила, что все удивлялись. *(К Сахатову.)* Впрочем, я вас перебила, кажется?

Сахатов *(достойно)*. Нисколько. Сделайте одолжение.

Доктор. Пульс восемьдесят два, температура повысилась на ноль целых три десятых.

Профессор. Ну, вот вам и доказательство! Так и должно было быть. *(Вынимает записную книжку и записывает.)* Восемьдесят два, так? И тридцать семь и пять десятых? Как только вызван гипноз, так непременно усиленная деятельность сердца.

Доктор. Я как врач могу засвидетельствовать то, что ваше предсказание вполне подтвердилось.

Профессор *(к Сахатову)*. Так вы говорили?..

Сахатов. Я хотел сказать, что Либò мне сам говорил, что гипноз есть только особенное психическое состояние, увеличивающее внушаемость.

Профессор. Это так, но все-таки главное — закон эквивалентности.

Гросман. Кроме того, Либò — далеко не авторитет, а Шаркò всесторонне исследовал и доказал, что гипноз, производимый ударом, травмою...

Сахатов. Да я и не отрицаю трудов Шаркò. Я его тоже знаю; я говорю только то, что говорил мне Либò.

Гросман *(горячась)*. В Сальпетриере три тысячи больных, и я прослушал полный курс.

Профессор. Позвольте, господа, не в этом дело.

Вместе.

Толстая барыня *(вмешиваясь)*. Я в двух словах вам объясню. Когда мой муж был болен, то все доктора отказались...

Леонид Федорович. Пойдемте, однако, в дом. Баронесса, пожалуйте!

Все уходят, говоря вместе и перебивая друг друга.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Три мужика, кухарка, Федор Иваныч. Таня, старый повар (на печке). Леонид Федорович и барыня.

Барыня *(останавливает за рукав Леонида Федоровича)*. Сколько раз я вас просила не распоряжаться в доме! Вы знаете только свои глупости, а дом на мне. Вы заразите всех.

Леонид Федорович. Да кто? Что? Ничего не понимаю.

Барыня. Как? Люди больные в дифтерите ночуют в кухне, где постоянное сношение с домом.

Леонид Федорович. Да я...

Барыня. Что я?

Леонид Федорович. Да я ничего не знаю.

Барыня. Надо знать, коли вы отец семейства. Нельзя этого делать.

Леонид Федорович. Да я не думал... Я думал...

Барыня. Слушать вас противно!

Леонид Федорович молчит.

(К Федору Иванычу.) Сейчас вон! Чтоб их не было в моей кухне! Это ужасно. Никто не слушает, всё назло... Я оттуда их прогоню, они их сюда пустят. *(Все больше и больше волнуется и доходит до слез.)* Всё назло! Всё назло! И с моей болью... Доктор! Доктор! Петр Петрович!.. И он ушел! *(Всхлипывает и уходит, за ней Леонид Федорович.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Три мужика, Таня, Федор Иваныч, кухарка и старый повар (на печке). Картина. Все стоят долго молча.

3-й мужик. Ну их к богу совсем! Тут, того гляди, в полицию попадешь. А я в жизнь не судился. Пойдем на фатеру, ребята!

Федор Иваныч *(Тане)*. Как же быть-то?

Таня. Да ничего, Федор Иваныч. В кучерскую их.

Федор Иваныч. Да как же в кучерскую? И то кучер жаловался, там полно собак.

Таня. Ну, так в дворницкую.

Федор Иваныч. А как узнают?

Таня. Ничего не узнают. Уж будьте покойны, Федор Иваныч. Разве можно их ночью гнать? Они и не найдут теперь.

Федор Иваныч. Ну, делай как знаешь, только бы тут их не было. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Три мужика, Таня, кухарка и старый повар. Мужики собирают сумки.

Старый повар. Вишь, черти проклятые! С жиру-то! Черти!..

Кухарка. Молчи уж ты-то. Спасибо, не увидали.

Таня. Так пойдемте, дяденьки, в дворницкую.

1-й мужик. Ну, а что же дело-то наше? Как же, примерно, насчет подписки, руки приложения? Что ж, в надежде нам быть?

Таня. Вот через час всё узнаем.

2-й мужик. Исхитришься?

Таня *(смеется)*. Как бог даст.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Действие происходит вечером того же дня, в маленькой гостиной, где всегда производятся у Леонида Федоровича опыты.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Леонид Федорович и профессор.

Леонид Федорович. Так как же, рискнуть сеанс с нашим новым медиумом?

Профессор. Непременно. Медиум несомненно сильный. Главное же, желательно, чтобы медиумический сеанс у нас был нынче же и с тем же персоналом. Гросман непременно должен отозваться на влияние медиумической энергии, и тогда связь и единство явлений будут еще очевиднее. Вы увидите, что если медиум будет так же силен, как сейчас, то Гросман будет вибрировать.

Леонид Федорович. Так я, знаете, пошлю за Семеном и приглашу желающих.

Профессор. Да, да, я только сделаю себе некоторые заметки. *(Вынимает записную книжку и записывает.)*

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Сахатов.

Сахатов. Там у Анны Павловны сели в винт, а я, как остающийся за штатом... да, кроме того, интересующийся сеансом, вот являюсь к вам... Что ж, будет сеанс?

Леонид Федорович. Будет, непременно будет!

Сахатов. Как же, и без медиумической силы господина Капчича?

Леонид Федорович. Vous avez la main heureuse[1]. Представьте себе, тот самый мужик, о котором я вам говорил, оказался несомненный медиум.

Сахатов. Вот как! О, да это особенно интересно!

Леонид Федорович. Да, да. Мы после обеда сделали с ним маленький предварительный опыт.

Сахатов. Успели сделать и убедиться?..

Леонид Федорович. Вполне, и оказался замечательной силы медиум.

Сахатов *(недоверчиво)*. Вот как!

Леонид Федорович. Оказывается, что в людской давно уж замечали. Он сядет к чашке, ложка сама вскакивает ему в руку. *(К профессору.)* Вы слышали?

Профессор. Нет, этого, собственно, я не слыхал.

Сахатов *(профессору)*. Но все-таки и вы допускаете возможность таких явлений?

Профессор. Каких явлений?

Сахатов. Ну, вообще, спиритических, медиумических, вообще сверхъестественных явлений.

Профессор. Дело в том, что̀ мы называем сверхъестественным? Когда не живой человек, а кусок камня притянул к себе гвоздь, то каким показалось это явление для наблюдателей: естественным или сверхъестественным?

Сахатов. Да, конечно; но только такие явления, как притяжение магнита, постоянно повторяются.

Профессор. То же самое и здесь. Явление повторяется, и мы его подвергаем исследованию. Мало того, мы подводим исследуемые явления под общие другим явлениям законы. Явления ведь кажутся сверхъестественными только потому, что причины явлений приписываются самому медиуму. Но ведь это неверно. Явления производимы не медиумом, но духовной энергией через медиума: а это разница большая. Все дело — в законе эквивалентности.

Сахатов. Да, конечно, но...

---

[1] У вас счастливая рука *(франц.)*.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и Таня (*входит и становится за портьеру*).

Леонид Федорович. Одно только знайте, что как с Юмом и с Капчичем, так и теперь с этим медиумом вперед ни на что рассчитывать нельзя. Может быть неудача, а может быть и полная материализация.

Сахатов. Даже и материализация? Какая же может быть материализация?

Леонид Федорович. А такая, что придет умерший человек: отец ваш, дед, возьмет вас за руку, даст вам что-нибудь; или кто-нибудь вдруг подымется на воздух, как прошлый раз у нас с Алексеем Владимировичем.

Профессор. Конечно, конечно. Но главное дело — в объяснении явлений и подведении их под общие законы.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и толстая барыня.

Толстая барыня. Анна Павловна мне позволила пройти к вам.

Леонид Федорович. Милости просим!

Толстая барыня. Но как, однако, Гросман устал. Он не мог чашки держать. Вы заметили, как он побледнел (*к профессору*) в ту минуту, как приблизился? Я сейчас же заметила, я первая сказала Анне Павловне.

Профессор. Несомненно, трата жизненной энергии.

Толстая барыня. Вот я и говорю, что этим злоупотреблять нельзя. Как же, гипнотизатор внушил одной моей знакомой, Верочке Коншиной, — да вы ее знаете, — чтоб она перестала курить, а у ней спина заболела.

Профессор (*хочет начать говорить*). Измерение температуры и пульс очевидно показывают...

Толстая барыня. Я сию минуту, позвольте. Я ей и говорю: уж лучше курить, но не страдать так нервами. Разумеется, что курить вредно, и я бы желала отвыкнуть, но, что хотите, не могу. Я раз две недели не курила, а потом не выдержала.

Профессор (*опять делает попытку говорить*). Показывают несомненно...

Толстая барыня. Да нет, позвольте! Я в двух словах. Вы говорите, что трата сил? И я хотела сказать, что когда я ездила на почтовых... Дороги тогда были ужасные, вы этого не помните, а я замечала, и, как хотите, наша нервность вся от железных дорог. Я, например, в дороге спать не могу,— хоть убейте, а не засну.

Профессор *(опять начинает, но толстая барыня не дает ему говорить)*. Трата сил...

Сахатов *(улыбаясь)*. Да, да.

Леонид Федорович звонит.

Толстая барыня. Я одну, другую, третью ночь не буду спать, а все-таки не засну.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Григорий.

Леонид Федорович. Скажите, пожалуйста, Федору приготовить все для сеанса и позовите Семена сюда — буфетного мужика, Семена, слышите?

Григорий. Слушаю-с! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Леонид Федорович, профессор, толстая барыня и Таня (спрятанная).

Профессор *(к Сахатову)*. Измерение температуры и пульс показали трату жизненной энергии. То же будет и при медиумических проявлениях. Закон сохранения энергии...

Толстая барыня. Да, да. Я только еще хотела сказать, что я очень рада, что простой мужик оказался медиум. Это прекрасно. Я всегда говорила, что славянофилы...

Леонид Федорович. Пойдемте пока в гостиную.

Толстая барыня. Позвольте, я в двух словах... Славянофилы правы, но я всегда говорила своему мужу, что ни в чем не надо преувеличивать. Золотая середина, знаете. А то как же утверждать, что в народе все хорошо, когда я сама видела...

Леонид Федорович. Не угодно ли в гостиную?

Толстая барыня. Вот такой мальчик и уж пьет. Я его сейчас же разбранила. И он благодарен был потом. Они — дети, а детям, я всегда говорила, нужна и любовь и строгость.

Все уходят, разговаривая.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Таня (одна выходит из-за двери).

Таня. Ах, удалось бы только! *(Завязывает нитки.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Таня и Бетси (входит поспешно).

Бетси. Папа́ нет тут? *(Вглядываясь в Таню.)* Ты что тут?

Таня. А я так, Лизавета Леонидовна, взошла, хотела... так вошла... *(Смущается.)*

Бетси. Да ведь тут сеанс сейчас будет? *(Замечает, что Таня собирает нитки, пристально смотрит на нее и вдруг заливается хохотом.)* Таня! это ведь ты все делаешь? Да уж не отпирайся. И тот раз ты? Ведь ты, ты?

Таня. Лизавета Леонидовна, голубушка!

Бетси *(в восторге)*. Ах, как это хорошо! Вот не ожидала! Зачем же ты это делала?

Таня. Барышня, милая, да вы не выдайте!

Бетси. Да нет, ни за что. Я ужасно рада! Да как же ты делаешь?

Таня. Да так и делаю: спрячусь, а потом, как потушат, вылезу и делаю.

Бетси *(показывая на нитку)*. А это зачем? Да, не говори, понимаю, задеваешь...

Таня. Лизавета Леонидовна, голубушка, я только вам откроюсь. Прежде я так шалила, а теперь дело хочу сделать.

Бетси. Как, что? Какое дело?

Таня. Да вот, видели, мужики пришли, хотят землю купить, а папаша не продают и бумагу не подписали и им назад отдали. Федор Иваныч говорит: духи ему запретили. Вот я и вздумала.

Бетси. Ах, какая же ты умница! Делай, делай. Да как же ты будешь делать?

Таня. Да я так придумала: как они свет потушат, сейчас я начну стучать, швырять, ниткой их по головам, а под конец бумагу об земле — она у меня — и брошу на стол.

Бетси. Ну и что ж?

Таня. А как же? Они удивятся. Бумага была у мужиков, и вдруг здесь. А тут же велю...

Бетси. Да ведь Семен нынче медиум!

Таня. Так я ему велю... *(Не может говорить от смеха.)* Велю давить руками, кто под рукой будет. Только не папашу, — это он не посмеет, — и пусть давит кого других, пока подпишут.

Бетси *(смеется)*. Да ведь так не делают. Медиум сам ничего не делает.

Таня. Да ничего, это все одно, — авось и так выйдет.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Таня и Федор Иваныч. Бетси делает знаки Тане и уходит.

Федор Иваныч *(Тане)*. Ты что тут?

Таня. Да я к вам, Федор Иваныч, батюшка!..

Федор Иваныч. Чего же ты?

Таня. Да об деле моем, к вам, что̀ я просила.

Федор Иваныч *(смеясь)*. Сосватал, сосватал, и по рукам ударили. Только не пили.

Таня *(взвизгивает)*. Неужто заправду?

Федор Иваныч. Да уж я тебе говорю. Он говорит: со старухой посоветуюсь, да и с богом.

Таня. Так и сказал?.. *(Взвизгивая.)* Ах, голубчик, Федор Иваныч, век за вас буду бога молить!

Федор Иваныч. Ну, ладно, ладно. Теперь некогда. Велено убирать для сеанса.

Таня. Дайте я вам пособлю. Как же убирать?

Федор Иваныч. Да как? Да вот: стол посреди комнаты, стулья, гитару, гармонию. Лампу не надо — свечи.

Таня *(устанавливает все с Федором Иванычем)*. Так, что ли? Сюда гитару, сюда чернильницу... *(Ставит.)* Так?

Федор Иваныч. Да неужели в самом деле Семена посадят?

Таня. Должно быть. Ведь уж сажали.

Федор Иваныч. Удивление! *(Надевает pince-nez.)* Да чист ли он?

Таня. Почем я знаю!

Федор Иваныч. Так ты вот что...

Таня. Что, Федор Иваныч?

Федор Иваныч. Поди ты, возьми щеточку ногтяную и мыла Тридас, — хоть у меня возьми... И все ты ему остриги когти и вымой чисто-на́чисто.

Таня. Он и сам вымоет.

Федор Иваныч. Ну так скажи только. Да белье вели надеть чистое.

Таня. Хорошо, Федор Иваныч. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Федор Иваныч один, садится в кресло.

Федор Иваныч. Учены, учены, хоть бы Алексей Владимирович, профессор он, а все другой раз сильно сомнение берет. Народные суеверия, грубые, истребляются, суеверия домовых, колдунов, ведьм... А ведь если вникнуть, ведь это такое же суеверие. Ну, разве возможно это, чтобы души умерших и говорили бы и на гитаре играли бы? А дурачит их кто-нибудь или сами себя. А уж это с Семеном и не поймешь что. *(Рассматривает альбом.)* Ведь вот их альбом спиритический. Ну, возможное ли это дело, чтобы фотографию с духа снять? А вот изображение — турок и Леонид Федорович сидят. Удивительна слабость человеческая!

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Федор Иваныч и Леонид Федорович.

Леонид Федорович *(входя)*. Что, готово?

Федор Иваныч *(встает не торопясь)*. Готово. *(Улыбаясь.)* Только не знаю, как бы ваш новый медиум не скомпрометовал вас, Леонид Федорович.

Леонид Федорович. Нет, мы испытывали с Алексеем Владимировичем. Удивительно сильный медиум!

Федор Иваныч. Уж этого не знаю. Только чист ли он? Вы вот не позаботились руки ему велеть вымыть. А то все-таки неудобно.

Леонид Федорович. Руки? Ах, да. Нечисты, ты думаешь?

Федор Иваныч. Да как же, мужик. А тут дамы, и Марья Васильевна.

Леонид Федорович. Ну и прекрасно.

Федор Иваныч. Да еще я хотел вам доложить: Тимофей, кучер, приходил жаловаться, что нельзя ему чистоту соблюсти от собак.

Леонид Федорович *(устанавливая предметы на столе, рассеянно)*. Каких собак?

Федор Иваныч. Да Василью Леонидычу нынче борзых привели тройку, в кучерскую поместили.

Леонид Федорович *(досадливо)*. Скажи Анне Павловне, как она хочет, а мне и некогда.

Федор Иваныч. Да ведь вы знаете их пристрастие...

Леонид Федорович. Ну, как хочет она, так и делает. А от него мне, кроме неприятностей... да и некогда.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Те же и Семен (в поддевке, входит, улыбается).

Семен. Приказали прийти?

Леонид Федорович. Да, да. Покажи руки. Ну, и прекрасно, прекрасно. Так вот, дружок, ты так же делай, как давеча, садись и отдавайся чувству. А сам ничего не думай.

Семен. Чего ж думать? Что думать, то хуже.

Леонид Федорович. Вот, вот, вот. Чем менее сознательно, тем сильнее. Не думай, а отдавайся настроению: хочется спать — спи, хочется ходить — ходи; понимаешь?

Семен. Как не понять? Хитрости тут нисколько.

Леонид Федорович. И главное — не смущайся. А то ты сам можешь удивиться. Ты пойми, что как мы живем, так невидимый мир духов тут же живет.

Федор Иваныч *(поправляя)*. Незримые существа, понимаешь?

Семен *(смеется)*. Как не понять? Как вы сказывали, так это очень просто.

Леонид Федорович. Можешь подняться на воздух или еще что-нибудь, то ты не робей.

Семен. Чего ж робеть? Это все можно.

Леонид Федорович. Ну, так я пойду позову всех. Все готово?

Федор Иваныч. Кажется, всё.

Леонид Федорович. А грифельные доски?

Федор Иваныч. Внизу, сейчас принесу. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Леонид Федорович и Семен.

Леонид Федорович. Ну, так хорошо. Так ты не смущайся и будь свободнее.

Семен. Нешто поддевку снять: оно слободнее будет.

Леонид Федорович. Поддевку? Нет, нет, не надо. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Семен один.

Семен. Опять то же велела делать, а она опять будет свое швырять. И как она не боится?

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Семен и Таня (входит без ботинок, в платье цвета обой); Семен хохочет.

Таня *(шикает)*. Шш!.. Услышат! Вот на пальцы спички наклей, как давеча. *(Наклеивает.)* Что же, все помнишь?

Семен *(загибая пальцы)*. Перво-наперво спички намочить. Махать — раз. Другое дело — зубами трещать, вот так... — два. Вот третье забыл.

Таня. А третье-то пуще всего. Ты помни: как бумага на стол падет — я еще в колокольчик позвоню, — так ты сейчас же руками вот так... Разведи шире и захватывай. Кто возле сидит, того и захватывай. А как захватишь, так жми. *(Хохочет.)* Барин ли, барыня ли, знай — жми, все жми, да и не выпускай, как будто во сне, а зубами скрыпи али рычи, вот так... *(Рычит.)* А как я на гитаре заиграю, так как будто просыпайся, потянись, знаешь, так, и проснись... Все помнишь?

Семен. Все помню, только смешно больно.

Таня. А ты не смейся. А засмеешься — это еще не беда. Они подумают, что во сне. Одно только, взаправду не засни, как они свет-то потушат.

Семен. Небось, я себя за уши щипать буду.

Таня. Так ты смотри, Семочка, голубчик. Только делай все, не робей. Подпишет бумагу. Вот увидишь. Идут... *(Лезет под диван.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Семен и Таня. Входят Гросман, профессор, Леонид Федорович, толстая барыня, доктор, Сахатов, барыня. Семен стоит у двери.

Леонид Федорович. Милости просим, все неверующие! Несмотря на то, что медиум новый, случайный, я нынче жду очень знаменательных проявлений.

Сахатов. Очень, очень интересно.

Толстая барыня *(на Семена)*. Mais il est très bien [1].

Барыня. Как буфетный мужик, да, но только...

Сахатов. Жены всегда не верят в дело своих мужей. Вы совсем не допускаете?

Барыня. Разумеется, нет. В Капчиче, правда, есть что-то особенное, но уж это бог знает что такое!

Толстая барыня. Нет, позвольте, Анна Павловна, это нельзя так решать. Когда еще я была не замужем, видела один замечательный сон. Сны, знаете, бывают такие, что вы не знаете, когда начинается, когда кончается; так я видела именно такой сон...

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Те же, Василий Леонидыч и Петрищев входят.

Толстая барыня. И мне многое было открыто этим сном. Нынче уж эти молодые люди *(указывает на Петрищева и на Василья Леонидыча)* всё отрицают.

Василий Леонидыч. А я никогда, я вам скажу, ничего не отрицаю. А, что?

---

[1] А он очень хорош *(франц.)*.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Те же. Входят Бетси и Марья Константиновна и вступают в разговор с Петрищевым.

Толстая барыня. А как же можно отрицать сверхъестественное? Говорят: не согласно с разумом. Да разум-то может быть глупый, тогда что? Ведь вот на Садовой, — вы слышали? — каждый вечер являлось. Брат моего мужа — как это называется?.. не beau-frère [1], а по-русски... не свекор, а еще как-то? Я никогда не могу запомнить этих русских названий, — так он ездил три ночи сряду и все-таки ничего не видал, так я и говорю...

Леонид Федорович. Так кто же да кто остается?

Толстая барыня. Я, я!

Сахатов. Я!

Барыня *(к доктору)*. Неужели вы остаетесь?

Доктор. Да, надо хоть раз посмотреть, что тут Алексей Владимирович находит. Отрицать бездоказательно тоже нельзя.

Барыня. Так решительно принять нынче вечером?

Доктор. Кого принять?.. Ах да, порошок. Да, примите, пожалуй. Да, да, примите... Да я зайду.

Барыня. Да, пожалуйста. *(Громко.)* Когда кончите, messieurs et mesdames, милости просим ко мне отдохнуть от эмоций, да и винт докончим.

Толстая барыня. Непременно.

Сахатов. Да, да!

Барыня уходит.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Те же, без барыни.

Бетси *(Петрищеву)*. Я вам говорю, оставайтесь. Я вам обещаю необыкновенные вещи. Хотите пари?

Марья Константиновна. Да разве вы верите?

Бетси. Нынче верю.

Марья Константиновна *(Петрищеву)*. А вы верите?

Петрищев. «Не верю, не верю обетам коварным». Ну, да если Елизавета Леонидовна велит...

---

[1] деверь *(франц.)*.

Василий Леонидыч. Останемся, Марья Константиновна. А, что? Я что-нибудь такое épatant придумаю.

Марья Константиновна. Нет, вы не смешите. Я ведь не могу удержаться.

Василий Леонидыч *(громко)*. Я — остаюсь!

Леонид Федорович *(строго)*. Прошу только тех, кто остается, не делать из этого шутки. Это дело серьезное.

Петрищев. Слышишь? Ну, так останемся. Вово, садись сюда, да смотри не робей.

Бетси. Да, вы смеетесь, а вот увидите, что̀ будет.

Василий Леонидыч. А что как в самом деле? Вот штука-то будет! А, что?

Петрищев *(дрожит)*. Ой, боюсь, боюсь. Марья Константиновна, боюсь!.. дрожки пожат.

Бетси *(смеется)*. Тише!

Все садятся.

Леонид Федорович. Садитесь, садитесь. Садись, Семен!

Семен. Слушаю-с. *(Садится на край стула.)*

Леонид Федорович. Садись хорошенько.

Профессор. Садитесь правильно, на середину стула, совершенно свободно. *(Усаживает Семена.)*

Бетси, Марья Константиновна и Василий Леонидыч хохочут.

Леонид Федорович *(возвышая голос)*. Прошу тех, кто остается, не шалить и относиться к делу серьезно. Могут быть дурные последствия. Вово, слышишь? Если не будешь сидеть смирно, уйди.

Василий Леонидыч. Смирно! *(Прячется за спину толстой барыни.)*

Леонид Федорович. Алексей Владимирович, вы усыпите.

Профессор. Нет, зачем же я, когда Антон Борисович тут? У него гораздо больше и практики в этом отношении и силы... Антон Борисович!

Гросман. Господа! я, собственно, не спирит. Я только изучал гипноз. Гипноз я изучал, правда, во всех его известных проявлениях. Но то, что называется спиритизмом, мне совершенно неизвестно. От усыпления субъекта я могу ожидать известных мне явлений гипноза: летаргии, абулии, анестезии, анелгезии, каталепсии и всякого рода внушений. Здесь же предполагаются

к исследованью не эти, а другие явления, и потому желательно бы было знать, какого рода эти ожидаемые явления и какое они имеют научное значение.

Сахатов. Вполне присоединяюсь к мнению господина Гросмана. Такое разъяснение было бы очень и очень интересно.

Леонид Федорович *(к профессору)*. Я думаю, Алексей Владимирович, вы не откажетесь объяснить вкратце.

Профессор. Отчего ж, я могу объяснить, если этого желают. *(К доктору.)* А вы, пожалуйста, измерьте температуру и пульс. Объяснение мое будет неизбежно поверхностно и кратко.

Леонид Федорович. Да, вкратце, вкратце...

Доктор. Сейчас. *(Вынимает термометр и подает.)* Ну-ка, молодец!.. *(Устанавливает.)*

Семен. Слушаю-с.

Профессор *(вставая и обращаясь к толстой барыне, а потом садясь)*. Господа! Явление, которое мы исследуем, представляется обыкновенно, с одной стороны, как нечто новое, с другой стороны, как нечто выходящее из ряда естественных условий. Ни то, ни другое не справедливо. Явление это не ново, а старо, как мир, и не сверхъестественно, а подлежит все тем же вечным законам, которым подлежит и все существующее. Явление это определялось обыкновенно как общение с миром духовным. Определение это неточно. По определению этому мир духовный противуполагается миру материальному, но это несправедливо: противуположения этого нет. Оба мира так тесно соприкасаются, что нет никакой возможности провести демаркационную линию, отделяющую один мир от другого. Мы говорим: материя слагается из молекул...

Петрищев. Скучная материя!

Шепот, хохот.

Профессор *(остановившись и потом продолжая)*. Молекулы — из атомов, но атомы, не имея протяжения, суть, в сущности, не что иное, как точки приложения сил. То есть, строго говоря, не сил, а энергии — той самой энергии, которая так же едина и неуничтожима, как и материя. Но как материя одна, а виды ее различны, так точно и энергия. До последнего времени нам были известны только четыре превращающиеся один в другой

вида энергии. Нам известны энергии: динамическая, термическая, электрическая и химическая. Но четыре вида энергии далеко не исчерпывают всего разнообразия ее проявлений. Виды проявления энергии многообразны, и один из таких новых, малоизвестных видов энергии и исследуется нами. Я говорю об энергии медиумизма...

Опять шепот и хохот в углу молодежи.

(Останавливается и, строго оглянувшись, продолжает.) Медиумическая энергия известна человечеству давным-давно: предсказания, предчувствия, виденья и многие другие — все это не что иное, как проявление медиумической энергии. Явления, производимые ею, известны давным-давно. Но самая энергия не признавалась таковой до самого последнего времени, до тех пор, пока не было признано той среды, колебания которой и производят медиумические явления. И точно так же, как явления света были необъяснимы до тех пор, пока не было признано существование невесомого вещества, эфира, — точно так же и медиумические явления казались таинственными до тех пор, пока не была признана та несомненная теперь истина, что в промежутках частиц эфира находится другое, еще более тонкое, чем эфир, невесомое вещество, не подлежащее закону трех измерений...

Опять шепот, хохот и повизгивание.

(Опять оглядывается строго.) И точно так же, как математические вычисления подтвердили неопровержимо существование невесомого эфира, дающего явления света и электричества, точно так же блестящий ряд самых точных опытов гениального Германа Шмита и Иосифа Шмацофена несомненно подтвердили существование того вещества, которое наполняет вселенную и может быть названо духовным эфиром.

Толстая барыня. Да, теперь я понимаю. Как я благодарна...

Леонид Федорович. Да; но нельзя ли, Алексей Владимирович, несколько... сократить?

Профессор *(не отвечая)*. Итак, ряд строго научных опытов и исследований, как я имел честь сообщить вам, выяснили нам законы медиумических явлений. Опыты эти выяснили нам то, что погружение некоторых личностей в гипнотическое состояние, отличающееся от обыкновенного сна только тем, что при погружении в этот сон дея-

тельность физиологическая не только не понижается, но всегда повышается, как это мы сейчас видели, — оказалось, что погружение в это состояние какого бы то ни было субъекта неизменно влечет за собой некоторые пертурбации в духовном эфире — пертурбации, совершенно подобные тем, которые производит погружение твердого тела в жидкое. Пертурбации же эти и суть то, что мы называем медиумическими явлениями...

Хохот, шепот.

Сахатов. Это совершенно справедливо и понятно; но позвольте спросить: если, как вы изволите говорить, погружение медиума в сон производит пертурбации духовного эфира, то почему же эти пертурбации выражаются всегда, как это подразумевается обыкновенно в спиритических сеансах, проявлением деятельности душ умерших личностей?

Профессор. А потому, что частицы этого духовного эфира суть не что иное, как души живых, умерших и неродившихся, так что всякое сотрясение этого духовного эфира неизбежно вызывает известное движение его частиц. Частицы же эти суть не что иное, как души людей, входящие этим движением в общение между собою.

Толстая барыня *(к Сахатову)*. Что же тут не понимать? Это так просто... Очень, очень благодарю вас!

Леонид Федорович. Мне кажется, что теперь все ясно, и мы можем приступить.

Доктор. Малый в самых нормальных условиях: температура тридцать семь и две десятых, пульс семьдесят четыре.

Профессор *(вынимает книжку и записывает)*. Подтверждением того, что я имел честь сообщить, может служить то, что погружение медиума в сон неизбежно, как мы сейчас и увидим, вызовет подъем температуры и пульса, точно так же, как и при гипнозе.

Леонид Федорович. Да, да, виноват, я только хотел сказать Сергею Иванычу на то, что он спрашивал: почему мы узнаем, что с нами общаются души умерших? Мы узнаем это потому, что тот дух, который приходит, прямо нам говорит, — просто, как я говорю, — говорит нам, кто он и зачем пришел, и где он, и хорошо ли ему? Последний сеанс был испанец дон Кастильос, и он все сказал нам. Он сказал нам, кто он, и когда умер, и то, что ему тяжело за то, что он участвовал в инкви-

зиции. Мало того, он сообщил нам то, что с ним случилось в то самое время, как он говорил с нами, а именно то, что в то самое время, как он говорил с нами, он должен был вновь рождаться на землю и потому не мог докончить начатого с нами разговора. Да вот вы сами увидите...

Толстая барыня *(перебивая)*. Ах, как интересно! Может быть, испанец у нас в доме родился и маленький теперь.

Леонид Федорович. Очень может быть.

Профессор. Я думаю, пора бы начинать.

Леонид Федорович. Я только хотел сказать...

Профессор. Поздно уж.

Леонид Федорович. Ну, хорошо. Так можем приступить. Пожалуйста, Антон Борисович, усыпите медиума...

Гросман. Как вы желаете, чтоб я усыпил субъекта? Есть много употребительных приемов. Есть способ Бреда, есть египетский символ, есть способ Шаркò.

Леонид Федорович *(к профессору)*. Это все равно, я думаю.

Профессор. Безразлично.

Гросман. Так я употреблю свой способ, который я демонстрировал в Одессе.

Леонид Федорович. Пожалуйста!

Гросман машет руками над Семеном, Семен закрывает глаза и потягивается.

Гросман *(приглядывается)*. Засыпает, заснул. Замечательно быстрое наступление гипноза. Очевидно, субъект уже вступил в анестетическое состояние. Замечательно, необыкновенно восприимчивый субъект и мог бы быть подвергнут интересным опытам!.. *(Садится, встает, опять садится.)* Теперь можно бы проколоть ему руки. Если желаете...

Профессор *(к Леониду Федоровичу)*. Замечаете, как сон медиума действует на Гросмана? Он начинает вибрировать.

Леонид Федорович. Да, да... Теперь можно тушить?

Сахатов. Но почему же нужна темнота?

Профессор. Темнота? А потому, что темнота есть одно из условий, при которых проявляется медиумическая энергия, так же как известная температура есть условие известных проявлений химической или динамической энергии.

Леонид Федорович. И не всегда. Многим, и мне, являлись и при свечах, и при солнце.

Профессор *(перебивая)*. Можно тушить?

Леонид Федорович. Да, да. *(Тушит свечи.)* Господа! теперь прошу вниманья.

Таня вылезает из-под дивана и берет в руки нитку, привязанную к бра.

Петрищев. Нет, мне понравился испанец. Как он, в середине разговора, вниз головой... что называется: piquer une tête [1].

Бетси. Нет, вы подождите, посмотрите, что будет!

Петрищев. Я одного боюсь: как бы Вово не захрюкал поросенком.

Василий Леонидыч. Хотите? Я хвачу...

Леонид Федорович. Господа! прошу не разговаривать, пожалуйста...

Тишина. Семен лижет палец, мажет им косточки на руке и машет ими.

Свет! Видите свет?

Сахатов. Свет! Да, да, вижу; но позвольте...

Толстая барыня. Где, где? Ах, не видала! Вот он. Ах!..

Профессор *(к Леониду Федоровичу, шепотом, указывая на Гросмана, который двигается)*. Вы заметьте, как он вибрирует. Двойная сила.

Опять показывается свет.

Леонид Федорович *(к профессору)*. А ведь это он.

Сахатов. Кто он?

Леонид Федорович. Грек Николай. Его свет. Не правда ли, Алексей Владимирович?

Сахатов. Что такое грек Николай?

Профессор. Некий грек, монашествовавший при Константине в Царьграде и посещавший нас последнее время.

Толстая барыня. Где же он? Где же он? Я не вижу.

Леонид Федорович. Его нельзя еще видеть. Алексей Владимирович, он всегда особенно благосклонен к вам. Спросите его.

---

[1] кувырком *(франц.)*.

Профессор *(особенным голосом)*. Николай! Ты это?

Таня стучит два раза о стену.

Леонид Федорович *(радостно)*. Он! Он!

Толстая барыня. Ай, ай! Я уйду.

Сахатов. Почему же предполагается, что это он?

Леонид Федорович. А два удара. Утвердительный ответ: иначе было бы молчание.

Молчание. Сдержанный хохот в углу молодежи. Таня бросает на стол колпак с лампы, карандаш, утиралку перьев.

(Шепотом). Замечайте, господа, вот колпак с лампы. Еще что-то. Карандаш! Алексей Владимирович, карандаш.

Профессор. Хорошо, хорошо. Я слежу и за ним и за Гросманом. Вы замечаете?

Гросман встает и оглядывает предметы, упавшие на стол.

Сахатов. Позвольте, позвольте. Я бы желал посмотреть, не производит ли всего этого сам медиум?

Леонид Федорович. Вы думаете? Так сядьте подле, держите его за руки. Но будьте уверены, он спит.

Сахатов *(подходит, задевает головой за нитку, которую спускает Таня, и испуганно нагибается)*. Да... а-а!.. Странно, странно. *(Подходит, берет за локоть Семена. Семен рычит.)*

Профессор *(к Леониду Федоровичу)*. Слышите, как действует присутствие Гросмана? Новое явление, надо записать... *(Выбегает и записывает, потом возвращается.)*

Леонид Федорович. Да... Но нельзя же оставлять Николая без ответа, надо начинать...

Гросман *(встает, подходит к Семену, поднимает и опускает его руку)*. Теперь интересно бы произвести контрактуру. Субъект в полном гипнозе.

Профессор *(к Леониду Федоровичу)*. Вы видите, видите?

Гросман. Если вы желаете...

Доктор. Да уж позвольте, батюшка, Алексею Владимировичу распорядиться, штука-то выходит серьезная.

Профессор. Оставьте его. Он говорит уже во сне.

Толстая барыня. Как я рада теперь, что решилась присутствовать. Страшно, но все-таки я рада, потому что я мужу всегда говорила...

Леонид Федорович. Прошу помолчать.

Таня проводит ниткой по голове толстой барыни.

Толстая барыня. Ай!

Леонид Федорович. Что? Что?

Толстая барыня. Он меня за волосы взял.

Леонид Федорович *(шепотом)*. Не бойтесь, ничего, подайте ему руку. Рука бывает холодная, но я это люблю.

Толстая барыня *(прячет руку)*. Ни за что!

Сахатов. Да, странно, странно!

Леонид Федорович. Он здесь и ищет общения. Кто хочет спросить что-нибудь?

Сахатов. Позвольте, я спрошу.

Профессор. Сделайте одолжение.

Сахатов. Верю я или нет?

Таня стучит два раза.

Профессор. Ответ утвердительный.

Сахатов. Позвольте, я еще спрошу. Есть у меня в кармане десятирублевая бумажка?

Таня стучит много раз и проводит ниткой по голове Сахатова.

Ах!.. *(Хватает нитку и обрывает ее.)*

Профессор. Я бы просил присутствующих не делать неопределенных или шутливых вопросов. Ему неприятно.

Сахатов. Нет, позвольте, у меня в руке нитка.

Леонид Федорович. Нитка? Держите ее. Это часто бывает; не только нитка, но шелковые снурки, самые древние.

Сахатов. Нет, однако откуда же нитка?

Таня бросает в него подушкой.

Позвольте, позвольте! Что-то мягкое ударило меня в голову. Позвольте свет, — тут что-нибудь...

Профессор. Мы просим вас не нарушать проявления.

Толстая барыня. Ради бога, не нарушайте! И я хочу спросить, можно?

Леонид Федорович. Можно, можно. Спрашивайте.

Толстая барыня. Я хочу спросить о своем желудке. Можно? Я хочу спросить, что мне принимать, аконит или белладонну?

Молчание, шепот в стороне молодых людей, и вдруг Василий Леонидыч кричит, как грудной ребенок: «Уа! уа!» Хохот. Захватывая носы и рты и фыркая, девицы с Петрищевым убегают.

Ах, это верно, и этот монах опять родился!

Леонид Федорович *(в бешенстве, гневным шепотом)*. Кроме глупости, от тебя ничего. Если не умеешь держать себя прилично, то уйди.

Василий Леонидыч уходит.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Леонид Федорович, профессор, толстая барыня, Сахатов, Гросман, доктор, Семен и Таня. Темнота, молчание.

Толстая барыня. Ах, как жаль! Теперь уж нельзя спрашивать. Он родился.

Леонид Федорович. Нисколько. Это глупости Вово. А *он* тут. Спрашивайте.

Профессор. Это часто бывает; эти шутки, насмешки — самое обыкновенное явление. Я полагаю, что *он* здесь еще. Впрочем, мы можем спросить. Леонид Федорович, вы?

Леонид Федорович. Нет, пожалуйста, вы. Меня это расстроило. Так неприятно! Эта бестактность!..

Профессор. Хорошо, хорошо!.. Николай! ты здесь еще?

Таня стучит два раза и звонит в колокольчик. Семен начинает рычать и разводить руками. Захватывает Сахатова и профессора и давит их.

Какое неожиданное проявление! Воздействие на самого медиума. Этого не бывало. Леонид Федорович, наблюдайте, мне неловко. Он давит меня. Да смотрите, что Гросман? Теперь нужно полное внимание.

Таня бросает мужицкую бумагу на стол.

Леонид Федорович. Что-то упало на стол.

Профессор. Смотрите, что упало.

Леонид Федорович. Бумага! Сложенный лист бумаги.

Таня бросает дорожную чернильницу.

Чернильница!

Таня бросает перо.

Перо!

Семен рычит и давит.

Профессор *(задавленный)*. Позвольте, позвольте, совершенно новое явление: не вызванная медиумическая

энергия действует, а сам медиум. Однако откройте чернильницу и положите на бумагу перо, он напишет, напишет.

Таня заходит сзади Леонида Федоровича и бьет его по голове гитарой.

Леонид Федорович. Ударил меня по голове! *(Смотрит на стол.)* Перо не пишет еще, и бумага сложена.

Профессор. Посмотрите, что за бумага, делайте скорей; очевидно, двойная сила: его и Гросмана — производит пертурбации.

Леонид Федорович *(выходит с бумагой в дверь и тотчас возвращается)*. Необычайно! Бумага эта — договор с крестьянами, который я нынче утром отказался подписать и отдал назад крестьянам. Вероятно, *он* хочет, чтоб я подписал его?

Профессор. Разумеется! Разумеется! Да вы спросите.

Леонид Федорович. Николай! Или ты желаешь...

Таня стучит два раза.

Профессор. Слышите? Очевидно, очевидно!

Леонид Федорович берет перо и выходит. Таня стучит, играет на гитаре и гармонии и лезет опять под диван. Леонид Федорович возвращается. Семен потягивается и прокашливается.

Леонид Федорович. Он просыпается. Можно зажечь свечи.

Профессор *(поспешно)*. Доктор, доктор, пожалуйста, температуру и пульс. Вы увидите, что сейчас обнаружится повышение.

Леонид Федорович *(зажигает свечи)*. Ну что, господа неверующие?

Доктор *(подходя к Семену и вставляя термометр)*. Ну-ка, молодец. Что, поспал? Ну-ка, это вставь и давай руки. *(Смотрит на часы.)*

Сахатов *(пожимает плечами)*. Могу утверждать, что медиум не мог делать всего того, что происходило. Но нитка?.. Я бы желал объяснения нитки.

Леонид Федорович. Нитка, нитка! Тут были явления посерьезнее.

Сахатов. Не знаю. Во всяком случае — je réserve mon opinion[1].

Толстая барыня *(к Сахатову)*. Нет, как же вы говорите: je réserve mon opinion. А младенец-то с крылышками? Разве вы не видали? Я сначала подумала, что это кажется; но потом ясно, ясно, как живой...

Сахатов. Могу говорить только о том, что̀ видел. Я не видал этого, не видал.

Толстая барыня. Ну как же! Совсем ясно было видно. А с левой стороны монах в черном одеянье, еще нагнулся к нему...

Сахатов *(отходит)*. Какое преувеличение!

Толстая барыня *(обращается к доктору)*. Вы должны были видеть. Он с вашей стороны поднимался.

Доктор, не слушая ее, продолжает считать пульс.

(Гросману.) И свет, свет от него, особенно вокруг личика. И выраженье такое кроткое, нежное, что-то вот этакое небесное! *(Сама нежно улыбается.)*

Гросман. Я видел свет фосфорический, предметы изменяли место, но более я ничего не видел.

Толстая барыня. Ну, полноте! Это вы так. Это оттого, что вы, ученые школы Шарко̀, не верите в загробную жизнь. А меня никто теперь, никто в мире не разуверит в будущей жизни.

Гросман уходит от нее.

Нет, нет, что ни говорите, а это одна из самых счастливых минут в моей жизни. Когда Саразате играл, и эта... Да! *(Никто ее не слушает. Она подходит к Семену.)* Ну, ты мне скажи, ты, дружок, что чувствовал? Очень тебе было тяжело?

Семен *(смеется)*. Так точно.

Толстая барыня. Все-таки терпеть можно?

Семен. Так точно. *(К Леониду Федоровичу.)* Прикажете идти?

Леонид Федорович. Иди, иди.

Доктор *(к профессору)*. Пульс тот же, но температура понизилась.

Профессор. Понизилась? *(Задумывается и вдруг догадывается.)* Так и должно было быть, — должно было быть понижение! Двойная энергия, пересекаясь, должна была произвести нечто вроде интерференции. Да, да.

---

[1] я остаюсь при своем мнении *(франц.)*.

Леонид Федорович. Мне одно жалко, что полной материализации не было. Но все-таки... господа, милости просим в гостиную.

Толстая барыня. Особенно меня поразило, когда он взмахнул крылышками, и видно было, как он поднимается.

Гросман *(Сахатову)*. Если бы держаться одного гипноза, можно бы произвести полную эпилепсию. Успех мог бы быть совершенный.

Сахатов. Интересно, но не вполне убедительно! — все, что могу сказать.

Говорят все вместе, уходя.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Леонид Федорович с бумагой. Входит Федор Иваныч.

Леонид Федорович. Ну, Федор, какой сеанс был — удивительный! Оказывается, что землю-то надо уступить крестьянам на их условиях.

Федор Иваныч. Вот как!

Леонид Федорович. Да как же? *(Показывает бумагу.)* Представь, бумага, которую я им отдал, оказалась на столе. Я подписал.

Федор Иваныч. Как же она попала сюда?

Леонид Федорович. Да вот попала. *(Уходит.)*

Федор Иваныч уходит за ним.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Таня одна, вылезает из-под дивана и смеется.

Таня. Батюшки мои! Голубчики! Набралась я страху, как он за нитку поймал. *(Визжит.)* Ну, да все-таки вышло, — подписал!

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Таня и Григорий.

Григорий. Так это ты их дурачила?

Таня. А вам что?

Григорий. А что ж, думаешь, барыня за это похвалит? Нет, шалишь, теперь попалась. Расскажу твои плутни, коли по-моему не сделаешь.

Таня. И по-вашему не сделаю, и ничего вы мне не сделаете.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Театр представляет декорацию первого действия.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Два выездных лакея в ливреях. Федор Иваныч и Григорий.

1-й лакей *(с седыми бакенбардами)*. Нынче к вам к третьим. Спасибо, в одной стороне приемные дни. У вас прежде по четвергам было.

Федор Иваныч. Затем переменили на субботу, чтобы заодно: у Головкиных, у Граде-фон-Грабе...

2-й лакей. У Щербаковых так-то хорошо, что как бал, так лакеям угощение.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же. Сверху сходят княгиня с княжной. Бетси провожает их. Княгиня глядит в книжечку, на часы и садится на ларь. Григорий надевает ей ботики.

Княжна. Нет, ты, пожалуйста, приезжай. А то ты откажешься, Додо откажется — ничего и не выйдет.

Бетси. Не знаю. К Шубиным надо непременно. Потом репетиция.

Княжна. Успеешь. Нет, ты пожалуйста. Ne nous fais pas faux bond [1]. Федя будет и Коко.

Бетси. J'en ai par dessus la tête de votre Coco [2].

Княжна. Я думала, что я его здесь найду. Ordinairement il est d'une exactitude... [3]

---

[1] Не обмани *(франц.)*.

[2] Мне до смерти надоел ваш Коко *(франц.)*.

[3] Обычно он точен... *(франц.)*

Бетси. Он непременно будет.

Княжна. Когда я его вижу с тобой, мне кажется, что он только что сделал или вот сделает предложение.

Бетси. Да уж, вероятно, придется пройти через это. И так неприятно!

Княжна. Бедный Коко! Он так влюблен.

Бетси. Cessez, les gens[1].

Княжна садится на диванчик, разговаривая шепотом. Григорий надевает ей ботики.

Княжна. Так до вечера.

Бетси. Постараюсь.

Княгиня. Так скажите папа, что я ничему не верю, но приеду посмотреть его нового медиума. Чтоб он дал знать. Прощайте, ma toute belle[2]. *(Целует и уходит с княжной.)*

Бетси уходит наверх.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Два лакея, Федор Иваныч и Григорий.

Григорий. Не люблю старух обувать: не перегнется никак, от живота не видит, тычет мимо всё; то ли дело молоденькую — приятно и ножку в руки взять.

2-й лакей. Тоже разбирает.

1-й лакей. Нашему брату этого разбирать не полагается.

Григорий. Отчего ж не разбирать, разве мы не люди? Это они думают, что мы не понимаем; как сейчас разговорились, взглянули на меня, сейчас: ле жан.

2-й лакей. А это что ж?

Григорий. А это значит по-русски: не говори, поймут. За обедом тоже; а я понимаю. Вы говорите: разница, — никакой нет.

1-й лакей. Разница большая, кто понимает.

Григорий. Разницы нет никакой. Нынче я лакей, а завтра, может, и не хуже их жить буду. И за лакеев замуж выходят, разве не бывало? Пойти покурить. *(Уходит.)*

---

[1] Перестань, прислуга *(франц.)*.
[2] моя красавица *(франц.)*.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, без Григория.

2-й лакей. А смелый этот у вас молодой человек.

Федор Иваныч. Пустой малый, неспособен к службе; в конторщиках был, набаловался. Я и не советовал брать, да барыне понравился — виден для выезда.

1-й лакей. Я бы его к нашему графу, он бы его поставил в точку. Ох! не любит этаких вертунов. Лакей, так будь лакей, звание свое оправдай; а эта гордость не пристала.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же, сверху сбегает Петрищев и достает папироску. Навстречу ему входит Коко Клинген в pince-nez.

Петрищев *(в задумчивости)*. Да, да. Мое второе то же, что «ка». Кар-тож-ка. Мое всё... Да, да... А, Кокоша-Картоша! Откуда?

Коко Клинген. От Щербаковых. Ты вечно глупости...

Петрищев. Нет, ты слушай, шарада: мое первое то же, что «кин», мое второе то же, что «ка», а мое всё далеко гоняет телят.

Коко Клинген. Не знаю, не знаю. И некогда.

Петрищев. А куда тебе еще?

Коко Клинген. Как куда? К Ивиным, спевка, надо быть. Потом к Шубиным, потом на репетицию. Ведь и ты должен быть?

Петрищев. Как же, непременно. И на репетиции и на морковетиции. Ведь то я был дикий, а теперь я и дикий и генерал.

Коко Клинген. Ну, а сеанс вчерашний что?

Петрищев. Умора! Мужик был; но главное дело — всё в темноте. Вово младенцем пищал. Профессор объяснял, а Марья Васильевна разъясняла. Потеха! Жаль, что ты не был.

Коко Клинген. Боюсь, mon cher; [1] ты как-то это умеешь шутками отделываться, а мне всё кажется, что чуть скажу словечко, сейчас повернут так, что я сделал

---

[1] Мой дорогой *(франц.)*.

предложение. Et ça ne m'arrange pas du tout, du tout. Mais du tout, du tout! [1]

Петрищев. А ты делай предложение с сказуемым, вот ничего и не будет. Так заходи к Вово, вместе поедем на редькотицию.

Коко Клинген. Не понимаю, как ты можешь водиться с таким дураком. Уж так глуп, вот уж истинно шалопай!

Петрищев. А я его люблю. Люблю Вово, но «странною любовью», «к нему не зарастет народная тропа»... *(Уходит в комнату Василья Леонидыча.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Два лакея, Федор Иваныч и Коко Клинген. Бетси провожает даму. Коко значительно кланяется.

Бетси *(трясет ему руку, боком к даме)*. Вы не знакомы?

Дама. Нет.

Бетси. Барон Клинген. Что ж вы вчера не были?

Коко Клинген. Никак не мог, не успел.

Бетси. Жаль, очень было интересно. *(Смеется.)* Вы бы увидали, какие были manifestations [2]. Ну что же, наша шарада подвигается?

Коко Клинген. О да! Стихи на mon second [3] готовы, Ник сочинил, а я музыку.

Бетси. Как же, как? Скажите.

Коко Клинген. Позвольте, как?.. Да! Рыцарь поет Нанне. *(Поет.)*

Как прекрас*на на*тура,
Льет *на* душу мне *на*дежду...
Нанна, Нанна! на, на, на!

Дама. Это mon second *на*, а mon premier [4] что же?

Коко Клинген. Mon premier — это *Аре*, — имя дикарки.

---

[1] А это мне нисколько не улыбается, нисколько, нисколько! *(франц.)*

[2] проявления *(франц.)*.

[3] мое второе *(франц.)*.

[4] мое первое *(франц.)*.

Бетси. *Аре,* это, видите, дикарка, которая хочет съесть предмет своей любви... *(Хохочет.)* Она ходит, тоскует и поет:

Ах, аппетит...

Коко *(перебивая).* Меня мутит...

Бетси *(подхватывает).*

Кого-то есть желаю.
Хожу, брожу...

Коко Клинген.

Не нахожу...

Бетси.

Кого жевать — не знаю...

Коко Клинген.

Вдали вот плот...

Бетси.

Сюда плывет;
На нем два генерала...

Коко Клинген.

Мы два генерала,
Судьба нас связала,
На остров послала.

И опять refrain: [1]

Судьба нас связала,
На остров посла-а-ла.

Дама. Charmant! [2]

Бетси. Вы поймите, как глупо!

Коко Клинген. В том-то и прелесть.

Дама. Кто же Аре?

Бетси. Я, я костюм сделала, а мама говорит: «Неприлично». А нисколько не неприличнее, чем на бале. *(К Федору Иванычу.)* Что, здесь от Бурдье?

Федор Иваныч. Здесь, на кухне сидит.

Дама. Ну, а *арена* как же?

---

[1] Припев *(франц.).*

[2] Прелестно! *(франц.)*

Бетси. Да вы увидите. Не хочу вам портить удовольствия. Au revoir [1].

Дама. Прощайте! *(Раскланиваются. Дама уходит.)*

Бетси *(к Коко Клингену)*. Пойдемте к maman.

Бетси и Коко Клинген уходят наверх.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Федор Иваныч, два лакея и Яков (выходит из буфета с подносом, чаем, печеньем; запыхавшись идет через переднюю).

Яков *(лакеям)*. Мое почтение, мое почтение!

Лакеи кланяются.

(Федору Иванычу.) Хоть бы вы приказали Григорью Михайлычу подсобить. Замучился на отделку... *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же, без Якова.

1-й лакей. Старательный это у вас человек.

Федор Иваныч. Хороший малый, да вот не нравится барыне,— не виден, говорит, из себя. А тут еще наклепали на него вчера, что он мужиков в кухню пустил. Как бы не разочли! А малый хороший.

2-й лакей. Каких мужиков?

Федор Иваныч. Да пришли из нашей курской деревни землю покупать; дело ночное, да и земляки. Один буфетному мужику отец. Ну и провели их в кухню. А тут случись угадыванье мыслей; спрятали вещь в кухню, пришли все господа, увидала их барыня — беда! Как, говорит, люди, может быть, зараженные, а их в кухню!.. Очень она напугана заразой этой.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же и Григорий.

Федор Иваныч. Пойдите, Григорий, подсобите Якову Иванычу, а я здесь побуду один. Один не поспевает.

Григорий. Неловок, оттого и не поспевает. *(Уходит.)*

---

[1] До свиданья *(франц.)*.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же, без Григория.

1-й лакей. И что это за новая мода пошла нынче — эти заразы!.. Так и ваша боится?

Федор Иваныч. Пуще огня! У нас только заботы теперь, что окуривать, обмывать, обрызгивать.

1-й лакей. То-то я слышу дух такой тяжелый. *(С оживлением.)* Ни на что не похоже, какие грехи с этими заразами. Скверно совсем! Даже бога забыли. Вот у нашего барина сестры, княгини Мосоловой, дочка умирала. Так что же? Ни отец, ни мать и в комнату не вошли, так и не простились. А дочка плакала, звала проститься, — не вошли! Доктор какую-то заразу нашел. А ведь ходили же за нею и горничная своя и сиделка — и ничего, обе живы остались.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Те же, Василий Леонидыч и Петрищев (выходят из двери с папиросками).

Петрищев. Да пойдем же, я только Кокошу-Картошу захвачу.

Василий Леонидыч. Болван твой Кокоша! Я тебе скажу, терпеть его не могу. Вот пустой-то малый, настоящий полотер! Ничем не занят, только шляется. А, что?..

Петрищев. Ну, так погоди, все-таки я прощусь.

Василий Леонидыч. Ну, хорошо, я пойду собак посмотрю, в кучерскую. Кобель один, так та́к зол, что кучер говорит, чуть не съел его. А, что?

Петрищев. Кто кого съел? Неужели кучер съел кобеля?

Василий Леонидыч. Ну, ты вечно... *(Одевается и уходит.)*

Петрищев *(задумчиво)*. Ма-кин-тож, кар-тож-ка... Да, да. *(Идет наверх.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Два лакея, Федор Иваныч и Яков (пробегает через сцену в начале и конце явления).

Федор Иваныч *(Якову)*. Чего еще?

Яков. Тартинок нет! Я говорил... *(Уходит.)*

2-й лакей. А вот еще у нас барчук заболел. Так сей-

час свезли его в гостиницу с нянькой, так там без матери и помер.

1-й лакей. То-то греха не боятся! Я полагаю, что от бога никуда не уйдешь.

Федор Иваныч. И я так думаю.

Яков бежит наверх с тартинками.

1-й лакей. И то возьмите во внимание, что ежели теперь так всех бояться, то надо запереться в четырех стенах, как в тюрьме ровно, да так и сидеть.

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же и Таня, потом Яков.

Таня (*кланяется лакеям*). Здравствуйте!

Лакеи кланяются.

Федор Иваныч! мне вам два слова сказать.

Федор Иваныч. Ну что?

Таня. Да пришли, Федор Иваныч, мужички опять...

Федор Иваныч. Ну так что же? Бумагу-то ведь я Семену отдал...

Таня. Бумагу я им отдала. Уж как благодарят-то, и не знаю как. Теперь только просят деньги от них принять.

Федор Иваныч. Да где они?

Таня. Тут, у крыльца стоят.

Федор Иваныч. Ну что ж, я скажу.

Таня. Да еще просьба моя к вам, батюшка Федор Иваныч.

Федор Иваныч. Что еще?

Таня. Да что Федор Иваныч, мне уж оставаться нельзя здесь. Попросите, чтоб отпустили меня.

Яков вбегает.

Федор Иваныч (*Якову*). Что ты?

Яков. Самовар другой да апельсины.

Федор Иваныч. У экономки спроси.

Яков убегает.

Это что ж так?

Таня. Да ведь как же! Теперь мое дело такое.

Я к о в *(вбегая)*. Апельсинов мало.

Ф е д о р И в а н ы ч. Подай, что есть.

Яков убегает.

Не время ты выбрала: ведь видишь, суета...

Т а н я. Да ведь сами знаете, Федор Иваныч, этой суете угомону не бывает, сколько ни жди, — вы сами знаете, — а ведь мое дело навек... Вы, батюшка Федор Иваныч, как мне добро такое сделали, будьте отец родной, выберите времечко, скажите. А то рассердится, билет не даст.

Ф е д о р И в а н ы ч. Да что же тебе так загорелось?

Т а н я. Да как же, Федор Иваныч, дело теперь сладилось... Я бы к маменьке, к крестной поехала, приготовилась бы. А на красную горку и свадьба. Скажите, батюшка Федор Иваныч!

Ф е д о р И в а н ы ч. Ступай теперь — не место тут.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Сверху сходит б а р и н (пожилой) и молча уходит со 2-м лакеем. Таня уходит. Ф е д о р И в а н ы ч, 1-й л а к е й и Я к о в (входит).

Я к о в. Что же, Федор Иваныч, это обида живая! Теперь меня расчесть хочет. Ты, говорит, все колотишь, Фифку забыл и против моего приказания мужиков в кухню пустил. А вы сами знаете: я ничего знать не знаю! Только сказала мне Татьяна: проведи в кухню, а я не знаю, по чьему приказу.

Ф е д о р И в а н ы ч. Что ж, разве она говорила?

Я к о в. Сейчас говорила. Уж вы заступитесь, Федор Иваныч! А то семейство только стало поправляться, а тут сойдешь с места, когда-то опять попадешь. Федор Иваныч, пожалуйста!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Ф е д о р И в а н ы ч, 1-й л а к е й и б а р ы н я провожает с т а р у ю г р а ф и н ю с фальшивыми волосами и зубами. Графиню одевает 1-й лакей.

Б а р ы н я. Непременно, как же? Я так истинно тронута.

Г р а ф и н я. Кабы не нездоровье, я бы чаще у вас бывала.

Барыня. Право, возьмите Петра Петровича. Он груб, но никто так не может успокоить; так просто, ясно у него все.

Графиня. Нет, уж я привыкла.

Барыня. Осторожнее.

Графиня. Merci, mille fois merci[1].

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Те же и Григорий, растрепанный в волнении, выскакивает из буфета. За ним виден Семен.

Семен. А ты к ней не приставай.

Григорий. Я тебя, мерзавца, научу, как драться! Ах ты, негодяй!

Барыня. Что это такое? Что вы, в кабаке, что ли?

Григорий. Не могу жить от этого мужика грубого.

Барыня *(с досадой)*. Вы с ума сошли, разве вы не видите. *(К графине.)* Merci, mille fois merci. A mardi[2].

Графиня и 1-й лакей уходят.

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Федор Иваныч, барыня, Григорий и Семен.

Барыня *(к Григорию)*. Что такое?

Григорий. Я хоть в должности лакея, но я имею свою гордость и не позволю всякому мужику меня толкать.

Барыня. Да что такое случилось?

Григорий. Да вот Семен ваш набрался храбрости, что он с господами сидел. Драться лезет.

Барыня. Что такое? За что?

Григорий. А бог его знает.

Барыня *(к Семену)*. Что это такое значит?

Семен. Что ж он к ней пристает?

Барыня. Да что у вас было?

Семен *(улыбаясь)*. Да так, он Таню, горничную, все хватает, а она не хочет. Вот я его отстранил рукой... так, маленечко.

---

[1] Благодарствуйте, тысячу раз благодарствуйте *(франц.)*.

[2] Благодарствуйте, тысячу раз благодарствуйте. До вторника *(франц.)*.

Григорий. Хорошо отстранил, чуть ребра не сломал. И фрак разорвал. Да ведь он что говорит: «На меня, говорит, по-вчерашнему, сила нашла», и начал давить.

Барыня (*к Семену*). Как ты смеешь драться в моем доме?

Федор Иваныч. Позвольте доложить, Анна Павловна, надо вам сказать, что Семен имеет чувства к Тане, и как они теперь сосватаны, а Григорий — что ж, надо правду сказать — обращается нехорошо, неблагородно. Ну, вот Семен, я полагаю, и обиделся на него.

Григорий. Совсем нет; это из-за злобы, что я плутовство их все открыл.

Барыня. Какое плутовство?

Григорий. А в сеансе. Все вчерашние штуки не Семен, а Татьяна делала. Я сам видел, как она из-под дивана лезла.

Барыня. Что такое из-под дивана лезла?

Григорий. Честное слово могу дать. Она и бумагу принесла и кинула на стол. Кабы не она, бумагу не подписали бы и мужикам землю не продали бы.

Барыня. Вы сами видели?

Григорий. Своими глазами. Прикажите позвать ее, она не отопрется.

Барыня. Позовите ее.

Григорий уходит.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Те же, без Григория. За сценой шум, голос швейцара: «Нельзя, нельзя!» Показывается швейцар, мимо него врываются три мужика. Впереди 2-й мужик, 3-й мужик спотыкается, падает и хватается за нос.

Швейцар. Нельзя, идите!

2-й мужик. Авось не беда. Разве мы за худым чем? — мы денежки отдать.

1-й мужик. Двистительно, как за подписью руки приложенья, дело в окончании, мы только денежки предоставить с нашей благодарностью.

Барыня. Погодите, погодите благодарить, все это был обман. Еще не кончено. Не продано еще. Леонид! Позовите Леонида Федоровича.

Швейцар уходит.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Те же и Леонид Федорович выходит, но, увидав барыню и мужиков, хочет уйти назад.

Барыня. Нет, нет, пожалуйте сюда! Я говорила вам, что нельзя продавать землю в долг, и все вам говорили. А вас обманывают, как самого глупого человека.

Леонид Федорович. То есть в чем? Я не понимаю, какой обман.

Барыня. Стыдились бы вы! Вы седой, а вас, как мальчишку, обманывают и смеются над вами. Жалеете для сына какие-нибудь триста рублей для его общественного положения, а самих вас, как дурака, проводят на тысячи.

Леонид Федорович. Да ты, Annette, успокойся.

1-й мужик. Мы только в получении суммы, значит...

3-й мужик *(достает деньги)*. Отпусти ты нас, ради Христа!

Барыня. Погодите, погодите.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Те же, Григорий и Таня.

Барыня *(строго к Тане)*. Ты была вчера вечером во время сеанса в маленькой гостиной?

Таня, вздыхая, оглядывается на Федора Иваныча, Леонида Федоровича и Семена.

Григорий. Да уж нечего вилять, когда я сам видел...

Барыня. Говори, была? Я знаю все, признавайся. Я тебе ничего не сделаю. Мне только хочется уличить вот его *(указывает на Леонида Федоровича)*, барина... Ты кинула бумагу на стол?

Таня. Я не знаю, что и отвечать. Одно, что нельзя ли меня домой отпустить?

Барыня *(к Леониду Федоровичу)*. Вот видите, вас дурачат.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Те же. Входит Бетси в начале явления и стоит незамеченная.

Таня. Отпустите меня, Анна Павловна!

Барыня. Нет, милая! Ты ведь, может быть, убытку сделала на несколько тысяч. Продали землю, которую не надо было продавать.

Таня. Отпустите меня, Анна Павловна.

Барыня. Нет, ты ответишь. Плутовать нельзя. К мировому судье подам.

Бетси *(выступая)*. Отпустите ее, мама. А коли вы хотите ее судить, то и меня вместе с ней,— я с ней вместе вчера все делала.

Барыня. Ну, да уж когда ты, то, кроме самого гадкого, ничего и быть не могло.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Те же и профессор.

Профессор. Здравствуйте, Анна Павловна! Здравствуйте, барышня! А я вам несу, Леонид Федорович, отчет о тринадцатом съезде спиритуалистов в Чикаго. Удивительная речь Шмита.

Леонид Федорович. А, очень интересно!

Барыня. Я вам гораздо интереснее расскажу. Оказывается, что и вас и мужа дурачила эта девчонка. Бетси на себя говорит, но это чтоб дразнить меня; а дурачила вас безграмотная девчонка, а вы верите! Вчера никаких ваших медиумических явлений не было, а это она *(указывая на Таню)* все делала.

Профессор *(раздеваясь)*. Как, то есть?

Барыня. Да так, что она в темноте и на гитаре играла, и мужа по голове била, и все глупости ваши делала, и сейчас призналась.

Профессор *(улыбаясь)*. Так что же это доказывает?

Барыня. Доказывает, что ваш медиумизм— вздор! Вот что доказывает.

Профессор. Оттого, что эта девушка хотела обманывать, от этого медиумизм— вздор, как вы изволите выражаться? *(Улыбаясь.)* Странное заключение! Очень может быть, что девушка эта хотела обманывать: это часто бывает; может быть, она что-нибудь и делала, но то, что она делала,— делала она, то, что было проявлением медиумической энергии,— было проявлением медиумической энергии. Даже весьма вероятно, что то, что делала эта девушка, вызывало, соллицитировало, так сказать, проявление медиумической энергии, давало ей определенную форму.

Барыня. Опять лекция!..

Профессор *(строго)*. Вы говорите, Анна Павловна, что эта девушка, может быть, и эта милая барышня что-то делали; но свет, который мы все видели, а в первом случае понижение, а во втором — повышение температуры, а волнение и вибрирование Гросмана, — что же, это тоже делала эта девушка? А это факты, факты, Анна Павловна! Нет, Анна Павловна, есть вещи, которые надо исследовать и вполне понимать, чтобы говорить о них, — вещи слишком серьезные, слишком серьезные...

Леонид Федорович. А дитя, которое ясно видела Марья Васильевна! Да и я видел... Это не могла же сделать эта девушка.

Барыня. Вы думаете, что вы умны, а вы — дурак!

Леонид Федорович. Ну, я уйду. Алексей Владимирович, пойдемте ко мне. *(Уходит в кабинет.)*

Профессор *(пожимая плечами, идет за ним)*. Да, как еще мы далеки от Европы!

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Барыня, три мужика, Федор Иваныч, Таня, Бетси, Григорий, Семен и Яков (входит).

Барыня *(вслед Леониду Федоровичу)*. Обманули его, как дурака, а он ничего не видит. *(Якову.)* Тебе что?

Яков. На много ли персон прикажете накрывать?

Барыня. На много ли?.. Федор Иваныч! Принять от него серебро! Вон сейчас! От него всё. Этот человек меня в гроб сведет. Вчера чуть-чуть не заморил собачку, которая ничего ему не сделала. Мало ему этого, он же зараженных мужиков вчера в кухню завел, и опять они здесь. От него всё! Вон, сейчас вон! Расчет, расчет! *(Семену.)* А если ты себе вперед позволишь шуметь в моем доме, я тебя, скверного мужика, выучу!

2-й мужик. Да что же, коли он скверный мужик, так и держать его нечего, а давай расчет, вот и все.

Барыня *(слушая его, вглядывается в 3-го мужика)*. Да смотрите: у этого сыпь на носу, сыпь! Он больной, он резервуар заразы!! Ведь я вчера говорила, чтобы их не пускать, и вот они опять тут. Гоните их вон!

Федор Иваныч. Что же, не прикажете деньги принять?

Барыня. Деньги? Деньги возьми, но их, особенно этого больного, вон, сию минуту вон! Он совсем гнилой!

3-й мужик. Напрасно ты, мать, ей-богу, напрасно. У моей старухи, скажем, спроси. Какой я гнилой? Я, как стеклышко, скажем.

Барыня. Еще разговаривает?.. Вон, вон! Все назло!.. Нет, я не могу, не могу! Пошлите за Петром Петровичем. *(Убегает, всхлипывая.)*

Яков и Григорий уходят.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, без барыни, Якова и Григория.

Таня *(к Бетси)*. Барышня, голубушка, как же мне быть теперь?

Бетси. Ничего, ничего. Поезжай с ними, я устрою. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ

Федор Иваныч, три мужика, Таня и швейцар.

1-й мужик. Как же, почтенный, получение суммы теперича?

2-й мужик. Отпусти ты нас.

3-й мужик *(мнется с деньгами)*. Кабы знать, я ни в жисть не взялся бы. Это засушит хуже лихой болести.

Федор Иваныч *(швейцару)*. Проводи их ко мне, там и счеты есть. Там и получу. Идите, идите.

Швейцар. Пойдемте, пойдемте.

Федор Иваныч. Да благодарите Таню. Кабы не она, быть бы вам без земли.

1-й мужик. Двистительно, как изделала предлог, так и в действие произвела.

3-й мужик. Она нас людьми изделала; а то бы что? земля малая, не то что скотину,— курицу, скажем, и ту выпустить некуда. Прощевай, умница! Приедешь на село, приходи мед есть.

2-й мужик. Дай домой приеду, свадьбу готовить стану, пиво варить. Только приезжай.

Таня. Приеду, приеду! *(Визжит.)* Семен! То-то хорошо-то!

Мужики уходят.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Федор Иваныч, Таня и Семен.

Федор Иваныч. С богом. Ну, смотри, Таня, когда домком заживешь, я приеду к тебе погостить. Примешь?

Таня. Голубчик ты мой, как отца родного примем! *(Обнимает и целует его.)*

Занавес

Конец.

ЖИВОЙ ТРУП

ДРАМА В ШЕСТИ ДЕЙСТВИЯХ
(двенадцати картинах)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Федор Васильевич Протасов (Федя).
Елизавета Андреевна Протасова (Лиза), его жена.
Миша, мальчик, их сын.
Анна Павловна, мать Лизы.
Саша, сестра Лизы.
Виктор Михайлович Каренин.
Анна Дмитриевна Каренина, мать его.
Марья Васильевна Крюкова, подруга Лизы.
Сергей Дмитриевич Абрезков, князь.
Маша, цыганка.
Иван Макарович, старый цыган, отец Маши.
Настасья Ивановна, старая цыганка, мать Маши.
Михаил Андреевич Афремов, Стахович, Буткевич, Коротков — приятели Феди.
Иван Петрович Александров.
Петушков, художник.
Артемьев.
Вознесенский, секретарь Каренина.
Судебный следователь.
Письмоводитель судебного следователя.
Мельников.
Петрушин, адвокат.
Молодой адвокат.
Доктор.
Офицер у цыган.
Музыкант.
Катя, Гаша — цыганки.
Цыганка.
1-й цыган.
2-й цыган.
Дама в суде.
Офицер в суде.
Судейский.
Няня Протасовых.
Дуняша, горничная Протасовых.
Лакей Протасовых.
Лакей Карениных.
Женщина в трактире.
Половой в трактире.
Городовой.
Курьер.
Хозяин трактира.
Господин в суде.
Судьи, зрители, свидетели.
Цыгане и цыганки (хор).

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Анна Павловна, полная седая дама, в корсете, сидит одна за чайным столом.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Анна Павловна и няня с чайником.

Няня. Можно у вас водицы?

Анна Павловна. Можно. Что Мишечка?

Няня. Да беспокоен. Нет хуже, как сама барыня кормит. У них свои там горести, а ребеночек страдает. Какое же молоко может быть, когда ночи не спят, плачут.

Анна Павловна. Да, кажется, теперь успокоилась.

Няня. Хорошо спокойствие. Смотреть тошно. Что-то писали и плакали.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и Саша.

Саша *(входит. К няне)*. Лиза в детской вас ищет.

Няня. Иду, иду. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Анна Павловна и Саша.

Анна Павловна. Няня говорит, что она все плачет. Как это она не может успокоиться.

Саша. Нет, вы, мама, удивительны. Оставить мужа, отца своего ребенка, и вы хотите, чтобы она была спокойна.

Анна Павловна. Не спокойна,— а что сделано, то сделано. Если я, мать, не только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит, стоит он того. Надо радоваться, а не печалиться, что можешь освободиться от такого дурного человека, освободиться от такого золота.

Саша. Мама, зачем вы говорите так? Ведь вы знаете, что это неправда. Он не дурной, а, напротив, удивительный, удивительный человек, несмотря на его слабости.

Анна Павловна. Ну, именно удивительный человек. Как только деньги в руках — свои ли, чужие ли...

Саша. Мама, он никогда чужих не брал.

Анна Павловна. Все равно, женины.

Саша. Да ведь он же отдал все свое состояние жене.

Анна Павловна. Еще бы не отдать, когда он сам знает, что он все промотает.

Саша. Промотает ли, не промотает, я только знаю, что нельзя разлучаться с мужем, особенно с таким, как Федя.

Анна Павловна. По-твоему, надо ждать, пока он все промотает и приведет в дом своих цыганок-любовниц?

Саша. Нет у него любовниц.

Анна Павловна. Вот то и беда, что он всех вас чем-то обворожил. Только не меня, нет, шалишь; я его вижу, и он знает это. На месте Лизы я бы не теперь, а уж год тому назад бросила его.

Саша. Как вы это говорите легко.

Анна Павловна. Нет, не легко. Мне, матери, видеть дочь разведенной не легко. Поверь, что очень не легко. Но все лучше, чем загубить молодую жизнь. Нет, я бога благодарю, что она теперь решилась и что все кончено.

Саша. Может быть, и не кончено.

Анна Павловна. Только бы он дал развод.

Саша. Что же будет хорошего?

Анна Павловна. Будет то, что она молода и еще может быть счастлива.

Саша. Ах, мама, это ужасно, что вы говорите; не может Лиза полюбить другого.

Анна Павловна. Отчего не может? если она будет свободна. Найдутся люди в тысячу раз лучше вашего Феди и будут счастливы жениться на Лизе.

Саша. Мама, это нехорошо. Вы ведь, я знаю, думаете про Виктóра Каренина.

Анна Павловна. Отчего же не думать про него? Он любит ее десять лет, и она любит его.

Саша. Любит, но не так, как мужа. Это дружба с детства.

Анна Павловна. Знаем мы эту дружбу. Только бы не было препятствий.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же. Входит горничная.

Анна Павловна. Что вы?

Горничная. Барыня посылали дворника с запиской к Виктору Михайловичу.

Анна Павловна. Какая барыня?

Горничная. Лизавета Андреевна, барыня.

Анна Павловна. Ну так что ж?

Горничная. Виктор Михайлович приказали сказать, что сейчас сами будут.

Анна Павловна *(удивленно)*. Только что о нем говорили. Не понимаю только зачем? *(Саше.)* Ты не знаешь?

Саша. Может быть, знаю, а может быть, не знаю.

Анна Павловна. Все секреты.

Саша. Лиза придет, она вам скажет.

Анна Павловна *(качая головой, к горничной)*. А самовар подогреть надо. Возьми, Дуняша.

Горничная берет самовар и уходит.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Анна Павловна и Саша.

Анна Павловна *(к Саше, которая встала и хочет идти)*. Вышло, как я говорила. Сейчас же и послала за ним.

Саша. Послала, может быть, совсем не за тем.

Анна Павловна. Так за чем же?

Саша. Теперь, в эту минуту, Каренин для нее все равно, что Трифоновна.

Анна Павловна. А вот увидишь. Ведь я ее знаю. Она зовет его, ищет утешения.

Саша. Ах, мама, как вы мало ее знаете, что можете думать это.

Анна Павловна. Да вот увидишь. И я очень, очень рада.

Саша. Увидим. *(Напевает и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Анна Павловна одна.

Анна Павловна *(покачивает головой и бормочет)*. И прекрасно. И пускай... И прекрасно, и пускай... Да...

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Анна Павловна и горничная.

Горничная *(входит)*. Виктор Михайлович приехали.

Анна Павловна. Ну что же. Проси, да скажи барыне.

Горничная проходит во внутреннюю дверь.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Анна Павловна и Виктор Каренин.

Каренин *(входит, здоровается с Анной Павловной)*. Лизавета Андреевна прислала мне записку, чтобы я приехал. А я и так собирался к вам нынче вечером, так что очень рад... Лизавета Андреевна здорова?

Анна Павловна. Она здорова, ребенок немножко беспокоится. Она сейчас придет. *(Грустно.)* Да, да, тяжелое время... Вы ведь всё знаете...

Каренин. Знаю. Ведь я тут был третьего дня, когда было получено от него письмо. Но неужели это так и решено бесповоротно?

Анна Павловна. Еще бы, разумеется. Переживать все, что было, еще раз, было бы ужасно.

Каренин. Да, вот где десять раз примерь, а раз отрежь. Резать по живому очень трудно.

Анна Павловна. Разумеется, трудно. Но ведь их брак уже давно был надрезан. Так что разорвать было менее трудно, чем кажется. Он сам понимает, что после всего, что было, ему уже самому нельзя вернуться.

Каренин. Отчего же?

Анна Павловна. Ну как же вы хотите после всех его гадостей, после того, как он клялся, что этого не будет и что если это будет, то он сам лишает себя всех прав мужа и дает ей полную свободу?

Каренин. Да, но какая же может быть свобода женщины, связанной браком?

Анна Павловна. Развод. Он обещал развод, и мы настоим.

Каренин. Да, но Лизавета Андреевна так любила его...

Анна Павловна. Ах, ее любовь подверглась таким испытаниям, что едва ли от нее остается что-нибудь. Тут и пьянство, и обманы, и неверности. Разве можно любить такого мужа?

Каренин. Для любви все можно.

Анна Павловна. Вы говорите — любить, но как же любить такого человека — тряпку, на которого ни в чем нельзя положиться? Ведь теперь что было... *(Оглядывается на дверь и торопится рассказать.)* Дела расстроены, все заложено, платить нечем. Наконец дядя присылает две тысячи, внести проценты. Он едет с этими деньгами и... пропадает. Жена сидит с больным ребенком, ждет, и, наконец, получается записка — прислать ему белье и вещи...

Каренин. Да, да, я знаю.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же. Входят Саша и Лиза.

Анна Павловна. Ну вот, Виктор Михайлович явился на твой зов.

Каренин. Да, меня немного задержали. *(Здоровается с сестрами.)*

Лиза. Благодарствуйте. У меня до вас большая просьба. И мне не к кому обратиться, как к вам.

Каренин. Все, что могу.

Лиза. Вы ведь все знаете.

Каренин. Да, я знаю.

Анна Павловна. Так я вас оставлю. *(Саше.)* Пойдем. Оставь их одних. *(Уходит с Сашей.)*

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Лиза и Каренин.

Лиза. Да, он написал мне письмо, что считает все конченным. Я *(удерживает слезы)*... так была оскорблена, так... ну, одним словом, я согласилась разорвать. И ответила ему, что принимаю его отказ.

Каренин. Но потом?..

Лиза. Потом? Потом я почувствовала, что это дурно с моей стороны, что я не могу. Все лучше, чем расстаться с ним. Ну, одним словом, отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктòр... отдайте ему это письмо и скажите... и привезите его.

Каренин. Хорошо. *(Удивленно.)* Да, но как же?

Лиза. Скажите, что я прошу его все забыть, все забыть и вернуться. Я бы могла просто послать письмо. Но я знаю его: первое движение, как всегда, будет хорошее, но потом чье-нибудь влияние, и он раздумает и сделает не то, что хочет...

Каренин. Сделаю, что могу.

Лиза. Вы удивляетесь, что я прошу именно вас?

Каренин. Нет... Впрочем, надо говорить правду — да, удивляюсь...

Лиза. Но не сердитесь?..

Каренин. Разве я могу на вас сердиться?

Лиза. Я просила вас потому, что знаю, что вы любите его.

Каренин. И его и вас. Вы знаете это. И люблю не для себя, а для вас. И я благодарю вас за то, что вы верите мне: сделаю, что могу.

Лиза. Я знала. Я вам все скажу: я нынче ездила к Афремову узнать, где он. Мне сказали, что они поехали к цыганам. И вот этого я боюсь. Этого увлечения я боюсь. Знаю, что если его не удержать вовремя, он увлечется. Вот это-то и нужно. Так вы поедете?

Каренин. Разумеется, сейчас.

Лиза. Поезжайте, найдите его и скажите, что все забыто, что я жду его.

Каренин *(встает)*. Но где искать его?

Лиза. Он у цыган. Я сама была там. Я была у крыльца. Хотела послать письмо, потом раздумала и решила просить вас... адрес вот. Ну, так скажите ему, чтобы он вернулся, что ничего не было, что все забыто. Сделайте это из любви к нему и дружбы к нам.

Каренин. Сделаю все, что могу. *(Выжидает, потом кланяется и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Лиза одна.

Лиза. Не могу, не могу. Все лучше, чем... не могу.

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Лиза, входит Саша.

Саша. Ну что? Послала?

Лиза делает утвердительный знак головой.

И он согласился?

Лиза. Разумеется.

Саша. Зачем его — не понимаю...

Лиза. Кого же?

Саша. Да ведь ты знаешь, что он влюблен в тебя?

Лиза. Это все было и прошло. Но кого же ты хочешь, чтобы я просила? Как ты думаешь, вернется он?

Саша. Я уверена, потому что...

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Те же и Анна Павловна.
Анна Павловна входит, Саша замолкает.

Анна Павловна. А Виктор Михайлович где?

Лиза. Уехал.

Анна Павловна. Как уехал?

Лиза. Я просила его исполнить мою просьбу.

Анна Павловна. Какую просьбу? Опять секреты?

Лиза. Не секреты, а просто просила его самому передать письмо Феде.

Анна Павловна. Феде? Федор Васильевичу?

Лиза. Да, Феде.

Анна Павловна. Я думала, что между вами все отношения кончены.

Лиза. Я не могу расстаться с ним.

Анна Павловна. Как, опять все сначала?

Лиза. Я хотела, я старалась, но я не могу. Все, что хотите, но только бы не разлучаться с ним.

Анна Павловна. Так что же, ты хочешь вернуть его?

Лиза. Да.

Анна Павловна. Опять пустить к себе в дом эту гадину?

Лиза. Мама, я прошу вас не говорить так про моего мужа.

Анна Павловна. Он был муж.

Лиза. Нет, он теперь мой муж.

Анна Павловна. Мот, пьяница, развратник, и ты не можешь с ним расстаться?

Лиза. За что вы меня мучаете? Мне и так тяжело, а вы точно нарочно хотите...

Анна Павловна. Я мучаю, так я уеду. Не могу я видеть этого.

Лиза молчит.

Я вижу, что вы этого хотите, что я вам мешаю. Не могу я жить. Ничего я в вас не понимаю. Все это по-новому. То развелась, решила, потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен.

Лиза. Ничего этого нет.

Анна Павловна. Каренин делал предложение... и посылаешь его за мужем. Что это? Чтобы возбудить ревность?

Лиза. Мама! Это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня.

Анна Павловна. Так мать выгони из дома, а развратного мужа пусти. Да я не стану ждать. И прощайте, и бог с вами, как хотите, так и делайте. *(Уходит, хлопая дверью.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Лиза и Саша.

Лиза *(падает на стул)*. Этого недоставало!

Саша. Ничего. Все будет хорошо. Мама мы успокоим.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Те же и Анна Павловна.

Анна Павловна *(молча проходит)*. Дуняша, мой чемодан!

Саша. Мама! Вы послушайте! *(Уходит за ней и подмигивает сестре.)*

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Комната у цыган. Хор поет «Канавелу». Федя лежит на диване ничком, без сюртука. Афремов на стуле верхом против запевалы. Офицер у стола, на котором стоит шампанское и стаканы. Тут же музыкант записывает.

Афремов. Федя! Спишь?

Федя *(поднимается)*. Не разговаривайте. Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля... Теперь «Не вечерняя».

Цыган. Нельзя, Федор Васильевич. Теперь пусть Маша одна споет.

Федя. Ну, ладно. А потом «Не вечерняя». *(Опять ложится.)*

Офицер. «Час роковой». Согласны?

Афремов. Пускай.

Офицер *(к музыканту)*. Что ж, записали?

Музыкант. Невозможно. Всякий раз по-новому. И какая-то ска́ла иная. Вот тут. *(Подзывает. К цыганке, которая смотрит.)* Это как? *(Напевает.)*

Цыганка. Да так и есть. Так чудесно.

Федя *(поднимаясь)*. Не запишет. А запишет да в оперу всунет — все изгадит. Ну, Маша, валяй хоть «Час»! Бери гитару. *(Встает, садится перед ней и смотрит ей в глаза.)*

Маша поет.

И это хорошо. Ай да Маша. Ну, теперь «Не вечерняя».

Афремов. Нет, постой. Прежде мою, похоронную.

Офицер. Отчего похоронную?

Афремов. А это оттого, что когда я умру... понимаешь умру, в гробу буду лежать, придут цыгане... понимаешь? Так жене завещаю. И запоют «Шэл мэ вѐрста», — так я из гроба вскочу, — понимаешь? *(Музыканту.)* Вот что запиши. Ну, катай.

Цыгане поют.

А, каково. Ну — «Размолодчики мои».

Поют. Афремов делает выходку. Цыгане улыбаются и, продолжая петь, хлопают. Афремов садится. Песня кончается.

Цыган. Ай да Михаил Андреевич, настоящий цыган.

Федя. Ну, теперь — «Не вечернюю».

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же. Входит цыган.

Цыган *(к Феде)*. Вас барин спрашивает.

Федя. Какой барин?

Цыган. Не знаю. Одет хорошо. Соболья шуба.

Федя. Барарай? Ну что же, зови.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же, без цыгана.

Афремов. Кто ж это к тебе сюда?

Федя. А черт его знает. Кому до меня дело? *(Встает, шатаясь.)*

Маша уходит и что-то говорит по-цыгански с своими.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, без Маши. Входит Каренин. Оглядывается.

Федя. А, Викто́р. Вот кого не ждал. Раздевайся. Каким ветром тебя сюда занесло? Ну, садись. Слушай, Викто́р, «Не вечерняя».

Цыгане поют.

Вот это она. Вот это она. Удивительно, и где же делается то все, что тут высказано? Ах, хорошо. И зачем может

человек доходить до этого восторга, а нельзя продолжать его?

Музыкант *(записывает)*. Да, очень оригинально.

Федя. Не оригинально, а это настоящее...

Афремов. Ну, чавалы, вы отдохните. *(Берет гитару и подсаживается к Кате.)*

Музыкант. В сущности, оно просто, но только ритм.

Каренин. Je voudrais vous parler sans témoins [1].

Федя. О чем?

Каренин. Je viens de chez vous. Votre femme m'a chargé de cette lettre, et puis... [2]

Федя *(берет письмо, читает, хмурится, потом ласково улыбается)*. Послушай, Каренин, ты ведь знаешь, что в этом письме?

Каренин. Знаю. И хочу сказать...

Федя. Постой, постой. Ты, пожалуйста, не думай, что я пьян и мои слова невменяемы, то есть я невменяем. Я пьян, но в этом деле вижу все ясно. Ну, что же тебе поручено сказать.

Каренин. Мне поручено найти тебя и сказать тебе, что она... ждет тебя. Просит тебя все забыть и вернуться.

Федя *(слушает молча, глядя ему в лицо)*. Я все-таки не понимаю, почему ты?

Каренин. Лизавета Андреевна прислала за мной и просила меня...

Федя. Так...

Каренин. Но я не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу тебя: поедем домой.

Федя. Ты лучше меня. Какой вздор! Лучше меня нетрудно быть. Я негодяй, а ты хороший, хороший человек. И от этого самого я не изменю своего решения. И не от этого. А просто не могу и не хочу. Ну как я поеду?

Каренин. Поедем теперь ко мне. Я скажу, что ты вернешься, и завтра...

Федя. А завтра что? Все буду я — я, а она — она. Нет. *(Подходит к столу и пьет.)* Зуб лучше сразу выдернуть. Я ведь говорил, что если я опять не сдержу слова, то чтобы она бросила меня. Я не сдержал и кончено.

---

[1] Я хотел бы говорить с тобой без свидетелей *(франц.)*.

[2] Я сейчас от вас. Твоя жена поручила мне это письмо и потом... *(франц.)*

Каренин. Для тебя, но не для нее.

Федя. Удивительно, что ты заботишься о том, чтобы наш брак был не нарушен.

Каренин хочет что-то сказать. Входит Маша.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Маша. Потом цыгане.

Федя *(перебивает его)*. Ты послушай, ты послушай. Маша, спой.

Цыгане сходятся.

Маша *(шепотом)*. Повеличать бы.

Федя *(смеется)*. Величать: Виктор сударь Михайлович...

Цыгане поют.

Каренин *(сконфуженно слушает, потом спрашивает)*. Сколько дать?

Федя. Ну, дай двадцать пять.

Каренин дает.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же, без Каренина.

Федя. Чудесно! Теперь «Лен». *(Оглядывается.)* Удрал Каренин. Ну, черт с ним.

Цыгане разбредаются.

(Махает рукой, подходит к Маше, садится на диван рядом с ней.) Ах, Маша, Маша, как ты мне разворачиваешь нутро все.

Маша. Ну, а что я вас просила...

Федя. Что? Денег? *(Вынимает из кармана штанов.)* Ну что же, возьми.

Маша смеется, берет деньги и прячет в пазуху.

Федя *(цыганам)*. Вот и разберись тут. Мне открывает небо, а сама на душки просит. Ведь ты ни черта не понимаешь того, что ты сама делаешь.

Маша. Как не понимать. Я понимаю, что кого люблю, для того и стараюсь и пою лучше.

Федя. А меня любишь?

Маша. Видно, что люблю.

Федя. Удивительно. *(Целует ее.)*

Цыгане и цыганки уходят. Остаются парочки: Федя с Машей, Афремов с Катей, офицер с Гашей. Музыкант пишет, цыган перебирает вальс на гитаре.

Ведь я женат, а тебе хор не велит. Хорошо тебе?

Маша. Разумеется, хорошо, когда хорошие гости. И нам весело.

Федя. Ты знаешь, кто это?

Маша. Слышала фамилию.

Федя. Это превосходный человек. Он приезжал звать меня домой к жене. Она меня, дурака, любит, а я вот что делаю.

Маша. Что же, это нехорошо. Надо к ней ехать. Надо ее пожалеть.

Федя. Ты думаешь, надо? А я думаю, не надо.

Маша. Известно, коли не любишь, так и не надо. Только любовь дорога.

Федя. А ты почем знаешь?

Маша. Должно, знаю.

Федя. Ну, поцелуй меня. Чавалы! Еще «Лен», и тогда шабаш.

Начинают петь.

Ах, хорошо! Кабы только не просыпаться. Так и помереть.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

После первого действия прошло две недели. У Лизы. Каренин и Анна Павловна сидят в столовой. Саша выходит из двери.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Каренин. Ну что?

Саша. Доктор сказал, что теперь опасности уж нет. И только не простудить.

Анна Павловна. Ну, слава богу. А то Лиза совсем извелась.

Саша. Он говорит, что это был или ложный круп, или в слабой форме... Это что? *(Указывая на корзинку.)*

Анна Павловна. Да это Виктóр привез виноград.

Каренин. Не хотите ли?

Саша. Да, она любит. Она очень нервна стала.

Каренин. Две ночи не спать, не есть.

Саша *(улыбаясь)*. Да вы тоже...

Каренин. Я другое дело.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же. Выходят доктор и Лиза.

Доктор *(внушительно)*. Так так-с. Через каждые полчаса меняйте, если он не спит. Если спит, не тревожьте. Мазать гортань не нужно. Температуру в комнате держать так же...

Лиза. А если опять будет задыхаться?

Доктор. Не должно быть. Если будет — пульверизация. И, кроме того, порошок, утром один и вечером другой. Я сейчас пропишу.

Анна Павловна. Не хотите ли, доктор, чаю?

Доктор. Нет, благодарю, больные ждут. *(Садится к столу.)*

Саша приносит бумагу, чернила.

Лиза. Так, наверное, это не круп.

Доктор *(улыбаясь)*. Совершенно верно. *(Пишет.)*

Анна Павловна стоит над доктором.

Каренин. Ну, теперь выкушайте чая или, еще лучше, поспите, а то посмотрите, на что вы похожи.

Лиза. Теперь я ожила. Спасибо вам. Вот истинный друг. *(Жмет ему руку.)*

Саша сердито отходит к доктору.

Благодарствуйте, мой друг. Вот где дорога помощь.

Каренин. Что же я сделал? Вот уж не за что благодарить меня.

Лиза. А кто ночи не спал, кто привез эту знаменитость? Всё вы...

Каренин. Уж я так награжден и тем, что Мика вне опасности, и, главное — вашей добротой. *(Опять жмет руку и смеется, показывая монету, оставшуюся у ней в руке.)*

Лиза *(улыбается)*. Это доктору. Только я никогда не умею как отдать.

Каренин. Ну и я тоже не могу.

Анна Павловна *(подходит)*. Что не могу?

Лиза. Давать деньги доктору. Он спас мне больше, чем жизнь, а я даю деньги. Что-то тут такое неприятное.

Анна Павловна. Давай я дам. Я умею как. Очень просто...

Доктор *(встает и дает рецепт)*. Так эти порошки в столовой ложке отварной воды хорошенько размешать и... *(Продолжает наставление.)*

Каренин у стола пьет чай. Отходят вперед Анна Павловна и Саша.

Саша. Не могу видеть их отношений. Она точно влюблена в него.

Анна Павловна. Что ж тут удивительного?

Саша. Противно...

Доктор уходит, прощается со всеми. Анна Павловна идет провожать его.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Лиза, Каренин и Саша.

Лиза *(Каренину)*. Он так мил теперь. Как только ему стало лучше, он сейчас же стал улыбаться и болтать. Я к нему пойду. И от вас уходить не хочется.

Каренин. Да вы выпейте чаю, съешьте что-нибудь.

Лиза. Мне теперь ничего не нужно. Мне так хорошо, после этих страхов. *(Всхлипывает.)*

Каренин. А вот вы видите, как вы слабы.

Лиза. Я счастлива. Хотите взглянуть на него?

Каренин. Разумеется.

Лиза. Пойдемте со мной.

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Саша и Анна Павловна.

Анна Павловна *(возвращается)*. Так прекрасно отдала, и он взял. Ты что насупилась?

Саша. Отвратительно. Она его с собой повела в детскую. Точно он жених или муж.

Анна Павловна. Да тебе-то что? Из чего ты кипятишься? Или ты за него замуж собиралась?

Саша. Я, за эту версту? Да я скорее не знаю за кого выйду, но не за него. Да и никогда мне в голову не приходило. Мне только противно, что Лиза после Феди может так сближаться с чужим человеком.

Анна Павловна. Какой же он чужой — друг детства.

Саша. Но ведь я вижу по улыбкам, по глазам, что они влюблены.

Анна Павловна. Что же тут удивительного? Человек принял участие в болезни ребенка, сочувствовал,

помогал, и она благодарна. И кроме того — отчего же ей не полюбить и не выйти замуж за Виктòра?

Саша. Это было бы ужасно. Отвратительно, отвратительно.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Каренин и Лиза выходят.
Каренин прощается молча. Саша сердито уходит.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Анна Павловна и Лиза.

Лиза *(к матери)*. Что с ней?

Анна Павловна. Право, не знаю.

Лиза вздыхает молча.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

У Афремова в кабинете. Вино в налитых стаканах. Гости.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Афремов, Федя, Стахович мохнатый, Буткевич бритый, Коротков, прихвостень.

Коротков. А я вам говорю, что за флагом останется: Ла-бель-буа — первая лошадь в Европе. Пари.

Стахович. Полно врать. Ведь ты знаешь, что никто тебе не верит. И пари держать не станет.

Коротков. Я тебе говорю. Твой Картуш за флагом.

Афремов. Да полноте ссориться. Я вас помирю. Спросите Федю. Он верно скажет.

Федя. Обе лошади хороши. Дело в ездоке.

Стахович. Гусев подлец. Надо только его в руках держать.

Коротков *(кричит)*. Нет!

Федя. Ну постойте, я вас помирю. Дерби кто взял?

Коротков. Взял, да ничего не стоит. Это случай. Кабы Кронпринц не заболел — посмотрел бы.

Входит лакей.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и лакей.

Афремов. Что ты?

Лакей. Госпожа приехали, спрашивают Федор Васильевича.

Афремов. Какая? дама?

Лакей. Не могу знать. Только настоящая дама.

Афремов. Федя. К тебе дама!

Федя *(испуганно)*. Кто это?

Афремов. Не знает кто. *(Лакею.)* Проси в залу.

Федя. Да постой, я пойду посмотрю. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же, без Феди и лакея.

Коротков. Кто это к нему? Наверно, Машка.

Стахович. Какая Машка?

Коротков. Цыганка Маша. Втюрилась в него, как кошка влюблена.

Стахович. Какая милая. И поет.

Афремов. Прелесть! Танюша да она. Вчера они с Петром пели.

Стахович. Ведь экой счастливец этот...

Афремов. Что его бабы любят, бог с ним.

Коротков. Терпеть не могу цыганок. Никакого изящества нет.

Буткевич. Ну, не говори.

Коротков. Я их всех за одну француженку отдам.

Афремов. Ну, да ты известный эстет. Пойти посмотреть, кто это. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, без Афремова.

Стахович. Если Маша, так приведи ее сюда, пусть споет. Нет, теперь не то цыгане. Танюша была. Ах, черт возьми.

Буткевич. А я думаю, что всё то же.

Стахович. Как то же, когда романсы пошлые вместо песни?

Буткевич. И романсы есть хорошие.

Коротков. А хочешь пари, что я заставлю спеть, и ты не узнаешь: песня это или романс?

Стахович. Коротков вечно пари.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Афремов.

Афремов *(входит)*. Господа, это не Маша. А принять ее негде, кроме здесь. Пройдемте в биллиардную.

Коротков. Давай пари. Что, заробел?

Стахович. Хорошо, хорошо.

Коротков. Вот и попадешь на бутылку.

Стахович. Ну ладно. Вино захвати.

Уходят, разговаривая.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Входят Федя и Саша.

Федя. Пойдем сюда. Ах, ах. Как это ты. Да, да...

Саша *(смущенно)*. Федя, прости меня, если тебе неприятно, но, ради бога, выслушай меня. *(Голос ее дрожит.)*

Федя *(ходит по комнате. Саша села, смотрит на него)*. Слушаю.

Саша. Федя, вернись домой.

Федя. Я тебя очень понимаю, Саша, милая, и на твоем месте я бы сделал то же: постарался бы как-нибудь вернуть все к старому, но на моем месте, если ты, милая, чуткая девочка, была бы, как ни странно это сказать, на моем месте, — ты бы наверное сделала то, что я, то есть ушла бы, перестала бы мешать чужой жизни...

Саша. Как мешать? Разве Лиза может жить без тебя?

Федя. Ах, милая Саша, голубушка, может, может. И еще будет счастлива, гораздо счастливее, чем со мной.

Саша. Никогда.

Федя. Это тебе кажется. *(Держит в руке письмо и гнет.)* Да не в том дело, то есть не то что не в том дело, а главное дело в том, что я-то не могу. Знаешь, толстую

бумагу перегибай так и этак. И сто раз перегнешь. Она все держится, а перегнешь сто первый раз, и она разойдется. Так между мной и Лизой. Мне слишком больно смотреть ей в глаза. И ей также — поверь.

Саша. Нет, нет.

Федя. Говоришь нет, а сама знаешь, что да.

Саша. Я могу только по себе судить. Если бы я была на ее месте и ты бы ответил то, что ты отвечаешь, это было бы ужасно для меня.

Федя. Да, для тебя.

Молчание. Оба смущены.

Саша *(встает)*. Неужели так и останется?

Федя. Должно быть.

Саша. Федя, вернись.

Федя. Спасибо тебе, милая Саша. Всегда ты мне останешься дорогим воспоминанием... но прощай, голубушка. Дай мне поцеловать тебя. *(Целует ее в лоб.)*

Саша *(взволнованная)*. Нет, я не прощаюсь и не верю, и не хочу верить... Федя...

Федя. Ну так слушай же. Только слово, что то, что я тебе скажу, никому не скажешь. Даешь слово?

Саша. Разумеется.

Федя. Ну так слушай, Саша. Правда, что я муж, отец ее ребенка, но я лишний. Постой, постой, не возражай. Ты думаешь, я ревную? Нисколько. Во-первых, не имею права, во-вторых, не имею повода. Виктóр Каренин старый ее друг и мой тоже. И он любит ее, и она любит его.

Саша. Нет.

Федя. Любит, как может любить честная, нравственная женщина, которая не позволяет себе любить никого, кроме мужа, но она любит и будет любить, когда препятствие это *(показывает на себя)* будет устранено. И я устраню его, и они будут счастливы. *(Голос дрожит.)*

Саша. Федя, не говори так.

Федя. Ведь ты знаешь, что это правда, и я буду рад их счастью, и лучше я ничего не могу сделать, и не вернусь, и дам им свободу, и так и скажи. И не говори, не говори, и прощай. *(Целует ее в голову и отворяет дверь.)*

Саша. Федя, я восхищаюсь перед тобой.

Федя. Прощай, прощай.

Саша уходит.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Федя один.

Федя. Да, да, чудесно, прекрасно. *(Звонит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Федя и лакей.

Федя. Позовите барина.

Лакей уходит.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Федя один.

Федя. И правда, и правда.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Входит Афремов.

Афремов. Как же устроил?

Федя. Чудесно. «И божилась, и клялась...» Чудесно. Где все?

Афремов. Да там, играют.

Федя. Отлично. Пойдем... «побывать ко мне на час».

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Князь Абрезков — 60-летний элегантный холостяк. Бритый, с усами. Старый военный с большим достоинством и грустью. Анна Дмитриевна Каренина — мать Викто́ра, молодящаяся, 50 лет, grand-dame. Перебивает речь французскими словами. Лиза, Викто́р, лакей. Кабинет Анны Дмитриевны, роскошно-скромный, полон сувениров.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Анна Дмитриевна пишет письмо.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Анна Дмитриевна и лакей.

Лакей. Князь Сергей Дмитриевич.

Анна Дмитриевна. Ну, разумеется. *(Оборачивается и поправляется перед зеркалом.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Анна Дмитриевна и князь Абрезков.

Князь Абрезков *(входит)*. J'espère que je ne force pas la consigne [1]. *(Целует руку.)*

Анна Дмитриевна. Вы знаете, что vous êtes toujours le bienvenu [2]. А теперь, нынче, особенно. Вы получили мою записку?

---

[1] Надеюсь, что я не нарушаю приказа *(франц.)*.
[2] вы всегда желанный гость *(франц.)*.

Князь Абрезков. Получил, и вот мой ответ.

Анна Дмитриевна. Ах, мой друг, я начинаю совсем отчаиваться. Il est ensorcelé, positivement ensorcelé [1]. Я никогда не встречала в нем такой настойчивости, такого упрямства, такой безжалостности, равнодушия ко мне. Он совсем переменился с тех пор, как эта женщина бросила мужа.

Князь Абрезков. Но что же именно, как стоит дело?

Анна Дмитриевна. Так, что во что бы то ни стало хочет жениться.

Князь Абрезков. Но как же муж?

Анна Дмитриевна. Дает развод.

Князь Абрезков. Вот как.

Анна Дмитриевна. И он, Викто́р, идет на это, и вся эта грязь, адвокаты, доказательства вины. Tout ça est dégoutant [2]. И это не отталкивает его. Я его не понимаю. Он с своей чуткостью, робостью...

Князь Абрезков. Любит. Ах, если человек точно любит, тогда...

Анна Дмитриевна. Да, но отчего же в наше время любовь могла быть любовью чистой, любовью-дружбой, которая идет через всю жизнь? Такую любовь я понимаю, ценю.

Князь Абрезков. Теперь новое поколение уж не может довольствоваться идеальными отношениями. La possession de l'âme ne leur suffit plus [3]. Что делать. Но как же быть с ним?

Анна Дмитриевна. Нет, про него не говорите. Но это какое-то колдовство. Его точно подменили. Ведь вы знаете, я была у нее. Он так просил меня. Я поехала, не застала ее, оставила карточку. Elle m'a fait demander quand je pourrai la recevoir [4]. И нынче *(смотрит на часы)*, во втором часу, стало быть сейчас, должна приехать. Я обещала Викто́ру принять, но понимаете мое положение. Я вся не своя. И по старой привычке послала за вами. Мне нужна ваша помощь.

Князь Абрезков. Благодарствуйте.

---

[1] Он околдован, положительно околдован *(франц.)*.
[2] Все это отвратительно *(франц.)*.
[3] Душевная близость их уже не удовлетворяет *(франц.)*.
[4] Она меня просила, когда я смогу принять ее *(франц.)*.

Анна Дмитриевна. Вы поймите, что это посещение ее решает все дело — судьбу Виктóра. Мне надо или не согласиться... А как я могу...

Князь Абрезков. Вы совсем не знаете ее?

Анна Дмитриевна. Никогда не видала. Но боюсь ее. Не может хорошая женщина согласиться оставить мужа. И хорошего человека. Ведь он товарищ Виктóра и бывал у нас. Он был очень милый. Да какой бы он ни был. Quels que soient les torts gu'il a eus vis-à-vis d'elle [1]. нельзя бросать мужа. Надо нести свой крест. Я одно не понимаю, как может Виктóр с своими убеждениями согласиться на женитьбу на разведенной. Сколько раз — недавно он при мне горячо спорил с Спицыным, доказывая, что развод несогласен с истинным христианством, и теперь сам идет на это. Si elle a pu le charmer à un tel point [2], я боюсь ее. Но, впрочем, я вас позвала, чтобы слышать вас, и все только сама говорю. Что вы думаете? Скажите. Что по-вашему? Как надо? Вы говорили с Виктóром?

Князь Абрезков. Я говорил с ним. И я думаю, что он любит ее, привык любить так, любовь эта взяла такую власть над ним — а он человек, медленно, но твердо принимающий. Что вошло ему в сердце, то уже не выйдет. И он никого, кроме ее, любить не будет и без нее и с другой счастлив быть не может.

Анна Дмитриевна. А как Варя Казанцева пошла бы за него. И какая девушка и как любит.

Князь Абрезков *(улыбаясь)*. C'est compter sans son hôte [3]. Это теперь совсем несбыточно. И, я думаю, лучше покориться и помочь ему жениться.

Анна Дмитриевна. На разведенной, чтобы он встречал мужа своей жены? Я не понимаю, как вы можете спокойно говорить про это. Разве это та женщина, которую мать может желать женой своего единственного сына, и такого сына?

Князь Абрезков. Да что же делать, милый друг. Разумеется, лучше бы жениться на девушке, которую вы знаете, любите. Но коли этого нельзя... Да потом, если бы он женился на цыганке или бог знает на ком. А Лиза

---

[1] Как бы он ни был виноват перед нею *(франц.)*.
[2] Если она могла очаровать до такой степени *(франц.)*.
[3] Это — считать без хозяина *(франц.)*.

Рахманова очень хорошая, милая женщина; я по племяннице Нелли знаю ее. Кроткая, добрая, любящая и нравственная женщина.

Анна Дмитриевна. Нравственная женщина, которая решается бросить мужа.

Князь Абрезков. Я не узнаю вас. Вы недобры, вы жестоки. Муж ее один из тех людей, про которых говорят, что он только сам себе враг. Но он еще больше жене враг. Это слабый, совершенно падший, пьяный человек. Он промотал все свое состояние, все ее состояние, — у нее ребенок. Как же вы осуждаете женщину, которая оставила такого человека? И то не она, а он оставил ее.

Анна Дмитриевна. Ах, какая грязь, какая грязь. И я должна пачкаться в ней.

Князь Абрезков. А ваша религия?

Анна Дмитриевна. Да, да, прощение. «Как и мы оставляем должникам нашим». Mais c'est plus fort que moi [1].

Князь Абрезков. Ну как же ей жить с таким человеком? Если бы она и не любила другого, она должна бы была это сделать. Для ребенка должна. Он сам, муж, умный и добрый человек, когда он в своем уме, советует ей это сделать.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Анна Дмитриевна, князь Абрезков, входит Каренин, целует руку матери, здоровается с князем Абрезковым.

Каренин. Мама! Я зашел сказать вам одно: Лизавета Андреевна сейчас приедет, и я прошу, умоляю вас только об одном: если вы продолжаете быть несогласны на мой брак...

Анна Дмитриевна *(перебивая его)*. Разумеется, продолжаю быть несогласна.

Каренин *(продолжая речь и хмурясь)*. ...то прошу, умоляю вас об одном: не говорите о своем несогласии, не решайте в отрицательном смысле.

Анна Дмитриевна. Я думаю, что мы и не будем ни о чем таком говорить. Я по крайней мере уж никак не начну.

Каренин. Она тем менее. Мне только хотелось, чтобы вы узнали ее.

---

[1] Но это выше моих сил *(франц.)*.

Анна Дмитриевна. Не понимаю одно: как ты миришь свое желание жениться на госпоже Протасовой с живым мужем, с твоими религиозными убеждениями, что развод противен христианству?

Каренин. Мама! Это жестоко с вашей стороны! Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна? Мама, за что вы так жестоки ко мне?

Анна Дмитриевна. Я люблю тебя, хочу тебе счастья.

Каренин *(к князю Абрезкову)*. Сергей Дмитриевич!

Князь Абрезков. Разумеется, вы хотите ему счастья, но нам, с нашими сединами, уже трудно понимать молодежь. А особенно трудно матери, приучившей себя к мысли о своем счастье для сына. Все женщины так.

Анна Дмитриевна. Вот, вот, именно. Все против меня. Разумеется ты можешь сделать это, vous êtes majeur [1], но ты погубишь меня.

Каренин. Не узнаю вас. Это хуже, чем жестокость.

Князь Абрезков *(к Виктóру)*. Перестань, Виктóр. Мама говорит всегда хуже, чем делает.

Анна Дмитриевна. Я скажу, что думаю и чувствую, и скажу, не оскорбляя ее.

Князь Абрезков. Это наверно.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Анна Дмитриевна, князь Абрезков, Каренин и лакей входит.

Князь Абрезков. Вот и она.

Каренин. Я уйду.

Лакей. Лизавета Андреевна Протасова.

Каренин. Я ухожу, мама. Пожалуйста...

Князь Абрезков тоже встает.

Анна Дмитриевна. Просите. *(К князю Абрезкову.)* Нет, вы останьтесь.

---

[1] ты совершеннолетний *(франц.)*.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Анна Дмитриевна и князь Абрезков.

Князь Абрезков. Я думал, вам легче en tête-à-tête [1].

Анна Дмитриевна. Нет, я боюсь. *(Суетится.)* Если я захочу остаться с ней tête-à-tête, я кивну вам. Ça dépendra... [2] А то мне остаться одной с ней, это свяжет меня. Я тогда так сделаю вам.

Князь Абрезков. Я пойму. Я уверен, что она понравится вам. Только будьте справедливы.

Анна Дмитриевна. Как вы все против меня.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же. Входит Лиза в шляпе, в визитном платье.

Анна Дмитриевна *(приподнимаясь)*. Я жалела, что не застала вас, но вот вы так добры, что сами приехали.

Лиза. Я никак не ожидала. Я так благодарна вам, что вы пожелали меня видеть.

Анна Дмитриевна. Вы знакомы? *(Указывает на князя Абрезкова.)*

Князь Абрезков. Как же, я имел честь быть представленным. *(Shake hands [3]. Садятся.)* Моя племянница Нелли мне часто говорит про вас.

Лиза. Да, мы дружны были очень. *(Оглядываясь робко на Анну Дмитриевну.)* И теперь дружны. *(К Анне Дмитриевне.)* Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть.

Анна Дмитриевна. Я знала хорошо вашего мужа. Он был дружен с Виктóром и бывал у нас до своего переезда в Тамбов. Кажется, там он женился на вас?

Лиза. Да, мы там женились.

Анна Дмитриевна. А потом, когда он опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня.

Лиза. Да, он нигде почти не бывал.

Анна Дмитриевна. И не познакомил меня с вами.

Неловкое молчание.

---

[1] с глазу на глаз *(франц.)*.

[2] Это будет зависеть... *(франц.)*

[3] Здороваются за руку *(англ.)*.

Князь Абрезков. Последний раз я встретил вас у Денисовых на спектакле. Вы помните? Очень было мило. И вы играли.

Лиза. Нет... да... как же... помню. Я играла.

Опять молчание.

Анна Дмитриевна, простите меня, если вам неприятно то, что я скажу, но я не могу, не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович сказал... потому что он, то есть потому, что вы хотели меня видеть... но лучше все сказать... *(Всхлипывает.)* Мне очень тяжело... а вы добры.

Князь Абрезков. Да, я лучше уйду.

Анна Дмитриевна. Да, уйдите.

Князь Абрезков. До свиданья. *(Прощается с обеими женщинами и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Анна Дмитриевна и Лиза.

Анна Дмитриевна. Послушайте, Лиза, не знаю, да и не хочу знать, как вас по отчеству.

Лиза. Андреевна.

Анна Дмитриевна. Ну все равно — Лиза. Мне вас жаль, вы мне симпатичны. Но я люблю Викто́ра. Я одно существо на свете люблю. Я знаю его душу, как свою. Это гордая душа. Он был горд еще семилетним мальчиком. Горд не именем, не богатством, но горд своей чистотой, своей нравственной высотой, и он соблюдал ее. Он чист, как девушка.

Лиза. Я знаю.

Анна Дмитриевна. Он никого женщин не любил. Вы первая. Не скажу, что я не ревную к вам. Я ревную. Но мы, матери,— у вас еще маленький, вам рано,— мы готовимся к этому. Я готовилась к тому, чтобы отдать его жене и не ревновать. Но отдать такой же чистой, как он.

Лиза. Я... Разве я...

Анна Дмитриевна. Простите, я знаю, вы не виноваты, но вы несчастны. И я его знаю. Теперь он готов все перенести, и перенесет, и никогда не скажет, но будет страдать. Его оскорбленная гордость будет страдать, и он не будет счастлив.

Лиза. Я думала об этом.

Анна Дмитриевна. Лиза, милая. Вы умная, хорошая женщина. Если вы любите его, то вы хотите его счастья больше, чем своего. А если так, то вы не захотите связать его и заставить раскаиваться — хоть он не скажет, никогда не скажет.

Лиза. Я знаю, что не скажет. Я думала об этом и задавала себе этот вопрос. Я думала и говорила ему. Но что ж я могу сделать, когда он говорит, что не хочет жить без меня. Я говорила: будем друзьями, но устройте себе свою жизнь, не связывайте свою чистую жизнь с моей несчастной. Он не хочет.

Анна Дмитриевна. Да, теперь не хочет.

Лиза. Уговорите его оставить меня. А я согласна. Я люблю его для его, а не для своего счастья. Только помогите мне, не ненавидьте меня. Будем вместе, любя, искать его блага.

Анна Дмитриевна. Да, да, я полюбила вас. *(Целует ее. Лиза плачет.)* Но все-таки, все-таки это ужасно. Если бы он тогда, когда вы еще не выходили замуж, полюбил вас.

Лиза. Он говорит, что полюбил тогда, но не хотел мешать счастию друга.

Анна Дмитриевна. Ах, как это все тяжело. Но все же будем любить друг друга, и бог поможет нам найти то, что мы хотим.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же и Каренин.

Каренин *(выходя)*. Мама, милая. Я все слышал. Я ожидал этого: вы полюбили ее. И все будет хорошо.

Лиза. Как мне жалко, что вы все слышали,— я бы не говорила...

Анна Дмитриевна. Все-таки ничего не решено. Я могу сказать одно, что если бы не все эти тяжелые обстоятельства, я бы рада была. *(Целует ее.)*

Каренин. Пожалуйста, только не меняйтесь.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Квартира скромная, постель, письменный стол, диван.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Федя один.

В дверь стучат. Из-за двери женский голос: «Что ты заперся, Федор Васильевич? Федя, отопри».

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Федя и Маша.

Федя *(встает, отпирает дверь)*.

Входит Маша.

Вот спасибо, что пришла. Скучно. Ужасно скучно.

Маша. Что же к нам не пришел? Опять пьешь? Эх ты, а обещал.

Федя. Ты знаешь, что — денег нет.

Маша. И зачем я тебя полюбила?

Федя. Маша!

Маша. Что Маша, Маша. Если бы любил, давно бы развелся. И там тебя просили. И говоришь, что не любишь. А держишься за нее. Не хочешь, видно.

Федя. Ведь ты знаешь, отчего не хочу.

Маша. Пустяки всё. Правду говорят, что пустой ты человек.

Федя. Что же мне тебе говорить? Сказать, что мне больно то, что ты говоришь, так ты это сама знаешь.

Маша. Ничего тебе не больно...

Федя. Сама знаешь, что мне одна радость в жизни твоя любовь.

Маша. Моя-то моя. А твоей-то нет.

Федя. Ну, я уверять не стану. Да и незачем — ты сама знаешь.

Маша. Федя, за что ты меня мучишь?

Федя. Кто кого.

Маша *(плачет)*. Недобрый ты.

Федя *(подходит и обнимает ее)*. Маша! О чем ты? Перестань. Жить надо, а не хныкать. Тебе-то уж не пристало. Красавица ты моя!

Маша. Любишь?

Федя. Кого же мне любить?

Маша. Только меня? Ну, читай, что ты написал.

Федя. Да тебе скучно будет.

Маша. Коли уж ты написал, так хорошо будет.

Федя. Ну, слушай. *(Читает.)* «Поздней осенью мы сговорились с товарищем съехаться у Мурыгиной площадки. Площадка эта был крепкий остров с сильными выводками. Был темный, теплый, тихий день. Туман...»

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Федя и Маша. В дверь входит старый цыган Иван Макарович и старая цыганка Настасья Ивановна — родители Маши.

Настасья Ивановна *(подступая к дочери)*. Тут проклятая овца беглая. Барину почтенье. *(К дочери.)* Что ж ты с нами делаешь? А?

Иван Макарович *(к Феде)*. Нехорошо, барин, делаешь. Девку губишь. Ох, нехорошо, погано делаешь.

Настасья Ивановна. Надевай платок, марш сейчас. Вишь, убежала. Что я хору скажу? Путаешься с голышом. Что с него взять?

Маша. Не путаюсь я. А люблю барина, и больше ничего. Я хор не бросаю, петь буду, а что...

Иван Макарович. Поговори еще, я тебе косу-то повыдеру. Шкура. Кто так делал? Ни отец, ни мать, ни тетка. Скверно, барин. Мы тебя любили, сколько тебе задаром пели, тебя жалели. А ты что сделал.

Настасья Ивановна. Погубил ни за что дочку, кровную, единственную, ненаглядную, бриллиантовую, неоцененную в навоз втоптал, вот что сделал. Бога в тебе нет.

Федя. Ты, Настасья Ивановна, напрасно на меня думаешь. Твоя дочь мне как сестра. Я ее честь берегу. И ты не думай. А люблю ее. Что же делать.

Иван Макарович. Да вот не любил, когда у вас деньги были. Заплатил бы тогда в хор тысяч десять, и взял бы честь честью. А теперь промотал, крадучи увел. Стыдно, барин. Стыдно.

Маша. Он не уводил. Я сама к нему пришла. И теперь уведете, опять приду. Люблю его, и все. Крепче всех ваших замков моя любовь... Не хочу.

Настасья Ивановна. Ну, Машенька, сердечная, не бурчи. Нехорошо сделала, ну и пойдем.

Иван Макарович. Ну, будет разговаривать. Марш! *(Берет за руку.)* Простите, барин.

Все трое уходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Федя. Входит князь Абрезков.

Князь Абрезков. Простите меня. Я невольно был свидетелем неприятной сцены.

Федя. С кем имею честь?.. *(Узнает.)* Ах, князь Сергей Дмитриевич. *(Здоровается.)*

Князь Абрезков. Невольным свидетелем неприятной сцены. Я бы желал не слыхать. Но, услыхав, считаю долгом сказать, что слышал. Меня направили сюда, и у двери я должен был дождаться выхода этих господ. Тем более что мои постукивания в дверь были не слышны за голосами очень громкими.

Федя. Да, да. Прошу покорно. Благодарю вас за то, что вы мне сказали это. Это дает мне право объяснить вам эту сцену. То, что вы подумаете обо мне, мне все равно. Но мне хочется сказать вам, что упреки, которые вы слышали, этой девушке-цыганке, певице, — несправедливы. Эта девушка так же нравственно чиста, как голубь. И мои отношения с ней дружеские. Если, может быть, на них есть оттенок поэтичности, то это все-таки не уничтожает чистоты — чести этой девушки. Вот это мне хотелось вам сказать. Так что вам от меня угодно? Чем могу вам служить?

Князь Абрезков. Я, во-первых...

Федя. Простите меня, князь. Я стал в такое положение в обществе, что мое малое и давнишнее знакомство с вами не дает мне права на ваше посещение, если у вас нет до меня дела — в чем оно?

Князь Абрезков. Не буду отрицать, вы угадали. У меня есть дело. Но все-таки прошу вас верить, что изменение вашего положения никак не может влиять на мое отношение к вам.

Федя. Совершенно уверен.

Князь Абрезков. Дело мое в том, что сын моего старого друга, Анны Дмитриевны Карениной, и она сама

просили меня прямо непосредственно от вас узнать о ваших отношениях... Вы мне позволите говорить о ваших отношениях к вашей жене, Лизавете Андреевне Протасовой?

Федя. Мои отношения с моей женой — могу сказать: моей бывшей женой — совершенно прекращены.

Князь Абрезков. Я так и понимал. И потому только взял на себя эту трудную миссию.

Федя. Прекращены, спешу заявить, не по ее, а по моей, или, скорее, моим бесконечным винам. Она же как была, так и осталась самой безупречною женщиной.

Князь Абрезков. Так вот Виктѐр Каренин, в особенности его мать просили меня узнать у вас о ваших намерениях.

Федя *(горячась)*. Какие намерения? Никаких. Я предоставляю ей полную свободу. Мало того, никогда не нарушу ее спокойствия. Я знаю, что она любит Викто́ра Каренина. И пускай. Я считаю его очень скучным, но очень хорошим, честным человеком, и я думаю, что она будет с ним (как это говорится обыкновенно) счастлива. И que le bon dieu les bénisse[1]. Вот и все.

Князь Абрезков. Да, но мы бы...

Федя *(перебивает)*. И не думайте, чтобы у меня было малейшее чувство ревности. Если я сказал про Викто́ра, что он скучный, то я беру это слово назад. Он прекрасный, честный, нравственный человек, почти что противуположность мне. И он любил ее с детства. Может быть, и она его любила, когда вышла за меня. Это бывает. Самая лучшая любовь бывает такая, про которую не знаешь. Она, я думаю, всегда любила. Но, как честная женщина, даже себе не признавалась в этом, но это какая-то тень лежала на нашей семейной жизни... впрочем, что я делаю вам признание.

Князь Абрезков. Пожалуйста, делайте. Верьте, что для меня важнее моей миссии определенные к вам мои человеческие отношения, мое желание понять вполне эти отношения. Я понимаю вас. Понимаю, что эта тень, как вы прекрасно выразились, могла быть...

Федя. Да и была, и, может быть, от этого я не мог удовольствоваться той семейной жизнью, которую она мне давала, и чего-то искал и увлекался. Да, впрочем,

[1] Пусть господь бог их благословит *(франц.)*.

я как будто оправдываюсь. Я не хочу, да мне и нельзя оправдываться. Я *был,* смело говорю *был* дурной муж, *был,* потому что теперь я в сознании своем давно не муж и считаю ее совершенно свободной. Стало быть, вот вам и ответ на вашу миссию.

Князь Абрезков. Да, но вы знаете семью Виктóра и его самого. Его отношения к Лизавете Андреевне все время были и остаются самыми почтительными и далекими. Он помогал ей, когда ей было трудно.

Федя. Да, я своим распутством помогал их сближению. Что же делать, так должно было быть.

Князь Абрезков. Вы знаете его и его семьи строгие православные убеждения. Я не разделяю их. Я шире смотрю на вещи. Но уважаю их и понимаю. Понимаю, что для него и в особенности для матери немыслимо сближение с женщиной без церковного брака.

Федя. Да, я знаю его туп... прямолинейность, консерватизм в этом отношении. Но что же им нужно? Развод? Я давно сказал им, что готов дать, но условия принятия вины на себя, всей лжи, связанной с этим, очень тяжелы.

Князь Абрезков. Я понимаю вполне вас и разделяю. Но как же быть? Я думаю, можно так устроить. Впрочем, вы правы. Это ужасно, и я понимаю вас.

Федя *(жмет руку).* Благодарствуйте, милый князь. Я всегда знал вас за честного, доброго человека. Ну, скажите, как мне быть? Что мне делать? Войдите во все мое положение. Я не стараюсь сделаться лучше. Я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно делать. Не могу спокойно лгать.

Князь Абрезков. Я вас тоже не понимаю. Вы, способный, умный человек, с такой чуткостью к добру, как это вы можете увлекаться, можете забывать то, что сами от себя требуете? Как вы дошли до этого, как вы погубили свою жизнь?

Федя *(пересиливает слезы волнения).* Вот уж десять лет я живу своей беспутной жизнью. И в первый раз такой человек, как вы, пожалел меня. Меня жалели товарищи, кутилы, женщины, но разумный, добрый человек, как вы... Спасибо вам. Как я дошел до своей гибели? Во-первых, вино. Вино ведь не то что вкусно. А что я ни делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо, и мне

стыдно. Я сейчас говорю с вами, и мне стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке — так стыдно, так стыдно... И только когда выпьешь, перестанет быть стыдно. А музыка — не оперы и Бетховен, а цыгане... Это такая жизнь, энергия вливается в тебя. А тут еще милые черные глаза и улыбка. И чем это увлекательнее, тем после еще стыднее.

Князь Абрезков. Ну, а труд?

Федя. Пробовал. Все нехорошо. Всем я недоволен. Ну, да что о себе говорить. Спасибо вам.

Князь Абрезков. Так что же мне сказать?

Федя. Скажите, что сделаю то, что они хотят. Ведь они хотят жениться, — чтобы ничто не мешало им жениться?

Князь Абрезков. Разумеется.

Федя. Сделаю. Скажите, что наверное сделаю.

Князь Абрезков. Когда же?

Федя. Постойте. Ну, скажем, две недели. Довольно?

Князь Абрезков *(вставая)*. Так и могу сказать?

Федя. Можете. Прощайте, князь, еще раз благодарю вас.

Князь Абрезков уходит.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Федя один.

Федя *(сидит долго, молча улыбается)*. Хорошо. Очень хорошо. Так и надо. Так и надо. Так и надо. Чудесно.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

В трактире. Отдельный кабинет. Половой вводит Федю и Ивана Петровича Александрова.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Федя, Иван Петрович и половой.

Половой. Сюда пожалуйте. Здесь никто не обеспокоит, а бумагу сейчас подам.

Иван Петрович. Протасов! Я войду.

Федя *(серьезный)*. Пожалуй, войди, но я занят и... Хочешь — войди.

Иван Петрович. Ты хочешь ответить на их требования? Я тебе скажу как. Я бы не стал так. Я всегда говорю прямо и действую решительно.

Федя *(половому)*. Бутылку шампанского.

Половой уходит.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Федя и Иван Петрович.

Федя *(вынимает револьвер и кладет)*. Подожди немножко.

Иван Петрович. Что ж? что ты застрелиться хочешь. Можно, можно. Я тебя понимаю. Они хотят тебя унизить. А ты им покажешь, кто ты. Себя убьешь

револьвером, а их великодушием. Я понимаю тебя. Я все понимаю, потому что я гений.

Федя. Ну да, ну да. Только...

Входит половой с бумагой и чернильницей.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и половой.

Федя *(прикрывает пистолет салфеткой)*. Откупори. Давай выпьем. *(Пьют. Федя пишет.)* Погоди немного.

Иван Петрович. За твое... большое путешествие. Я ведь стою выше этого. Я не стану удерживать тебя. И жизнь и смерть для гения безразличны. Я умираю в жизни и живу в смерти. Ты убьешь себя, чтобы они, два человека, жалели тебя. А я — я убью себя затем, чтобы весь мир понял, что он потерял. И я не стану колебаться, думать. Взял *(хватает револьвер)* — раз, и готово. Но еще рано. *(Кладет револьвер.)* И мне писать нечего, они сами должны понять... Ах, вы...

Федя *(пишет)*. Немножко подожди.

Иван Петрович. Жалкие люди. Копошатся, хлопочут. И не понимают — ничего не понимают... Я не тебе. Я так, высказываю свои мысли. А что нужно для человечества? Очень мало: ценить своих гениев, а они всегда казнили их, гнали, мучали. Нет. Я не буду вашей игрушкой. Я выведу вас на чистую воду. Н-е-е-е-т. Лицемеры!

Федя *(кончил писать, выпивает и читает)*. Уйди, пожалуйста.

Иван Петрович. Уйти? Ну, прощай. Я не стану удерживать тебя. Я то же сделаю. Но еще рано. Я только хочу сказать тебе...

Федя. Хорошо. Ты скажешь, но после, а теперь вот что, дружок: пожалуйста, отдай вот это хозяину *(подает ему деньги)* и спроси на мое имя письмо и посылку. Пожалуйста.

Иван Петрович. Хорошо. Так ты меня подождешь? Я еще важное скажу тебе. Такое, чего ты не услышишь не только на этом свете, но и в будущем, по крайней мере до тех пор, пока я не приду туда. Так всё отдать?

Федя. Сколько нужно.

Иван Петрович уходит.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Федя один.

Федя *(вздыхает облегченно, запирает за Иваном Петровичем дверь, берет револьвер, взводит, прикладывает к виску, вздрагивает и осторожно опускает. Мычит).* Нет, не могу, не могу, не могу.

Стучат в дверь.

Кто там?

Из-за двери голос Маши: «Я».

Кто я? Ах, Маша... *(Отворяет дверь.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Федя и Маша.

Маша. Была у тебя, у Попова, у Афремова и догадалась, что здесь. *(Видит револьвер.)* Вот хорошо-то. Вот дурак. Право, дурак. Да неужели ты в самом деле?

Федя. Нет, не мог.

Маша. А меня-то нет разве? Безбожник. Меня-то не пожалел. Ах, Федор Васильевич, грех, грех. За мою любовь...

Федя. Хотел их отпустить, обещал. А лгать не могу.

Маша. А я-то?

Федя. Что ты? И тебя бы развязал. Разве тебе лучше со мной мучаться.

Маша. Стало быть, лучше. Не могу я без тебя жить.

Федя. Какая со мной жизнь? Поплакала бы, да и прожила бы.

Маша. И совсем не плакала бы, черт с тобой. Коли ты меня не жалеешь. *(Плачет.)*

Федя. Маша! Дружок! Ведь я хотел лучше сделать.

Маша. Себе лучше.

Федя *(улыбаясь).* Да как же себе лучше, коли бы я себя убил?

Маша. Разумеется, лучше. Да что тебе нужно? Ты скажи.

Федя. Как что нужно? Много нужно.

Маша. Ну что? Что?

Федя. Нужно, во-первых, сдержать обещание. Это первое, и этого довольно. Лгать и делать все эти гадости, что нужно для развода, не могу.

Маша. Положим, что гадко. Я сама...

Федя. Потом нужно точно их освободить, и жену и его. Что же, они хорошие люди. Зачем им мучаться? Это два.

Маша. Ну уж хорошего в ней мало, коли она тебя бросила.

Федя. Не она бросила — я бросил.

Маша. Ну хорошо, хорошо. Все ты. Она ангел. Еще что ж?

Федя. А еще то, что ты хорошая, милая девочка — люблю тебя, и коли останусь жить, то погублю тебя.

Маша. Это уж не твое дело. Я сама про себя знаю, где погибну...

Федя *(вздыхает)*. А главное, главное... Что моя жизнь? Разве я не вижу, что я пропал, не гожусь никуда. Всем и себе в тягость, как говорил твой отец. Негодящий я...

Маша. Вот вздор. Я от тебя не отлеплюсь. Прилепилась я, да и все. А что ты плохо живешь, пьешь да кутишь... А ты живой человек — брось. Вот и все.

Федя. Легко сказать.

Маша. И сделай так.

Федя. Да вот как смотрю на тебя, так, кажется, все сделаю.

Маша. И сделаешь. Все сделаешь. *(Видит письмо.)* Это что же? Ты им писал? Что же писал?

Федя. Что писал? *(Берет письмо и хочет разорвать.)* Теперь уже не нужно.

Маша *(вырывает письмо)*. Писал, что убил себя, да? Не писал про пистолет? Писал, что убил?

Федя. Да, что меня не будет.

Маша. Давай, давай, давай. Читал ты «Что делать?»?

Федя. Читал, кажется.

Маша. Скучный это роман, а одно очень, очень хорошо. Он, этот, как его, Рахманов, взял да и сделал вид, что он утопился. И ты вот не умеешь плавать?

Федя. Нет.

Маша. Ну вот. Давай сюда свое платье. Все, и бумажник.

Федя. Да как же?

Маша. Стой, стой, стой. Поедем домой. Там переоденешься.

Федя. Да ведь это обман.

Маша. И прекрасно. Пошел купаться, платье осталось на берегу. В кармане бумажник и это письмо.

Федя. Ну, а потом?

Маша. А потом, потом уедем и будем жить во славу.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же. Входит Иван Петрович.

Иван Петрович. Вот-те на. А револьвер? Я себе возьму.

Маша. Бери, бери. А мы едем.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Гостиная у Протасовой.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Каренин и Лиза.

Каренин. Он так определенно обещал, что я уверен, что он исполнит обещание.

Лиза. Мне совестно, но я должна сказать, что то, что я узнала про эту цыганку, совсем освободило меня. Не думай, что это была ревность. Это не ревность, а, знаешь, освобождение. Ну как вам сказать...

Каренин. Опять: *вам*.

Лиза *(улыбаясь)*. Тебе. Да не мешайте, не мешай мне сказать, что я чувствую. Главное, что мучало меня, это то, что я чувствовала, что люблю двух. А это значит, что я безнравственная женщина.

Каренин. Ты безнравственная женщина?

Лиза. Но с тех пор, как я узнала, что у него есть другая женщина, что я, стало быть, не нужна ему, я освободилась и почувствовала, что я могу, не солгав, сказать, что люблю вас — тебя. Теперь в душе у меня ясно, и меня мучает только мое положение. Этот развод. Это все так мучительно. Это ожидание.

Каренин. Сейчас, сейчас решится. Кроме того, что он обещал, я просил секретаря съездить к нему с проше-

нием и не уезжать, пока он не подпишет. Если бы я не знал его, как знаю, я подумал бы, что он нарочно делает это.

Лиза. Он? Нет, это все та же его и слабость и честность. Не хочет говорить неправду. А только напрасно послал ему деньги.

Каренин. Нельзя же. Это могло быть причиной остановки.

Лиза. Нет, деньги что-то нехорошее.

Каренин. Ну, ему бы уж можно было быть менее pointilleux [1].

Лиза. Какие мы делаемся эгоисты.

Каренин. Да, каюсь. Ты сама виновата. После этого ожидания, этой безнадежности я теперь так счастлив. А счастье делает эгоистом. Ты виновата.

Лиза. Ты думаешь, что ты один. Я тоже. Я чувствую, что вся полна, купаюсь в своем счастии. Всё: и Мика поправился, и твоя мать меня любит, и ты, и, главное, я, я люблю.

Каренин. Да? Без раскаяния? Без возврата?

Лиза. С того дня все вдруг переменилось во мне.

Каренин. И не может вернуться?

Лиза. Никогда. Я только одного желаю, чтобы в тебе это было так же совсем кончено, как во мне.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и няня с ребенком.
Входит няня с мальчиком. Мальчик идет к матери. Она берет его на колени.

Каренин. Какие мы несчастные люди.

Лиза. А что? *(Целует ребенка.)*

Каренин. Когда ты вышла замуж и, вернувшись из-за границы, я узнал это и почувствовал, что потерял тебя, я был несчастлив, и мне было радостно узнать, что ты помнила меня. Мне этого было довольно. Потом, когда установились наши дружеские отношения и я чувствовал, что ты ласкова ко мне, что есть в нашей дружбе маленькая искра чего-то большего, чем дружба, я был уже почти счастлив. Меня мучил только страх за то, что я нечестен относительно Феди. Но, впрочем, у меня всегда

---

[1] щепетильным *(франц.)*.

было такое твердое сознание невозможности других отношений, кроме самой чистой дружбы, к жене моего друга, — да и тебя я знал, — так что это не мучало меня, и я был доволен. Потом, когда Федя стал мучать тебя и я чувствовал, что я поддержка тебе и что ты боишься моей дружбы, я был уже совсем счастлив, и у меня начиналась какая-то неопределенная надежда. Потом... когда он уж стал невозможен, ты решила оставить его, и я в первый раз сказал все, и ты не сказала — нет, но в слезах ушла от меня, я был уже вполне счастлив, и если бы у меня спросили, чего я еще хочу, я бы сказал: ничего. Но потом явилась возможность соединить с тобой жизнь; maman полюбила тебя, возможность эта стала осуществляться, ты сказала мне, что любила и любишь меня, потом сказала мне, как теперь, что его нет для тебя, что ты любишь меня одного, — чего бы, казалось, мне желать? Но нет, теперь, теперь я мучаюсь прошедшим, хотелось бы, чтобы не было этого прошедшего, не было того, что напоминает о нем.

Лиза *(с упреком)*. Виктóр!

Каренин. Лиза, ты прости меня! То, что я говорю, я говорю потому, что не хочу, чтобы во мне была мысль о тебе и от тебя скрытая. Все это я сказал нарочно затем, чтобы показать, как я дурен и как я знаю, что идти дальше некуда, что я должен бороться с собой и побороть себя. И я поборол. Я люблю его.

Лиза. Так и надо. Я сделала все, что могла. Не я, а в моем сердце сделалось все, чего ты мог желать: из него все исчезло, кроме тебя.

Каренин. Все?

Лиза. Все, все. Я бы не стала говорить.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и лакей.

Лакей. Господин Вознесенский.

Каренин. Это он от Феди с ответом.

Лиза *(Каренину)*. Зовите сюда.

Каренин *(встает и идет к двери)*. Ну вот и ответ.

Лиза *(отдает ребенка няне)*. Неужели все решится, Виктóр! *(Целует его.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Каренин, Лиза и Вознесенский входит.

Каренин. Ну что?

Вознесенский. Их нет.

Каренин. Как нет? И не подписал прошение?

Вознесенский. Прошение не подписано, а оставлено письмо вам и Лизавете Андреевне. *(Подает из кармана письмо.)* Я приехал на квартиру. Мне сказали, что в ресторане. Я пошел. Тогда Федор Васильевич сказали, чтобы я пришел через час, и найду ответ. Я пришел, и вот...

Каренин. Неужели опять откладыванье, отговорки? Нет, это прямо нехорошо. Как он упал.

Лиза. Да прочти что?

Каренин открывает письмо.

Вознесенский. Я не нужен вам?

Каренин. Да нет, прощайте, благодарю... *(Останавливается, удивленно читая.)*

Вознесенский уходит.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Каренин и Лиза.

Лиза. Что? что?

Каренин. Это ужасно.

Лиза *(хватает письмо)*. Читай.

Каренин *(читает)*. «Лиза и Виктор, обращаюсь к вам обоим. Не буду лгать, называя вас милыми или дорогими. Не могу совладать с чувством горечи и упрека — упрека себе, но все-таки мучительного, когда думаю о вас, о вашей любви, о вашем счастье. Все знаю. Знаю, что, несмотря на то, что я муж, я рядом случайностей помешал вам. C'est moi qui suis l'intrus[1]. Но все-таки не могу удержаться от чувства горечи и холодности к вам. Теоретически люблю вас обоих, особенно Лизу, Лизаньку, но в действительности больше чем холоден. Знаю, что я неправ, и не могу измениться».

Лиза. Как это он...

---

[1] Это я посторонний *(франц.)*.

К а р е н и н *(продолжая читать)*. «Но к делу. Это самое раздваивающее меня чувство и заставляет меня иначе, чем как вы хотели, исполнить ваше желание. Лгать, играть гнусную комедию, давая взятки в консистории, и вся эта гадость невыносима, противна мне. Как я ни гадок, но гадок в другом роде, а в этой гадости не могу принять участие, просто *не могу*. Другой выход, к которому я прихожу, — самый простой: вам надо жениться, чтобы быть счастливыми. Я мешаю этому, следовательно я должен уничтожиться...»

Л и з а *(хватает за руку Каренина)*. Виктóр!

К а р е н и н *(читает)*. «Должен уничтожиться. Я и уничтожаюсь. Когда вы получите это письмо, меня не будет.

P. S. Очень жаль, что вы прислали мне деньги на ведение дела развода. Это неприятно и непохоже на вас. Ну, что же делать. Я столько раз ошибался. Можно и вам раз ошибиться. Деньги возвращаются. Мой исход короче, дешевле и вернее. Об одном прошу: не сердитесь на меня и добром поминайте меня. А еще, тут есть часовщик Евгеньев, не можете ли вы помочь ему и устроить его? Он слабый, но хороший. Прощайте. Федя».

Л и з а. Он убил себя. Да?

К а р е н и н *(звонит, бежит в переднюю)*. Верните господина Вознесенского!

Л и з а. Я знала, я знала. Федя, милый Федя.

К а р е н и н. Лиза!

Л и з а. Неправда, неправда, что я не любила, не люблю его. Люблю его одного, люблю. И его я погубила. Оставь меня.

Входит В о з н е с е н с к и й.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Т е ж е и В о з н е с е н с к и й.

К а р е н и н. Где же Федор Васильевич? Что вам сказали?

В о з н е с е н с к и й. Сказали, что они вышли поутру, оставили это письмо и больше не возвращались.

К а р е н и н. Это надо узнать. Лиза, я оставляю тебя.

Л и з а. Прости меня, но я тоже не могу лгать. Оставь меня теперь. Иди, узнай всё...

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Грязная комната трактира. Стол с пьющими чай и водку. На первом плане столик, у которого сидит опустившийся, оборванный Федя и с ним Петушков, внимательный, нежный человек с длинными волосами, духовного вида. Оба слегка выпивши.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Федя и Петушков.

Петушков. Я понимаю, понимаю. Вот это настоящая любовь. Ну и что ж?

Федя. Да, знаете, если бы эти чувства проявились у девушки нашего круга, чтобы она пожертвовала всем для любимого человека... а тут цыганка, вся воспитанная на корысти, и эта чистая, самоотверженная любовь — отдает все, а сама ничего не требует. Особенно этот контраст.

Петушков. Да, это у нас в живописи валёр называется. Только тогда можно сделать вполне ярко-красный, когда кругом... Ну, да не в том дело. Я понимаю, понимаю...

Федя. Да, и это, кажется, один добрый поступок у меня за душой — то, что я не воспользовался ее любовью. А знаете отчего?

Петушков. Жалость...

Федя. Ох, нет. У меня к ней жалости не было. У меня перед ней всегда был восторг, и когда она пела — ах, как пела, да и теперь, пожалуй, поет, — и всегда я на нее смотрел снизу вверх. Не погубил я ее просто потому,

что любил. Истинно любил. И теперь это хорошее, хорошее воспоминание. *(Пьет.)*

Петушков. Вот понимаю, понимаю. Идеально.

Федя. Я вам что скажу: были у меня увлечения. И один раз я был влюблен, такая была дама — красивая, и я был влюблен, скверно, по-собачьи, и она мне дала rendez-vous[1]. И я пропустил его, потому что счел, что подло перед мужем. И до сих пор, удивительно, когда вспоминаю, то хочу радоваться и хвалить себя за то, что поступил честно, а... раскаиваюсь, как в грехе. А тут с Машей — напротив. Всегда радуюсь, радуюсь, что ничем не осквернил это свое чувство... Могу падать еще, весь упасть, все с себя продам, весь во вшах буду, в коросте, а этот бриллиант, не брильянт, а луч солнца, да, — во мне, со мной.

Петушков. Понимаю, понимаю. Где же она теперь?

Федя. Не знаю. И не хотел бы знать. Это все было из другой жизни. И не хочу мешать с этой.

За столом сзади слышен крик женщины. Хозяин приходит и городовой — уводят. Федя и Петушков глядят, слушают и молчат.

Петушков *(после того, как там затихло)*. Да, ваша жизнь удивительная.

Федя. Нет, самая простая. Всем ведь нам в нашем круге, в том, в котором я родился, три выбора — только три: служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно, может быть не умел, но, главное, было противно. Второй — разрушать эту пакость; для этого надо быть героем, а я не герой. Или третье: забыться — пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допелся. *(Пьет.)*

Петушков. Ну, а семейная жизнь? Я бы был счастлив, если бы у меня была жена. Меня жена погубила.

Федя. Семейная жизнь? Да. Моя жена идеальная женщина была. Она и теперь жива. Но что тебе сказать? Не было изюминки, — знаешь, в квасе изюминка? — не было игры в нашей жизни. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься. А потом я стал делать гадости. А ведь ты знаешь, мы любим людей за то добро,

---

[1] свидание *(франц.)*.

которое мы им сделали, и не любим за то зло, которое мы им делали. А я ей наделал зла. Она как будто любила меня.

Петушков. Отчего вы говорите: как будто?

Федя. А оттого говорю, что никогда не было в ней того, чтоб она в душу мне влезла, как Маша. Ну, да не про то. Она беременная, кормящая, а я пропаду и вернусь пьяный. Разумеется, за это самое все меньше и меньше любил ее. Да, да *(приходит в восторг)*, вот сейчас пришло в голову: оттого-то я люблю Машу, что я ей добро сделал, а не зло. Оттого люблю. А ту мучал за то... не то что не люблю... Да нет, просто не люблю. Ревновал — да, но и то прошло.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Артемьев.

Подходит Артемьев с кокардой, крашеными усами, в подправленной древней одежде.

Артемьев. Приятного аппетита. *(Кланяется Феде.)* Познакомились с артистом-художником?

Федя *(холодно)*. Да, мы знакомы.

Артемьев *(Петушкову)*. Что ж, портрет кончил?

Петушков. Нет, расстроилось.

Артемьев *(садится)*. Я не мешаю вам?

Федя и Петушков молчат.

Петушков. Федор Васильевич рассказывал про свою жизнь.

Артемьев. Тайны? Так я не мешаю, продолжайте. Я-то уж в вас не нуждаюсь. Свиньи. *(Отходит к соседнему столу и требует себе пива. Все время слушает разговор Феди с Петушковым, перегибаясь к ним.)*

Федя. Не люблю этого господина.

Петушков. Обиделся.

Федя. Ну, бог с ним. Не могу. Как такой человек — у меня слова не идут. Вот с вами мне легко, приятно. Так что я говорил?

Петушков. Говорили, что ревновали. Ну, а как же вы разошлись с вашей женой?

Федя. Ах. *(Задумывается.)* Это удивительная история. Жена моя замужем.

Петушков. Как же? Развод?

Федя. Нет. *(Улыбается.)* Она от меня осталась вдовой.

Петушков. То есть как же?

Федя. А так же: вдовой. Меня ведь нет.

Петушков. Как нет?

Федя. Нет. Я труп. Да.

Артемьев перегибается, прислушивается.

Видите ли... Вам я могу сказать. Да это давно, и фамилию мою настоящую вы не знаете. Дело было так. Когда я уже совсем измучал жену, прокутил все, что мог, и стал невыносим, явился покровитель ей. Не думайте, что что-нибудь грязное, нехорошее, — нет, мой же приятель и хороший, хороший человек, только прямая во всем противоположность мне. А так как у меня гораздо больше дурного, чем хорошего, то это и был и есть хороший, очень хороший человек: честный, твердый, воздержный и просто добродетельный. Он знал жену с детства, любил ее и потом, когда она вышла за меня, примирился с своей участью. Но потом, когда я стал гадок, стал мучать ее, он стал чаще бывать у нас. Я сам желал этого. И они полюбили друг друга, а я к этому времени совсем свихнулся и сам бросил жену. А тут еще Маша. Я сам предложил им жениться. Они не хотели. Но я все делался невозможнее и невозможнее, и кончилось тем, что...

Петушков. Как всегда...

Федя. Нет. Я уверен и знаю, что они оставались чисты. Он, религиозный человек, считал грехом брак без благословенья. Ну, стали требовать развод, чтоб я согласился. Надо было взять на себя вину. Надо было всю эту ложь... И я не мог. Поверите ли, мне легче было покончить с собой, чем лгать. И я уже хотел покончить. А тут добрый человек говорит: зачем? И все устроили. Прощальное письмо я послал, а на другой день нашли на берегу одежду и мой бумажник, письма. Плавать я не умею.

Петушков. Ну, а как же тело-то, не нашли же?

Федя. Нашли. Представьте. Через неделю нашли тело какое-то. Позвали жену смотреть. Разложившееся тело. Она взглянула. — Он? — Он. — Так и осталось. Меня похоронили, а они женились и живут здесь и благоденствуют. А я — вот он. И живу и пью. Вчера ходил мимо их дома. Свет в окнах, тень чья-то прошла по сторе.

И иногда скверно, а иногда ничего. Скверно, когда денег нет... *(Пьет.)*

Артемьев *(подходит)*. Ну, уж простите, слышал вашу историю. История очень хорошая и, главное, полезная. Вы говорите — скверно, когда денег нет. Это нет сквернее. А вам в вашем положении надо всегда иметь деньги. Ведь вы труп. Хорошо.

Федя. Позвольте. Я не вам рассказывал и не желаю ваших советов.

Артемьев. А я желаю их вам подать. Вы труп, а если оживете, то что они-то — ваша супруга с господином, которые благоденствуют, — они двоеженцы и в лучшем случае проследуют в не столь отдаленные. Так зачем же вам без денег быть?

Федя. Прошу вас оставить меня.

Артемьев. Просто пишите письмо. Хотите, я напишу, только дайте адрес, а вы меня поблагодарите.

Федя. Убирайтесь. Я вам говорю. Я вам ничего не говорил.

Артемьев. Нет, говорили. Вот он свидетель. Половой слышал, что вы говорили, что труп.

Половой. Мы ничего не знаем.

Федя. Негодяй.

Артемьев. Я негодяй? Эй, городовой. Акт составить.

Федя встает и уходит. Артемьев держит его. Приходит городовой.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Действие в деревне, на террасе, обросшей плющом.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Анна Дмитриевна Каренина, Лиза беременная, нянька с ребенком.

Лиза. Теперь уж едет со станции.

Мальчик. Кто едет?

Лиза. Папа.

Мальчик. Папа едет со станции?

Лиза. C'est étonnant comme il l'aime, tout-à-fait comme son père [1].

Анна Дмитриевна. Tant mieux. Se souvient-il de son père véritable? [2]

Лиза *(вздыхает)*. Я не говорю ему. Думаю, зачем его путать? А потом думаю, что надо сказать ему. Вы как думаете, maman?

Анна Дмитриевна. Я думаю, Лиза, что это дело чувства, и если ты отдашься своему чувству, твое сердце подскажет тебе, что и когда надо сказать. Как удивительно умиротворяет смерть. Признаюсь, было время, когда он, Федя, — ведь я его знала ребенком, — был мне неприятен, но теперь я только помню его милым юношей, другом Виктóра и тем страстным человеком, который хоть и незаконно, нерелигиозно, но пожертвовал собой для тех, кого любил. On aura beau dire, l'action est belle... [3] Надеюсь, Виктóр не забудет привезти шерсти, сейчас вся выйдет. *(Вяжет.)*

Лиза. Вот он и едет.

Слышны колеса и бубенчик. Лиза встает и подходит к краю террасы.

Кто-то с ним, дама. Маша! Я ее сто лет не видала. *(Идет к двери.)*

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же. Входят Каренин и Марья Васильевна.

Марья Васильевна [4] *(целуется с Лизой и Анной Дмитриевной)*. Виктóр меня встретил и увез.

Анна Дмитриевна. Прекрасно сделал.

Марья Васильевна. Да, разумеется. Думаю, когда еще увижу, и опять отложу, вот и приехала, если не прогоните, — до вечернего поезда.

Каренин *(целует жену и мать и мальчика)*. А я как счастлив, поздравьте меня. Два дня дома. Завтра всё без меня сделают.

---

[1] Это удивительно, как он его любит, совершенно как своего отца *(франц.)*.

[2] Тем лучше. Помнит ли он своего настоящего отца? *(франц.)*

[3] Что ни говори, поступок прекрасен... *(франц.)*

[4] В рукописи: *Маша*.

Л и з а. Прекрасно. Два дня. Давно не бывало. Съездим в пустынь. Да?

М а р ь я В а с и л ь е в н а. Как похож! Какой молодец! Только бы не все наследовал: сердце отцовское.

А н н а Д м и т р и е в н а. Но не слабость.

Л и з а. Всё, всё. Викто́р согласен со мной, что если бы только смолоду оно было направлено.

М а р ь я В а с и л ь е в н а. Ну, я этого ничего не понимаю. Я только не могу подумать о нем без слез.

Л и з а. И мы тоже. Как он вырос в нашей памяти.

М а р ь я В а с и л ь е в н а. Да, я думаю.

Л и з а. Как казалось неразрешимо одно время. И как вдруг все разрешилось.

А н н а Д м и т р и е в н а. Ну, Викто́р, привез шерсть?

К а р е н и н. Привез, привез. *(Берет мешок и выбирает.)* Вот шерсть, вот одеколон, и вот письма, и вот конверт казенный на твое имя *(подает жене)*. Ну-с, Марья Васильевна, если вам угодно помыться, то я проведу вас. Мне и самому нужно почиститься, а то сейчас обедать. Лиза! Ведь в нижнюю угловую Марью Васильевну?

Лиза, бледная, трясущимися руками держит бумагу и читает.

Что с тобой? Лиза! Что там?

Л и з а. Он жив. Боже мой! Когда он освободит меня! Викто́р! Что это? *(Рыдает.)*

К а р е н и н *(берет бумагу и читает)*. Это ужасно.

А н н а Д м и т р и е в н а. Что, да скажи же.

К а р е н и н. Это ужасно. Он жив. И она двоемужница, и я преступник. Это бумага от судебного следователя, который требует к себе Лизу.

А н н а Д м и т р и е в н а. Какой ужасный человек... Зачем он это сделал?

К а р е н и н. Все ложь, ложь.

Л и з а. О, как я ненавижу его. Я не знаю, что я говорю. *(Уходит в слезах. Каренин за нею.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

А н н а Д м и т р и е в н а и М а р ь я В а с и л ь е в н а.

М а р ь я В а с и л ь е в н а. Как же он остался жив?

А н н а Д м и т р и е в н а. Знаю только, что как только Викто́р прикоснулся к этому миру грязи, они затянут его. Вот и затянули. Все обман, все ложь.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Камера судебного следователя.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Судебный следователь. Мельников и письмоводитель.

Судебный следователь *(сидит за столом и разговаривает с Мельниковым. Сбоку письмоводитель. Перебирает бумаги)*. Да я ей никогда этого не говорил. Она выдумала, а потом меня упрекает.

Мельников. Она не упрекает, а огорчается.

Судебный следователь. Ну, хорошо, я приду обедать. А теперь дело очень интересное. *(Письмоводителю.)* Просите.

Письмоводитель. Обоих?

Судебный следователь *(кончая курить и пряча папиросу)*. Нет, одну госпожу Каренину, или, правильнее, по первому мужу — Протасову.

Мельников *(уходя)*. А, это Каренина.

Судебный следователь. Да. Грязное дело. Положим, я еще только начинаю расследование, но нехорошо. Ну, прощай.

Мельников уходит.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Судебный следователь, письмоводитель и Лиза под вуалью, в черном, входит.

Судебный следователь. Прошу покорно. *(Указывая на стул.)* Поверьте, что очень сожалею о необходимости делать вам вопросы, но мы поставлены в необходимость... Пожалуйста, успокойтесь и знайте, что вы можете не отвечать на вопросы. Только мое мнение, что вам, да и для всех лучше — правда. Всегда лучше и даже практичнее.

Лиза. Мне нечего скрывать.

Судебный следователь. Так вот. *(Смотрит в бумаги.)* Ваше имя, звание, исповедание — это все я записал — так?

Лиза. Да.

Судебный следователь. Вы обвиняетесь в том, что вы, зная о том, что ваш муж жив, вышли замуж за другого.

Лиза. Я не знала.

Судебный следователь. И еще в том, что уговорили своего мужа, подкупив его деньгами, совершить обман — подобие самоубийства, с тем чтобы освободиться от него.

Лиза. Все это неправда.

Судебный следователь. Так вот позвольте несколько вопросов. Переслали вы ему в июле прошлого года деньги тысячу двести рублей?

Лиза. Деньги эти были его деньги. Они были выручены за его вещи. И в то время как я рассталась с ним и ждала от него развода, я послала их ему.

Судебный следователь. Так-с. Очень хорошо. Деньги эти посланы семнадцатого июля, то есть за два дня до его исчезновения.

Лиза. Кажется, что семнадцатого июля. Я не помню.

Судебный следователь. А почему прекращены были ходатайства в консистории в то же время и было отказано адвокату?

Лиза. Не знаю.

Судебный следователь. Ну-с, а когда полиция пригласила вас свидетельствовать труп, каким образом признали вы в нем своего супруга?

Лиза. Я была так взволнована тогда, что не смотрела на тело. И так была уверена, что это он, что, когда меня спросили, я ответила, кажется, что он.

Судебный следователь. Да, вы не рассмотрели от весьма понятного волнения. Хорошо-с. Ну-с, а почему, позвольте узнать, от вас ежемесячно была посылка денег в Саратов, в тот самый город, в котором проживал ваш первый муж?

Лиза. Деньги эти посылал мой муж. И я не могу сказать про их назначение, так как это не моя тайна. Но только они не посылались Федору Васильевичу. Мы были твердо уверены, что его нет. Это я могу вам верно сказать.

Судебный следователь. Очень хорошо. Одно позвольте вам заметить, милостивая государыня, мы слуги закона, но это не мешает нам быть людьми. И поверьте, что я понимаю вполне ваше положение и принимаю участие в нем. Вы были связаны с человеком, который тратил имущество, делал неверности, ну, одним словом, делал несчастье вам.

Лиза. Я любила его.

Судебный следователь. Да, но все-таки вам естественно желание освободиться, и вы избрали этот более простой путь, не подумав о том, что это приведет вас к тому, что считается преступлением двоебрачия, — это понятно и мне. И присяжные поймут это. И потому я бы советовал вам открыть все.

Лиза. Мне нечего открывать. Я никогда не лгала. *(Плачет.)* Я не нужна больше?

Судебный следователь. Я бы попросил вас побыть еще здесь. Я не буду, не буду больше беспокоить вас вопросами. Только извольте прочесть и подписать вот допрос. Так ли выражены ваши ответы? Прошу покорно сюда. *(Указывает кресло у окна. К письмоводителю.)* Попросите господина Каренина.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же. Входит Каренин, строго, торжественно.

Судебный следователь. Прошу покорно.

Каренин. Благодарю. *(Стоит.)* Что вам угодно?

Судебный следователь. Я обязан снять допрос.

Каренин. В качестве чего?

Судебный следователь (*улыбаясь*). Я в качестве судебного следователя. С вас же я должен снять допрос в качестве обвиняемого.

Каренин. Вот как? В чем же?

Судебный следователь. [В женитьбе на замужней женщине[1]]. Впрочем, позвольте сделать вопросы по порядку. Присядьте.

Каренин. Благодарю.

Судебный следователь. Ваше имя?

Каренин. Виктор Каренин.

Судебный следователь. Звание?

Каренин. Камергер, действительный статский советник.

Судебный следователь. Возраст?

Каренин. Тридцать восемь лет.

Судебный следователь. Веры?

Каренин. Православной, под судом и следствием не бывал. Ну-с?

Судебный следователь. Известно ли вам было, что Федор Васильевич Протасов жив, когда вы вступали в брак с его женою?

Каренин. Не было известно. Мы оба были убеждены, что он утонул.

Судебный следователь. Куда вы посылали ежемесячно деньги в Саратов после ложного известия о смерти Протасова?

Каренин. Я не желаю отвечать на этот вопрос.

Судебный следователь. Очень хорошо. С какою целью были посланы вами деньги тысячу двести рублей господину Протасову перед самой симуляцией его смерти семнадцатого июля?

Каренин. Деньги эти были переданы мне моею женою.

Судебный следователь. Госпожою Протасовой?

Каренин. Моею женою для отправки ее мужу. Деньги эти она считала его собственностью и, разорвав связи с ним, считала несправедливым удержать эти деньги.

Судебный следователь. Теперь еще один вопрос: почему вы прекратили ходатайство о разводе?

---

[1] Текст редакторский, в рукописи: В двоеженстве.

Каренин. Потому что Федор Васильевич взял на себя это ходатайство и писал мне об этом.

Судебный следователь. Есть у вас это письмо?

Каренин. Письмо затеряно.

Судебный следователь. Как странно, что затеряно и отсутствует все то, что могло бы убедить правосудие в справедливости ваших показаний.

Каренин. Нужно вам еще что-нибудь?

Судебный следователь. Мне ничего не нужно, кроме исполнения моего долга, а вам нужно оправдаться, и я сейчас советовал госпоже Протасовой и то же посоветовал бы вам: не скрывать того, что всем очевидно, а рассказать все, как было дело. Тем более что господин Протасов в таком положении, что он уже показывал все, как было, и, вероятно, и на суде все так же покажет. Я бы советовал.

Каренин. Я бы просил вас оставаться в рамках исполнения своих обязанностей. А советы свои оставить. Можем мы уйти? *(Подходит к Лизе. Она встает и берет его за руку.)*

Судебный следователь. Очень сожалею, что должен задержать вас...

Каренин удивленно оборачивается.

О нет, не в том смысле, чтобы арестовать вас. Хотя это и было бы удобнее для расследования истины, я не прибегну к этой мере. Я только желал бы при вас сделать допрос Протасову и дать вам с ним очную ставку, при которой вам удобнее будет уличить его в неправде. Прошу присесть. Позовите господина Протасова.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же. Входит грязный, опустившийся Федя.

Федя *(обращается к Лизе и Каренину)*. Лиза, Лизавета Андреевна, Виктòр. Я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват... Простите, простите... *(Кланяется им в ноги.)*

Судебный следователь. Прошу вас отвечать на вопросы.

Федя. Спрашивайте.

Судебный следователь. Ваше имя?

Федя. Ведь вы знаете.

Судебный следователь. Прошу вас отвечать.

Федя. Ну, Федор Протасов.

Судебный следователь. Ваше звание, года, вера?

Федя *(молчит)*. Как вам не совестно спрашивать эти глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки.

Судебный следователь. Я прошу вас быть осторожнее в ваших выражениях и отвечать на мои вопросы.

Федя. Ну, коли не совестно, извольте. Звание — кандидат, года — сорок, веры — православной. Ну-с, дальше?

Судебный следователь. Было ли известно господину Каренину и вашей жене, что вы живы, когда вы оставили свою одежду на берегу реки и сами скрылись?

Федя. Наверно, нет. Я хотел точно убить себя, но потом... Ну, да это не нужно рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали.

Судебный следователь. Как же вы полицейскому чиновнику показывали по-другому?

Федя. Какому полицейскому чиновнику? А, это когда он ко мне пришел в Ржанов дом? Я был пьян и врал ему, что — не помню. Все это вздор. Теперь я не пьян и говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет. И я рад был этому. И это бы так и осталось, если б не негодяй Артемьев. И если кто виноват, то я один.

Судебный следователь. Я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вам посланы были деньги?

Федя молчит.

Вы получали через Симонова посылаемые вам в Саратов деньги?

Федя молчит.

Почему же вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал, и это может очень повредить и вам и им. Так как же?

Федя *(молчит и потом)*. Ах, господин следователь, как вам не стыдно. Ну что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть, и, чтоб показать ее, мучаете не физически, а нравственно людей, которые в тысячи раз лучше вас.

Судебный следователь. Прошу вас...

Ф е д я. Нечего просить. Я скажу все, что думаю. *(Письмоводителю.)* А вы пишите. По крайней мере в первый раз будут в протоколе разумные человеческие речи. *(Возвышает голос.)* Живут три человека: я, он, она. Между ними сложные отношения, борьба добра со злом, такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы — любят память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал, что должно, что я, негодный, ушел из жизни, чтобы не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И мы все живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует от меня участия в шантаже. Я прогоняю его. Он идет к вам, к борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая двадцатого числа по двугривенному за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите, которые вас к себе в переднюю не пустят. Но вы добрались и рады...

С у д е б н ы й с л е д о в а т е л ь. Я вас выведу.

Ф е д я. Я не боюсь никого, потому что я труп и со мной ничего не сделаете; нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и ведите.

К а р е н и н. Мы можем уйти?

С у д е б н ы й с л е д о в а т е л ь. Сейчас. Подписать протокол.

Ф е д я. И как бы смешны вы были, если бы не были так гадки.

С у д е б н ы й с л е д о в а т е л ь. Уведите его. Я арестую вас.

Ф е д я *(к Каренину и Лизе)*. Так простите.

К а р е н и н *(подходит и подает руку)*. Так, видно, должно было быть.

Лиза проходит. Федя низко кланяется.

З а н а в е с

КАРТИНА ВТОРАЯ

Коридор в здании окружного суда. На заднем плане стеклянная дверь, у которой стоит курьер. Правее другая дверь, в которую вводят подсудимых. К первой двери подходит Иван Петрович, оборванный, хочет пройти.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Курьер и Иван Петрович.

Курьер. Куда? Нельзя. Вишь, лезет.

Иван Петрович. Отчего нельзя? Закон гласит: заседания публичны.

Раздаются аплодисменты.

Курьер. А вот нельзя, да и все. Не велено.

Иван Петрович. Невежа. Не знаешь, с кем говоришь.

Выходит молодой адвокат во фраке.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и молодой адвокат.

Молодой адвокат. Что вы, по делу?

Иван Петрович. Нет, я публика. А вот невежда, цербер. Не пускает.

Молодой адвокат. Да ведь здесь не для публики?

Иван Петрович. Знаю. Там не пускают. Меня-то можно пустить.

Молодой адвокат. Погодите, перерыв будет сейчас. *(Хочет уходить, встречает князя Абрезкова.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и князь Абрезков.

Князь Абрезков. Позвольте узнать, в каком положении дело?

Молодой адвокат. Речи адвокатов. Петрушин говорит.

Опять аплодисменты.

Князь Абрезков. Что же, как подсудимые несут свое положение?

Молодой адвокат. С большим достоинством, особенно Каренин и Лизавета Андреевна. Не их судят, а они судят общество. Это чувствуется. На эту тему и говорит Петрушин.

Князь Абрезков. Ну, а Протасов?

Молодой адвокат. Ужасно взволнован. Весь трясется как-то. Но это понятно по его жизни. Но как-то особенно раздражен: перебивал несколько раз и прокурора и адвоката. В каком-то особенном возбуждении.

Князь Абрезков. Какой же результат полагаете?

Молодой адвокат. Трудно сказать. Состав присяжных смешанный. Во всяком случае, предумышленности не признàют, но все-таки...

Выходит господин, князь Абрезков двигается к двери.

Вы хотите пройти?

Князь Абрезков. Да, хотел бы.

Молодой адвокат. Вы князь Абрезков?

Князь Абрезков. Я.

Молодой адвокат *(к курьеру)*. Пропустите. Тут сейчас налево стул свободный. *(Пропускает князя Абрезкова.)*

Дверь отворяется, и виден говорящий адвокат.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Курьер, молодой адвокат и Иван Петрович.

Иван Петрович. Аристократы! Я аристократ духа. А это выше.

Молодой адвокат. Ну уж извините. *(Проходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Курьер, Иван Петрович и Петушков поспешно идет.

Петушков. А, здравствуй, Иван Петрович! Что дело?

Иван Петрович. Да еще речи адвокатов. Да вот не пускают.

Курьер. А вы не шумите тут. Тут не кабак.

Опять аплодисменты, отворяются двери, выходят адвокаты, зрители: мужчины и дамы.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же, дама и офицер.

Дама. Прекрасно. Прямо до слез довел.

Офицер. Лучше всякого романа. Только непонятно, как она могла так любить его. Ужасная фигура.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же. Отворяется другая дверь, выходят подсудимые: сначала Лиза и Каренин — и проходят по коридору, за ними Федя один.

Дама. Тише. Вот он. Посмотрите, как он взволнован. *(Дама и офицер проходят.)*

Федя *(подходит к Ивану Петровичу)*. Принес?

Иван Петрович. Вот он. *(Подает что-то.)*

Федя *(прячет в карман и хочет идти; видит Петушкова)*. Глупо, пошло. Скучно. Скучно. Бессмысленно. *(Хочет уходить.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же и Петрушин, адвокат, толстый, румяный, оживленный, подходит.

Петрушин. Ну, батюшка, дела наши хороши, только вы в последней речи не напортите мне.

Федя. Да я не буду говорить. Что им говорить? Я не буду.

Петрушин. Нет, сказать надо. Да вы не тревожьтесь. Теперь уж все дело в шляпе. Вы только скажите то, что вы мне говорили, что, если вас судят, так только за то, что вы *не* совершили самоубийства, то есть того, что считается преступлением по закону и гражданскому и церковному.

Федя. Я ничего не скажу.

Петрушин. Отчего?

Федя. Не хочу и не скажу. Вы только мне скажите: в худшем случае что может быть?

Петрушин. Я уже говорил вам: в худшем случае ссылка в Сибирь.

Федя. То есть кого ссылка?

Петрушин. И вас и вашей жены.

Федя. А в лучшем?

Петрушин. Церковное покаяние и, разумеется, расторжение второго брака.

Федя. То есть они опять меня свяжут с ней, то есть ее со мной?

Петрушин. Да, уж это как должно быть. Да вы не волнуйтесь. И, пожалуйста, скажите, как я вам говорю. И только. Главное, ничего лишнего. Ну, впрочем... *(Замечая, что их окружили и слушают.)* Я устал, пойду посижу, и вы отдохните, пока присяжные совещаются. Главное, не робеть.

Федя. И другого не может быть решения?

Петрушин *(уходя)*. Никакого другого.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же, кроме Петрушина, и судейский.

Судейский. Проходите, проходите, нечего в коридоре стоять.

Федя. Сейчас. *(Вынимает пистолет и стреляет себе в сердце. Падает. Все бросаются к нему.)* Ничего, кажется, хорошо. Лизу...

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Выбегают из всех дверей зрители, судьи, подсудимые, свидетели. Впереди всех Лиза. Сзади Маша и Каренин и Иван Петрович, князь Абрезков.

Лиза. Что ты сделал, Федя? Зачем?

Федя. Прости меня, что не мог... иначе распутать тебя... Не для тебя... мне этак лучше. Ведь я уж давно... готов...

Лиза. Ты будешь жив.

Доктор нагибается. Слушает.

Федя. Я без доктора знаю... Виктòр, прощай. А Маша опоздала... *(Плачет.)* Как хорошо... Как хорошо... *(Кончается.)*

Занавес

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1903 — 1905

ХАДЖИ-МУРАТ

Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь.

Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые с ярко-желтой серединой «любишь-не-любишь» с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы; с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник; васильки, ярко-синие на солнце и в молодости и голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие, цветы повилики.

Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется «татарином» и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, — он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив.

Кроме того, он по своей грубости и аляповатости не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия и сила жизни, — подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. — Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».

Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел наизволок по пыльной черноземной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взбороженного, еще не скороженного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки,— все было черно. «Экое разрушительное, жестокое существо человек, сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни», — думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же «татарина», которого цветок я напрасно сорвал и бросил.

Куст «татарина» состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братий кругом его.

«Экая энергия! — подумал я. — Все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается».

И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая.

I

Это было в конце 1851-го года.

В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирно̀й аул Махкет.

Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были из-за мычания коров и блеяния овец, разбиравшихся по тесно, как соты, слепленным друг с другом саклям аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана.

Хаджи-Мурат этот был знаменитый своими подвигами наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как с своим значком в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей.

Въехав в середину аула, Хаджи-Мурат поехал не по улице, ведшей к площади, а повернул влево, в узенький проулочек. Подъехав ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакле, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было, на крыше же за свежесмазанной глиняной трубой лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи-Мурат тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящемся, рваном бешмете. Глаза старика, без ресниц, были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджи-Мурат проговорил обычное: «Селям алейкум», — и открыл лицо.

— Алейкум селям, — улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи-Мурата, и, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он не торопясь надел в рукава нагольный сморщенный тулуп и полез задом вниз по лестнице, приставленной к крыше. И одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой сморщенной, загорелой шее и не переставая шамкал беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджи-Мурата и правое стремя. Но быстро

слезший с своей лошади ловкий, сильный мюрид Хаджи-Мурата, отстранив старика, заменил его.

Хаджи-Мурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет пятнадцати мальчик и удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших.

— Беги в мечеть, зови отца, — приказал ему старик и, опередив Хаджи-Мурата, отворил ему легкую скрипнувшую дверь в саклю. В то время как Хаджи-Мурат входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина, в красном бешмете на желтой рубахе и синих шароварах, неся подушки.

— Приход твой к счастью, — сказала она и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя.

— Сыновья твои да чтобы живы были, — ответил Хаджи-Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику.

Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина, между двумя большими тазами, блестевшими на гладко вымазанной и чисто выбеленной стене.

Хаджи-Мурат, оправив на себе пистолет за спиною, подошел к разложенным женщиной подушкам и, запахивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи-Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды.

— Не хабар? — спросил Хаджи-Мурат старика, то есть: «что нового?»

— Хабар иок — «нет нового», — отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи-Мурата своими красными безжизненными глазами. — Я на пчельнике живу, нынче только пришел сына проведать. Он знает.

Хаджи-Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает и что нужно было знать Хаджи-Мурату, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать.

— Хорошего нового ничего нет,— заговорил старик. — Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать. А орлы всё рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мичицких сено сожгли, раздерись их лицо, — злобно прохрипел старик.

Вошел мюрид Хаджи-Мурата и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земляному полу, так же как Хаджи-Мурат, снял бурку, винтовку и шашку и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджи-Мурата.

— Он кто? — спросил старик у Хаджи-Мурата, указывая на вошедшего.

— Мюрид мой. Элдар имя ему, — сказал Хаджи-Мурат.

— Хорошо, — сказал старик и указал Элдару место на войлоке, подле Хаджи-Мурата.

Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разговорившегося старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат: одного убили, а другого послали в Ведено к Шамилю. Хаджи-Мурат рассеянно слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей послышались шаги, дверь скрипнула, и вошел хозяин.

Хозяин сакли, Садо, был человек лет сорока, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у пятнадцатилетнего мальчика, его сына, который бегал за ним и вместе с отцом вошел в саклю и сел у двери. Сняв у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно не бритой, зарастающей черным волосом головы старую, истертую папаху и тотчас же сел против Хаджи-Мурата на корточки.

Так же как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи-Мурата, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится ослушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным.

— У меня в доме, — сказал Садо, — моему кунаку, пока я жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо.

Хаджи-Мурат внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда Садо кончил, он сказал:

— Хорошо. Теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрид пойдет, только проводника надо.

— Брата Бату пошлю, — сказал Садо. — Позови Бату, — обратился он к сыну.

Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и быстро, махая руками, вышел из сакли. Минут через десять он вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем в разлезающейся желтой черкеске с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджи-Мурат поздоровался с вновь пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал:

— Можешь свести моего мюрида к русским?

— Можно, — быстро, весело заговорил Бата. — Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не сделает. А я могу.

— Ладно,— сказал Хаджи-Мурат. — За труды получишь три, — сказал он, выставляя три пальца.

Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов служить Хаджи-Мурату. Все в горах знают Хаджи-Мурата, как он русских свиней бил...

— Хорошо,— сказал Хаджи-Мурат.— Веревка хороша длинная, а речь короткая.

— Ну, молчать буду, — сказал Бата.

— Где Аргун заворачивает, против кручи, поляна в лесу, два стога стоят. Знаешь?

— Знаю.

— Там мои три конные меня ждут, — сказал Хаджи-Мурат.

— Айя! — кивая головой, говорил Бата.

— Спросишь Хан-Магому. Хан-Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову, князю. Можешь?

— Сведу.

— Свести и назад привести. Можешь?

— Можно.

— Сведешь, вернешься в лес. И я там буду.

— Все сделаю, — сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел.

— Еще человека в Гехи послать надо, — сказал Хаджи-Мурат хозяину, когда Бата вышел. — В Гехах надо вот что, — начал было он, взявшись за один из хозырей черкески, но тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входивших в саклю двух женщин.

Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее не длинной, но толстой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль; такие же черные, смородинные глаза, как у отца и брата, весело блестели в молодом, старавшемся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие.

Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пильгиши, блины в масле, сыр, чурѐк — тонко раскатанный хлеб — и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце.

Садо и Хаджи-Мурат — оба молчали во все время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных бесподошвенных чувяках, устанавливали принесенное перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи-Мурат достал один из хозырей черкески, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку.

— Сыну отдать, — сказал он, показывая записку.

— Куда ответ? — спросил Садо.

— Тебе, а ты мне доставишь.

— Будет сделано, — сказал Садо и переложил записку в хозырь своей черкески. Потом, взяв в руки кумган, он придвинул к Хаджи-Мурату таз. Хаджи-Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджи-Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. Пока гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благодарил за посещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская своих блестящих черных глаз с Хаджи-Мурата, улыбался, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца.

Несмотря на то, что Хаджи-Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб.

— Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов мед: и много и хорош, — сказал старик, видимо довольный тем, что Хаджи-Мурат ел его мед.

— Спасибо, — сказал Хаджи-Мурат и отстранился от еды.

Элдару хотелось еще есть, но он так же, как его мюршид, отодвинулся от стола и подал Хаджи-Мурату таз и кумган.

Садо знал, что, принимая Хаджи-Мурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамиля с Хаджи-Муратом было объявлено всем жителям Чечни, под угрозой казни, не принимать Хаджи-Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджи-Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гостя — кунака, хотя бы это стоило ему жизни, и он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно.

— Пока ты в моем доме и голова моя на плечах, никто тебе ничего не сделает,— повторил он Хаджи-Мурату.

Хаджи-Мурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжественно сказал:

— Да получишь ты радость и жизнь.

Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за доброе слово.

Закрыв ставни сакли и затопив сучья в камине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из кунацкой и вошел в то отделение сакли, где жило все его семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в кунацкой.

II

В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской, в пятнадцати верстах от аула, в котором ночевал Хаджи-Мурат, вышли из укрепления за Чахгиринские ворота три солдата с унтер-офицером. Солдаты были в полушубках и папахах, с скатанными шинелями через плечо и больших сапогах выше колена, как тогда ходили кавказские солдаты. Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, пройдя шагов пятьсот, свернули с нее и, шурша сапогами по сухим листьям, прошли

шагов двадцать вправо и остановились у сломанной чинары, черный ствол которой виднелся и в темноте. К этой чинаре высылался обыкновенно секрет.

Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам дерев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголенных ветвей дерев.

— Спасибо — сухо, — сказал унтер-офицер Панов, снимая с плеча длинное с штыком ружье, и, брякнув им, прислонил его к стволу дерева. Три солдата сделали то же.

— А ведь и есть — потерял, — сердито проворчал Панов, — либо забыл, либо выскочила дорогой.

— Чего ищешь-то? — спросил один из солдат бодрым, веселым голосом.

— Трубку, черт ее знает куда запропала!

— Чубук-то цел?— спросил бодрый голос.

— Чубук — вот он.

— А в землю прямо?

— Ну, где там.

— Это мы наладим живо.

Курить в секрете запрещалось, но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался затем, чтобы горцы не могли незаметно подвезти, как они это делали прежде, орудие и стрелять по укреплению, и Панов не считал нужным лишать себя курения и потому согласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат достал из кармана ножик и стал копать землю. Выкопав ямку, он обгладил ее, приладил к ней чубучок, потом наложил табаку в ямку, прижал его, и трубка была готова. Серничок загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лежавшего на брюхе солдата. В чубуке засвистело, и Панов почуял приятный запах загоревшейся махорки.

— Наладил? — сказал он, поднимаясь на ноги.

— А то как же.

— Эка молодчина Авдеев! Прокурат малый. Ну-ка? Авдеев отвалился набок, давая место Панову и выпуская дым изо рта.

Накурившись, между солдатами завязался разговор.

— А сказывали, ротный-то опять в ящик залез. Проигрался, вишь, — сказал один из солдат ленивым голосом.

— Отдаст, — сказал Панов.

— Известно, офицер хороший, — подтвердил Авдеев.

— Хороший, хороший, — мрачно продолжал начавший

разговор, — а по моему совету, надо роте поговорить с ним: коли взял, так скажи, сколько, когда отдашь.

— Как рота рассудит, — сказал Панов, отрываясь от трубки.

— Известное дело, мир — большой человек, — подтвердил Авдеев.

— Надо, вишь, овса купить да сапоги к весне справить, денежки нужны, а как он их забрал... — настаивал недовольный.

— Говорю, как рота хочет, — повторил Панов. — Не в первый раз: возьмет и отдаст.

В те времена на Кавказе каждая рота заведовала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по шесть рублей пятьдесят копеек на человека и сама себя продовольствовала: сажала капусту, косила сено, держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира, и случалось часто, что ротный командир брал взаймы из ротного ящика. Так было и теперь, и про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчет от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было.

После Панова покурил и Никитин и, подстелив под себя шинель, сел, прислонясь к дереву. Солдаты затихли. Только слышно было, как ветер шевелил высоко над головами макушки дерев. Вдруг из-за этого неперестающего тихого шелеста послышался вой, визг, плач, хохот шакалов.

— Вишь, проклятые, как заливаются, — сказал Авдеев.

— Это они с тебя смеются, что у тебя рожа набок, — сказал тонкий хохлацкий голос четвертого солдата.

Опять все затихло, только ветер шевелил сучья дерев, то открывая, то закрывая звезды.

— А что, Антоныч, — вдруг спросил веселый Авдеев Панова, — бывает тебе когда скучно?

— Какая же скука? — неохотно отвечал Панов.

— А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собою сделал.

— Вишь ты! — сказал Панов.

— Я тогда деньги-то пропил, ведь это все от скуки. Накатило, накатило на меня. Думаю: дай пьян нарежусь.

— А бывает, с вина еще хуже.

— И это было. Да куда денешься?
— Да с чего ж скучаешь-то?
— Я-то? Да по дому скучаю.
— Что ж — богато жили?
— Не то что богачи, а жили справно. Хорошо жили.
И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рассказывал тому же Панову.
— Ведь я охотой за брата пошел, — рассказывал Авдеев. — У него ребята сам-пят! А меня только женили. Матушка просить стала. Думаю: что мне! Авось попомнят мое добро. Сходил к барину. Барин у нас хороший, говорит: «Молодец! ступай». Так и пошел за брата.
— Что ж, это хорошо, — сказал Панов.
— А вот веришь ли, Антоныч, теперь скучаю. И больше с того и скучаю, что зачем, мол, за брата пошел. Он, мол, теперь царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже. Такой грех, видно.
Авдеев помолчал.
— Аль покурим опять? — спросил Авдеев.
— Ну что ж, налаживай!
Но курить солдатам не пришлось. Только что Авдеев встал и хотел налаживать опять трубку, как из-за шелеста ветра послышались шаги по дороге. Панов взял ружье и толкнул ногой Никитина. Никитин встал на ноги и поднял шинель. Поднялся и третий — Бондаренко.
— А я, братцы, какой сон видел...
Авдеев шикнул на Бондаренку, и солдаты замерли, прислушиваясь. Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. Все явственнее и явственнее слышалось в темноте хрустение листьев и сухих веток. Потом послышался говор на том особенном, гортанном языке, которым говорят чеченцы. Солдаты теперь не только слышали, но и увидали две тени, проходившие в просвете между деревьями. Одна тень была пониже, другая — повыше. Когда тени поравнялись с солдатами, Панов, с ружьем на руку, вместе с своими двумя товарищами выступил на дорогу.
— Кто идет? — крикнул он.
— Чечен мирная, — заговорил тот, который был пониже. Это был Бата. — Ружье иок, шашка иок, — говорил он, показывая на себя. — Кинезь надо.
Тот, который был повыше, молча стоял подле своего товарища. На нем тоже не было оружия.

— Лазутчик. Значит — к полковому, — сказал Панов, объясняя своим товарищам.

— Кинезь Воронцов крепко надо, большой дело надо, — говорил Бата.

— Ладно, ладно, сведем, — сказал Панов. — Что ж, веди, что ли, ты с Бондаренкой, — обратился он к Авдееву, — а сдашь дежурному, приходи опять. Смотри, — сказал Панов, — осторожней, впереди себя вели идти. А то ведь эти гололобые — ловкачи.

— А что это? — сказал Авдеев, сделав движение ружьем с штыком, как будто он закалывает. — Пырну разок — и пар вон.

— Куда ж он годится, коли заколешь, — сказал Бондаренко. — Ну, марш!

Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками, Панов и Никитин вернулись на свое место.

— И черт их носит по ночам! — сказал Никитин.

— Стало быть, нужно, — сказал Панов. — А свежо стало, — прибавил он и, раскатав шинель, надел и сел к дереву.

Часа через два вернулся и Авдеев с Бондаренкой.

— Что же, сдали? — спросил Панов.

— Сдали. А у полкового еще не спят. Прямо к нему свели. А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие, — продолжал Авдеев. — Ей-богу! Я с ними как разговорился.

— Ты, известно, разговоришься, — недовольно сказал Никитин.

— Право, совсем как российские. Один женатый. Марушка, говорю, бар? — Бар, говорит. — Баранчук, говорю, бар? — Бар. — Много? — Парочка, говорит. — Так разговорились хорошо. Хорошие ребята.

— Как же, хорошие, — сказал Никитин, — попадись ему только один на один, он тебе требуху выпустит.

— Должно, скоро светать будет, — сказал Панов.

— Да уж звездочки потухать стали, — сказал Авдеев, усаживаясь.

И солдаты опять затихли.

III

В окнах казарм и солдатских домиков давно уже было темно, но в одном из лучших домов крепости светились еще все окна. Дом этот занимал полковой командир

Куринского полка, сын главнокомандующего, флигель-адъютант князь Семен Михайлович Воронцов. Воронцов жил с женой, Марьей Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову, и в особенности его жене, казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью; здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью.

Теперь, в двенадцать часов ночи, в большой гостиной, с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портьерами, за ломберным столом, освещенным четырьмя свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из играющих был сам хозяин, длиннолицый белокурый полковник с флигель-адъютантскими вензелями и аксельбантами, Воронцов; партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно выписанный княгиней Воронцовой учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый юноша угрюмого вида. Против них играли два офицера: один — широколицый, румяный, перешедший из гвардии, ротный командир Полторацкий, и, очень прямо сидевший, с холодным выражением красивого лица, полковой адъютант. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большеглазая, чернобровая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кринолином и заглядывая ему в карты. И в ее словах, и в ее взглядах, и улыбке, и во всех движениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, что доводило Полторацкого до забвения всего, кроме сознания ее близости, и он делал ошибку за ошибкой, все более и более раздражая своего партнера.

— Нет, это невозможно! Опять просолил туза! — весь покраснев, проговорил адъютант, когда Полторацкий скинул туза.

Полторацкий, точно проснувшись, не понимая глядел своими добрыми, широко расставленными черными глазами на недовольного адъютанта.

— Ну простите его! — улыбаясь, сказала Марья Васильевна. — Видите, я вам говорила, — обратилась она к Полторацкому.

— Да вы совсем не то говорили, — улыбаясь, сказал Полторацкий.

— Разве не то? — сказала она и также улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и об-

радовала Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их.

— Не тебе мешать, — строго сказал адъютант и стал своей белой, с перстнем, рукой сдавать карты, так, как будто он только хотел поскорее избавиться от них.

В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что князя требует дежурный.

— Извините, господа, — сказал Воронцов, с английским акцентом говоря по-русски. — Ты за меня, Marie, сядешь.

— Согласны? — спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины.

— Я всегда на все согласен, — сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играет теперь совершенно не умеющая играть княгиня. Полторацкий же только развел руками, улыбаясь.

Роббер кончался, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный.

— Знаете, что я вам предложу?

— Ну?

— Выпьемте шампанского.

— На это я всегда готов, — сказал Полторацкий.

— Что же, это очень приятно, — сказал адъютант.

— Василий! подайте, — сказал князь.

— Зачем тебя звали? — спросила Марья Васильевна.

— Был дежурный и еще один человек.

— Кто? Что? — поспешно спросила Марья Васильевна.

— Не могу сказать, — пожав плечами, сказал Воронцов.

— Не можешь сказать, — повторила Марья Васильевна. — Это мы увидим.

Принесли шампанского. Гости выпили по стакану и, окончив игру и разочтясь, стали прощаться.

— Ваша рота завтра назначена в лес? — спросил князь Полторацкого.

— Моя. А что?

— Так мы увидимся завтра с вами, — сказал князь, слегка улыбаясь.

— Очень рад, — сказал Полторацкий, хорошенько не понимая того, что ему говорил Воронцов, и озабоченный только тем, как он сейчас пожмет большую белую руку Марьи Васильевны.

Марья Васильевна, как всегда, не только крепко пожала, но и сильно тряхнула руку Полторацкого. И еще раз напомнив ему его ошибку, когда он пошел с бубен, она улыбнулась ему, как показалось Полторацкому, прелестной, ласковой и значительной улыбкой.

Полторацкий шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он, выросшие и воспитанные в свете, когда они, после месяцев уединенной военной жизни, вновь встречают женщину из своего прежнего круга. Да еще такую женщину, как княгиня Воронцова.

Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была заперта. Он стукнул. Дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал барабанить в запертую дверь ногой и шашкой. За дверью послышались шаги, и Вавило, крепостной дворовый человек Полторацкого, откинул крючок.

— С чего вздумал запирать?! Болван!

— Да разве можно, Алексей Владимир...

— Опять пьян! Вот я тебе покажу, как можно...

Полторацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал.

— Ну, черт с тобой. Свечу зажги.

— Сею минутою.

Вавило был действительно выпивши, а выпил он потому, что был на именинах у каптенармуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича, каптенармуса. Иван Макеич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти в чистую. Вавило же был мальчиком взят в верх, то есть в услужение господам, и вот уже ему было сорок с лишком лет, а он не женился и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. Барин был хороший, дрался мало, но какая же это была жизнь! «Обещал дать вольную, когда вернется с Кавказа. Да куда же мне идти с вольной. Собачья жизнь!» — думал Вавило. И ему так захотелось спать, что он, боясь, чтобы кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок и заснул.

Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым.

— Ну что, проигрался? — сказал проснувшийся Тихонов.

— Ан нет, семнадцать рублей выиграл, и клико бутылочку распили.

— И на Марью Васильевну смотрел?

— И на Марью Васильевну смотрел, — повторил Полторацкий.

— Скоро уж вставать, — сказал Тихонов, — и в шесть надо уж выступать.

— Вавило, — крикнул Полторацкий. — Смотри, хорошенько буди меня завтра в пять.

— Как же вас будить, когда вы деретесь.

— Я говорю, чтоб разбудить. Слышал?

— Слушаю.

Вавило ушел, унося сапоги и платье.

А Полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою улыбающееся лицо Марьи Васильевны.

У Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Марья Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала:

— Eh bien, vous aller me dire ce que c'est?

— Mais, ma chère...

— Pas de «ma chère»! C'est un émissaire, n'est-ce pas?

— Quand même je ne puis pas vous le dire.

— Vous ne pouvez pas? Alors c'est moi qui vais vous le dire!

— Vous? [1]

— Хаджи-Мурат? да? — сказала княгиня, слыхавшая уже несколько дней о переговорах с Хаджи-Муратом и предполагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи-Мурат.

Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, что был не сам Хаджи-Мурат, а только лазутчик, объявивший, что Хаджи-Мурат завтра выедет к нему в то место, где назначена рубка леса.

---

[1] — Ну, ты скажешь мне, в чем дело?
— Но, дорогая...
— При чем тут «дорогая»! Это, конечно, лазутчик?
— Тем не менее я не могу тебе сказать.
— Не можешь? Ну, так я тебе скажу!
— Ты? *(франц.)*

Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцовы — и муж и жена — были очень рады этому событию. Поговорив о том, как приятно будет это известие его отцу, муж с женой в третьем часу легли спать.

IV

После тех трех бессонных ночей, которые он провел, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, Хаджи-Мурат заснул тотчас же, как только Садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. Он спал не раздеваясь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложенные ему хозяином пуховые красные подушки. Недалеко от него, у стены, спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные, молодые члены, так что высокая грудь его с черными хозырями на белой черкеске была выше откинувшейся свежебритой, синей головы, свалившейся с подушки. Оттопыренная, как у детей, с чуть покрывавшим ее пушком верхняя губа его точно прихлебывала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хаджи-Мурат: одетый, с пистолетом за поясом и кинжалом. В камине сакли догорали сучья, и в печурке чуть светился ночник.

В середине ночи скрипнула дверь в кунацкой, и Хаджи-Мурат тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел Садо.

— Что надо? — спросил Хаджи-Мурат бодро, как будто никогда не спал.

— Думать надо, — сказал Садо, усаживаясь на корточки перед Хаджи-Муратом. — Женщина с крыши видела, как ты ехал, — сказал он, — и рассказала мужу, а теперь весь аул знает. Сейчас прибегала к жене соседка, сказывала, что старики собрались у мечети и хотят остановить тебя.

— Ехать надо, — сказал Хаджи-Мурат.

— Кони готовы, — сказал Садо и быстро вышел из сакли.

— Элдар, — прошептал Хаджи-Мурат, и Элдар, услыхав свое имя и, главное, голос своего мюршида, вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. Хаджи-Мурат надел оружие и бурку. Элдар сделал то же. И оба молча вышли из сакли под навес. Черноглазый мальчик подвел лоша-

дей. На стук копыт по убитой дороге улицы чья-то голова высунулась из двери соседней сакли, и, стуча деревянными башмаками, пробежал какой-то человек в гору к мечети.

Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе, и в темноте видны были очертания крыш саклей и больше других здание мечети с минаретом в верхней части аула. От мечети доносился гул голосов.

Хаджи-Мурат, быстро прихватив ружье, вложил ногу в узкое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув тело, неслышно сел на высокую подушку седла.

— Бог да воздаст вам! — сказал он, обращаясь к хозяину, отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя, и чуть-чуть тронул мальчика, державшего лошадь, плетью, в знак того, чтобы он посторонился. Мальчик посторонился, и лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади; Садо, в шубе, быстро размахивая руками, почти бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону узкой улицы. У выезда, через дорогу, показалась движущаяся тень, потом — другая.

— Стой! Кто едет? Остановись! — крикнул голос, и несколько людей загородили дорогу.

Вместо того, чтобы остановиться, Хаджи-Мурат выхватил пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи-Мурат, не оглядываясь, большой иноходью пустился вниз по дороге. Элдар большой рысью ехал за ним. Позади их щелкнули два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджи-Мурат продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагов триста, он остановил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Из-за этих звуков послышался приближающийся лошадиный топот и говор позади Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат тронул лошадь и поехал тем же ровным проездом.

Ехавшие сзади скакали и скоро догнали Хаджи-Мурата. Их было человек двадцать верховых. Это были жители аула, решившие задержать Хаджи-Мурата или по крайней мере, для очистки себя перед Шамилем, сделать вид, что они хотят задержать его. Когда они

приблизились настолько, что стали видны в темноте. Хаджи-Мурат остановился, бросив поводья, и, привычным движением левой руки отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Элдар сделал то же.

— Чего надо? — крикнул Хаджи-Мурат. — Взять хотите? Ну, бери! — И он поднял винтовку. Жители аула остановились.

Хаджи-Мурат, держа винтовку в руке, стал спускаться в лощину. Конные, не приближаясь, ехали за ним. Когда Хаджи-Мурат переехал на другую сторону лощины, ехавшие за ним верховые закричали ему, чтобы он выслушал то, что они хотят сказать. В ответ на это Хаджи-Мурат выстрелил из винтовки и пустил свою лошадь вскачь. Когда он остановил ее, погони за ним уже не слышно было; не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина. Черная стена леса была совсем близко. Это был тот самый лес, в котором дожидались его его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи-Мурат остановился и, забрав много воздуху в легкие, засвистал и потом затих, прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджи-Мурат свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов сто, Хаджи-Мурат увидал сквозь стволы деревьев костер, тени людей, сидевших у огня, и до половины освещенную огнем стреноженную лошадь в седле.

Один из сидевших у костра людей быстро встал и подошел к Хаджи-Мурату, взявшись за повод и за стремя. Это был аварец Ханефи, названый брат Хаджи-Мурата, заведующий его хозяйством.

— Огонь потушить, — сказал Хаджи-Мурат, слезая с лошади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучья.

— Был здесь Бата? — спросил Хаджи-Мурат, подходя к расстеленной бурке.

— Был, давно ушли с Хан-Магомой.

— По какой дороге пошли?

— По этой,— отвечал Ханефи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи-Мурат.

— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат и, сняв винтовку, стал заряжать ее. — Поберечься надо, гнались за мной, — сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь.

Это был чеченец Гамзало. Гамзало подошел к бурке, взял лежавшую на ней в чехле винтовку и молча пошел на край поляны, к тому месту, из которого подъехал

Хаджи-Мурат. Элдар, слезши с лошади, взял лошадь Хаджи-Мурата и, высоко подтянув обеим головы, привязал их к деревьям, потом, так же как Гамзало, с винтовкой за плечами стал на другой край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уже таким черным, как прежде, и на небе, хотя и слабо, но светились звезды.

Поглядев на звезды, на Стожары, поднявшиеся уже на половину неба, Хаджи-Мурат рассчитал, что было далеко за полночь и что давно уже была пора ночной молитвы. Он спросил у Ханефи кумган, всегда возимый с собой в сумах, и, надев бурку, пошел к воде.

Разувшись и совершив омовение, Хаджи-Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы.

Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были переметные сумы, и, сев на бурку, облокотил руки на колена и, опустив голову, задумался.

Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастие. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче, — и все удавалось ему. Так это было, за редкими исключениями, во все продолжение его бурной военной жизни. Так, он надеялся, что будет и теперь. Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул.

Он видел во сне, как он с своими молодцами, с песнью и криком «Хаджи-Мурат идет», летит на Шамиля и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он проснулся. Песня «Ля илляха», и крики: «Хаджи-Мурат идет», и плач жен Шамиля — это были вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его. Хаджи-Мурат поднял голову, взглянул на светлевшееся уже сквозь стволы дерев небо на востоке и спросил у сидевшего поодаль от него мюрида о Хан-Магоме. Узнав, что Хан-Магома еще не возвращался, Хаджи-Мурат опустил голову и тотчас же опять задремал.

Разбудил его веселый голос Хана-Магомы, возвращавшегося с Батою из своего посольства. Хан-Магома тотчас же подсел к Хаджи-Мурату и стал рассказывать, как солдаты встретили их и проводили к самому князю, как он

говорил с самим князем, как князь радовался и обещал утром встретить их там, где русские будут рубить лес, за Мичиком, на Шалинской поляне. Бата перебивал речь своего сотоварища, вставляя свои подробности.

Хаджи-Мурат расспросил подробно о том, какими именно словами отвечал Воронцов на предложение Хаджи-Мурата выйти к русским. И Хан-Магома и Бата в один голос говорили, что князь обещал принять Хаджи-Мурата как гостя и сделать так, чтобы ему хорошо было. Хаджи-Мурат расспросил еще про дорогу, и когда Хан-Магома заверил его, что он хорошо знает дорогу и прямо приведет туда, Хаджи-Мурат достал деньги и отдал Бате обещанные три рубля; своим же велел достать из переметных сум свое с золотой насечкой оружие и папаху с чалмою, самим же мюридам почиститься, чтобы приехать к русским в хорошем виде. Пока чистили оружие, седла, сбрую и коней, звезды померкли, стало совсем светло, и потянул предрассветный ветерок.

V

Рано утром, еще в темноте, две роты с топорами, под командой Полторацкого, вышли за десять верст за Чахгиринские ворота и, рассыпав цепь стрелков, как только стало светать, принялись за рубку леса. К восьми часам туман, сливавшийся с душистым дымом шипящих и трещащих на кострах сырых сучьев, начал подниматься кверху, и рубившие лес, прежде за пять шагов не видавшие, а только слышавшие друг друга, стали видеть и костры, и заваленную деревьями дорогу, шедшую через лес; солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалось. На полянке, поодаль от дороги, сидели на барабанах: Полторацкий с своим субалтерн-офицером Тихоновым, два офицера 3-й роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль, товарищ Полторацкого по Пажескому корпусу, барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. Барабанщик откупоривал восьмую бутылку. Полторацкий, несмотря на то, что не выспался, был в том особенном настроении подъема душевных сил и доброго, беззаботного веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность.

Между офицерами шел оживленный разговор о последней новости, смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента — окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла, а виделось только молодечество лихого офицера, бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубившего их.

Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры, знали и могли знать, что на войне тогда на Кавказе, да и никогда нигде не бывает той рубки врукопашную шашками, которая всегда предполагается и описывается (а если и бывает такая рукопашная шашками и штыками, то рубят и колют всегда только бегущих), эта фикция рукопашной признавалась офицерами и придавала им ту спокойную гордость и веселость, с которой они, одни в молодецких, другие, напротив, в самых скромных позах, сидели на барабанах, курили, пили и шутили, не заботясь о смерти, которая, так же как и Слепцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из них. И действительно, как бы в подтверждение их ожидания в середине их разговора влево от дороги послышался бодрящий, красивый звук винтовочного, резко щелкнувшего выстрела, и пулька, весело посвистывая, пролетела где-то в туманном воздухе и щелкнулась в дерево. Несколько грузно-громких выстрелов солдатских ружей ответили на неприятельский выстрел.

— Эге! — крикнул веселым голосом Полторацкий, — ведь это в цепи! Ну, брат Костя,— обратился он к Фрезе, — твое счастие. Иди к роте. Мы сейчас такое устроим сражение, что прелесть! И представление сделаем.

Разжалованный барон вскочил на ноги и быстрым шагом пошел в область дыма, где была его рота. Полторацкому подали его маленького каракового кабардинца, он сел на него и, выстроив роту, повел ее к цепи по направлению выстрелов. Цепь стояла на опушке леса перед спускающейся голой балкой. Ветер тянул на лес, и не только спуск балки, но и та сторона ее были ясно видны.

Когда Полторацкий подъехал к цепи, солнце выглянуло из-за тумана, и на противоположной стороне балки, у другого начинавшегося там мелкого леса, сажен за сто, виднелось несколько всадников. Чеченцы эти были те, которые преследовали Хаджи-Мурата и хотели видеть его приезд к русским. Один из них выстрелил по цепи. Несколько солдат из цепи ответили ему. Чеченцы отъехали

назад, и стрельба прекратилась. Но когда Полторацкий подошел с ротой, он велел стрелять, и только что была передана команда, по всей линии цепи послышался непрерывный веселый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали задор и, выскакивая вперед, один за другим выпустили несколько выстрелов по солдатам. Один из их выстрелов ранил солдата. Солдат этот был тот самый Авдеев, который был в секрете. Когда товарищи подошли к нему, он лежал кверху спиной, держа обеими руками рану в животе, и равномерно покачивался.

— Только стал ружье заряжать, слышу — чикпуло, — говорил солдат, бывший с ним в паре. — Смотрю, а он ружье выпустил.

Авдеев был из роты Полторацкого. Увидев собравшуюся кучку солдат, Полторацкий подъехал к ним.

— Что, брат, попало? — сказал он. — Куда?

Авдеев не отвечал.

— Только стал заряжать, ваше благородие, — заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым, — слышу — чикнуло, смотрю — он ружье выпустил.

— Те-те, — пощелкал языком Полторацкий. — Что же, больно, Авдеев?

— Не больно, а идти не дает. Винца бы, ваше благородие.

Водка, то есть спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашелся, и Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой.

— Не примает душа,— сказал он. — Пей сам.

Панов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться и опять сел. Расстелили шинель и положили на нее Авдеева.

— Ваше благородие, полковник едет, — сказал фельдфебель Полторацкому.

— Ну ладно, распорядись ты, — сказал Полторацкий и, взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Воронцову.

Воронцов ехал на своем английском, кровном рыжем жеребце, сопутствуемый адъютантом полка, казаком и чеченцем-переводчиком.

— Что это у вас? — спросил он Полторацкого.

— Да вот выехала партия, напала на цепь, — отвечал ему Полторацкий.

— Ну-ну, и всё вы затеяли.

— Да не я, князь, — улыбаясь, сказал Полторацкий, — сами лезли.

— Я слышал, солдата ранили?

— Да, очень жаль. Солдат хороший.

— Тяжело?

— Кажется, тяжело, — в живот.

— А я, вы знаете, куда еду? — спросил Воронцов.

— Не знаю.

— Неужели не догадываетесь?

— Нет.

— Хаджи-Мурат вышел и сейчас встретит нас.

— Не может быть!

— Вчера лазутчик от него был, — сказал Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости. — Сейчас должен ждать меня на Шалинской поляне; так вы рассыпьте стрелков до поляны и потом приезжайте ко мне.

— Слушаю, — сказал Полторацкий, приложив руку к папахе, и поехал к своей роте. Сам он свел цепь на правую сторону, с левой же стороны велел это сделать фельдфебелю. Раненого между тем четыре солдата унесли в крепость.

Полторацкий уже возвращался к Воронцову, когда увидал сзади себя догоняющих его верховых. Полторацкий остановился и подождал их.

Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи-Мурат. Он подъехал к Полторацкому и сказал ему что-то по-татарски. Полторацкий, подняв брови, развел руками в знак того, что не понимает, и улыбнулся. Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем. Только одно было в нем особенное: это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, проницательно и спокойно смотрели в глаза другим людям.

Свита Хаджи-Мурата состояла из четырех человек. Был в этой свите тот Хан-Магома, который нынче ночью ходил к Воронцову. Это был румяный, с черными, без век, яркими глазами, круглолицый человек, сияющий жизнерадостным выражением. Был еще коренастый волосатый человек с сросшимися бровями. Этот был тавлинец Ханефи, заведующий всем имуществом Хаджи-Мурата. Он вел с собой заводную лошадь с туго наполненными переметными сумами. Особенно же выделялись из свиты два человека: один — молодой, тонкий, как женщина, в поясе и широкий в плечах, с чуть пробивающейся русой бородкой, красавец с бараньими глазами, — это был Элдар, и другой, кривой на один глаз, без бровей и без ресниц, с рыжей подстриженной бородой и шрамом через нос и лицо, — чеченец Гамзало.

Полторацкий указал Хаджи-Мурату на показавшегося по дороге Воронцова. Хаджи-Мурат направился к нему и, подъехав вплоть, приложил правую руку к груди и сказал что-то по-татарски и остановился. Чеченец-переводчик перевел:

— Отдаюсь, говорит, на волю русского царя, хочу, говорит, послужить ему. Давно хотел, говорит. Шамиль не пускал.

Выслушав переводчика, Воронцов протянул руку в замшевой перчатке Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на эту руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал ее и еще сказал что-то, глядя то на переводчика, то на Воронцова.

— Он, говорит, ни к кому не хотел выходить, а только к тебе, потому ты сын сардаря. Тебя уважал крепко.

Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит. Хаджи-Мурат еще сказал что-то, указывая на свою свиту.

— Он говорит, что люди эти, его мюриды, будут так же, как и он, служить русским.

Воронцов оглянулся на них, кивнул и им головой.

Веселый, черноглазый, без век, Хан-Магома, также кивая головой, что-то, должно быть, смешное проговорил Воронцову, потому что волосатый аварец оскалил улыбкой ярко-белые зубы. Рыжий же Гамзало только блеснул на мгновение одним своим красным глазом на Воронцова и опять уставился на уши своей лошади.

Когда Воронцов и Хаджи-Мурат, сопутствуемые свитой, проезжали назад к крепости, солдаты, снятые с цепи и собравшиеся кучкой, делали свои замечания:

— Сколько душ загубил, проклятый, теперь, поди, как его ублаготворять будут, — сказал один.

— А то как же. Первый камандер у Шмеля был. Теперь, небось...

— А молодчина, что говорить, джигит.

— А рыжий-то, рыжий, — как зверь, косится.

— Ух, собака, должно быть.

Все особенно заметили рыжего.

Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов остановил его.

— Пускай посмотрят своего старого знакомого. Ты знаешь, кто это? — спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата, медленно выговаривая слова с своим аглицким акцентом.

— Никак нет, ваше сиятельство.

— Хаджи-Мурат, — слыхал?

— Как не слыхать, ваше сиятельство, били его много раз.

— Ну, да и от него доставалось.

— Так точно, ваше сиятельство, — отвечал солдат, довольный тем, что удалось поговорить с начальником.

Хаджи-Мурат понимал, что говорят про него, и веселая улыбка светилась в его глазах. Воронцов в самом веселом расположении духа вернулся в крепость.

VI

Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему, удалось выманить и принять главного, могущественнейшего, второго после Шамиля, врага России. Одно было неприятно: командующий войсками в Воздвиженской был генерал Меллер-Закомельский, и, по-настоящему, надо было через него вести все дело. Воронцов же сделал все сам, не донося ему, так что могла выйти неприятность. И эта мысль отравляла немного удовольствие Воронцова.

Подъехав к своему дому, Воронцов поручил полковому адъютанту мюридов Хаджи-Мурата, а сам ввел его к себе в дом.

Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся, вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым маль-

чиком, встретила Хаджи-Мурата в гостиной, и Хаджи-Мурат, приложив свои руки к груди, несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака так же священна для кунака, как и он сам. И наружность и манеры Хаджи-Мурата понравились Марье Васильевне. То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она подала ему свою большую белую руку, еще более расположило ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофей, велела подать. Хаджи-Мурат, однако, отказался от кофея, когда ему подали его. Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, улыбался, и улыбка его понравилась Марье Васильевне так же, как и Полторацкому. Кудрявый же, востроглазый сынок Марьи Васильевны, которого мать называла Булькой, стоя подле матери, не спускал глаз с Хаджи-Мурата, про которого он слышал как про необыкновенного воина.

Оставив Хаджи-Мурата у жены, Воронцов пошел в канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджи-Мурата. Написав донесение начальнику левого фланга, генералу Козловскому, в Грозную, и письмо отцу, Воронцов поспешил домой, боясь недовольства жены за то, что навязал ей чужого, страшного человека, с которым надо было обходиться так, чтобы и не обидеть и не слишком приласкать. Но страх его был напрасен. Хаджи-Мурат сидел на кресле, держа на колене Бульку, пасынка Воронцова, и, склонив голову, внимательно слушал то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марьи Васильевны. Марья Васильевна говорила ему, что если он будет отдавать всякому кунаку ту свою вещь, которую кунак этот похвалит, то ему скоро придется ходить, как Адаму...

Хаджи-Мурат при входе князя снял с колена удивленного и обиженного этим Бульку и встал, тотчас же переменив игривое выражение лица на строгое и серьезное. Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова Марьи Васильевны тем, что такой их закон, что все, что понравилось кунаку, то надо отдать кунаку.

— Твоя сын — кунак,— сказал он по-русски, гладя по курчавым волосам Бульку, влезшего ему опять на колено.

— Он прелестен, твой разбойник,— по-французски сказала Марья Васильевна мужу.— Булька стал любоваться его кинжалом — он подарил его ему.

Булька показал кинжал отчиму.

— C'est un objet de prix [1], — сказала Марья Васильевна.

— Il faudra trouver l'occasion de lui faire cadeau [2], — сказал Воронцов.

Хаджи-Мурат сидел, опустив глаза, и, гладя мальчика по курчавой голове, приговаривал:

— Джигит, джигит.

— Прекрасный кинжал, прекрасный, — сказал Воронцов, вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой посередине. — Благодарствуй.

— Спроси его, чем я могу услужить ему, —сказал Воронцов переводчику.

Переводчик передал, и Хаджи-Мурат тотчас же отвечал, что ему ничего не нужно, но что он просит, чтобы его теперь отвели в место, где бы он мог помолиться. Воронцов позвал камердинера и велел ему исполнить желание Хаджи-Мурата.

Как только Хаджи-Мурат остался один в отведенной ему комнате, лицо его изменилось: исчезло выражение удовольствия и то ласковости, то торжественности, и выступило выражение озабоченности.

Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджи-Мурат Воронцову и его офицерам. Он боялся всего: и того, что его схватят, закуют и сошлют в Сибирь или просто убьют, и потому был настороже.

Он спросил у пришедшего Элдара, где поместили мюридов, где лошади и не отобрали ли у них оружие.

Элдар донес, что лошади в княжеской конюшне, людей поместили в сарае, оружие оставили при них и переводчик угащивает их едою и чаем.

Хаджи-Мурат, недоумевая, покачал головой и, раздевшись, стал на молитву. Окончив ее, он велел принести себе серебряный кинжал и, одевшись и подпоясавшись, сел с ногами на тахту, дожидаясь того, что будет.

В пятом часу его позвали обедать к князю.

---

[1] Это ценная вещь *(франц.)*.

[2] Надо будет найти случай отдарить его *(франц.)*.

За обедом Хаджи-Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна.

— Он боится, чтобы мы не отравили его,—сказала Марья Васильевна мужу. — Он взял, где я взяла. — И тотчас обратилась к Хаджи-Мурату через переводчика, спрашивая, когда он теперь опять будет молиться. Хаджи-Мурат поднял пять пальцев и показал на солнце.

— Стало быть, скоро.

Воронцов вынул брегет и прижал пружинку, — часы пробили четыре и одну четверть. Хаджи-Мурата, очевидно, удивил этот звон, и он попросил позвонить еще и посмотреть часы.

— Voilà l'occasion. Donnez-lui la montre[1], — сказала Марья Васильевна мужу.

Воронцов тотчас предложил часы Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат приложил руку к груди и взял часы. Несколько раз он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал головой.

После обеда князю доложили об адъютанте Меллера-Закомельского.

Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе Хаджи-Мурата, очень недоволен тем, что ему не было доложено об этом, и что он требует, чтобы Хаджи-Мурат сейчас же был доставлен к нему. Воронцов сказал, что приказание генерала будет исполнено, и, через переводчика передав Хаджи-Мурату требование генерала, попросил его идти вместе с ним к Меллеру.

Марья Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъютант, тотчас же поняла, что между ее мужем и генералом может произойти неприятность, и, несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджи-Муратом к генералу.

— Vous feriez beaucoup mieux de rester; c'est mon affaire, mais pas la vôtre.

— Vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller voir madame la générale[2].

— Можно бы в другое время.

— А я хочу теперь.

---

[1] Вот случай. Подари ему часы *(франц.)*.

[2] — Ты сделала бы гораздо лучше, если бы осталась; это мое дело, а не твое.

— Ты не можешь препятствовать мне навестить генеральшу *(франц.)*.

Делать было нечего. Воронцов согласился, и они пошли все трое.

Когда они вошли, Меллер с мрачной учтивостью проводил Марью Васильевну к жене, адъютанту же велел проводить Хаджи-Мурата в приемную и не выпускать никуда до его приказания.

— Прошу, — сказал он Воронцову, отворяя дверь в кабинет и пропуская в нее князя вперед себя.

Войдя в кабинет, он остановился перед князем и, не прося его сесть, сказал:

— Я здесь воинский начальник, и потому все переговоры с неприятелем должны быть ведены через меня. Почему вы не донесли мне о выходе Хаджи-Мурата?

— Ко мне пришел лазутчик и объявил желание Хаджи-Мурата отдаться мне, — отвечал Воронцов, бледнея от волнения, ожидая грубой выходки разгневанного генерала и вместе с тем заражаясь его гневом.

— Я спрашиваю, почему не донесли мне?

— Я намеревался сделать это, барон, но...

— Я вам не барон, а ваше превосходительство.

И тут вдруг прорвалось долго сдерживаемое раздражение барона. Он высказал все, что давно накипело у него в душе.

— Я не затем двадцать семь лет служу своему государю, чтобы люди, со вчерашнего дня начавшие служить, пользуясь своими родственными связями, у меня под носом распоряжались тем, что их не касается.

— Ваше превосходительство! Я прошу вас не говорить того, что несправедливо, — перебил его Воронцов.

— Я говорю правду и не позволю... — еще раздражительнее заговорил генерал.

В это время, шурша юбками, вошла Марья Васильевна и за ней невысокая скромная дама, жена Меллера-Закомельского.

— Ну, полноте, барон, Simon не хотел вам сделать неприятности, — заговорила Марья Васильевна.

— Я, княгиня, не про то говорю...

— Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете: худой спор лучше доброй ссоры. Что я говорю... — Она засмеялась.

И сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка.

— Я признаю, что я был неправ, — сказал Воронцов, — но...

— Ну, и я погорячился, — сказал Меллер и подал руку князю.

Мир был установлен, и решено было на время оставить Хаджи-Мурата у Меллера, а потом отослать к начальнику левого фланга.

Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате и, хотя не понимал того, что говорили, понял то, что ему нужно было понять: что они спорили о нем, и что его выход от Шамиля есть дело огромной важности для русских, и что поэтому, если только его не сошлют и не убьют, ему много можно будет требовать от них. Кроме того, понял он и то, что Меллер-Закомельский, хотя и начальник, не имеет того значения, которое имеет Воронцов, его подчиненный, и что важен Воронцов, а не важен Меллер-Закомельский; и поэтому, когда Меллер-Закомельский позвал к себе Хаджи-Мурата и стал расспрашивать его, Хаджи-Мурат держал себя гордо и торжественно, говоря, что вышел из гор, чтобы служить белому царю, и что он обо всем даст отчет только его сардарю, то есть главнокомандующему, князю Воронцову, в Тифлисе.

VII

Раненого Авдеева снесли в госпиталь, помещавшийся в небольшом крытом тесом доме на выезде из крепости, и положили в общую палату на одну из пустых коек. В палате было четверо больных: один — метавшийся в жару тифозный, другой — бледный, с синевой под глазами, лихорадочный, дожидавшийся пароксизма и непрестанно зевавший, и еще два раненных в набеге три недели тому назад — один в кисть руки (этот был на ногах), другой в плечо (этот сидел на койке). Все, кроме тифозного, окружили принесенного и расспрашивали принесших.

— Другой раз палят, как горохом осыпают, и — ничего, а тут всего раз пяток выстрелили,— рассказывал один из принесших.

— Кому что назначено!

— Ох, — громко крякнул, сдерживая боль, Авдеев, когда его стали класть на койку. Когда же его положили, он нахмурился и не стонал больше, но только не переставая шевелил ступнями. Он держал рану руками и неподвижно смотрел перед собой.

Пришел доктор и велел перевернуть раненого, чтобы посмотреть, не вышла ли пуля сзади.

— Это что ж? — спросил доктор, указывая на перекрещивающиеся белые рубцы на спине и заду.

— Это старок, ваше высокоблагородие, — кряхтя, проговорил Авдеев.

Это были следы его наказания за пропитые деньги.

Авдеева опять перевернули, и доктор долго ковырял зондом в животе и нащупал пулю, но не мог достать ее. Перевязав рану и заклеив ее липким пластырем, доктор ушел. Во все время ковыряния раны и перевязывания ее Авдеев лежал с стиснутыми зубами и закрытыми глазами. Когда же доктор ушел, он открыл глаза и удивленно оглянулся вокруг себя. Глаза его были направлены на больных и фельдшера, но он как будто не видел их, а видел что-то другое, очень удивлявшее его.

Пришли товарищи Авдеева — Панов и Серёгин. Авдеев все так же лежал, удивленно глядя перед собою. Он долго не мог узнать товарищей, несмотря на то, что глаза его смотрели прямо на них.

— Ты, Пётра, чего домой приказать не хочешь ли? — сказал Панов.

Авдеев не отвечал, хотя и смотрел в лицо Панову.

— Я говорю, домой приказать не хочешь ли чего? — опять спросил Панов, трогая его за холодную ширококостую руку.

Авдеев как будто очнулся.

— А, Антоныч пришел!

— Да вот пришел. Не прикажешь ли чего домой? Серёгин напишет.

— Серёгин, — сказал Авдеев, с трудом переводя глаза на Серёгина, — напишешь?.. Так вот отпиши: «Сын, мол, ваш Петруха долго жить приказал». Завиствовал брату. Я тебе нонче сказывал. А теперь, значит, сам рад. Не замай живет. Дай бог ему, я рад. Так и пропиши.

Сказав это, он долго молчал, уставившись глазами на Панова.

— Ну, а трубку нашел? — вдруг спросил он.

Панов покачал головой и не отвечал.

— Трубку, трубку, говорю, нашел? — повторил Авдеев.

— В сумке была.

— То-то. Ну, а теперь свечку мне дайте, я сейчас помирать буду, — сказал Авдеев.

В это время пришел Полторацкий проведать своего солдата.

— Что, брат, плохо? — сказал он.

Авдеев закрыл глаза и отрицательно покачал головой. Скуластое лицо его было бледно и строго. Он ничего не ответил и только опять повторил, обращаясь к Панову:

— Свечку дай. Помирать буду.

Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались, и ее вложили между пальцев и придерживали. Полторацкий ушел, и пять минут после его ухода фельдшер приложил ухо к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился.

Смерть Авдеева в реляции, которая была послана в Тифлис, описывалась следующим образом: «23 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время вторая рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранены два рядовых и убит один. Горцы же потеряли около ста человек убитыми и ранеными».

VIII

В тот самый день, когда Петруха Авдеев кончался в Воздвиженском госпитале, его старик отец, жена брата, за которого он пошел в солдаты, и дочь старшего брата, девка-невеста, молотили овес на морозном току. Накануне выпал глубокий снег, и к утру сильно заморозило. Старик проснулся еще с третьими петухами и, увидав в замерзшем окне яркий свет месяца, слез с печи, обулся, надел шубу, шапку и пошел на гумно. Проработав там часа два, старик вернулся в избу и разбудил сына и баб. Когда бабы и девка пришли на гумно, ток был расчищен, деревянная лопата стояла воткнутой в белый сыпучий снег и рядом с нею метла прутьями вверх, и овсяные снопы были разостланы в два ряда, волоть с волотью, длинной веревкой по чистому току. Разобрали цепы и стали молотить, равномерно ладя тремя ударами. Старик крепко бил тяжелым цепом, разбивая солому, девка ровным ударом била сверху, сноха отворачивала.

Месяц зашел, и начинало светать; и уже кончали веревку, когда старший сын, Аким, в полушубке и шапке вышел к работающим.

— Ты чего лодырничаешь? — крикнул на него отец, останавливаясь молотить и опираясь на цеп.

— Лошадей убрать надо же.

— Лошадей убрать, — передразнил отец. — Старуха уберет. Бери цеп. Больно жирен стал. Пьяница!

— Ты, что ли, меня поил? — пробурчал сын.

— Чаго? — нахмурившись и пропуская удар, грозно спросил старик.

Сын молча взял цеп, и работа пошла в четыре цепа: трап, та-па-тап, трап, та-па-тап... Трап! — ударял после трех раз тяжелый цеп старика.

— Загривок-то, глянь, как у барина доброго. Вот у меня так портки не держатся, — проговорил старик, пропуская свой удар и только, чтобы не потерять такту, переворачивая в воздухе цепинкой.

Веревку кончили, и бабы граблями стали снимать солому.

— Дурак Петруха, что за тебя пошел. Из тебя бы в солдатах дурь-то повыбили бы, а он-то дома пятерых таких, как ты, стоил.

— Ну, будет, батюшка, — сказала сноха, откидывая разбитые свясла.

— Да, корми вас сам-шёст, а работы и от одного нету. Петруха, бывало, за двоих один работает, не то что...

По протоптанной из двора тропинке, скрипя по снегу новыми лаптями на туго обвязанных шерстяных онучах, подошла старуха. Мужики сгребали невеяное зерно в ворох, бабы и девка заметали.

— Выборный заходил. На барщину всем кирпич возить, — сказала старуха. — Я завтракать собрала. Идите, что ль.

— Ладно. Чалого запряги и ступай, — сказал старик Акиму. — Да смотри, чтоб не так, как намедни, отвечать за тебя. Попомнишь Петруху.

— Как он был дома, его ругал, — огрызнулся теперь Аким на отца, — а нет его, меня глодаешь.

— Значит, сто́ишь, — так же сердито сказала мать. — Не с Петрухой тебя сменять.

— Ну, ладно! — сказал сын.

— То-то ладно. Муку пропил, а теперь говоришь: ладно.

— Про старые дрожжи поминать двожды, — сказала сноха, и все, положив цепы, пошли к дому.

Нелады между отцом и сыном начались уже давно,

почти со времени отдачи Петра в солдаты. Уже тогда старик почувствовал, что он променял кукушку на ястреба. Правда, что по закону, как разумел его старик, надо было бездетному идти за семейного. У Акима было четверо детей, у Петра никого, но работник Петр был такой же, как и отец: ловкий, сметливый, сильный, выносливый и, главное, трудолюбивый. Он всегда работал. Если он проходил мимо работающих, так же как и делывал старик, он тотчас же брался помогать — или пройдет ряда два с косой, или навьет воз, или срубит дерево, или порубит дров. Старик жалел его, но делать было нечего. Солдатство было как смерть. Солдат был отрезанный ломоть, и поминать о нем — душу бередить — незачем было. Только изредка, чтобы уколоть старшего сына, старик, как нынче, вспоминал его. Мать же часто поминала меньшего сына и уже давно, второй год, просила старика, чтобы он послал Петрухе деньжонок. Но старик отмалчивался.

Двор Авдеевых был богатый, и у старика были припрятаны деньжонки, но он ни за что не решился бы тронуть отложенного. Теперь, когда старуха услыхала, что он поминает меньшего сына, она решила опять просить его, чтобы при продаже овса послать сыну хоть рублик. Так она и сделала. Оставшись вдвоем с стариком, после того как молодые ушли на барщину, она уговорила мужа из овсяных денег послать рубль Петрухе. Так что, когда из провеянных ворохов двенадцать четвертей овса были насыпаны на веретья в трое саней и веретья аккуратно зашпилены деревянными шпильками, она дала старику написанное под ее слова дьячком письмо, и старик обещал в городе приложить к письму рубль и послать по адресу.

Старик, одетый в новую шубу и кафтан и в чистых белых шерстяных онучах, взял письмо, уложил его в кошель и, помолившись богу, сел на передние сани и поехал в город. На задних санях ехал внук. В городе старик велел дворнику прочесть себе письмо и внимательно и одобрительно слушал его.

В письме Петрухиной матери было писано, во-первых, благословение, во-вторых, поклоны всех, известие о смерти крестного и под конец известие о том, что Аксинья (жена Петра) «не захотела с нами жить и пошла в люди. Слышно, что живет хорошо и честно». Упоминалось о гостинце, рубле, и прибавлялось то, что уже прямо от себя, и слово в слово, пригорюнившаяся старуха, со слезами на глазах, велела написать дьяку:

«А еще, милое мое дитятко, голубок ты мой Петрушенька, выплакала я свои глазушки, о тебе сокрушаючись. Солнушко мое ненаглядное, па кого ты меня оставил...» На этом месте старуха завыла, заплакала и сказала:

— Так и будет.

Так и осталось в письме, но Петрухе не суждено было получить ни это известие о том, что жена его ушла из дома, ни рубля, ни последних слов матери. Письмо это и деньги вернулись назад с известием, что Петруха убит на войне, «защищая царя, отечество и веру православную». Так написал военный писарь.

Старуха, получив это известие, повыла, покуда было время, а потом взялась за работу. В первое же воскресенье она пошла в церковь и раздала кусочки посвирок «добрым людям для поминания раба божия Петра».

Солдатка Аксинья тоже повыла, узнав о смерти «любимого мужа, с которым» она «пожила только один годочек». Она жалела и мужа и всю свою погубленную жизнь. И в своем вытье поминала «и русые кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свое горькое житье с сиротой Ванькой», и горько упрекала «Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел ее горькую, по чужим людям скитальщицу».

В глубине же души Аксинья была рада смерти Петра. Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать ее, и приказчик мог взять ее замуж, как он и говорил ей, когда склонял ее к любви.

IX

Воронцов, Михаил Семенович, воспитанный в Англии, сын русского посла, был среди русских высших чиновников человек редкого в то время европейского образования, честолюбивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими и тонкий придворный в отношениях с высшими. Он не понимал жизни без власти и без покорности. Он имел все высшие чины и ордена и считался искусным военным, даже победителем Наполеона под Краоном. Ему в 51-м году было за семьдесят лет, но он еще был совсем свеж, бодро двигался и, главное, вполне обладал всей ловкостью тонкого и приятного ума, направленного на поддержание своей власти и утверждение и распространение своей популярности. Он владел

большим богатством — и своим и своей жены, графини Браницкой, — и огромным получаемым содержанием в качестве наместника и тратил бóльшую часть своих средств на устройство дворца и сада на южном берегу Крыма.

Вечером 7 декабря 1851 года к дворцу его в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Усталый, весь черный от пыли офицер, привезший от генерала Козловского известие о выходе к русским Хаджи-Мурата, разминая ноги, вошел мимо часовых в широкое крыльцо наместнического дворца. Было шесть часов вечера, и Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера не откладывая и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу, человек тридцать, сидевшие около княгини Елизаветы Ксаверьевны и стоявшие группами у окон, встали, повернулись лицом к вошедшему. Воронцов был в своем обычном черном военном сюртуке без эполет, с полупогончиками и белым крестом на шее. Лисье бритое лицо его приятно улыбалось, и глаза щурились, оглядывая всех собравшихся.

Войдя мягкими, поспешными шагами в гостиную, он извинился перед дамами за то, что опоздал, поздоровался с мужчинами и подошел к грузинской княгине Манане Орбельяни, сорокапятилетней, восточного склада, полной, высокой красавице, и подал ей руку, чтобы вести ее к столу. Княгиня Елизавета Ксаверьевна сама подала руку приезжему рыжеватому генералу с щетинистыми усами. Грузинский князь подал руку графине Шуазёль, приятельнице княгини. Доктор Андреевский, адъютанты и другие, кто с дамами, кто без дам, пошли вслед за тремя парами. Лакеи в кафтанах, чулках и башмаках отодвигали и придвигали стулья садящимся; метрдотель торжественно разливал дымящийся суп из серебряной миски.

Воронцов сел в середине длинного стола. Напротив его села княгиня, его жена, с генералом. Направо от него была его дама, красавица Орбельяни, налево — стройная, черная, румяная, в блестящих украшениях, княжна-грузинка, не переставая улыбавшаяся.

— Excellentes, chère amie, — отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером. — Simon a eu de la chance [1].

---

[1] Превосходные, милый друг, Семену повезло *(франц.)*.

И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все сидящие за столом, поразительную новость, — для него одного это не было вполне новостью, потому что переговоры велись уже давно, — о том, что знаменитый, храбрейший помощник Шамиля Хаджи-Мурат передался русским и нынче-завтра будет привезен в Тифлис.

Все обедавшие, даже молодежь, адъютанты и чиновники, сидевшие на дальних концах стола и перед этим о чем-то тихо смеявшиеся, все затихли и слушали.

— А вы, генерал, встречали этого Хаджи-Мурата? — спросила княгиня у своего соседа, рыжего генерала с щетинистыми усами, когда князь перестал говорить.

— И не раз, княгиня.

И генерал рассказал про то, как Хаджи-Мурат в 43-м году, после взятия горцами Гергебиля, наткнулся на отряд генерала Пассека и как он, на их глазах почти, убил полковника Золотухина.

Воронцов слушал генерала с приятной улыбкой, очевидно довольный тем, что генерал разговорился. Но вдруг лицо Воронцова приняло рассеянное и унылое выражение.

Разговорившийся генерал стал рассказывать про то, где он в другой раз столкнулся с Хаджи-Муратом.

— Ведь это он, — говорил генерал, — вы изволите помнить, ваше сиятельство, устроил в сухарную экспедицию засаду на выручке.

— Где? — переспросил Воронцов, щуря глаза.

Дело было в том, что храбрый генерал называл «выручкой» то дело в несчастном Даргинском походе, в котором действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим им, если бы его не выручили вновь подошедшие войска. Всем было известно, что весь Даргинский поход, под начальством Воронцова, в котором русские потеряли много убитых и раненых и несколько пушек, был постыдным событием, и потому если кто и говорил про этот поход при Воронцове, то говорил только в том смысле, в котором Воронцов написал донесение царю, то есть, что это был блестящий подвиг русских войск. Словом же «выручка» прямо указывалось на то, что это был не блестящий подвиг, а ошибка, погубившая много людей. Все поняли это, и одни делали вид, что не замечают значения слов генерала, другие испуганно ожидали, что будет дальше; некоторые, улыбаясь, переглянулись.

Один только рыжий генерал с щетинистыми усами ничего не замечал и, увлеченный своим рассказом, спокойно ответил:

— На выручке, ваше сиятельство.

И раз заведенный на любимую тему, генерал подробно рассказал, как «этот Хаджи-Мурат так ловко разрезал отряд пополам, что, не приди нам на выручку, — он как будто с особенной любовью повторял слово «выручка»,— тут бы все и остались, потому...»

Генерал не успел досказать все, потому что Манана Орбельяни, поняв, в чем дело, перебила речь генерала, расспрашивая его об удобствах его помещения в Тифлисе. Генерал удивился, оглянулся на всех и на своего адъютанта в конце стола, упорным и значительным взглядом смотревшего на него, — и вдруг понял. Не отвечая княгине, он нахмурился, замолчал и стал поспешно есть, не жуя, лежавшее у него на тарелке утонченное кушанье непонятного для него вида и даже вкуса.

Всем стало неловко, но неловкость положения исправил грузинский князь, очень глупый, но необыкновенно тонкий и искусный льстец и придворный, сидевший по другую сторону княгини Воронцовой. Он, как будто ничего не замечая, громким голосом стал рассказывать про похищение Хаджи-Муратом вдовы Ахмет-хана Мехтулинского:

— Ночью вошел в селенье, схватил, что ему нужно было, и ускакал со всей партией.

— Зачем же ему нужна была именно женщина эта? — спросила княгиня.

— А он был враг с мужем, преследовал его, но нигде до самой смерти хана не мог встретить, так вот он отомстил на вдове.

Княгиня перевела это по-французски своей старой приятельнице, графине Шуазёль, сидевшей подле грузинского князя.

— Quelle horreur! [1] — сказала графиня, закрывая глаза и покачивая головой.

— О нет, — сказал Воронцов улыбаясь, — мне говорили, что он с рыцарским уважением обращался с пленницей и потом отпустил ее.

— Да, за выкуп.

[1] Какой ужас! *(франц.)*

— Ну разумеется, но все-таки он благородно поступил.

Эти слова князя дали тон дальнейшим рассказам про Хаджи-Мурата. Придворные поняли, что чем больше приписывать значения Хаджи-Мурату, тем приятнее будет князю Воронцову.

— Удивительная смелость у этого человека. Замечательный человек.

— Как же, в сорок девятом году он среди бела дня ворвался в Темир-Хан-Шуру и разграбил лавки.

Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в Темир-Хан-Шуре, рассказал про подробности этого подвига Хаджи-Мурата.

Вообще весь обед прошел в рассказах о Хаджи-Мурате. Все наперерыв хвалили его храбрость, ум, великодушие. Кто-то рассказал про то, как он велел убить двадцать шесть пленных; но и на это было обычное возражение:

— Что делать! A la guerre comme à la guerre [1].

— Это большой человек.

— Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы новый Наполеон, — сказал глупый грузинский князь, имеющий дар лести.

Он знал, что всякое упоминание о Наполеоне, за победу над которым Воронцов носил белый крест на шее, было приятно князю.

— Ну, хоть не Наполеон, но лихой кавалерийский генерал — да, — сказал Воронцов.

— Если не Наполеон, то Мюрат.

— И имя его — Хаджи-Мурат.

— Хаджи-Мурат вышел, теперь конец и Шамилю, — сказал кто-то.

— Они чувствуют, что им теперь (это теперь значило: при Воронцове) не выдержать, — сказал другой.

— Tout cela est grâce à vous [2], — сказала Манана Орбельяни.

Князь Воронцов старался умерить волны лести, которые начинали уже заливать его. Но ему было приятно, и он повел от стола свою даму в гостиную в самом хорошем расположении духа.

---

[1] На войне как на войне *(франц.)*.
[2] Все это благодаря вам *(франц.)*.

После обеда, когда в гостиной обносили кофе, князь особенно ласков был со всеми и, подойдя к генералу с рыжими щетинистыми усами, старался показать ему, что он не заметил его неловкости.

Обойдя всех гостей, князь сел за карты. Он играл только в старинную игру — ломбер. Партнерами князя были: грузинский князь, потом армянский генерал, выучившийся у камердинера князя играть в ломбер, и четвертый,— знаменитый по своей власти,— доктор Андреевский.

Поставив подле себя золотую табакерку с портретом Александра I, Воронцов разодрал атласные карты и хотел разостлать их, когда вошел камердинер, итальянец Джовани, с письмом на серебряном подносе.

— Еще курьер, ваше сиятельство.

Воронцов положил карты и, извинившись, распечатал и стал читать.

Письмо было от сына. Он описывал выход Хаджи-Мурата и столкновение с Меллер-Закомельским.

Княгиня подошла и спросила, что пишет сын.

— Все о том же. Il a eu quelques désagréments avec le commandant de la place. Simon a eu tort[1]. But all is well what ends well[2], — сказал он, передавая жене письмо, и, обращаясь к почтительно дожидавшимся партнерам, попросил брать карты.

Когда сдали первую сдачу, Воронцов открыл табакерку и сделал то, что он делывал, когда был в особенно хорошем расположении духа: достал старчески сморщенными белыми руками щепотку французского табаку и поднес ее к носу и высыпал.

X

Когда на другой день Хаджи-Мурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народа. Тут был и вчерашний генерал с щетинистыми усами, в полной форме и орденах, приехавший откланяться; тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребления по продовольствованию полка; тут был армянин-богач,

---

[1] У него были кое-какие неприятности с комендантом крепости. Семен был неправ *(франц.)*.

[2] Но все хорошо, что хорошо кончается *(англ.)*.

покровительствуемый доктором Андреевским, который держал на откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта; тут была, вся в черном, вдова убитого офицера, приехавшая просить о пенсии или о помещении детей на казенный счет; тут был разорившийся грузинский князь в великолепном грузинском костюме, выхлопатывавший себе упраздненное церковное поместье; тут был пристав с большим свертком, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа; тут был один хан, явившийся только затем, чтобы рассказать дома, что он был у князя.

Все дожидались очереди и один за другим были вводимы красивым белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя.

Когда в приемную вошел бодрым шагом, прихрамывая, Хаджи-Мурат, все глаза обратились на него, и он слышал в разных концах шепотом произносимое его имя.

Хаджи-Мурат был одет в длинную белую черкеску на коричневом, с тонким серебряным галуном на воротнике, бешмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же чувяки, как перчатка обтягивающие ступни, на бритой голове — папаха с чалмой, — той самой чалмой, за которую он, по доносу Ахмет-Хана, был арестован генералом Клюгенау и которая была причиной его перехода к Шамилю. Хаджи-Мурат шел, быстро ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким станом от легкой хромоты на одну, более короткую, чем другая, ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели.

Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил Хаджи-Мурата сесть, пока он доложит князю. Но Хаджи-Мурат отказался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих.

Переводчик, князь Тарханов, подошел к Хаджи-Мурату и заговорил с ним. Хаджи-Мурат неохотно, отрывисто отвечал. Из кабинета вышел кумыцкий князь, жаловавшийся на пристава, и вслед за ним адъютант позвал Хаджи-Мурата, подвел его к двери кабинета и пропустил в нее.

Воронцов принял Хаджи-Мурата, стоя у края стола. Старое белое лицо главнокомандующего было не такое улыбающееся, как вчера, а скорее строгое и торжественное.

Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелеными жалузи, Хаджи-Мурат приложил свои небольшие, загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал:

— Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим.

Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи-Мурата, и Хаджи-Мурат взглянул в лицо Воронцова.

Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину: глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи-Мурат, что он знает, что он — враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи-Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это и все-таки говорил Хаджи-Мурату то, что считал нужным для успеха войны.

— Скажи ему, — сказал Воронцов переводчику (он говорил «ты» молодым офицерам), — что наш государь так же милостив, как и могуществен, и, вероятно, по моей просьбе простит его и примет в свою службу. Передал? — спросил он, глядя на Хаджи-Мурата. — До тех же пор, пока получу милостивое решение моего повелителя, скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным.

Хаджи-Мурат еще раз прижал руки к середине груди и что-то оживленно заговорил.

Он говорил, как передал переводчик, что и прежде, когда он управлял Аварией, в 39-м году, он верно служил русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг его, Ахмет-Хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Клюгенау.

— Знаю, знаю, — сказал Воронцов (хотя он если и знал, то давно забыл все это). — Знаю, — сказал он, садясь и указывая Хаджи-Мурату на тахту, стоявшую

у стены. Но Хаджи-Мурат не сел, пожав сильными плечами в знак того, что он не решается сидеть в присутствии такого важного человека.

— И Ахмет-Хан и Шамиль, оба — враги мои,— продолжал он, обращаясь к переводчику. — Скажи князю: Ахмет-Хан умер, я не мог отомстить ему, но Шамиль еще жив, и я не умру, не отплатив ему, — сказал он, нахмурив брови и крепко сжав челюсти.

— Да, да, — спокойно проговорил Воронцов. — Как же он хочет отплатить Шамилю? — сказал он переводчику. — Да скажи ему, что он может сесть.

Хаджи-Мурат опять отказался сесть и на переданный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь им уничтожить Шамиля.

— Хорошо, хорошо, — сказал Воронцов. — Что же именно он хочет делать? Садись, садись...

Хаджи-Мурат сел и сказал, что если только его пошлют на лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет держаться.

— Это хорошо. Это можно, — сказал Воронцов. — Я подумаю.

Переводчик передал Хаджи-Мурату слова Воронцова. Хаджи-Мурат задумался.

— Скажи сардарю, — сказал он еще, — что моя семья в руках моего врага; и до тех пор, пока семья моя в горах, я связан и не могу служить. Он убьет мою жену, убьет мать, убьет детей, если я прямо пойду против него. Пусть только князь выручит мою семью, выменяет ее на пленных, и тогда я или умру, или уничтожу Шамиля.

— Хорошо, хорошо,— сказал Воронцов. — Подумаем об этом. Теперь же пусть он идет к начальнику штаба и подробно изложит ему свое положение, свои намерения и желания.

Тем кончилось первое свидание Хаджи-Мурата с Воронцовым.

В тот же день, вечером, в новом, в восточном вкусе отделанном театре шла итальянская опера. Воронцов был в своей ложе, и в партере появилась заметная фигура хромого Хаджи-Мурата в чалме. Он вошел с приставленным к нему адъютантом Воронцова Лорис-Меликовым и поместился в первом ряду. С восточным, мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт,

Хаджи-Мурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел, обращая на себя внимание всех зрителей.

На другой день был понедельник, обычный вечер у Воронцовых. В большой, ярко освещенной зале играла скрытая в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые женщины, в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена «сардаря» тоже, несмотря на свои немолодые годы, так же полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджи-Мурату, с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджи-Мурату и другие обнаженные женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же: как ему нравится то, что он видит. Сам Воронцов, в золотых эполетах и аксельбантах, с белым крестом на шее и лентой, подошел к нему и спросил то же самое, очевидно уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджи-Мурату не могло не нравиться все то, что он видел. И Хаджи-Мурат отвечал и Воронцову то, что отвечал всем: что у них этого нет, — не высказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет у них.

Хаджи-Мурат попытался было заговорить и здесь, на бале, с Воронцовым о своем деле выкупа семьи, но Воронцов, сделав вид, что не слыхал его слов, отошел от него. Лорис-Меликов же сказал потом Хаджи-Мурату, что здесь не место говорить о делах.

Когда пробило одиннадцать часов и Хаджи-Мурат поверил время на своих, подаренных ему Марьей Васильевной, часах, он спросил Лорис-Меликова, можно ли уехать. Лорис-Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджи-Мурат не остался и уехал на данном в его распоряжение фаэтоне в отведенную ему квартиру.

XI

На пятый день пребывания Хаджи-Мурата в Тифлисе Лорис-Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению главнокомандующего.

— И голова и руки рады служить сардарю, — сказал Хаджи-Мурат с обычным своим дипломатическим выражением, наклонив голову и прикладывая руки к груди. — Прикажи, — сказал он, ласково глядя в глаза Лорис-Меликову.

Лорис-Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи-Мурат опустился против него на низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что Лорис-Меликов говорил ему. Лорис-Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджи-Мурата, желает от него самого узнать всю его историю.

— Ты расскажи мне, — сказал Лорис-Меликов, — а я запишу, переведу потом по-русски, и князь пошлет государю.

Хаджи-Мурат помолчал (он не только никогда не перебивал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще чего), потом поднял голову, стряхнув папаху назад, улыбнулся той особенной, детской улыбкой, которой он пленил еще Марью Васильевну.

— Это можно, — сказал он, очевидно польщенный мыслью о том, что его история будет прочтена государем.

— Расскажи мне (по-татарски нет обращения на вы) все с начала, не торопясь, — сказал Лорис-Меликов, доставая из кармана записную книжку.

— Это можно, только много, очень много есть чего рассказывать. Много дела было, — сказал Хаджи-Мурат.

— Не успеешь в один день, в другой день доскажешь, — сказал Лорис-Меликов.

— С начала начинать?

— Да, с самого начала: где родился, где жил.

Хаджи-Мурат опустил голову и долго просидел так; потом взял палочку, лежавшую у тахты, достал из-под кинжала с слоновой ручкой, оправленной золотом, острый, как бритва, булатный ножик и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать:

— Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову, как у нас говорят в горах, — начал он. — Недалеко от нас, выстрела за два, Хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана, Абунунцал-Хана, от этого я и стал близок к ханам. Ханов было трое: Абунунцал-Хан, молочный брат моего брата Османа, Умма-Хан, мой брат названый, и Булач-Хан, меньшой, тот, которого Шамиль

бросил с кручи. Да это после. Мне было лет пятнадцать, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали: «Мусульмане, хазават!» Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда в дворце. Я был как брат ханам: что хотел, то делал, и стал богат. Были у меня и лошади, и оружие, и деньги были. Жил в свое удовольствие и ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Кази-Муллу убили и Гамзат стал на его место. Гамзат прислал ханам послов сказать, что, если они не примут хазават, он разорит Хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять хазават, и ханша послала меня с сыном, с вторым, с Умма-Ханом, в Тифлис просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главным начальником был Розен, барон. Он не принял ни меня, ни Умма-Хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Умма-Ханом. Они поили его вином и в дурные места возили его, и он проиграл им в карты все, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой слабый, как вода. Он проиграл бы последних коней и оружие, если бы я не увез его. После Тифлиса мысли мои переменились, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять хазават.

— Отчего ж переменились мысли? — спросил Лорис-Меликов, — не понравились русские?

Хаджи-Мурат помолчал.

— Нет, не понравились,— решительно сказал он и закрыл глаза. — И еще было дело такое, что я захотел принять хазават.

— Какое же дело?

— А под Цельмесом мы с ханом столкнулись с тремя мюридами: два ушли, а третьего я убил из пистолета. Когда я подошел к нему, чтоб снять оружие, он был жив еще. Он поглядел на меня. «Ты, говорит, убил меня. Мне хорошо. А ты мусульманин, и молод и силен, прими хазават. Бог велит».

— Что ж, и ты принял?

— Не принял, а стал думать, — сказал Хаджи-Мурат и продолжал свой рассказ. — Когда Гамзат подступил к Хунзаху, мы послали к нему стариков и велели сказать, что согласны принять хазават, только бы он при-

слал ученого человека растолковать, как надо держать его. Гамзат велел старикам обрить усы, проткнуть ноздри, привесить к их носам лепешки и отослать их назад. Старики сказали, что Гамзат готов прислать шейха, чтобы научить нас хазавату, но только с тем, чтобы ханша прислала к нему аманатом своего меньшого сына. Ханша поверила и послала Булач-Хана к Гамзату. Гамзат принял хорошо Булач-Хана и прислал к нам звать к себе и старших братьев. Он велел сказать, что хочет служить ханам так же, как его отец служил их отцу. Ханша была женщина слабая, глупая и дерзкая, как и все женщины, когда они живут по своей воле. Она побоялась послать обоих сыновей и послала одного Умма-Хана. Я поехал с ним. Нас за версту встретили мюриды и пели, и стреляли, и джигитовали вокруг нас. А когда мы подъехали, Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Умма-Хана и принял его, как хана. Он сказал: «Я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы только меня не убейте и не мешайте мне приводить людей к хазавату. А я буду служить вам со всем моим войском, как отец мой служил вашему отцу. Пустите меня жить в вашем доме. Я буду помогать вам моими советами, а вы делайте, что хотите». Умма-Хан был туп на речи. Он не знал, что сказать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат едет в Хунзах. Ханша и хан с почетом примут его. Но мне не дали досказать, и тут в первый раз я столкнулся с Шамилем. Он был тут же, подле имама. «Не тебя спрашивают, а хана», — сказал он мне. Я замолчал, а Гамзат проводил Умма-Хана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел с своими послами ехать в Хунзах. Я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить к Гамзату и старшего хана. Я видел измену и сказал ханше, чтобы она не посылала сына. Но у женщины ума в голове — сколько на яйце волос. Ханша поверила и велела сыну ехать. Абунунцал не хотел. Тогда она сказала: «Видно, ты боишься». Она, как пчела, знала, в какое место больнее ужалить его. Абунунцал загорелся, не стал больше говорить с ней и велел седлать. Я поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем Умма-Хана. Он сам выехал навстречу за два выстрела под гору. За ним ехали конные с значками, пели «Ля илляха иль алла», стреляли, джигитовали. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку.

А я остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гамзата стали стрелять. Я подбежал к палатке. Умма-Хан лежал ничком в луже крови, а Абунунцал бился с мюридами. Половина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намернулся уже на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал.

Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело, и глаза налились кровью.

— На меня нашел страх, и я убежал.

— Вот как? — сказал Лорис-Меликов. — Я думал, что ты никогда ничего не боялся.

— Потом никогда; с тех пор я всегда вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, то уже ничего не боялся.

XII

— А теперь довольно. Молиться надо, — сказал Хаджи-Мурат, достал из внутреннего, грудного кармана черкески брегет Воронцова, бережно прижал пружинку и, склонив набок голову, удерживая детскую улыбку, слушал. Часы прозвонили двенадцать ударов и четверть.

— Кунак Воронцов пешкеш, — сказал он, улыбаясь. — Хороший человек.

— Да, хороший, — сказал Лорис-Меликов. — И часы хорошие. Так ты молись, а я подожду.

— Якши, хорошо,— сказал Хаджи-Мурат и ушел в спальню.

Оставшись один, Лорис-Меликов записал в своей книжечке самое главное из того, что рассказывал ему Хаджи-Мурат, потом закурил папиросу и стал ходить взад и вперед по комнате. Подойдя к двери, противоположной спальне, Лорис-Меликов услыхал оживленные голоса по-татарски быстро говоривших о чем-то людей. Он догадался, что это были мюриды Хаджи-Мурата, и, отворив дверь, вошел к ним.

В комнате стоял тот особенный, кислый, кожаный запах, который бывает у горцев. На полу на бурке, у окна, сидел кривой рыжий Гамзало, в оборванном, засаленном бешмете, и вязал уздечку. Он что-то горячо говорил своим хриплым голосом, но при входе Лорис-Меликова тотчас же замолчал и, не обращая на него вни-

мания, продолжал свое дело. Против него стоял веселый Хан-Магома и, скаля белые зубы и блестя черными, без ресниц, глазами, повторял все одно и то же. Красавец Элдар, засучив рукава на своих сильных руках, оттирал подпруги подвешенного на гвозде седла. Ханефи, главного работника и заведующего хозяйством, не было в комнате. Он на кухне варил обед.

— О чем это вы спорили? — спросил Лорис-Меликов у Хан-Магомы, поздоровавшись с ним.

— А он все Шамиля хвалит, — сказал Хан-Магома, подавая руку Лорису. — Говорит, Шамиль — большой человек. И ученый, и святой, и джигит.

— Как же он от него ушел, а все хвалит?

— Ушел, а хвалит, — скаля зубы и блестя глазами, проговорил Хан-Магома.

— Что же, и считаешь его святым? — спросил Лорис-Меликов.

— Кабы не был святой, народ бы не слушал его, — быстро проговорил Гамзало.

— Святой был не Шамиль, а Мансур,— сказал Хан-Магома. — Это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь народ был другой. Он ездил по аулам, и народ выходил к нему, целовал полы его черкески и каялся в грехах, и клялся не делать дурного. Старики говорили: тогда все люди жили, как святые, — не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали. Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шесты и ставили на дорогах. Тогда и бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь, — говорил Хан-Магома.

— И теперь в горах не пьют и не курят, — сказал Гамзало.

— Ламорой твой Шамиль, — сказал Хан-Магома, подмигивая Лорис-Меликову.

«Ламорой» было презрительное название горцев.

— Ламорой — горец. В горах-то и живут орлы,— отвечал Гамзало.

— А молодчина! Ловко срезал, — оскаливая зубы, заговорил Хан-Магома, радуясь на ловкий ответ своего противника.

Увидав серебряную папиросочницу в руке Лорис-Меликова, он попросил себе покурить. И когда Лорис-Меликов сказал, что им ведь запрещено курить, он подмигнул

одним глазом, мотнув головой на спальню Хаджи-Мурата, и сказал, что можно, пока не видят. И тотчас же стал курить, не затягиваясь и неловко складывая свои красные губы, когда выпускал дым.

— Нехорошо это, — строго сказал Гамзало и вышел из комнаты. Хан-Магома подмигнул и на него и, покуривая, стал расспрашивать Лорис-Меликова, где лучше купить шелковый бешмет и папаху белую.

— Что же, у тебя разве так денег много?

— Есть, достанет, — подмигивая, отвечал Хан-Магома.

— Ты спроси у него, откуда у него деньги, — сказал Элдар, поворачивая свою красивую улыбающуюся голову к Лорису.

— А выиграл, — быстро заговорил Хан-Магома, он рассказал, как он вчера, гуляя по Тифлису, набрел на кучку людей, русских денщиков и армян, игравших в орлянку. Кон был большой: три золотых и серебра много. Хан-Магома тотчас же понял, в чем игра, и, позванивая медными, которые были у него в кармане, вошел в круг и сказал, что держит на все.

— Как же на все? Разве у тебя было? — спросил Лорис-Меликов.

— У меня всего было двенадцать копеек, — оскаливая зубы, сказал Хан-Магома.

— Ну, а если бы проиграл?

— А вот.

И Хан-Магома указал на пистолет.

— Что же, отдал бы?

— Зачем отдавать? Убежал бы, а кто бы задержал, убил бы. И готово.

— Что же, и выиграл?

— Айя, собрал все и ушел.

Хан-Магому и Элдара Лорис-Меликов вполне понимал. Хан-Магома был весельчак, кутила, не знавший, куда деть избыток жизни, всегда веселый, легкомысленный, играющий своею и чужими жизнями, из-за этой игры жизнью вышедший теперь к русским и точно так же завтра из-за этой игры могущий перейти опять назад к Шамилю. Элдар был тоже вполне понятен: это был человек, вполне преданный своему мюршиду, спокойный, сильный и твердый. Непонятен был для Лорис-Меликова только рыжий Гамзало. Лорис-Меликов видел, что человек этот не только был предан Шамилю, но испытывал

непреодолимое отвращение, презрение, гадливость и ненависть ко всем русским; и потому Лорис-Меликов не мог понять, зачем он вышел к русским. Лорис-Меликову приходила мысль, разделяемая и некоторыми начальствующими лицами, что выход Хаджи-Мурата и его рассказы о вражде с Шамилем был обман, что он вышел только, чтобы высмотреть слабые места русских и, убежав опять в горы, направить силы туда, где русские были слабы. И Гамзало всем своим существом подтверждал это предположение. «Те и сам Хаджи-Мурат,— думал Лорис-Меликов,— умеют скрывать свои намерения, но этот выдает себя своей нескрываемой ненавистью».

Лорис-Меликов попытался говорить с ним. Он спросил, скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, косясь своим одним глазом на Лорис-Меликова, хрипло и отрывисто прорычал:

— Нет, не скучно.

И так же отвечал на все другие вопросы.

Пока Лорис-Меликов был в комнате нукеров, вошел и четвертый мюрид Хаджи-Мурата, аварец Ханефи, с волосатым лицом и шеей и мохнатой, точно мехом обросшей, выпуклой грудью. Это был нерассуждающий, здоровенный работник, всегда поглощенный своим делом, без рассуждения, как и Элдар, повинующийся своему хозяину.

Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Лорис-Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хаджи-Мурата.

— Пять лет,— отвечал Ханефи на вопрос Лорис-Меликова. — Я из одного аула с ним. Мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня,— сказал он, спокойно из-под сросшихся бровей глядя в лицо Лорис-Меликова. — Тогда я попросил принять меня братом.

— Что значит: принять братом?

— Я не брил два месяца головы, ногтей не стриг и пришел к ним. Они пустили меня к Патимат, к его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал его братом.

В соседней комнате послышался голос Хаджи-Мурата. Элдар тотчас же узнал призыв хозяина и, отерев руки, широко шагая, поспешно пошел в гостиную.

— Зовет к себе,— сказал он, возвращаясь.

И, дав еще папироску веселому Хан-Магоме, Лорис-Меликов пошел в гостиную.

XIII

Когда Лорис-Меликов вошел в гостиную, Хаджи-Мурат с веселым лицом встретил его.

— Что же, продолжать? — сказал он, усаживаясь на тахту.

— Да, непременно,— сказал Лорис-Меликов. — А я заходил к твоим нукерам, поговорил с ними. Один — веселый малый,— прибавил Лорис-Меликов.

— Да, Хан-Магома — легкий человек,— сказал Хаджи-Мурат.

— А понравился мне молодой, красивый.

— А, Элдар. Этот молод, а тверд, железный.

Они помолчали.

— Так говорить дальше?

— Да, да.

— Я сказал, как ханов убили. Ну, убили их, и Гамзат въехал в Хунзах и сел в ханском дворце,— начал Хаджи-Мурат. — Оставалась мать-ханша. Гамзат призвал ее к себе. Она стала выговаривать ему. Он мигнул своему мюриду Асельдеру, и тот сзади ударил, убил ее.

— Зачем же он убил ее-то? — спросил Лорис-Меликов.

— А как же быть: перелез передними ногами, перелезай и задними. Надо было всю породу покончить. Так и сделали. Шамиль меньшого убил, сбросил с кручи. Вся Авария покорилась Гамзату, только мы с братом не хотели покориться. Нам надо было кровь его за ханов. Мы делали вид, что покорились, а думали только, как взять с него кровь. Мы посоветовались с дедом и решили выждать время, когда он выедет из дворца, и из засады убить его. Кто-то подслушал нас, сказал Гамзату, и он призвал к себе деда и сказал: «Смотри, если правда, что твои внуки задумывают худое против меня, висеть тебе с ними на одной перекладине. Я делаю дело божье, и мне помешать нельзя. Иди и помни, что я сказал». Дед пришел домой и сказал нам. Тогда мы решили не ждать, сделать дело в первый день праздника в мечети. Товарищи отказались,— остались мы с братом. Мы взяли по два пистолета, надели бурки и пошли в мечеть. Гамзат вошел с тридцатью мюридами. Все они держали шашки наголо. Рядом с Гамзатом шел Асельдер, его любимый мюрид,— тот самый, который отрубил голову ханше. Увидав нас, он крикнул, чтобы мы сняли бурки, и подошел ко мне. Кинжал у меня был в руке, и я убил его и бросился

к Гамзату. Но брат Осман уже выстрелил в него. Гамзат еще был жив и с кинжалом бросился на брата, но я добил его в голову. Мюридов было тридцать человек, нас — двое. Они убили брата Османа, а я отбился, выскочил в окно и ушел. Когда узнали, что Гамзат убит, весь народ поднялся, и мюриды бежали, а тех, какие не бежали, всех перебили.

Хаджи-Мурат остановился и тяжело перевел дух.

— Это все было хорошо,— продолжал он,— потом все испортилось. Шамиль стал на место Гамзата. Он прислал ко мне послов сказать, чтобы я шел с ним против русских; если же я откажусь, то он грозил, что разорит Хунзах и убьет меня. Я сказал, что не пойду к нему и не пущу его к себе.

— Отчего же ты не пошел к нему? — спросил Лорис-Меликов.

Хаджи-Мурат нахмурился и не сейчас ответил.

— Нельзя было. На Шамиле была кровь и брата Османа и Абунунцал-Хана. Я не пошел к нему. Розен-генерал прислал мне чин офицера и велел быть начальником Аварии. Все бы было хорошо, но Розен назначил над Аварией сначала хана казикумыхского, Магомет-Мирзу, а потом Ахмет-Хана. Этот возненавидел меня. Он сватал за сына дочь ханши, Салтанет. Ее не отдали ему, и он думал, что я виноват в этом. Он возненавидел меня и подсылал своих нукеров убить меня, но я ушел от них. Тогда он наговорил на меня генералу Клюгенау, сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Он сказал ему еще, что я надел чалму, вот эту,— сказал Хаджи-Мурат, указывая на чалму на папахе,— и что это значит, что я передался Шамилю. Генерал не поверил и не велел трогать меня. Но когда генерал уехал в Тифлис, Ахмет-Хан сделал по-своему: с ротой солдат схватил меня, заковал в цепи и привязал к пушке. Шесть суток держали меня так. На седьмые сутки отвязали и повели в Темир-Хан-Шуру. Вели сорок солдат с заряженными ружьями. Руки были связаны, и велено было убить меня, если я захочу бежать. Я знал это. Когда мы стали подходить, подле Моксоха тропка была узкая, направо кручь сажен в пятьдесят, я перешел от солдата направо, на край кручи. Солдат хотел остановить меня, но я прыгнул под кручь и потащил за собой солдата. Солдат убился насмерть, а я вот жив остался. Ребры, голову, руки, ногу — все поломал. Пополз было — и не мог. Закружилась голова, и

заснул. Проснулся мокрый, в крови. Пастух увидал. Позвал народ, снесли меня в аул. Ребры, голова зажили, зажила и нога, только стала короткая.

И Хаджи-Мурат вытянул кривую ногу.

— Служит, и то хорошо,— сказал он. — Народ узнал, стал ездить ко мне. Я выздоровел, переехал в Цельмес. Аварцы опять звали меня управлять ими,— с спокойной, уверенной гордостью сказал Хаджи-Мурат. — И я согласился.

Хаджи-Мурат быстро встал. И, достав в переметных сумах портфель, вынул оттуда два пожелтевшие письма и подал их Лорис-Меликову. Письма были от генерала Клюгенау. Лорис-Меликов прочел. В первом письме было:

«Прапорщик Хаджи-Мурат! Ты служил у меня — я был доволен тобою и считал тебя добрым человеком. Недавно генерал-майор Ахмет-Хан уведомил меня, что ты изменник, что ты надел чалму, что ты имеешь сношения с Шамилем, что ты научил народ не слушать русского начальства. Я приказал арестовать тебя и доставить тебя ко мне, ты — бежал; не знаю, к лучшему ли это, или к худшему, потому что не знаю — виноват ли ты, или нет. Теперь слушай меня. Ежели совесть твоя чиста противу великого царя, если ты не виноват ни в чем, явись ко мне. Не бойся никого — я твой защитник. Хан тебе ничего не сделает; он сам у меня под начальством, так и нечего тебе бояться».

Дальше Клюгенау писал о том, что он всегда держал свое слово и был справедлив, и еще увещевал Хаджи-Мурата выйти к нему.

Когда Лорис-Меликов кончил первое письмо, Хаджи-Мурат достал другое письмо, но, не отдавая его еще в руки Лорис-Меликова, рассказал, как он отвечал на это первое письмо.

— Я написал ему, что чалму я носил, но не для Шамиля, а для спасения души, что к Шамилю я перейти не хочу и не могу, потому что через него убиты мои отец, братья и родственники, но что и к русским не могу выйти, потому что меня обесчестили. В Хунзахе, когда я был связан, один негодяй на...л на меня. И я не могу выйти к вам, пока человек этот не будет убит. А главное, боюсь обманщика Ахмет-Хана. Тогда генерал прислал мне это письмо,— сказал Хаджи-Мурат, подавая Лорис-Меликову другую пожелтевшую бумажку.

«Ты мне отвечал на мое письмо, спасибо,— прочитал Лорис-Меликов. — Ты пишешь, что ты не боишься воротиться, но бесчестие, нанесенное тебе одним гяуром, запрещает это; а я тебя уверяю, что русский закон справедлив, и в глазах твоих ты увидишь наказание того, кто смел тебя оскорбить,— я уже приказал это исследовать. Послушай, Хаджи-Мурат. Я имею право быть недовольным на тебя, потому что ты не веришь мне и моей чести, но я прощаю тебе, зная недоверчивость характера вообще горцев. Ежели ты чист совестью, если чалму ты надевал, собственно, только для спасения души, то ты прав и смело можешь глядеть русскому правительству и мне в глаза; а тот, кто тебя обесчестил, уверяю, будет наказан, *имущество твое будет возвращено,* и ты увидишь и узнаешь, что значит русский закон. Тем более что русские иначе смотрят на все; в глазах их ты не уронил себя, что тебя какой-нибудь мерзавец обесчестил. Я сам позволил гимринцам чалму носить и смотрю на их действия как следует; следовательно, повторяю, тебе нечего бояться. Приходи ко мне с человеком, которого я к тебе теперь посылаю; он мне верен, *он не раб твоих врагов,* а друг человека, который пользуется у правительства особенным вниманием».

Дальше Клюгенау опять уговаривал Хаджи-Мурата выйти.

— Я не поверил этому,— сказал Хаджи-Мурат, когда Лорис-Меликов кончил письмо,— и не поехал к Клюгенау. Мне, главное, надо было отомстить Ахмет-Хану, а этого я не мог сделать через русских. В это же время Ахмет-Хан окружил Цельмес и хотел схватить или убить меня. У меня было слишком мало народа, я не мог отбиться от него. И вот в это-то время ко мне приехал посланный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмет-Хана и убить его и давал мне в управление всю Аварию. Я долго думал и перешел к Шамилю. И вот с тех пор я не переставая воевал с русскими.

Тут Хаджи-Мурат рассказал все свои военные дела. Их было очень много, и Лорис-Меликов отчасти знал их. Все походы и набеги его были поразительны по необыкновенной быстроте переходов и смелости нападений, всегда увенчивавшихся успехами.

— Дружбы между мной и Шамилем никогда не было,— докончил свой рассказ Хаджи-Мурат,— но он боялся меня, и я был ему нужен. Но тут случилось то, что

у меня спросили, кому быть имамом после Шамиля? Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка востра. Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня. Он послал меня в Табасарань. Я поехал, отбил тысячу баранов, триста лошадей. Но он сказал, что я не то сделал, и сменил меня с наибства и велел прислать ему все деньги. Я послал тысячу золотых. Он прислал своих мюридов и отобрал у меня все мое именье. Он требовал меня к себе; я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня. Я отбился и вышел к Воронцову. Только семьи я не взял. И мать, и жена, и сын у него. Скажи сардарю: пока семья там, я ничего не могу делать.

— Я скажу,— сказал Лорис-Меликов.

— Хлопочи, старайся. Что мое, то твое, только помоги у князя. Я связан, и конец веревки — у Шамиля в руке.

Этими словами закончил Хаджи-Мурат свой рассказ Лорис-Меликову.

XIV

Двадцатого декабря Воронцов писал следующее военному министру Чернышеву. Письмо было по-французски.

«Я не писал вам с последней почтой, любезный князь, желая сперва решить, что мы сделаем с Хаджи-Муратом, и чувствуя себя два-три дня не совсем здоровым. В моем последнем письме я извещал вас о прибытии сюда Хаджи-Мурата: он приехал в Тифлис 8-го; на следующий день я познакомился с ним, и дней восемь или девять я говорил с ним и обдумывал, что он может сделать для нас впоследствии, а особенно, что нам делать с ним теперь, так как он очень сильно заботится о судьбе своего семейства и говорит со всеми знаками полной откровенности, что, пока его семейство в руках Шамиля, он парализован и не в силах услужить нам и доказать свою благодарность за ласковый прием и прощение, которые ему оказали. Неизвестность, в которой он находится насчет дорогих ему особ, вызывает в нем лихорадочное состояние, и лица, назначенные мною, чтобы жить с ним здесь, уверяют меня, что он не спит по ночам, почти что ничего не ест, постоянно молится и только просит позволения покататься верхом с несколькими казаками,— единственно для него возможное развлечение и движение, необходимое

вследствие долголетней привычки. Каждый день он приходил ко мне узнавать, имею ли я какие-нибудь известия о его семействе, и просит меня, чтобы я велел собрать на наших различных линиях всех пленных, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предложить их Шамилю для обмена, к чему он прибавит немного денег. Есть люди, которые ему дадут их для этого. Он мне все повторял; спасите мое семейство и потом дайте мне возможность услужить вам (лучше всего на лезгинской линии, по его мнению), если по истечении месяца я не окажу вам большой услуги, накажите меня, как сочтете нужным.

Я ему ответил, что все это кажется мне весьма справедливым и что у нас найдется даже много лиц, которые не поверили бы ему, если бы его семейство оставалось в горах, а не у нас в качестве залога; что я сделаю все возможное для сбора на наших границах пленных и что, не имея права, по нашим уставам, дать ему денег для выкупа в прибавку к тем, которые он достанет сам, я, может быть, найду другие средства помочь ему. После этого я ему сказал откровенно мое мнение о том, что Шамиль ни в каком случае не выдаст ему семейства, что он, может быть, прямо объявит ему это, обещает ему полное прощение и прежние должности, погрозит, если он не вернется, погубить его мать, жену и шестерых детей. Я спросил его, может ли он сказать откровенно, что бы он сделал, если бы получил такое объявление Шамиля. Хаджи-Мурат поднял глаза и руки к небу и сказал мне, что всё в руках бога, но что он никогда не отдастся в руки своему врагу, потому что он вполне уверен, что Шамиль его не простит и что он бы тогда недолго остался в живых. Что касается истребления его семейства, то он не думает, что Шамиль поступит так легкомысленно: во-первых, чтобы не сделать его врагом еще отчаяннее и опаснее; а во-вторых, есть в Дагестане множество лиц очень даже влиятельных, которые отговорят его от этого. Наконец он повторил мне несколько раз, что какая бы ни была воля бога для будущего, но что его теперь занимает только мысль о выкупе семейства; что он умоляет меня, во имя бога, помочь ему и позволить ему вернуться в окрестности Чечни, где бы он, через посредство и с дозволения наших начальников, мог иметь сношения с своим семейством, постоянные известия о его настоящем положении и о средствах освободить его; что многие лица и даже

некоторые наибы в этой части неприятельской страны более или менее привязаны к нему; что во всем этом населении, уже покоренном русскими или нейтральном, ему легко будет иметь, с нашей помощью, сношения, очень полезные для достижения цели, преследовавшей его днем и ночью, исполнение которой так его успокоит и даст ему возможность действовать для нашей пользы и заслужить наше доверие. Он просит отослать его опять в Грозную, с конвоем из двадцати или тридцати отважных казаков, которые бы служили ему для защиты от врагов, а нам — для ручательства в истине высказанных им намерений.

Вы поймете, любезный князь, что все это очень озадачило меня, так как, что ни сделай, большая ответственность лежит на мне. Было бы в высшей степени неосторожно вполне доверять ему; но если бы мы хотели отнять у него средства для бегства, то мы должны были бы запереть его; а это, по моему мнению, было бы и несправедливо и неполитично. Такая мера, известие о которой скоро распространилось бы по всему Дагестану, очень повредила бы нам там, отнимая охоту у всех тех (а их много), которые готовы идти более или менее открыто против Шамиля и которые так интересуются положением у нас самого храброго и предприимчивого помощника имама, увидевшего себя принужденным отдаться в наши руки. Раз что мы поступили бы с Хаджи-Муратом, как с пленным, весь благоприятный эффект его измены Шамилю пропал бы для нас.

Поэтому я думаю, что не мог поступить иначе, как поступил, чувствуя, однако, что можно будет обвинить меня в большой ошибке, если бы вздумалось Хаджи-Мурату уйти снова. В службе и в таких запутанных делах трудно, чтобы не сказать невозможно, идти по одной прямой дороге, не рискуя ошибиться и не принимая на себя ответственности; но раз что дорога кажется прямою, надо идти по ней,— будь что будет.

Прошу вас, любезный князь, повергнуть это на рассмотрение его величеству государю императору, и я буду счастлив, если августейший наш повелитель соизволит одобрить мой поступок. Все, что я вам писал выше, я также написал генералам Завадовскому и Козловскому, для непосредственных сношений Козловского с Хаджи-Муратом, которого я предупредил о том, что он без одобрения последнего ничего сделать и никуда выехать не

может. Я ему объявил, что для нас еще лучше, если он будет выезжать с нашим конвоем, а то Шамиль станет разглашать, что мы держим Хаджи-Мурата взаперти; но при этом я взял с него обещание, что он никогда не поедет в Воздвиженское, так как мой сын, которому он сперва сдался и которого считает своим кунаком (приятелем), не начальник этого места, и могли бы произойти недоразумения. Впрочем, Воздвиженское слишком близко от многочисленного враждебного нам населения, между тем как для сношений, которые он желает иметь со своими поверенными, Грозная удобна во всех отношениях.

Кроме двадцати избранных казаков, которые, по его же просьбе, ни на шаг не отстанут от него, я послал ротмистра Лорис-Меликова, достойного, отличного и очень умного офицера, говорящего по-татарски, знающего хорошо Хаджи-Мурата, который, кажется, тоже вполне доверяет ему. Десять дней, которые Хаджи-Мурат провел здесь, он, впрочем, жил в одном доме с подполковником князем Тархановым, начальником Шушинского уезда, находящимся здесь по делам службы; это истинно достойный человек, и я ему вполне доверяю. Он также заслужил доверие Хаджи-Мурата, и через него одного, так как он отлично говорит по-татарски, мы рассуждали о самых деликатных и секретных делах.

Я советовался с Тархановым насчет Хаджи-Мурата, и он совершенно согласился со мной в том, что или следовало поступить, как я поступил, или заключить Хаджи-Мурата в тюрьму и сторожить его со всеми возможными строгими мерами,— потому что уже раз обращаться с ним худо, его не легко стеречь,— или же удалить его совсем из страны. Но эти две последние меры не только бы уничтожили всю выгоду, вытекающую для нас из ссоры между Хаджи-Муратом и Шамилем, но приостановили бы неизбежно всякое развитие ропота и возможность возмущения горцев против власти Шамиля. Князь Тарханов мне сказал, что сам уверен в правдивости Хаджи-Мурата и что Хаджи-Мурат не сомневается в том, что Шамиль никогда его не простит и велит казнить, несмотря на обещанное прощение. Единственная вещь, которая могла озаботить Тарханова в его сношениях с Хаджи-Муратом, это — его привязанность к своей религии, и он не скрывает, что Шамилю можно будет действовать на него с этой стороны. Но, как я уже говорил выше, он никогда не убедит Хаджи-Мурата в том, что не лишит его жизни

или сейчас, или спустя несколько времени после его возвращения.

Вот все, любезный князь, что я хотел сказать вам насчет этого эпизода здешних дел».

XV

Донесение это было отправлено из Тифлиса 24 декабря. Накануне же нового, 52-го года, фельдъегерь, загнав десяток лошадей и избив в кровь десяток ямщиков, доставил его к князю Чернышеву, тогдашнему военному министру.

И 1 января 1852 года Чернышев повез к императору Николаю в числе других дел и это донесение Воронцова.

Чернышев не любил Воронцова — и за всеобщее уважение, которым пользовался Воронцов, и за его огромное богатство, и за то, что Воронцов был настоящий барин, а Чернышев все-таки parvenu[1], главное — за особенное расположение императора к Воронцову. И потому Чернышев пользовался всяким случаем, насколько мог, вредить Воронцову. В прошлом докладе о кавказских делах Чернышеву удалось вызвать неудовольствие Николая на Воронцова за то, что по небрежности начальства был горцами почти весь истреблен небольшой кавказский отряд. Теперь он намеревался представить с невыгодной стороны распоряжение Воронцова о Хаджи-Мурате. Он хотел внушить государю, что Воронцов всегда, особенно в ущерб русским, оказывающий покровительство и даже послабление туземцам, оставив Хаджи-Мурата на Кавказе, поступил неблагоразумно; что, по всей вероятности, Хаджи-Мурат только для того, чтобы высмотреть наши средства обороны, вышел к нам и что поэтому лучше отправить Хаджи-Мурата в центр России и воспользоваться им уже тогда, когда его семья будет выручена из гор и можно будет увериться в его преданности.

Но план этот не удался Чернышеву только потому, что в это утро 1 января Николай был особенно не в духе и не принял бы какое бы ни было и от кого бы то ни было предложение только из чувства противоречия; тем более он не был склонен принять предложение Чернышева, которого он только терпел, считая его пока незаме-

[1] Выскочка *(франц.)*.

нимым человеком, но, зная его старания погубить в процессе декабристов Захара Чернышева и попытку завладеть его состоянием, считал большим подлецом. Так что благодаря дурному расположению духа Николая Хаджи-Мурат остался на Кавказе, и судьба его не изменилась так, как она могла бы измениться, если бы Чернышев делал свой доклад в другое время.

Было половина десятого, когда в тумане двадцатиградусного мороза толстый, бородатый кучер Чернышева, в лазоревой бархатной шапке с острыми концами, сидя на козлах маленьких саней, таких же, как те, в которых катался Николай Павлович, подкатил к малому подъезду Зимнего дворца и дружески кивнул своему приятелю, кучеру князя Долгорукого, который, ссадив барина, уже давно стоял у дворцового подъезда, подложив под толстый ваточный зад вожжи и потирая озябшие руки.

Чернышев был в шинели с пушистым седым бобровым воротником и в треугольной шляпе с петушиными перьями, надетой по форме. Откинув медвежью полость, он осторожно выпростал из саней свои озябшие ноги без калош (он гордился тем, что не знал калош) и, бодрясь, позванивая шпорами, прошел по ковру в почтительно отворенную перед ним дверь швейцаром. Скинув в передней на руки подбежавшего старого камер-лакея шинель, Чернышев подошел к зеркалу и осторожно снял шляпу с завитого парика. Поглядев на себя в зеркало, он привычным движеньем старческих рук подвил виски и хохол и поправил крест, аксельбанты и большие с вензелями эполеты и, слабо шагая плохо повинующимися старческими ногами, стал подниматься вверх по ковру отлогой лестницы.

Пройдя мимо стоявших в парадной форме у дверей подобострастно кланявшихся ему камер-лакеев, Чернышев вошел в приемную. Дежурный, вновь назначенный флигель-адъютант, сияющий новым мундиром, эполетами, аксельбантами и румяным, еще не истасканным лицом с черными усиками и височками, зачесанными к глазам так же, как их зачесывал Николай Павлович, почтительно встретил его. Князь Василий Долгорукий, товарищ военного министра, с скучающим выражением тупого лица, украшенного такими же бакенбардами, усами и висками, какие носил Николай, встал навстречу Чернышева и поздоровался с ним.

— L'empereur?[1] — обратился Чернышев к флигель-адъютанту, вопросительно указывая глазами на дверь кабинета.

— Sa Majesté vient de rentrer[2], — очевидно с удовольствием слушая звук своего голоса, сказал флигель-адъютант и, мягко ступая, так плавно, что полный стакан воды, поставленный ему на голову, не пролился бы, подошел к беззвучно отворявшейся двери и, всем существом своим выказывая почтение к тому месту, в которое он вступал, исчез за дверью.

Долгорукий между тем раскрыл свой портфель, проверяя находящиеся в нем бумаги.

Чернышев же, нахмурившись, прохаживался, разминая ноги и вспоминая все то, что надо было доложить императору. Чернышев был подле двери кабинета, когда она опять отворилась и из нее вышел еще более, чем прежде, сияющий и почтительный флигель-адъютант и жестом пригласил министра и его товарища к государю.

Зимний дворец после пожара был давно уже отстроен, и Николай жил в нем еще в верхнем этаже. Кабинет, в котором он принимал с докладом министров и высших начальников, была очень высокая комната с четырьмя большими окнами. Большой портрет императора Александра I висел на главной стене. Между окнами стояли два бюро. По стенам стояло несколько стульев, в середине комнаты — огромный письменный стол, перед столом кресло Николая, стулья для принимаемых.

Николай, в черном сюртуке без эполет, с полупогончиками, сидел у стола, откинув свой огромный, туго перетянутый по отросшему животу стан, и неподвижно своим безжизненным взглядом смотрел на входивших. Длинное белое лицо с огромным покатым лбом, выступавшим из-за приглаженных височков, искусно соединенных с париком, закрывавшим лысину, было сегодня особенно холодно и неподвижно. Глаза его, всегда тусклые, смотрели тусклее обыкновенного, сжатые губы из-под загнутых кверху усов, и подпертые высоким воротником ожиревшие свежевыбритые щеки с оставленными правильными колбасиками бакенбард, и прижимаемый к воротнику подбородок придавали его лицу выражение недовольства и даже гнева. Причиной этого настроения была усталость. Причина же

---

[1] Император? *(франц.)*

[2] Его величество только что вернулись *(франц.)*.

усталости было то, что накануне он был в маскараде и, как обыкновенно, прохаживаясь в своей кавалергардской каске с птицей на голове, между теснившейся к нему и робко сторонившейся от его огромной и самоуверенной фигуры публикой, встретил опять ту маску, которая в прошлый маскарад, возбудив в нем своей белизной, прекрасным сложением и нежным голосом старческую чувственность, скрылась от него, обещая встретить его в следующем маскараде. Во вчерашнем маскараде она подошла к нему, и он уже не отпустил ее. Он повел ее в ту специально для этой цели державшуюся в готовности ложу, где он мог наедине остаться с своей дамой. Дойдя молча до двери ложи, Николай оглянулся, отыскивая глазами капельдинера, но его не было. Николай нахмурился и сам толкнул дверь ложи, пропуская вперед себя свою даму.

— Il y a quelqu'un [1], — сказала маска, останавливаясь. Ложа действительно была занята. На бархатном диванчике, близко друг к другу, сидели уланский офицер и молоденькая, хорошенькая белокуро-кудрявая женщина в домино, с снятой маской. Увидав выпрямившуюся во весь рост и гневную фигуру Николая, белокурая женщина поспешно закрылась маской, уланский же офицер, остолбенев от ужаса, не вставая с дивана, глядел на Николая остановившимися глазами.

Как ни привык Николай к возбуждаемому им в людях ужасу, этот ужас был ему всегда приятен, и он любил иногда поразить людей, повергнутых в ужас, контрастом обращенных к ним ласковых слов. Так поступил он и теперь.

— Ну, брат, ты помоложе меня,— сказал он окоченевшему от ужаса офицеру,— можешь уступить мне место.

Офицер вскочил и, бледнея и краснея, согнувшись вышел молча за маской из ложи, и Николай остался один с своей дамой.

Маска оказалась хорошенькой двадцатилетней невинной девушкой, дочерью шведки-гувернантки. Девушка эта рассказала Николаю, как она с детства еще, по портретам, влюбилась в него, боготворила его и решила во что бы то ни стало добиться его внимания. И вот она добилась, и, как она говорила, ей ничего больше не нужно

[1] Здесь кто-то есть *(франц.)*.

было. Девица эта была свезена в место обычных свиданий Николая с женщинами, и Николай провел с ней более часа.

Когда он в эту ночь вернулся в свою комнату и лег на узкую, жесткую постель, которой он гордился, и покрылся своим плащом, который он считал (и так и говорил) столь же знаменитым, как шляпа Наполеона, он долго не мог заснуть. Он то вспоминал испуганное и восторженное выражение белого лица этой девицы, то могучие, полные плечи своей всегдашней любовницы Нелидовой и делал сравнение между тою и другою. О том, что распутство женатого человека было не хорошо, ему и не приходило в голову, и он очень удивился бы, если бы кто-нибудь осудил его за это. Но, несмотря на то, что он был уверен, что поступал так, как должно, у него оставалась какая-то неприятная отрыжка, и, чтобы заглушить это чувство, он стал думать о том, что всегда успокаивало его: о том, какой он великий человек.

Несмотря на то, что он поздно заснул, он, как всегда, встал в восьмом часу, и, сделав свой обычный туалет, вытерев льдом свое большое, сытое тело и помолившись богу, он прочел обычные, с детства произносимые молитвы: «Богородицу», «Верую», «Отче наш», не приписывая произносимым словам никакого значения,— и вышел из малого подъезда на набережную, в шинели и фуражке.

Посредине набережной ему встретился такого же, как он сам, огромного роста ученик училища правоведения, в мундире и шляпе. Увидав мундир училища, которое он не любил за вольнодумство, Николай Павлович нахмурился, но высокий рост, и старательная вытяжка, и отдавание чести с подчеркнуто выпяченным локтем ученика смягчило его неудовольствие.

— Как фамилия? — спросил он.

— Полосатов! ваше императорское величество.

— Молодец!

Ученик все стоял с рукой у шляпы. Николай остановился.

— Хочешь в военную службу?

— Никак нет, ваше императорское величество.

— Болван! — и Николай, отвернувшись, пошел дальше и стал громко произносить первые попавшиеся ему слова. «Копервейн, Копервейн,— повторял он несколько раз имя вчерашней девицы. — Скверно, скверно». Он не думал о том, что говорил, но заглушал свое чувство вниманием

к тому, что говорил. «Да, что бы была без меня Россия,— сказал он себе, почувствовав опять приближение недовольного чувства. — Да, что бы была без меня не Россия одна, а Европа». И он вспомнил про шурина, прусского короля, и его слабость и глупость и покачал головой.

Подходя назад к крыльцу, он увидал карету Елены Павловны, которая с красным лакеем подъезжала к Салтыковскому подъезду. Елена Павловна для него была олицетворением тех пустых людей, которые рассуждали не только о науках, поэзии, но и об управлении людей, воображая, что они могут управлять собою лучше, чем он, Николай, управлял ими. Он знал, что, сколько он ни давил этих людей, они опять выплывали и выплывали наружу. И он вспомнил недавно умершего брата Михаила Павловича. И досадное и грустное чувство охватило его. Он мрачно нахмурился и опять стал шептать первые попавшиеся слова. Он перестал шептать, только когда вошел во дворец. Войдя к себе и пригладив перед зеркалом бакенбарды и волоса на висках и накладку на темени, он, подкрутив усы, прямо пошел в кабинет, где принимались доклады.

Первого он принял Чернышева. Чернышев тотчас же по лицу и, главное, глазам Николая понял, что он нынче был особенно не в духе, и, зная вчерашнее его похождение, понял, отчего это происходило. Холодно поздоровавшись и пригласив сесть Чернышева, Николай уставился на него своими безжизненными глазами.

Первым делом в докладе Чернышева было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников; потом было дело о перемещении войск на прусской границе; потом назначение некоторым лицам, пропущенным в первом списке, наград к Новому году; потом было донесение Воронцова о выходе Хаджи-Мурата и, наконец, неприятное дело о студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь профессора.

Николай, молча сжав губы, поглаживал своими большими белыми руками, с одним золотым кольцом на безымянном пальце, листы бумаги и слушал доклад о воровстве, не спуская глаз со лба и хохла Чернышева.

Николай был уверен, что воруют все. Он знал, что надо будет наказать теперь интендантских чиновников, и решил отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не помешает тем, которые займут место уволенных, делать то же самое. Свойство чиновников состояло в том,

чтобы красть, его же обязанность состояла в том, чтобы наказывать их, и, как ни надоело это ему, он добросовестно исполнял эту обязанность.

— Видно, у нас в России один только честный человек,— сказал он.

Чернышев тотчас же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобрительно улыбнулся.

— Должно быть, так, ваше величество,— сказал он.

— Оставь, я положу резолюцию,— сказал Николай, взяв бумагу и переложив ее на левую сторону стола.

После этого Чернышев стал докладывать о наградах и о перемещении войск. Николай просмотрел список, вычеркнул несколько имен и потом кратко и решительно распорядился о передвижении двух дивизий к прусской границе.

Николай никак не мог простить прусскому королю данную им после 48-го года конституцию, и потому, выражая шурину самые дружеские чувства в письмах и на словах, он считал нужным иметь на всякий случай войска на прусской границе. Войска эти могли понадобиться и на то, чтобы в случае возмущения народа в Пруссии (Николай везде видел готовность к возмущению) выдвинуть их в защиту престола шурина, как он выдвинул войско в защиту Австрии против венгров. Нужны были эти войска на границе и на то, чтобы придавать больше весу и значения своим советам прусскому королю.

«Да, что было бы теперь с Россией, если бы не я»,— опять подумал он.

— Ну, что еще? — сказал он.

— Фельдъегерь с Кавказа,— сказал Чернышев и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи-Мурата.

— Вот как,— сказал Николай. — Хорошее начало.

— Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды,— сказал Чернышев.

Эта похвала его стратегическим способностям была особенно приятна Николаю, потому что, хотя он и гордился своими стратегическими способностями, в глубине души он сознавал, что их не было. И теперь он хотел слышать более подробные похвалы себе.

— Ты как же понимаешь? — спросил он.

— Понимаю так, что если бы давно следовали плану вашего величества — постепенно, хотя и медленно, подви-

гаться вперед, вырубая леса, истребляя запасы, то Кавказ давно бы уж был покорен. Выход Хаджи-Мурата я отношу только к этому. Он понял, что держаться им уже нельзя.

— Правда,— сказал Николай.

Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вельяминова, совершенно противоположный плану Николая, по которому нужно было разом завладеть резиденцией Шамиля и разорить это гнездо разбойников и по которому была предпринята в 1845 году Даргинская экспедиция, стоившая стольких людских жизней,— несмотря на это, Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубки лесов и истребления продовольствия тоже себе. Казалось, что, для того чтобы верить в то, что план медленного движения, вырубки лесов и истребления продовольствия был его план, надо было скрывать то, что он именно настаивал на совершенно противоположном военном предприятии 45-го года. Но он не скрывал этого и гордился и тем планом своей экспедиции 45-го года и планом медленного движения вперед, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная, явная, противная очевидности лесть окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и несогласны между собою, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал.

Таково было и его решение о студенте медико-хирургической академии, о котором после кавказского доклада стал докладывать Чернышев.

Дело состояло в том, что молодой человек, два раза не выдержавший экзамен, держал третий раз, и когда экзаменатор опять не пропустил его, болезненно-нервный студент, видя в этом несправедливость, схватил со стола перочинный ножик и в каком-то припадке исступления бросился на профессора и нанес ему несколько ничтожных ран.

— Как фамилия? — спросил Николай.

— Бжезовский.

— Поляк?

— Польского происхождения и католик,— отвечал Чернышев.

Николай нахмурился.

Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. И Николай считал их таковыми и ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им.

— Подожди немного, — сказал он и, закрыв глаза, опустил голову.

Чернышев знал, слышав это не раз от Николая, что, когда ему нужно решить какой-либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений, и что тогда на него находило наитие, и решение составлялось само собою самое верное, как бы какой-то внутренний голос говорил ему, что нужно сделать. Он думал теперь о том, как бы полнее удовлетворить тому чувству злобы к полякам, которое в нем расшевелилось историей этого студента, и внутренний голос подсказал ему следующее решение. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком: *«Заслуживает смертной казни. Но, слава богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить ее. Провести 12 раз скрозь тысячу человек. Николай»,* — подписал он своим неестественным, огромным росчерком.

Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутенов была не только верная, мучительная смерть, но излишняя жестокость, так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть неумолимо жестоким и приятно было думать, что у нас нет смертной казни.

Написав свою резолюцию о студенте, он подвинул ее Чернышеву.

— Вот, — сказал он. — Прочти.

Чернышев прочел и, в знак почтительного удивления мудрости решения, наклонил голову.

— Да вывести всех студентов на плац, чтобы они присутствовали при наказании, — прибавил Николай.

«Им полезно будет. Я выведу этот революционный дух, вырву с корнем»,— подумал он.

— Слушаю, — сказал Чернышев и, помолчав несколько и оправив свой хохол, возвратился к кавказскому докладу.

— Так как прикажете написать Михаилу Семеновичу?

— Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами, — сказал Николай.

— О Хаджи-Мурате что прикажете? — спросил Чернышев.

— Да ведь Воронцов пишет, что хочет употребить его на Кавказе.

— Не рискованно ли это? — сказал Чернышев, избегая взгляда Николая. — Михаил Семенович, боюсь, слишком доверчив.

— А ты что думал бы? — резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышева выставить в дурном свете распоряжение Воронцова.

— Да я думал бы, безопаснее отправить его в Россию.

— Ты думал, — насмешливо сказал Николай. — А я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему.

— Слушаю, — сказал Чернышев и, встав, стал откланиваться.

Откланялся и Долгорукий, который во все время доклада сказал только несколько слов о перемещении войск на вопросы Николая.

После Чернышева был принят приехавший откланяться генерал-губернатор Западного края, Бибиков. Одобрив принятые Бибиковым меры против бунтующих крестьян, не хотевших переходить в православие, он приказал ему судить всех неповинующихся военным судом. Это значило приговаривать к прогнанию сквозь строй. Кроме того, он приказал еще отдать в солдаты редактора газеты, напечатавшего сведения о перечислении нескольких тысяч душ государственных крестьян в удельные.

— Я делаю это потому, что считаю это нужным, — сказал он. — А рассуждать об этом не позволяю.

Бибиков понимал всю жестокость распоряжения об униатах и всю несправедливость перевода государственных, то есть единственных в то время свободных людей, в удельные, то есть в крепостные царской фамилии. Но возражать нельзя было. Не согласиться с распоряжением Николая — значило лишиться всего того блестящего положения, которое он приобретал сорок лет и которым пользовался. И потому он покорно наклонил свою черную седеющую голову в знак покорности и готовности исполнения жестокой, безумной и нечестной высочайшей воли.

Отпустив Бибикова, Николай с сознанием хорошо исполненного долга потянулся, взглянул на часы и пошел

одеваться для выхода. Надев на себя мундир с эполетами, орденами и лентой, он вышел в приемные залы, где более ста человек мужчин в мундирах и женщин в вырезных нарядных платьях, расставленные все по определенным местам, с трепетом ожидали его выхода.

С безжизненным взглядом, с выпяченною грудью и перетянутым и выступающим из-за перетяжки и сверху и снизу животом, он вышел к ожидавшим, и, чувствуя, что все взгляды с трепетным подобострастием обращены на него, он принял еще более торжественный вид. Встречаясь глазами с знакомыми лицами, он, вспоминая кто — кто, останавливался и говорил иногда по-русски, иногда по-французски несколько слов и, пронизывая их холодным, безжизненным взглядом, слушал, что ему говорили.

Приняв поздравления, Николай прошел в церковь.

Бог через своих слуг, так же как и мирские люди, приветствовал и восхвалял Николая, и он как должное, хотя и наскучившее ему, принимал эти приветствия, восхваления. Все это должно было так быть, потому что от него зависело благоденствие и счастье всего мира, и хотя он уставал от этого, он все-таки не отказывал миру в своем содействии. Когда в конце обедни великолепный расчесанный дьякон провозгласил «многая лета» и певчие прекрасными голосами дружно подхватили эти слова, Николай, оглянувшись, заметил стоявшую у окна Нелидову с ее пышными плечами и в ее пользу решил сравнение с вчерашней девицей.

После обедни он пошел к императрице и в семейном кругу провел несколько минут, шутя с детьми и женой. Потом он через Эрмитаж зашел к министру двора Волконскому и между прочим поручил ему выдавать из своих особенных сумм ежегодную пенсию матери вчерашней девицы. И от него поехал на свою обычную прогулку.

Обед в этот день был в Помпейском зале; кроме меньших сыновей, Николая и Михаила, были приглашены: барон Ливен, граф Ржевусский, Долгорукий, прусский посланник и флигель-адъютант прусского короля.

Дожидаясь выхода императрицы и императора, между прусским посланником и бароном Ливен завязался интересный разговор по случаю последних тревожных известий, полученных из Польши.

— La Pologne et le Caucase, ce sont les deux cautères de la Russie, — сказал Ливен. — Il nous faut cent mille hommes à peu près dans chacun de ces deux pays[1].

Посланник выразил притворное удивление тому, что это так.

— Vous dites la Pologne,— сказал он.

— Oh, oui, c'était un coup de maître de Maeternich de nous en avoir laisse d'embarras...[2]

В этом месте разговора вошла императрица с своей трясущейся головой и замершей улыбкой, и вслед за ней Николай.

За столом Николай рассказал о выходе Хаджи-Мурата и о том, что война кавказская теперь должна скоро кончиться вследствие его распоряжения о стеснении горцев вырубкой лесов и системой укреплений.

Посланник, перекинувшись беглым взглядом с прусским флигель-адъютантом, с которым он нынче утром еще говорил о несчастной слабости Николая считать себя великим стратегом, очень хвалил этот план, доказывающий еще раз великие стратегические способности Николая.

После обеда Николай ездил в балет, где в трико маршировали сотни обнаженных женщин. Одна особенно приглянулась ему, и, позвав балетмейстера, Николай благодарил его и велел подарить ему перстень с брильянтами.

На другой день при докладе Чернышева Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцову о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи-Мурат, усиленно тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией.

Чернышев написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдъегерь, загоняя лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис.

XVI

Во исполнение этого предписания Николая Павловича, тотчас же, в январе 1852 года, был предпринят набег в Чечню.

---

[1] Польша и Кавказ — это две болячки России. Нам нужно по крайней мере сто тысяч человек в каждой из этих стран *(франц.)*.

[2] — Вы говорите, Польша.

— О да, это был искусный ход Меттерниха, чтобы причинить нам затруднения... *(франц.)*

Отряд, назначенный в набег, состоял из четырех батальонов пехоты, двух сотен казаков и восьми орудий. Колонна шла дорогой. По обеим же сторонам колонны непрерывной цепью, спускаясь и поднимаясь по балкам, шли егеря в высоких сапогах, полушубках и папахах, с ружьями на плечах и патронами на перевязи. Как всегда, отряд двигался по неприятельской земле, соблюдая возможную тишину. Только изредка на канавках позвякивали встряхнутые орудия, или не понимающая приказа о тишине фыркала или ржала артиллерийская лошадь, или хриплым сдержанным голосом кричал рассерженный начальник на своих подчиненных за то, что цепь или слишком растянулась, или слишком близко или далеко идет от колонны. Один раз только тишина нарушилась тем, что из небольшой куртинки колючки, находившейся между цепью и колонной, выскочила коза с белым брюшком и задом и серой спинкой и такой же козел с небольшими, на спину закинутыми рожками. Красивые испуганные животные большими прыжками, поджимая передние ноги, налетели на колонну так близко, что некоторые солдаты с криками и хохотом побежали за ними, намереваясь штыками заколоть их, но козы поворотили назад, проскочили сквозь цепь и, преследуемые несколькими конными и ротными собаками, как птицы, умчались в горы.

Еще была зима, но солнце начинало ходить выше, и в полдень, когда вышедший рано утром отряд прошел уже верст десять, пригревало так, что становилось жарко, и лучи его были так ярки, что больно было смотреть на сталь штыков и на блестки, которые вдруг вспыхивали на меди пушек, как маленькие солнца.

Позади была только что перейденная отрядом быстрая чистая речка, впереди — обработанные поля и луга с неглубокими балками, еще впереди — таинственные черные горы, покрытые лесом, за черными горами — еще выступающие скалы, и на высоком горизонте — вечно прелестные, вечно изменяющиеся, играющие светом, как алмазы, снеговые горы.

Впереди пятой роты шел, в черном сюртуке, в папахе и с шашкой через плечо, недавно перешедший из гвардии высокий красивый офицер Бутлер, испытывая бодрое чувство радости жизни и вместе с тем опасности смерти и желания деятельности и сознания причастности к огромному, управляемому одной волей целому. Бутлер

нынче во второй раз выходил в дело, и ему радостно было думать, что вот сейчас начнут стрелять по ним и что он не только не согнет головы под пролетающим ядром или не обратит внимания на свист пуль, но, как это уже и было с ним, выше поднимет голову и с улыбкой в глазах будет оглядывать товарищей и солдат и заговорит самым равнодушным голосом о чем-нибудь постороннем.

Отряд свернул с хорошей дороги и повернул на малоезженную, шедшую среди кукурузного жнивья, и стал подходить к лесу, когда — не видно было, откуда — с зловещим свистом пролетело ядро и ударилось в середине обоза, подле дороги, в кукурузное поле, взрыв на нем землю.

— Начинается, — весело улыбаясь, сказал Бутлер шедшему с ним товарищу.

И действительно, вслед за ядром показалась из-за леса густая толпа конных чеченцев с значками. В середине партии был большой зеленый значок, и старый фельдфебель роты, очень дальнозоркий, сообщил близорукому Бутлеру, что это должен быть сам Шамиль. Партия спустилась под гору и показалась на вершине ближайшей балки справа и стала спускаться вниз. Маленький генерал в теплом черном сюртуке и папахе с большим белым курпеем подъехал на своем иноходце к роте Бутлера и приказал ему идти вправо против спускавшейся конницы. Бутлер быстро повел по указанному направлению свою роту, но не успел спуститься к балке, как услышал сзади себя один за другим два орудийные выстрела. Он оглянулся: два облака сизого дыма поднялись над двумя орудиями и потянулись вдоль балки. Партия, очевидно не ожидавшая артиллерии, пошла назад. Рота Бутлера стала стрелять вдогонку горцам, и вся лощина закрылась пороховым дымом. Только выше лощины видно было, как горцы поспешно отступали, отстреливаясь от преследующих их казаков. Отряд пошел дальше вслед за горцами, и на склоне второй балки открылся аул.

Бутлер с своей ротой бегом, вслед за казаками, вошел в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено жечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым, и в дыму этом шныряли солдаты, вытаскивая из саклей, что находили, главное же — ловили и стреляли кур, которых не могли увезти горцы. Офицеры сели подальше от дыма и позавтракали и выпили. Фельдфебель принес им на доске несколько сотов меда. Чеченцев не

слышно было. Немного после полдня велено было отступать. Роты построились за аулом в колонну, и Бутлеру пришлось быть в арьергарде. Как только тронулись, появились чеченцы и, следуя за отрядом, провожали его выстрелами.

Когда отряд вышел на открытое место, горцы отстали. У Бутлера никого не ранило, и он возвращался в самом веселом и бодром расположении духа.

Когда отряд, перейдя назад вброд перейденную утром речку, растянулся по кукурузным полям и лугам, песенники по ротам выступили вперед, и раздались песни. Ветру не было, воздух был свежий, чистый и такой прозрачный, что снеговые горы, отстоявшие за сотню верст, казались совсем близкими и что, когда песенники замолкали, слышался равномерный топот ног и побрякивание орудий, как фон, на котором зачиналась и останавливалась песня. Песня, которую пели в пятой роте Бутлера, была сочинена юнкером во славу полка и пелась на плясовой мотив с припевом: «То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!»

Бутлер ехал верхом рядом с своим ближайшим начальником, майором Петровым, с которым он и жил вместе, и не мог нарадоваться на свое решение выйти из гвардии и уйти на Кавказ. Главная причина его перехода из гвардии была та, что он проигрался в карты в Петербурге, так что у него ничего не осталось. Он боялся, что не будет в силах удержаться от игры, оставаясь в гвардии, а проигрывать уже нечего было. Теперь все это было кончено. Была другая жизнь, и такая хорошая, молодецкая. Он забыл теперь и про свое разорение и свои неоплатные долги. И Кавказ, война, солдаты, офицеры, пьяный и добродушный храбрец майор Петров — все это казалось ему так хорошо, что он иногда не верил себе, что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах загибает углы и понтирует, ненавидя банкомета и чувствуя давящую боль в голове, а здесь, в этом чудном краю, среди молодцов-кавказцев.

«То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!» — пели его песенники. Лошадь его веселым шагом шагала под эту музыку. Ротный мохнатый серый Трезорка, точно начальник, закрутив хвост, с озабоченным видом бежал перед ротой Бутлера. На душе было бодро, спокойно и весело. Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти и этим заслуживал и

награды, и уважение и здешних товарищей, и своих русских друзей. Другая сторона войны: смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялась его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать свое поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Так и нынче — у нас было три убитых и двенадцать раненых. Он прошел мимо трупа, лежавшего на спине, и только одним глазом видел какое-то странное положение восковой руки и темно-красное пятно на голове и не стал рассматривать. Горцы представлялись ему только конными джигитами, от которых надо было защищаться.

— Так вот как-с, батюшка, — говорил майор в промежутке песни. — Не так-с, как у вас в Питере: равненье направо, равненье налево. А вот потрудились — и домой. Машурка нам теперь пирог подаст, щи хорошие. Жизнь! Так ли? Ну-ка, «Как вознялась заря», — скомандовал он свою любимую песню.

Майор жил супружески с дочерью фельдшера, сначала Машкой, а потом Марьей Дмитриевной. Марья Дмитриевна была красивая белокурая, вся в веснушках, тридцатилетняя бездетная женщина. Каково ни было ее прошедшее, теперь она была верной подругой майора, ухаживала за ним, как нянька, а это было нужно майору, часто напивавшемуся до потери сознания.

Когда пришли в крепость, все было, как предвидел майор. Марья Дмитриевна накормила его и Бутлера и еще приглашенных из отряда двух офицеров сытным, вкусным обедом, и майор наелся и напился так, что не мог уже говорить и пошел к себе спать. Бутлер, также усталый, но довольный и немного выпивший лишнего чихиря, пошел в свою комнатку, и едва успел раздеться, как, подложив ладонь под красивую курчавую голову, заснул крепким сном без сновидений и просыпания.

XVII

Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.

Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной:

крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены развалениой сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.

Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им.

Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного.

XVIII

На третий день после набега Бутлер вышел уже не рано утром с заднего крыльца на улицу, намереваясь пройтись и подышать воздухом до утреннего чая, который он пил обыкновенно вместе с Петровым. Солнце уже вышло из-за гор, и больно было смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато, как всегда, весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся и возвышающиеся, покрытые лесом черные горы и на видневшуюся из-за ущелья матовую цепь снеговых гор, как всегда старавшихся притвориться облаками.

Бутлер смотрел на эти горы, дышал во все легкие и радовался тому, что он живет, и живет именно он, и на этом прекрасном свете. Радовался он немножко и тому, что он так хорошо вчера вел себя в деле и при наступлении и в особенности при отступлении, когда дело было довольно жаркое, радовался и воспоминанию о том, как вчера, по возвращении их из похода, Маша, или Марья Дмитриевна, сожительница Петрова, угощала их и была особенно проста и мила со всеми, но в особенности, как ему казалось, была к нему ласкова. Марья Дмитриевна, с ее толстой косой, широкими плечами, высокой грудью и сияющей улыбкой покрытого веснушками доброго лица, невольно влекла Бутлера, как сильного, молодого холостого человека, и ему казалось даже, что она желает его. Но он считал, что это было бы дурно по отношению доброго, простодушного товарища, и держался с Марьей Дмитриевной самого простого, почтительного обращения, и радовался на себя за это. Сейчас он думал об этом.

Мысли его развлек услышанный им перед собой частый топот многих лошадиных копыт по пыльной дороге, точно скакало несколько человек. Он поднял голову и увидал в конце улицы подъезжавшую шагом кучку всадников. Впереди десятков двух казаков ехали два человека: один — в белой черкеске и высокой папахе с чалмой, другой — офицер русской службы, черный, горбоносый, в синей черкеске, с изобилием серебра на одежде и на оружии. Под всадником с чалмой был рыже-игреневый красавец конь с маленькой головой, прекрасными глазами; под офицером была высокая щеголеватая карабахская лошадь. Бутлер, охотник до лошадей, тотчас же оценил бодрую силу первой лошади и остановился, чтобы узнать, кто были эти люди. Офицер обратился к Бутлеру:

— Это воинский начальник дом? — спросил он, выдавая и несклоняемой речью и выговором свое нерусское происхождение и указывая плетью на дом Ивана Матвеевича.

— Этот самый, — сказал Бутлер.

— А это кто же? — спросил Бутлер, ближе подходя к офицеру и указывая глазами на человека в чалме.

— Хаджи-Мурат это. Сюда ехал, тут гостить будет у воинский начальник, — сказал офицер.

Бутлер знал про Хаджи-Мурата и про выход его к русским, но никак не ожидал увидать его здесь, в этом маленьком укреплении.

Хаджи-Мурат дружелюбно смотрел на него.

— Здравствуйте, кошкольды, — сказал он выученное им приветствие по-татарски.

— Саубул, — ответил Хаджи-Мурат, кивая головой. Он подъехал к Бутлеру и подал руку, на двух пальцах которой висела плеть.

— Начальник? — сказал он.

— Нет, начальник здесь, пойду позову его, — сказал Бутлер, обращаясь к офицеру и входя на ступеньки и толкая дверь.

Но дверь «парадного крыльца», как его называла Марья Дмитриевна, была заперта. Бутлер постучал, но, не получив ответа, пошел кругом через задний вход. Крикнув своего денщика и не получив ответа и не найдя ни одного из двух денщиков, он зашел в кухню. Марья Дмитриевна, повязанная платком и раскрасневшаяся, с засученными рукавами над белыми полными руками, разрезала скатанное такое же белое тесто, как и ее руки, на маленькие кусочки для пирожков.

— Куда денщики подевались? — сказал Бутлер.

— Пьянствовать ушли, — сказала Марья Дмитриевна. — Да вам что?

— Дверь отпереть; у вас перед домом целая орава горцев. Хаджи-Мурат приехал.

— Еще выдумайте что-нибудь, — сказала Марья Дмитриевна, улыбаясь.

— Я не шучу. Правда. Стоят у крыльца.

— Да неужели вправду? — сказала Марья Дмитриевна.

— Что ж мне вам выдумывать. Подите посмотрите, они у крыльца стоят.

— Вот так оказия, — сказала Марья Дмитриевна, опустив рукава и ощупывая рукой шпильки в своей густой косе. — Так я пойду разбужу Ивана Матвеевича, — сказала она.

— Нет, я сам пойду. А ты, Бондаренко, дверь поди отопри,— сказал Бутлер.

— Ну, и то хорошо, — сказала Марья Дмитриевна и опять взялась за свое дело.

Узнав, что к нему приехал Хаджи-Мурат, Иван Матвеевич, уже слышавший о том, что Хаджи-Мурат в Грозной, нисколько не удивился этому, а, приподнявшись, скрутил папироску, закурил и стал одеваться, громко откашливаясь и ворча на начальство, которое прислало к нему «этого черта». Одевшись, он потребовал от денщика «лекарства». И денщик, зная, что лекарством называлась водка, подал ему.

— Нет хуже смеси, — проворчал он, выпивая водку и закусывая черным хлебом. — Вот вчера выпил чихиря, и болит голова. Ну, теперь готов, — закончил он и пошел в гостиную, куда Бутлер уже провел Хаджи-Мурата и сопутствующего ему офицера.

Офицер, провожавший Хаджи-Мурата, передал Ивану Матвеевичу приказание начальника левого фланга принять Хаджи-Мурата и, дозволяя ему иметь сообщение с горцами через лазутчиков, отнюдь не выпускать его из крепости иначе как с конвоем казаков.

Прочтя бумагу, Иван Матвеевич поглядел пристально на Хаджи-Мурата и опять стал вникать в бумагу. Несколько раз переведя таким образом глаза с бумаги на гостя, он остановил, наконец, свои глаза на Хаджи-Мурате и сказал:

— Якши, бек-якши. Пускай живет. Так и скажи ему, что мне приказано не выпускать его. А что приказано, то свято. А поместим его — как думаешь, Бутлер? — поместим в канцелярии?

Бутлер не успел ответить, как Марья Дмитриевна, пришедшая из кухни и стоявшая в дверях, обратилась к Ивану Матвеевичу:

— Зачем в канцелярию? Поместите здесь. Кунацкую отдадим да кладовую. По крайней мере на глазах будет, — сказала она и, взглянув на Хаджи-Мурата и встретившись с ним глазами, поспешно отвернулась.

— Что же, я думаю, что Марья Дмитриевна права, — сказал Бутлер.

— Ну, ну, ступай, бабам тут нечего делать, — хмурясь, сказал Иван Матвеевич.

Во все время разговора Хаджи-Мурат сидел, заложив руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть презрительно улыбался. Он сказал, что ему все равно, где жить. Одно, что ему нужно и что разрешено ему сардарем, это то, чтобы иметь сношения с горцами, и потому он желает, чтобы их допускали к нему. Иван Матвеевич сказал, что это будет сделано, и попросил Бутлера занять гостей, пока принесут им закусить и приготовят комнаты, сам же он пойдет в канцелярию написать нужные бумаги и сделать нужные распоряжения.

Отношение Хаджи-Мурата к его новым знакомым сейчас же очень ясно определилось. К Ивану Матвеевичу Хаджи-Мурат с первого знакомства с ним почувствовал отвращение и презрение и всегда высокомерно обращался с ним. Марья Дмитриевна, которая готовила и приносила ему пищу, особенно нравилась ему. Ему нравилась и ее простота, и особенная красота чуждой ему народности, и бессознательно передававшееся ему ее влечение к нему. Он старался не смотреть на нее, не говорить с нею, но глаза его невольно обращались к ней и следили за ее движениями.

С Бутлером же он тотчас же, с первого знакомства, дружески сошелся и много и охотно говорил с ним, расспрашивая его про его жизнь и рассказывая ему про свою и сообщая о тех известиях, которые приносили ему лазутчики о положении его семьи, и даже советуясь с ним о том, что ему делать.

Известия, передаваемые ему лазутчиками, были нехороши. В продолжение четырех дней, которые он провел в крепости, они два раза приходили к нему, и оба раза известия были дурные.

XIX

Семья Хаджи-Мурата вскоре после того, как он вышел к русским, была привезена в аул Ведено и содержалась там под стражею, ожидая решения Шамиля. Женщины — старуха Патимат и две жены Хаджи-Мурата — и их пятеро малых детей жили под караулом в сакле сотенного Ибрагима Рашида, сын же Хаджи-Мурата, восемнадцатилетний юноша Юсуф, сидел в темнице, то есть в глубокой, более сажени, яме, вместе с четырьмя

преступниками, ожидавшими, так же как и он, решения своей участи.

Решение не выходило, потому что Шамиль был в отъезде. Он был в походе против русских.

6 января 1852 года Шамиль возвращался домой в Ведено после сражения с русскими, в котором, по мнению русских, был разбит и бежал в Ведено; по его же мнению и мнению всех мюридов, одержал победу и прогнал русских. В сражении этом, что бывало очень редко, он сам выстрелил из винтовки и, выхватя шашку, пустил было свою лошадь прямо на русских, но сопутствующие ему мюриды удержали его. Два из них тут же подле Шамиля были убиты.

Был полдень, когда Шамиль, окруженный партией мюридов, джигитовавших вокруг него, стрелявших из винтовок и пистолетов и не переставая поющих «Ля илляха иль алла», подъехал к своему месту пребывания.

Весь народ большого аула Ведено стоял на улице и на крышах, встречая своего повелителя, и в знак торжества также стрелял из ружей и пистолетов. Шамиль ехал на арабском белом коне, весело попрашивавшем поводья при приближении к дому. Убранство коня было самое простое, без украшений золота и серебра: тонко выделанная, с дорожкой посередине, красная ременная уздечка, металлические, стаканчиками, стремена и красный чепрак, видневшийся из-под седла. На имаме была покрытая коричневым сукном шуба с видневшимся около шеи и рукавов черным мехом, стянутая на тонком и длинном стане черным ремнем с кинжалом. На голове была надета высокая с плоским верхом папаха с черной кистью, обвитая белой чалмой, от которой конец спускался за шею. Ступни ног были в зеленых чувяках, и икры обтянуты черными ноговицами, обшитыми простым шнурком.

Вообще на имаме не было ничего блестящего, золотого или серебряного, и высокая, прямая, могучая фигура его, в одежде без украшений, окруженная мюридами с золотыми и серебряными украшениями на одежде и оружии, производила то самое впечатление величия, которое он желал и умел производить в народе. Бледное, окаймленное подстриженной рыжей бородой лицо его с постоянно сощуренными маленькими глазами было, как каменное, совершенно неподвижно. Проезжая по аулу, он чувствовал на себе тысячи устремленных глаз, но его глаза не

смотрели ни на кого. Жены Хаджи-Мурата с детьми тоже вместе со всеми обитателями сакли вышли на галерею смотреть въезд имама. Одна старуха Патимат — мать Хаджи-Мурата, не вышла, а осталась сидеть, как она сидела, с растрепанными седеющими волосами, на полу сакли, охватив длинными руками свои худые колени, и, мигая своими жгучими черными глазами, смотрела на догорающие ветки в камине. Она, так же как и сын ее, всегда ненавидела Шамиля, теперь же еще больше, чем прежде, и не хотела видеть его.

Не видал также торжественного въезда Шамиля и сын Хаджи-Мурата. Он только слышал из своей темной вонючей ямы выстрелы и пение и мучался, как только мучаются молодые, полные жизни люди, лишенные свободы. Сидя в вонючей яме и видя все одних и тех же несчастных, грязных, изможденных, с ним вместе заключенных, большей частью ненавидящих друг друга людей, он страстно завидовал теперь тем людям, которые, пользуясь воздухом, светом, свободой, гарцевали теперь на лихих конях вокруг повелителя, стреляли и дружно пели «Ля илляха иль алла».

Проехав аул, Шамиль въехал в большой двор, примыкавший к внутреннему, в котором находился сераль Шамиля. Два вооруженные лезгина встретили Шамиля у отворенных ворот первого двора. Двор этот был полон народа. Тут были люди, пришедшие из дальних мест по своим делам, были и просители, были и вытребованные самим Шамилем для суда и решения. При въезде Шамиля все находившиеся на дворе встали и почтительно приветствовали имама, прикладывая руки к груди. Некоторые стали на колени и стояли так все время, пока Шамиль проезжал двор от одних, внешних, ворот до других, внутренних. Хотя Шамиль и узнал среди дожидавшихся его много неприятных ему лиц и много скучных просителей, требующих забот о них, он с тем же неизменно каменным лицом проехал мимо них и, въехав во внутренний двор, слез у галереи своего помещения, при въезде в ворота налево.

После напряжения похода, не столько физического, сколько духовного, потому что Шамиль, несмотря на гласное признание своего похода победой, знал, что поход его был неудачен, что много аулов чеченских сожжены и разорены, и переменчивый, легкомысленный народ, чеченцы, колеблются, и некоторые из них, ближайшие

к русским, уже готовы перейти к ним,— все это было тяжело, против этого надо было принять меры, но в эту минуту Шамилю ничего не хотелось делать, ни о чем не хотелось думать. Он теперь хотел только одного: отдыха и прелести семейной ласки любимейшей из жен своих, восемнадцатилетней черноглазой, быстроногой кистинки Аминет.

Но не только нельзя было и думать о том, чтобы видеть теперь Аминет, которая была тут же за забором, отделявшим во внутреннем дворе помещение жен от мужского отделения (Шамиль был уверен, что даже теперь, пока он слезал с лошади, Аминет с другими женами смотрела в щель забора), но нельзя было не только пойти к ней, нельзя было просто лечь на пуховики отдохнуть от усталости. Надо было прежде всего совершить полуденный намаз, к которому он не имел теперь ни малейшего расположения, но неисполнение которого было не только невозможно в его положении религиозного руководителя народа, но и было для него самого так же необходимо, как ежедневная пища. И он совершил омовение и молитву. Окончив молитву, он позвал дожидавшихся его.

Первым вошел к нему его тесть и учитель, высокий седой благообразный старец с белой, как снег, бородой и красно-румяным лицом, Джемал-Эдин, и, помолившись богу, стал расспрашивать Шамиля о событиях похода и рассказывать о том, что произошло в горах во время его отсутствия.

В числе всякого рода событий — об убийствах по кровомщению, о покражах скота, об обвиненных в несоблюдении предписаний тариката: курении табаку, питии вина, — Джемал-Эдин сообщил о том, что Хаджи-Мурат высылал людей для того, чтобы вывести к русским его семью, но что это было обнаружено, и семья привезена в Ведено, где и находится под стражей, ожидая решения имама. В соседней кунацкой были собраны старики для обсуждения всех этих дел, и Джемал-Эдин советовал Шамилю нынче же отпустить их, так как они уже три дня дожидались его.

Поев у себя обед, который принесла ему остроносая, черная, неприятная лицом и нелюбимая, но старшая жена его Зайдет, Шамиль пошел в кунацкую.

Шесть человек, составляющие совет его, старики с седыми, серыми и рыжими бородами, в чалмах и без

чалм, в высоких папахах и новых бешметах и черкесках, подпоясанные ремнями с кинжалами, встали ему навстречу. Шамиль был головой выше всех их. Все они, так же как и он, подняли руки ладонями кверху и, закрыв глаза, прочли молитву, потом отерли лицо руками, спуская их по бородам и соединяя одну с другою. Окончив это, все сели, Шамиль посредине, на более высокой подушке, и началось обсуждение всех предстоящих дел.

Дела обвиняемых в преступлениях лиц решали по шариату: двух людей приговорили за воровство к отрублению руки, одного к отрублению головы за убийство, троих помиловали. Потом приступили к главному делу: к обдумыванию мер против перехода чеченцев к русским. Для противодействия этим переходам Джемал-Эдином было составлено следующее провозглашение:

«Желаю вам вечный мир с богом всемогущим. Слышу я, что русские ласкают вас и призывают к покорности. Не верьте им и не покоряйтесь, а терпите. Если не будете вознаграждены за это в этой жизни, то получите награду в будущей. Вспомните, что было прежде, когда у вас отбирали оружие. Если бы не вразумил вас тогда, в 1840 году, бог, вы бы уже были солдатами и ходили вместо кинжалов со штыками, а жены ваши ходили бы без шаровар и были бы поруганы. Судите по прошедшему о будущем. Лучше умереть во вражде с русскими, чем жить с неверными. Потерпите, а я с Кораном и шашкою приду к вам и поведу вас против русских. Теперь же строго повелеваю не иметь не только намерения, но и помышления покоряться русским».

Шамиль одобрил это провозглашение и, подписав его, решил разослать его.

После этих дел было обсуждаемо и дело Хаджи-Мурата. Дело это было очень важное для Шамиля. Хотя он и не хотел признаться в этом, он знал, что, будь с ним Хаджи-Мурат с своей ловкостью, смелостью и храбростью, не случилось бы того, что случилось теперь в Чечне. Помириться с Хаджи-Муратом и опять пользоваться его услугами было хорошо; если же этого нельзя было, все-таки нельзя было допустить того, чтобы он помогал русским. И потому во всяком случае надо было вызвать его и, вызвав, убить его. Средство к этому было или то, чтобы подослать в Тифлис такого человека, который бы убил его там, или вызвать его сюда и здесь покончить с ним. Средство для этого было одно — его семья, и глав-

ное — его сын, к которому, Шамиль знал, что Хаджи-Мурат имел страстную любовь. И потому надо было действовать через сына.

Когда советники переговорили об этом, Шамиль закрыл глаза и умолк.

Советники знали, что это значило то, что он слушает теперь говорящий ему голос пророка, указывающий то, что должно быть сделано. После пятиминутного торжественного молчания Шамиль открыл глаза, еще более прищурил их и сказал:

— Приведите ко мне сына Хаджи-Мурата.

— Он здесь, — сказал Джемал-Эдин.

И действительно, Юсуф, сын Хаджи-Мурата, худой, бледный, оборванный и вонючий, но все еще красивый и своим телом и лицом, с такими же жгучими, как у бабки Патимат, черными глазами, уже стоял у ворот внешнего двора, ожидая призыва.

Юсуф не разделял чувств отца к Шамилю. Он не знал всего прошедшего, или знал, но, не пережив его, не понимал, зачем отец его так упорно враждует с Шамилем. Ему, желающему только одного: продолжения той легкой, разгульной жизни, какую он, как сын наиба, вел в Хунзахе, казалось совершенно ненужным враждовать с Шамилем. В отпор и противоречие отцу, он особенно восхищался Шамилем и питал к нему распространенное в горах восторженное поклонение. Он теперь с особенным чувством трепетного благоговения к имаму вошел в кунацкую и, остановившись у двери, встретился с упорным сощуренным взглядом Шамиля. Он постоял несколько времени, потом подошел к Шамилю и поцеловал его большую, с длинными пальцами белую руку.

— Ты сын Хаджи-Мурата?

— Я, имам.

— Ты знаешь, что он сделал?

— Знаю, имам, и жалею об этом.

— Умеешь писать?

— Я готовился быть муллой.

— Так напиши отцу, что, если он выйдет назад ко мне теперь, до байрама, я прощу его и все будет по-старому. Если же нет и он останется у русских, то, — Шамиль грозно нахмурился, — я отдам твою бабку, твою мать по аулам, а тебе отрублю голову.

Ни один мускул не дрогнул на лице Юсуфа, он наклонил голову в знак того, что понял слова Шамиля.

— Напиши так и отдай моему посланному.

Шамиль замолчал и долго смотрел на Юсуфа.

— Напиши, что я пожалел тебя и не убью, а выколю глаза, как я делаю всем изменникам. Иди.

Юсуф казался спокойным в присутствии Шамиля, но когда его вывели из кунацкой, он бросился на того, кто вел его, и, выхватив у него из ножен кинжал, хотел им зарезаться, но его схватили за руки, связали их и отвели опять в яму.

В этот вечер, когда кончилась вечерняя молитва и смеркалось, Шамиль надел белую шубу и вышел за забор в ту часть двора, где помещались его жены, и направился к комнате Аминет. Но Аминет не было там. Она была у старших жен. Тогда Шамиль, стараясь быть незаметным, стал за дверь комнаты, дожидаясь ее. Но Аминет была сердита на Шамиля за то, что он подарил шелковую материю не ей, а Зайдет. Она видела, как он вышел и как входил в ее комнату, отыскивая ее, и нарочно не пошла к себе. Она долго стояла в двери комнаты Зайдет и, тихо смеясь, глядела на белую фигуру, то входившую, то уходившую из ее комнаты. Тщетно прождав ее, Шамиль вернулся к себе уже ко времени полуночной молитвы.

XX

Хаджи-Мурат прожил неделю в укреплении в доме Ивана Матвеевича. Несмотря на то, что Марья Дмитриевна ссорилась с мохнатым Ханефи (Хаджи-Мурат взял с собой только двух: Ханефи и Элдара) и вытолкала его раз из кухни, за что тот чуть не зарезал ее, она, очевидно, питала особенные чувства и уважения и симпатии к Хаджи-Мурату. Она теперь уже не подавала ему обедать, передав эту заботу Элдару, но пользовалась всяким случаем увидать его и угодить ему. Она принимала также самое живое участие в переговорах об его семье, знала, сколько у него жен, детей, каких лет, и всякий раз после посещения лазутчика допрашивала, кого могла, о последствиях переговоров.

Бутлер же в эту неделю совсем сдружился с Хаджи-Муратом. Иногда Хаджи-Мурат приходил в его комнату, иногда Бутлер приходил к нему. Иногда они беседовали через переводчика, иногда же собственными средствами, знаками и, главное, улыбками. Хаджи-Мурат, очевидно,

полюбил Бутлера. Это видно было по отношению к Бутлеру Элдара. Когда Бутлер входил в комнату Хаджи-Мурата, Элдар встречал Бутлера, радостно оскаливая свои блестящие зубы, и поспешно подкладывал ему подушки под сиденье и снимал с него шашку, если она была на нем.

Бутлер познакомился и сошелся также и с мохнатым Ханефи, названым братом Хаджи-Мурата. Ханефи знал много горских песен и хорошо пел их. Хаджи-Мурат, в угождение Бутлеру, призывал Ханефи и приказывал ему петь, называя те песни, которые он считал хорошими. Голос у Ханефи был высокий тенор, и пел он необыкновенно отчетливо и выразительно. Одна из песен особенно нравилась Хаджи-Мурату и поразила Бутлера своим торжественно-грустным напевом. Бутлер попросил переводчика пересказать ее содержание и записал ее.

Песня относилась к кровомщению — тому самому, что было между Ханефи и Хаджи-Муратом.

Песня была такая:

«Высохнет земля на могиле моей — и забудешь ты меня, моя родная мать! Порастет кладбище могильной травой — заглушит трава твое горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из сердца ее.

Но не забудешь меня ты, мой старший брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня, и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной.

Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо».

Хаджи-Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами и, когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:

— Хорош песня, умный песня.

Поэзия особенной, энергической горской жизни, с приездом Хаджи-Мурата и сближением с ним и его мюридами, еще более охватила Бутлера. Он завел себе бешмет, черкеску, ноговицы, и ему казалось, что он сам горец и что живет такою же, как и эти люди, жизнью.

В день отъезда Хаджи-Мурата Иван Матвеевич собрал несколько офицеров, чтобы проводить его. Офицеры сидели кто у чайного стола, где Марья Дмитриевна

разливала чай, кто у другого стола — с водкой, чихирем и закуской, когда Хаджи-Мурат, одетый по-дорожному и в оружии, быстрыми мягкими шагами вошел, хромая, в комнату.

Все встали и по очереди за руку поздоровались с ним. Иван Матвеевич пригласил его на тахту, но он, поблагодарив, сел на стул у окна. Молчание, воцарившееся при его входе, очевидно, нисколько не смущало его. Он внимательно оглядел все лица и остановил равнодушный взгляд на столе с самоваром и закусками. Бойкий офицер Петровский, в первый раз видевший Хаджи-Мурата, через переводчика спросил его, понравился ли ему Тифлис.

— Айя, — сказал он.

— Он говорит, что да, — отвечал переводчик.

— Что же понравилось ему?

Хаджи-Мурат что-то ответил.

— Больше всего ему понравился театр.

— Ну, а на бале у главнокомандующего понравилось ему?

Хаджи-Мурат нахмурился.

— У каждого народа свои обычаи. У нас женщины так не одеваются, — сказал он, взглянув на Марью Дмитриевну.

— Что же ему не понравилось?

— У нас пословица есть, — сказал он переводчику, — угостила собака ишака мясом, а ишак собаку сеном, — оба голодные остались. — Он улыбнулся. — Всякому народу свой обычай хорош.

Разговор дальше не пошел. Офицеры кто стал пить чай, кто закусывать. Хаджи-Мурат взял предложенный стакан чаю и поставил его перед собой.

— Что ж? Сливок? Булку? — сказала Марья Дмитриевна, подавая ему.

Хаджи-Мурат наклонил голову.

— Так что ж, прощай! — сказал Бутлер, трогая его по колену. — Когда увидимся?

— Прощай! прощай, — улыбаясь, по-русски сказал Хаджи-Мурат. — Кунак булур. Крепко кунак твоя. Время — айда пошел, — сказал он, тряхнув головой как бы тому направлению, куда надо ехать.

В дверях комнаты показался Элдар с чем-то большим белым через плечо и с шашкой в руке. Хаджи-Мурат поманил его, и Элдар подошел своими большими шагами к Хаджи-Мурату и подал ему белую бурку и шашку.

Хаджи-Мурат встал, взял бурку и, перекинув ее через руку, подал Марье Дмитриевне, что-то сказав переводчику. Переводчик сказал:

— Он говорит: ты похвалила бурку, возьми.

— Зачем это? — сказала Марья Дмитриевна, покраснев.

— Так надо. Адат так, — сказал Хаджи-Мурат.

— Ну, благодарю, — сказала Марья Дмитриевна, взяв бурку. — Дай бог вам сына выручить. Улан якши, — прибавила она. — Переведите ему, что желаю ему семью выручить.

Хаджи-Мурат взглянул на Марью Дмитриевну и одобрительно кивнул головой. Потом он взял из рук Элдара шашку и подал Ивану Матвеевичу. Иван Матвеевич взял шашку и сказал переводчику:

— Скажи ему, чтобы мерина моего бурого взял, больше нечем отдарить.

Хаджи-Мурат помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно и что он не возьмет, а потом, показав на горы и на свое сердце, пошел к выходу. Все пошли за ним. Офицеры, оставшиеся в комнатах, вынув шашку, разглядывали клинок на ней и решили, что это была настоящая гурда.

Бутлер вышел вместе с Хаджи-Муратом на крыльцо. Но тут случилось то, чего никто не ожидал и что могло кончиться смертью Хаджи-Мурата, если бы не его сметливость, решительность и ловкость.

Жители кумыцкого аула Таш-Кичу, питавшие большое уважение к Хаджи-Мурату и много раз приезжавшие в укрепление, чтобы только взглянуть на знаменитого наиба, за три дня до отъезда Хаджи-Мурата послали к нему послов просить его в пятницу в их мечеть. Кумыцкие же князья, жившие в Таш-Кичу и ненавидевшие Хаджи-Мурата и имевшие с ним кровомщение, узнав об этом, объявили народу, что они не пустят Хаджи-Мурата в мечеть. Народ взволновался, и произошла драка народа с княжескими сторонниками. Русское начальство усмирило горцев и послало Хаджи-Мурату сказать, чтобы он не приезжал в мечеть. Хаджи-Мурат не поехал, и все думали, что дело тем и кончилось.

Но в самую минуту отъезда Хаджи-Мурата, когда он вышел на крыльцо и лошади стояли у подъезда, к дому Ивана Матвеевича подъехал знакомый Бутлеру и Ивану Матвеевичу кумыцкий князь Арслан-Хан.

Увидав Хаджи-Мурата и выхватив из-за пояса пистолет, он направил его на Хаджи-Мурата. Но не успел Арслан-Хан выстрелить, как Хаджи-Мурат, несмотря на свою хромоту, как кошка, быстро бросился с крыльца к Арслан-Хану. Арслан-Хан выстрелил и не попал. Хаджи-Мурат же, подбежав к нему, одной рукой схватил его лошадь за повод, другой выхватил кинжал и что-то по-татарски крикнул.

Бутлер и Элдар в одно и то же время подбежали к врагам и схватили их за руки. На выстрел вышел и Иван Матвеевич.

— Что же это ты, Арслан, у меня в доме затеял такую гадость! — сказал он, узнав, в чем дело. — Нехорошо это, брат. В поле две воли, а что же у меня резню такую затевать.

Арслан-Хан, маленький человечек с черными усами, весь бледный и дрожащий, сошел с лошади, злобно поглядел на Хаджи-Мурата и ушел с Иваном Матвеевичем в горницу. Хаджи-Мурат же вернулся к лошадям, тяжело дыша и улыбаясь.

— За что он его убить хотел? — спросил Бутлер через переводчика.

— Он говорит, что такой у нас закон, — передал переводчик слова Хаджи-Мурата. — Арслан должен отомстить ему за кровь. Вот он и хотел убить.

— Ну, а если он догонит его дорогой? — спросил Бутлер.

Хаджи-Мурат улыбнулся.

— Что ж, — убьет, значит, так алла хочет. Ну, прощай, — сказал он опять по-русски и, взявшись за холку лошади, обвел глазами всех провожавших его и ласково встретился взглядом с Марьей Дмитриевной.

— Прощай, матушка, — сказал он, обращаясь к ней, — спасиб.

— Дай бог, дай бог семью выручить, — повторила Марья Дмитриевна.

Он не понял слов, но понял ее участие к нему и кивнул ей головой.

— Смотри, не забудь кунака, — сказал Бутлер.

— Скажи, что я верный друг ему, никогда не забуду, — ответил он через переводчика и, несмотря на свою кривую ногу, только что дотронулся до стремени, как быстро и легко перенес свое тело на высокое седло и, оправив шашку, ощупав привычным движением пистолет,

с тем особенным гордым, воинственным видом, с которым сидит горец на лошади, поехал прочь от дома Ивана Матвеевича. Ханефи и Элдар также сели на лошадей и, дружелюбно простившись с хозяевами и офицерами, поехали рысью за своим мюршидом.

Как всегда, начались толки об уехавшем.

— Молодчина!

— Ведь как волк бросился на Арслан-Хана, совсем лицо другое стало.

— А надует он. Плут большой должен быть, — сказал Петроковский.

— Дай бог, чтобы побольше русских таких плутов было, — вдруг с досадой вмешалась Марья Дмитриевна.— Неделю у нас прожил; кроме хорошего, ничего от него не видали, — сказала она. — Обходительный, умный, справедливый.

— Почем вы это всё узнали?

— Стало быть, узнала.

— Втюрилась, а? — сказал вошедший Иван Матвеевич. — Уж это как есть.

— Ну и втюрилась. А вам что? Только зачем осуждать, когда человек хороший. Он татарин, а хороший.

— Правда, Марья Дмитриевна, — сказал Бутлер. — Молодец, что заступились.

XXI

Жизнь обитателей передовых крепостей на чеченской линии шла по-старому. Были с тех пор две тревоги, на которые выбегали роты и скакали казаки и милиционеры, но оба раза горцев не могли остановить. Они уходили и один раз в Воздвиженской угнали восемь лошадей казачьих с водопоя и убили казака. Набегов со времени последнего, когда был разорен аул, не было. Только ожидалась большая экспедиция в Большую Чечню вследствие назначения нового начальника левого фланга, князя Барятинского.

Князь Барятинский, друг наследника, бывший командир Кабардинского полка, теперь, как начальник всего левого фланга, тотчас по приезде своем в Грозную собрал отряд, с тем чтобы продолжать исполнять те предначертания государя, о которых Чернышев писал Воронцову. Собранный в Воздвиженской отряд вышел из нее на

позицию по направлению к Куринскому. Войска стояли там и рубили лес.

Молодой Воронцов жил в великолепной суконной палатке, и жена его, Марья Васильевна, приезжала в лагерь и часто оставалась ночевать. Ни от кого не были секретом отношения Барятинского с Марьей Васильевной, и потому непридворные офицеры и солдаты грубо ругали ее за то, что благодаря ее присутствию в лагере их рассылали в ночные секреты. Обыкновенно горцы подвозили орудия и пускали ядра в лагерь. Ядра эти большею частью не попадали, и потому в обыкновенное время против этих выстрелов не принималось никаких мер; но для того чтобы горцы не могли выдвигать орудия и пугать Марью Васильевну, высылались секреты. Ходить же каждую ночь в секреты для того, чтобы не напугать барыню, было оскорбительно и противно, и Марью Васильевну нехорошими словами честили солдаты и не принятые в высшее общество офицеры.

В этот отряд, чтобы повидать там собравшихся своих однокашников по Пажескому корпусу и однополчан, служивших в Куринском полку и адъютантами и ординарцами при начальстве, приехал в отпуск и Бутлер из своего укрепления. С начала его приезда ему было очень весело. Он остановился в палатке Полторацкого и нашел тут много радостно встретивших его знакомых. Он пошел и к Воронцову, которого он знал немного, потому что служил одно время в одном с ним полку. Воронцов принял его очень ласково и представил князю Барятинскому и пригласил его на прощальный обед, который он давал бывшему до Барятинского начальнику левого фланга, генералу Козловскому.

Обед был великолепный. Были привезены и поставлены рядом шесть палаток. Во всю длину их был накрыт стол, уставленный приборами и бутылками. Все напоминало петербургское гвардейское житье. В два часа сели за стол. В середине стола сидели: по одну сторону Козловский, по другую Барятинский. Справа от Козловского сидел муж, слева жена Воронцовы. Во всю длину с обеих сторон сидели офицеры Кабардинского и Куринского полков. Бутлер сидел рядом с Полторацким, оба весело болтали и пили с соседями-офицерами. Когда дело дошло до жаркого и денщики стали разливать по бокалам шампанское, Полторацкий с искренним страхом и сожалением сказал Бутлеру:

— Осрамится наш «как».

— А что?

— Да ведь ему надо речь говорить. А что же он может?

— Да, брат, это не то, что под пулями завалы брать. А еще тут рядом дама да эти придворные господа. Право, жалко смотреть на него, — говорили между собою офицеры.

Но вот наступила торжественная минута. Барятинский встал и, подняв бокал, обратился к Козловскому с короткой речью. Когда Барятинский кончил, Козловский встал и довольно твердым голосом начал:

— По высочайшей его величества воле, я уезжаю от вас, расстаюсь с вами, господа офицеры, — сказал он. — Но считайте меня всегда, как, с вами... Вам, господа, знакома, как, истина — один в поле не воин. Поэтому все, чем я на службе моей, как, награжден, всё, как, чем осыпан, великими щедротами государя императора, как, всем положением моим и, как, добрым именем — всем, всем решительно, как... — здесь голос его задрожал, — я, как, обязан одним вам и одним вам, дорогие друзья мои! — И морщинистое лицо сморщилось еще больше. Он всхлипнул, и слезы выступили ему на глаза. — От всего сердца приношу вам, как, мою искреннюю задушевную признательность...

Козловский не мог говорить дальше и, встав, стал обнимать офицеров, которые подходили к нему. Все были растроганы. Княгиня закрыла лицо платком. Князь Семен Михайлович, скривя рот, моргал глазами. Многие из офицеров тоже прослезились. Бутлер, который очень мало знал Козловского, тоже не мог удержать слез. Все это ему чрезвычайно нравилось. Потом начались тосты за Барятинского, за Воронцова, за офицеров, за солдат, и гости вышли от обеда опьяненные и выпитым вином, и военным восторгом, к которому они и так были особенно склонны.

Погода была чудная, солнечная, тихая, с бодрящим свежим воздухом. Со всех сторон трещали костры, слышались песни. Казалось, все праздновали что-то. Бутлер в самом счастливом, умиленном расположении духа пошел к Полторацкому. К Полторацкому собрались офицеры, раскинули карточный стол, и адъютант заложил банк в сто рублей. Раза два Бутлер выходил из палатки, держа в руке, в кармане панталон, свой кошелек, но,

наконец, не выдержал и, несмотря на данное себе и братьям слово не играть, стал понтировать.

И не прошло часу, как Бутлер, весь красный, в поту, испачканный мелом, сидел, облокотившись обеими руками на стол, и писал под смятыми на углы и транспорты картами цифры своих ставок. Он проиграл так много, что уж боялся счесть то, что было за ним записано. Он, не считая, знал, что, отдав все жалованье, которое он мог взять вперед, и цену своей лошади, он все-таки не мог заплатить всего, что было за ним записано незнакомым адъютантом. Он бы играл и еще, но адъютант с строгим лицом положил своими белыми чистыми руками карты и стал считать меловую колонну записей Бутлера. Бутлер сконфуженно просил извинить его за то, что не может заплатить сейчас всего того, что проиграл, и сказал, что он пришлет из дому, и когда он сказал это, он заметил, что всем стало жаль его и что все, даже Полторацкий, избегали его взгляда. Это был последний его вечер. Стоило ему не играть, а пойти к Воронцову, куда его звали, «и все бы было хорошо», — думал он. А теперь было не только не хорошо, но было ужасно.

Простившись с товарищами и знакомыми, он уехал домой и, приехав, тотчас же лег спать и спал восемнадцать часов сряду, как спят обыкновенно после проигрыша. Марья Дмитриевна по тому, что он попросил у нее полтинник, чтобы дать на чай провожавшему его казаку, и по его грустному виду и коротким ответам поняла, что он проигрался, и напала на Ивана Матвеевича, зачем он отпускал его.

На другой день Бутлер проснулся в двенадцатом часу и, вспомнив свое положение, хотел бы опять нырнуть в забвение, из которого только что вышел, но нельзя было. Надо было принять меры, чтобы выплатить четыреста семьдесят рублей, которые он остался должен незнакомому человеку. Одна из этих мер состояла в том, что он написал письмо брату, каясь в своем грехе и умоляя его выслать ему в последний раз пятьсот рублей в счет той мельницы, которая оставалась еще у них в общем владении. Потом он написал своей скупой родственнице, прося ее дать ему на каких она хочет процентах те же пятьсот рублей. Потом он пошел к Ивану Матвеевичу и, зная, что у него или, скорее, у Марьи Дмитриевны есть деньги, просил его дать ему взаймы пятьсот рублей.

— Я бы дал, — сказал Иван Матвеевич, — сейчас отдал бы, да Машка не даст. Они, эти бабы, очень уж прижимисты, черт их знает. А надо, надо выкрутиться, черт его возьми. У того черта, у маркитанта, нет ли?

Но у маркитанта нечего было и пробовать занимать. Так что спасение Бутлера могло прийти только от брата или от скупой родственницы.

XXII

Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи-Мурат вернулся в Тифлис и каждый день ходил к Воронцову и, когда его принимали, умолял его собрать горских пленных и выменять на них его семью. Он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел бы, служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределенно обещал сделать, что может, но откладывал, говоря, что он решит дело, когда приедет в Тифлис генерал Аргутинский и он переговорит с ним. Тогда Хаджи-Мурат стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить в Нухе, небольшом городке Закавказья, где он полагал, что ему удобнее будет вести переговоры с Шамилем и с преданными ему людьми о своей семье. Кроме того, в Нухе, магометанском городе, была мечеть, где он более удобно мог исполнять требуемые магометанским законом молитвы. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджи-Мурату переехать в Нуху.

Для Воронцова, для петербургских властей, так же как и для большинства русских людей, знавших историю Хаджи-Мурата, история эта представлялась или счастливым оборотом в кавказской войне, или просто интересным случаем; для Хаджи-Мурата же это был, особенно в последнее время, страшный поворот в его жизни. Он бежал из гор, отчасти спасая себя, отчасти из ненависти к Шамилю, и, как ни трудно было это бегство, он достиг своей цели, и в первое время его радовал его успех и он действительно обдумывал планы нападения на Шамиля. Но оказалось, что выход его семьи, который, он думал, легко устроить, был труднее, чем он думал. Шамиль захватил его семью и, держа ее в плену, обещал раздать женщин по аулам и убить или ослепить сына. Теперь Хаджи-Мурат переезжал в Нуху с намерением попытаться через

своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний лазутчик, который был у него в Нухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выйти вместе с семьею к русским, но людей, готовых на это, слишком мало, и что они не решаются сделать этого в месте заключения семьи, в Ведено, но сделают это только в том случае, если семью переведут из Ведено в другое место. Тогда на пути они обещаются сделать это. Хаджи-Мурат велел сказать своим друзьям, что он обещает три тысячи рублей за выручку семьи.

В Нухе Хаджи-Мурату был отведен небольшой дом в пять комнат, недалеко от мечети и ханского дворца. В том же доме жили приставленные к нему офицеры и переводчик и его нукеры. Жизнь Хаджи-Мурата проходила в ожидании и приеме лазутчиков из гор и в разрешенных ему прогулках верхом по окрестностям Нухи.

Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи-Мурат узнал, что в его отсутствие приехал чиновник из Тифлиса. Несмотря на все желание узнать, что привез ему чиновник, Хаджи-Мурат, прежде чем идти в ту комнату, где его ожидали пристав с чиновником, пошел к себе и совершил полуденную молитву. Окончив молитву, он вышел в другую комнату, служившую гостиной и приемной. Приехавший из Тифлиса чиновник, толстенький статский советник Кириллов, передал Хаджи-Мурату желание Воронцова, чтоб он к двенадцатому числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским.

— Якши, — сердито сказал Хаджи-Мурат.

Чиновник Кириллов не понравился ему.

— А деньги привез?

— Привез, — сказал Кириллов.

— За две недели теперь, — сказал Хаджи-Мурат и показал десять пальцев и еще четыре. — Давай.

— Сейчас дадим, — сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки. — И на что ему деньги? — сказал он по-русски приставу, полагая, что Хаджи-Мурат не понимает, но Хаджи-Мурат понял и сердито взглянул на Кириллова. Доставая деньги, Кириллов, желая разговориться с Хаджи-Муратом, с тем чтобы иметь что передать по возвращении своем князю Воронцову, спросил у него через переводчика, скучно ли ему здесь. Хаджи-Мурат сбоку взглянул презрительно на маленького

толстого человечка в штатском и без оружия и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос.

— Скажи ему, что я не хочу с ним говорить. Пускай даст деньги.

И, сказав это, Хаджи-Мурат опять сел к столу, собираясь считать деньги.

Когда Кириллов вынул золотые и разложил семь столбиков по десять золотых (Хаджи-Мурат получал по пять золотых в день), он подвинул их к Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат ссыпал золотые в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плеши и пошел из комнаты. Статский советник привскочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. То же подтвердил и пристав. Но Хаджи-Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты.

— Что с ним станешь делать, — сказал пристав. — Пырнет кинжалом, вот и все. С этими чертями не сговоришь. Я вижу, он беситься начинает.

Как только смерклось, пришли из гор обвязанные до глаз башлыками два лазутчика. Пристав провел их в комнаты к Хаджи-Мурату. Один из лазутчиков был мясистый, черный тавлинец, другой — худой старик. Известия, принесенные ими, были для Хаджи-Мурата нерадостные. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будут помогать Хаджи-Мурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджи-Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахе, долго молчал. Хаджи-Мурат думал, и думал решительно. Он знал, что думает теперь в последний раз, и необходимо решение. Хаджи-Мурат поднял голову и, достав два золотых, отдал лазутчикам по одному и сказал:

— Идите.

— Какой будет ответ?

— Ответ будет, какой даст бог. Идите.

Лазутчики встали и ушли, а Хаджи-Мурат продолжал сидеть на ковре, опершись локтями на колени. Он долго сидел так и думал.

«Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему? — думал Хаджи-Мурат. — Он лисица — обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику,

нельзя было. Нельзя было потому, что он теперь, после того как я побыл у русских, уже не поверит мне», — думал Хаджи-Мурат.

И он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах, и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. «Лети, — сказали они,— туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут». Сокол не хотел покидать родину и остался. Но другие соколы не приняли и заклевали его.

«Так заклюют и меня», — думал Хаджи-Мурат.

«Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство?»

«Это можно», — думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя.

«Но надо сейчас решить, а то он погубит семью».

Всю ночь Хаджи-Мурат не спал и думал.

XXIII

К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено и или умереть, или освободить семью. Выведет ли он семью назад к русским, или бежит с нею в Хунзах и будет бороться с Шамилем, — Хаджи-Мурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы. И он сейчас стал приводить это решение в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный ватный бешмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сени. Как только он вышел в сени с отворенной дверью, его охватила росистая свежесть лунной ночи и ударили в уши свисты и щелканье сразу нескольких соловьев из сада, примыкавшего к дому.

Пройдя сени, Хаджи-Мурат отворил дверь в комнату нукеров. В комнате этой не было света, только молодой месяц в первой четверти светил в окна. Стол и два стула стояли в стороне, и все четыре нукера лежали на коврах и бурках на полу. Ханефи спал на дворе с лошадьми. Гамзало, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджи-Мурата и, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказаний. Курбан и Хан-Магома спали. Хаджи-Мурат по-

ложил бешмет на стол, и бешмет стукнул о доски стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые.

— Зашей и эти, — сказал Хаджи-Мурат, подавая Элдару полученные нынче золотые.

Элдар взял золотые и тотчас же, выйдя на светлое место, достал из-под кинжала ножичек и стал пороть подкладку бешмета. Гамзало приподнялся и сидел, скрестив ноги.

— А ты, Гамзало, вели молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко, — сказал Хаджи-Мурат.

— Порох есть, пули есть. Будет готово, — сказал Гамзало и зарычал что-то непонятное.

Гамзало понял, для чего Хаджи-Мурат велел зарядить ружья. Он с самого начала, и что дальше, то сильнее и сильнее, желал одного: побить, порезать, сколько можно, русских собак и бежать в горы. И теперь он видел, что этого самого хочет и Хаджи-Мурат, и был доволен.

Когда Хаджи-Мурат ушел, Гамзало разбудил товарищей, и все четверо всю ночь пересматривали винтовки, пистолеты, затравки, кремни, переменяли плохие, подсыпали на полки свежего пороху, затыкали хозыри с отмеренными зарядами пороха, пулями, обернутыми в масленые тряпки, точили шашки и кинжалы и мазали клинки салом.

Перед рассветом Хаджи-Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате же нукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджи-Мурат зачерпнул воды из кадки и подошел уже к своей двери, когда услыхал в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи-Мурату песню. Хаджи-Мурат остановился и стал слушать.

В песне говорилось о том, как джигит Гамзат угнал с своими молодцами с русской стороны табун белых коней. Как потом его настиг за Тереком русский князь и как он окружил его своим, как лес, большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и с молодцами своими засел за кровавым завалом убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока были пули в ружьях и кинжалы на поясах и кровь в жилах. Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и

закричал им: «Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны».

Этими словами кончалась песня, и к этим последним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого Хан-Магомы, который при самом конце песни громко закричал: «Ля илляха иль алла» — и пронзительно завизжал. Потом все затихло, и опять слышалось только соловьиное чмоканье и свист из сада и равномерное шипение и изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери.

Хаджи-Мурат так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин, и вода лилась из него. Он покачал на себя головой и вошел в свою комнату.

Совершив утренний намаз, Хаджи-Мурат осмотрел свое оружие и сел на свою постель. Делать было больше нечего. Для того чтобы выехать, надо было спроситься у пристава. А на дворе еще было темно, и пристав еще спал.

Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью. Песня эта рассказывала то, что действительно было, — было тогда, когда Хаджи-Мурат только что родился, но про что ему рассказывала его мать.

Песня была такая:

«Булатный кинжал твой прорвал мою белую грудь, а я приложила к ней мое солнышко, моего мальчика, омыла его своей горячей кровью, и рана зажила без трав и кореньев, не боялась я смерти, не будет бояться и мальчик-джигит».

Слова этой песни обращены были к отцу Хаджи-Мурата, и смысл песни был тот, что, когда родился Хаджи-Мурат, ханша родила тоже своего другого сына, Умма-Хана, и потребовала к себе в кормилицы мать Хаджи-Мурата, выкормившую старшего ее сына, Абунунцала. Но Патимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдет. Отец Хаджи-Мурата рассердился и приказывал ей. Когда же она опять отказалась, ударил ее кинжалом и убил бы ее, если бы ее не отняли. Так она и не отдала его и выкормила, и на это дело сложила песню.

Хаджи-Мурат вспомнил свою мать, когда она, укладывая его спать с собой рядом, под шубой, на крыше сакли, пела ему эту песню, и он просил ее показать ему то место на боку, где остался след от раны. Как живую, он видел перед собой свою мать — не такою сморщенной, седой и с решеткой зубов, какою он оставил ее теперь, а молодой, красивой и такой сильной, что она, когда ему было уже лет пять и он был тяжелый, носила его за спиной в корзине через горы к деду.

И вспомнился ему и морщинистый, с седой бородкой, дед, серебряник, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел за матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову и как в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синеющую головенку.

И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его последний раз. Это было в тот день, как он выезжал из Цельмеса. Сын подал ему коня и попросил позволения проводить его. Он был одет и вооружен и держал в поводу свою лошадь. Румяное, молодое, красивое лицо Юсуфа и вся высокая, тонкая фигура его (он был выше отца) дышали отвагой молодости и радостью жизни. Широкие, несмотря на молодость, плечи, очень широкий юношеский таз и тонкий, длинный стан, длинные сильные руки и сила, гибкость, ловкость во всех движениях всегда радовали отца, и он всегда любовался сыном.

— Лучше оставайся. Ты один теперь в доме. Береги и мать и бабку, — сказал Хаджи-Мурат.

И Хаджи-Мурат помнил то выраженье молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что, пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабке. Юсуф все-таки сел верхом и проводил отца до ручья. От ручья он вернулся назад, и с тех пор Хаджи-Мурат уже не видал ни жены, ни матери, ни сына.

И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль! О том, что сделают с его женою, он не хотел и думать.

Мысли эти так взволновали Хаджи-Мурата, что он не мог более сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, отворив ее, кликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали.

— Поди скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку, и седлайте коней, — сказал он.

XXIV

Единственным утешением Бутлера была в это время воинственная поэзия, которой он предавался не только на службе, но и в частной жизни. Он, одетый в черкесский костюм, джигитовал верхом и ходил два раза в засаду с Богдановичем, хотя в оба раза эти они никого не подкараулили и никого не убили. Эта смелость и дружба с известным храбрецом Богдановичем казалась Бутлеру чем-то приятным и важным. Долг свой он уплатил, заняв деньги у еврея на огромные проценты, то есть только отсрочил и отдалил неразрешенное положение. Он старался не думать о своем положении и, кроме воинственной поэзии, старался забыться еще вином. Он пил все больше и больше и со дня на день все больше и больше нравственно слабел. Он теперь уже не был прекрасным Иосифом по отношению к Марье Дмитриевне, а, напротив, стал грубо ухаживать за ней, но, к удивлению своему, встретил решительный отпор, сильно пристыдивший его.

В конце апреля в укрепление пришел отряд, который Барятинский предназначал для нового движения через всю считавшуюся непроходимой Чечню. Тут были две роты Кабардинского полка, и роты эти, по установившемуся кавказскому обычаю, были приняты как гости ротами, стоящими в Куринском. Солдаты разобрались по казармам и угащивались не только ужином, кашей, говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам, и, как и водилось, здешние офицеры угащивали пришедших.

Угощение кончилось попойкой с песенниками, и Иван Матвеевич, очень пьяный, уже не красный, но бледно-серый, сидел верхом на стуле и, выхватив шашку, рубил ею воображаемых врагов и то ругался, то хохотал, то обнимался, то плясал под любимую свою песню: «Шамиль

начал бунтоваться в прошедшие годы, трай-рай-ратата́й, в прошедшие годы».

Бутлер был тут же. Он старался видеть и в этом военную поэзию, но в глубине души ему жалко было Ивана Матвеевича, но остановить его не было никакой возможности. И Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошел домой.

Полный месяц светил на белые домики и на камни дороги. Было светло так, что всякий камушек, соломинка, помет были видны на дороге. Подходя к дому, Бутлер встретил Марью Дмитриевну, в платке, покрывавшем ей голову и плечи. После отпора, данного Марьей Дмитриевной Бутлеру, он, немного совестясь, избегал встречи с нею. Теперь же, при лунном свете и от выпитого вина, Бутлер обрадовался этой встрече и хотел опять приласкаться к ней.

— Вы куда? — спросил он.

— Да своего старика проведать, — дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренно и решительно отвергала ухаживанье Бутлера, но ей неприятно было, что он все последнее время сторонился ее.

— Что же его проведывать, придет.

— Да придет ли?

— А не придет — принесут.

— То-то, нехорошо ведь это, — сказала Марья Дмитриевна. — Так не ходить?

— Нет, не ходите. А пойдем лучше домой.

Марья Дмитриевна повернулась и пошла домой рядом с Бутлером. Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы. Бутлер смотрел на это сияние около своей головы и собирался сказать ей, что она все так же нравится ему, но не знал, как начать. Она ждала, что он скажет. Так, молча, они совсем уж подходили к дому, когда из-за угла выехали верховые. Ехал офицер с конвоем.

— Это кого бог несет? — сказала Марья Дмитриевна и посторонилась.

Месяц светил взад приезжему, так что Марья Дмитриевна узнала его только тогда, когда он почти поравнялся с ними. Это был офицер Каменев, служивший прежде вместе с Иваном Матвеевичем, и потому Марья Дмитриевна знала его.

— Петр Николаевич, вы? — обратилась к нему Марья Дмитриевна.

— Я самый, — сказал Каменев. — А, Бутлер! Здравствуйте! Не спите еще? Гуляете с Марьей Дмитриевной? Смотрите, Иван Матвеевич вам задаст. Где он?

— А вот слышите, — сказала Марья Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тулумбаса и песни. — Кутят.

— Это что же, ваши кутят?

— Нет, пришли из Хасав-Юрта, вот и угощаются.

— А, это хорошее дело. И я поспею. Я к нему ведь только на минуту.

— Что же, дело есть? — спросил Бутлер.

— Есть маленькое дельце.

— Хорошее или дурное?

— Кому как! Для нас хорошее, кое для кого скверное, — и Каменев засмеялся.

В это время и пешие и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича.

— Чихирев! — крикнул Каменев казаку. — Подъезжай-ка.

Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом.

— Ну, достань-ка штуку, — сказал Каменев, слезая с лошади.

Казак тоже слез с лошади и достал из переметной сумы мешок с чем-то. Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку.

— Так показать вам новость? Вы не испугаетесь? — обратился он к Марье Дмитриевне.

— Чего же бояться, — сказала Марья Дмитриевна.

— Вот она, — сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца. — Узнаете?

Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженой бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленным запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение.

Марья Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась и быстрыми шагами ушла в дом.

Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджи-Мурата, с которым он

так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах.

— Как же это? Кто его убил? Где? — спросил он.

— Удрать хотел, поймали, — сказал Каменев и отдал голову казаку, а сам вошел в дом вместе с Бутлером.

— И молодцом умер, — сказал Каменев.

— Да как же это все случилось?

— А вот погодите, Иван Матвеевич придет, я все подробно расскажу. Ведь я затем послан. Развожу по всем укреплениям, аулам, показываю.

Было послано за Иваном Матвеевичем, и он, пьяный, с двумя также сильно выпившими офицерами, вернулся в дом и принялся обнимать Каменева.

— А я к вам, — сказал Каменев. — Хаджи-Мурата голову привез.

— Врешь! Убили?

— Да, бежать хотел.

— Я говорил, что надует. Так где же она? Голова-то? Покажи-ка.

Кликнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, и Иван Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее.

— А все-таки молодчина был, — сказал он. — Дай я его поцелую.

— Да, правда, лихая была голова, — сказал один из офицеров.

Когда все осмотрели голову, ее отдали опять казаку. Казак положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула.

— А что ж ты, Каменев, приговариваешь что, когда показываешь? — говорил один офицер.

— Нет, дай я его поцелую. Он мне шашку подарил, — кричал Иван Матвеевич.

Бутлер вышел на крыльцо. Марья Дмитриевна сидела на второй ступеньке. Она оглянулась на Бутлера и тотчас же сердито отвернулась.

— Что вы, Марья Дмитриевна? — спросил Бутлер.

— Все вы живорезы. Терпеть не могу. Живорезы, право, — сказала она, вставая.

— То же со всеми может быть, — сказал Бутлер, не зная, что говорить. — На то война.

— Война! — вскрикнула Марья Дмитриевна. — Какая война? Живорезы, вот и всё. Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят. Живорезы, право, — повторила

она и сошла с крыльца и ушла в дом через задний ход.

Бутлер вернулся в гостиную и попросил Каменева рассказать подробно, как было все дело.

И Каменев рассказал.

Дело было вот как.

XXV

Хаджи-Мурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков. Казаков всех в Нухе была полусотня, из которой разобраны были по начальству человек десять, остальных же, если их посылать, как было приказано, по десять человек, приходилось бы наряжать через день. И потому в первый день послали десять казаков, а потом решили посылать по пять человек, прося Хаджи-Мурата не брать с собой всех своих нукеров, но 25 апреля Хаджи-Мурат выехал на прогулку со всеми пятью. В то время как Хаджи-Мурат садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все пять нукеров собирались ехать с Хаджи-Муратом, и сказал ему, что ему не позволяется брать с собой всех, но Хаджи-Мурат как будто не слыхал, тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер, в скобку остриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русый малый, Назаров. Он был старший в бедной старообрядческой семье, выросший без отца и кормивший старую мать с тремя дочерьми и двумя братьями.

— Смотри, Назаров, не пускай далеко! — крикнул воинский начальник.

— Слушаю, ваше благородие, — ответил Назаров и, поднимаясь на стременах, тронул рысью, придерживая за плечом винтовку, своего доброго, крупного, рыжего, горбоносого мерина. Четыре казака ехали за ним: Ферапонтов, длинный, худой, первый вор и добытчик, — тот самый, который продал порох Гамзале; Игнатов, отслуживающий срок, немолодой человек, здоровый мужик, хваставшийся своей силой; Мишкин, слабосильный малолеток, над которым все смеялись, и Петраков, молодой, белокурый, единственный сын у матери, всегда ласковый и веселый.

С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась,

и солнце блестело и на только что распустившейся листве, и на молодой девственной траве, и на всходах хлебов, и на ряби быстрой реки, видневшейся налево от дороги.

Хаджи-Мурат ехал шагом. Казаки и его нукеры, не отставая, следовали за ним. Выехали шагом по дороге за крепостью. Встречались женщины с корзинами на головах, солдаты на повозках и скрипящие арбы на буйволах. Отъехав версты две, Хаджи-Мурат тронул своего белого кабардинца; он пошел проездом, так, что его нукеры шли большой рысью. Так же ехали и казаки.

— Эх, лошадь добра под ним, — сказал Ферапонтов. — Кабы в ту пору, как он не мирной был, ссадил бы его.

— Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе.

— А я на своем перегоню, — сказал Назаров.

— Как же, перегонишь, — сказал Ферапонтов.

Хаджи-Мурат все прибавлял хода.

— Эй, кунак, нельзя так. Потише! — прокричал Назаров, догоняя Хаджи-Мурата.

Хаджи-Мурат оглянулся и, ничего не сказав, продолжал ехать тем же про́ездом, не уменьшая хода.

— Смотри, задумали что, черти, — сказал Игнатов. — Вишь, лупят.

Так прошли с версту по направлению к горам.

— Я говорю, нельзя! — закричал опять Назаров.

Хаджи-Мурат не отвечал и не оглядывался, только еще прибавлял хода и с про́езда перешел на скок.

— Врешь, не уйдешь! — крикнул Назаров, задетый за живое.

Он ударил плетью своего крупного рыжего мерина и, привстав на стременах и нагнувшись вперед, пустил его во весь мах за Хаджи-Муратом.

Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с доброю, сильною лошадью, летел по ровной дороге за Хаджи-Муратом, что ему и в голову не приходила возможность чего-нибудь недоброго, печального или страшного. Он радовался тому, что с каждым скоком набирал на Хаджи-Мурата и приближался к нему. Хаджи-Мурат сообразил по топоту крупной лошади казака, приближающегося к нему, что он накоротко должен настигнуть его, и, взявшись правой рукой за пистолет, левой стал слегка сдерживать своего разгорячившегося и слышавшего за собой лошадиный топот кабардинца.

— Нельзя, говорю! — крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджи-Муратом и протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. Но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел.

— Что же это ты делаешь? — закричал Назаров, хватаясь за грудь. — Бей их, ребята, — проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла.

Но горцы прежде казаков взялись за оружие и били казаков из пистолетов и рубили их шашками. Назаров висел на шее носившей его вокруг товарищей испуганной лошади. Под Игнатовым упала лошадь, придавив ему ногу. Двое горцев, выхватив шашки, не слезая, полосовали его по голове и рукам. Петраков бросился было к товарищу, но тут же два выстрела, один в спину, другой в бок, сожгли его, и он, как мешок, кувырнулся с лошади.

Мишкин повернул лошадь назад и поскакал к крепости. Ханефи с Хан-Магомой бросились за Мишкиным, но он был уже далеко впереди, и горцы не могли догнать его.

Увидав, что они не могут догнать казака, Ханефи с Хан-Магомой вернулись к своим. Гамзало, добив кинжалом Игнатова, прирезал и Назарова, свалив его с лошади. Хан-Магома снимал с убитых сумки с патронами. Ханефи хотел взять лошадь Назарова, но Хаджи-Мурат крикнул ему, что не надо, и пустился вперед по дороге. Мюриды его поскакали за ним, отгоняя от себя бежавшую за ними лошадь Петракова. Они были уже версты за три от Нухи среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу.

Петраков лежал навзничь с взрезанным животом, и его молодое лицо было обращено к небу, и он, как рыба всхлипывая, умирал.

— Батюшки, отцы мои родные, что наделали! — вскрикнул, схватившись за голову, начальник крепости, когда узнал о побеге Хаджи-Мурата. — Голову сняли! Упустили, разбойники! — кричал он, слушая донесение Мишкина.

Тревога дана была везде, и не только все бывшие в наличности казаки были посланы за бежавшими, но собраны были и все, каких можно было собрать, милиционеры из мирных аулов. Объявлено было тысячу рублей награды тому, кто привезет живого или мертвого Хаджи-Мурата. И через два часа после того, как Хаджи-Мурат с товарищами ускакали от казаков, больше двухсот чело-

век конных скакали за приставом отыскивать и ловить бежавших.

Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджи-Мурат сдержал своего тяжело дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился. Вправо от дороги виднелись сакли и минарет аула Беларджика, налево были поля, и в конце их виднелась река. Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи-Мурат повернул в противоположную сторону, влево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо. Он же, и без дороги переправясь через Алазань, выедет на большую дорогу, где его никто не будет ожидать, и проедет по ней до леса и тогда уже, вновь переехав через реку, лесом проберется в горы. Решив это, он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле, через которое надо было ехать, как это всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в трясину, в которой выше бабки вязли лошади. Хаджи-Мурат и его нукеры брали направо, налево, думая, что найдут более сухое место, но то поле, на которое они попали, было все равномерно залито и теперь пропитано водою. Лошади с звуком хлопания пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались.

Так они бились так долго, что начало смеркаться, а они всё еще не доехали до реки. Влево был островок с распустившимися листиками кустов, и Хаджи-Мурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи.

Въехав в кусты, Хаджи-Мурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться, сами же поели взятого с собой хлеба и сыра. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы, и ночь была темная. Соловьев в Нухе было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока Хаджи-Мурат с своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь. Хаджи-Мурат, прислушиваясь к звукам ночи, невольно слушал их.

И их свист напомнил ему ту песню о Гамзате, которую он слушал нынче ночью, когда выходил за водой. Он всякую минуту теперь мог быть в том же положении, в котором был Гамзат. Ему подумалось, что это так и будет, и ему вдруг стало серьезно на душе. Он разостлал бурку и совершил намаз. И едва только окончил его, как

послышались приближающиеся к кустам звуки. Это были звуки большого количества лошадиных ног, шлепавших по трясине. Быстроглазый Хан-Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени конных и пеших, приближавшихся к кустам. Ханефи увидал такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник, с своими милиционерами.

«Что ж, будем биться, как Гамзат»,— подумал Хаджи-Мурат.

После того как дана была тревога, Карганов с сотней милиционеров и казаков бросился в догоню Хаджи-Мурата, но нигде не нашел ни его, ни следов его. Карганов уже возвращался безнадежно домой, когда перед вечером ему встретился старик татарин. Карганов спросил у старика, не видал ли он шестерых конных? Старик отвечал, что видел. Он видел, как шесть конных кружились по рисовому полю и въехали в кусты, в которых он собирал дрова. Карганов, захватив с собой старика, вернулся назад и, по виду стреноженных лошадей уверившись, что Хаджи-Мурат был тут, ночью уже окружил кусты и стал дожидаться утра, чтобы взять Хаджи-Мурата живого или мертвого.

Поняв, что он окружен, Хаджи-Мурат высмотрел в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Он сказал это своим товарищам и велел им делать завал на канаве. И нукеры тотчас же взялись рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь. Хаджи-Мурат работал вместе с ними.

Как только стало светать, как к кустам близко подъехал сотенный командир милиции и закричал:

— Эй! Хаджи-Мурат! Сдавайся! Нас много, а вас мало.

В ответ на это из канавы показался дымок, щелкнула винтовка, и пуля попала в лошадь милиционера, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки милиционеров, стоявших на опушке кустов, и пули их, свистя и жужжа, обивали листья и сучья и попадали в завал, но не попадали в людей, сидевших за завалом. Только одна отбившаяся лошадь Гамзалы была подбита ими. Лошадь была ранена в голову. Она не упала, но, разорвав треногу, треща по кустам, бросилась к другим лошадям и, прижавшись к ним, поливала кровью молодую траву. Хаджи-Мурат и его люди

стреляли только тогда, когда кто-либо из милиционеров выдавался вперед, и редко миновали цели. Три человека из милиционеров были ранены, и милиционеры не только не решались броситься на Хаджи-Мурата и его людей, но всё более и более отдалялись от них и стреляли только издалека, наобум.

Так продолжалось более часа. Солнце взошло в полдерева, и Хаджи-Мурат уже думал сесть на лошадей и попытаться пробиться к реке, когда послышались крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджи-Ага мехтулинский с своими людьми. Их было человек двести. Гаджи-Ага был когда-то кунак Хаджи-Мурата и жил с ним в горах, но потом перешел к русским. С ним же был Ахмет-Хан, сын врага Хаджи-Мурата. Гаджи-Ага, так же как Карганов, начал с того, что закричал Хаджи-Мурату, чтобы он сдавался, но, так же как и в первый раз, Хаджи-Мурат ответил выстрелом.

— В шашки, ребята! — крикнул Гаджи-Ага, выхватив свою, и послышались сотни голосов людей, с визгом бросившихся в кусты.

Милиционеры вбежали в кусты, но из-за завала затрещало один из другим несколько выстрелов. Человека три упало, и нападавшие остановились, и на опушке кустов тоже стали стрелять. Они стреляли и вместе с тем понемногу приближались к завалу, перебегая от куста к кусту. Некоторые успевали перебегать, некоторые же попадали под пули Хаджи-Мурата и его людей. Хаджи-Мурат бил без промаха, точно так же редко выпускал выстрел даром Гамзало и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Курбан сидел с краю канавы и пел «Ля илляха иль алла» и не торопясь стрелял, но попадал редко. Элдар же дрожал всем телом от нетерпения броситься с кинжалом на врагов и стрелял часто и как попало, беспрестанно оглядываясь на Хаджи-Мурата и высовываясь из-за завала. Волосатый Ханефи, с засученными рукавами, и тут исполнял должность слуги. Он заряжал ружья, которые передавали ему Хаджи-Мурат и Курбан, старательно загоняя железным шомполом обернутые в намасленные хлюсты пульки и подсыпая из натруски сухого пороха на полки. Хан-Магома же не сидел, как другие, в канаве, а перебегал из канавы к лошадям, загоняя их в более безопасное место, и не переставая визжал и стрелял с руки без подсошек. Его первого ранили. Пуля по-

пала ему в шею, и он сел назад, плюя кровью и ругаясь. Потом ранен был Хаджи-Мурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджи-Мурат вырвал из бешмета вату, заткнул себе рану и продолжал стрелять.

— Бросимся в шашки, — в третий раз говорил Элдар.

Он высунулся из-за завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, и он зашатался и упал навзничь, на ногу Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на него. Бараньи прекрасные глаза пристально и серьезно смотрели на Хаджи-Мурата. Рот с выдающеюся, как у детей, верхней губой дергался, не раскрываясь. Хаджи-Мурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Ханефи нагнулся над убитым Элдаром и стал быстро выбирать нерасстрелянные заряды из его черкески. Курбан между тем все пел, медленно заряжая и целясь.

Враги, перебегая от куста к кусту с гиканьем и визгом, придвигались все ближе и ближе. Еще пуля попала Хаджи-Мурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим. То он видел перед собой силача Абунунцал-Хана, как он, придерживая рукою отрубленную, висящую щеку, с кинжалом в руке бросился на врага; то видел слабого, бескровного старика Воронцова с его хитрым белым лицом и слышал его мягкий голос; то видел сына Юсуфа, то жену Софиат, то бледное, с рыжей бородой и прищуренными глазами, лицо врага своего Шамиля.

И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем никакого чувства: ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Все это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него. А между тем его сильное тело продолжало делать начатое. Он собрал последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи,

бритая голова, потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался.

Он не двигался, но еще чувствовал. Когда первый подбежавший к нему Гаджи-Ага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог понять, кто это делает и зачем. Это было последнее его сознание связи с своим телом. Больше он уже ничего не чувствовал, и враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджи-Ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и осторожно, чтобы не запачкать в кровь чуняки, откатил ее ногою. Алая кровь хлынула из артерий шеи и черная из головы и залила траву.

И Карганов, и Гаджи-Ага, и Ахмет-Хан, и все милиционеры, как охотник над убитым зверем, собрались над телами Хаджи-Мурата и его людей (Ханефи, Курбана и Гамзалу связали) и, в пороховом дыму стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу.

Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали, сперва один близко и потом другие на дальнем конце.

Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля.

ФАЛЬШИВЫЙ КУПОН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Федор Михайлович Смоковников, председатель казенной палаты, человек неподкупной честности, и гордящийся этим, и мрачно либеральный и не только свободномыслящий, но ненавидящий всякое проявление религиозности, которую он считал остатком суеверий, вернулся из палаты в самом дурном расположении духа. Губернатор написал ему преглупую бумагу, по которой можно было предположить замечание, что Федор Михайлович поступил нечестно. Федор Михайлович очень озлобился и тут же написал бойкий и колкий ответ.

Дома Федору Михайловичу казалось, все делалось ему наперекор.

Было без пяти минут пять часов. Он думал, что сейчас же подадут обедать, но обед не был еще готов. Федор Михайлович хлопнул дверью и ушел в свою комнату. В дверь постучался кто-то. «Кой черт еще там», — подумал он и крикнул:

— Кто там еще?

В комнату вошел гимназист пятого класса, пятнадцатилетний мальчик, сын Федора Михайловича.

— Зачем ты?

— Нынче первое число.

— Что? Деньги?

Было заведено, что каждое первое число отец давал сыну жалованья на забавы три рубля. Федор Михайлович нахмурился, достал бумажник, поискал и вынул

купон в $2^{1}/_{2}$ рубля, потом достал штучку с серебром и отсчитал еще пятьдесят копеек. Сын молчал и не брал.

— Папа, пожалуйста, дай мне вперед.

— Что?

— Я не просил бы, да я занял на честное слово, обещал. Я, как честный человек, не могу... мне надо еще три рубля, право, не буду просить... не то что не буду просить, а просто... пожалуйста, папа.

— Тебе сказано...

— Да папа, ведь один раз...

— Ты получаешь жалованья три рубля, и все мало. Я в твои года не получал и пятидесяти копеек.

— Теперь все товарищи мои больше получают. Петров, Иваницкий пятьдесят рублей получают.

— А я тебе скажу, что, если ты так поведешь себя, ты будешь мошенник. Я сказал.

— Да что же сказали. Вы никогда не войдете в мое положение, я должен буду подлецом быть. Вам хорошо.

— Пошел вон, шалопай. Вон.

Федор Михайлович вскочил и бросился к сыну.

— Вон. Сечь вас надо.

Сын испугался и озлобился, но озлобился больше, чем испугался, и, склонив голову, скорым шагом пошел к двери. Федор Михайлович не хотел бить его, но он был рад своему гневу и долго еще кричал, провожая сына, бранные слова.

Когда пришла горничная и сказала, что готово обедать, Федор Михайлович встал.

— Наконец, — сказал он. — Мне уже и есть не хочется.

И, насупившись, пошел к обеду.

За столом жена заговорила с ним, но он так буркнул сердито короткий ответ, что она замолчала. Сын тоже не подымал глаз от тарелки и молчал. Поели молча и молча встали и разошлись.

После обеда гимназист вернулся в свою комнату, вынул из кармана купон и мелочь и бросил на стол, а потом снял мундир, надел куртку. Сначала гимназист взялся за истрепанную латинскую грамматику, потом запер дверь на крючок, смел рукой со стола в ящик деньги, достал из ящика гильзы, насыпал одну, заткнул ватой и стал курить.

Просидел он над грамматикой и тетрадями часа два, ничего не понимая, потом встал и стал, топая пятками,

ходить по комнате и вспоминать все, что было с отцом. Все ругательные слова отца, особенно его злое лицо, вспоминались ему, точно он сейчас слышал и видел его. «Шалопай. Сечь надо». И что больше он вспоминал, то больше злился на отца. Вспомнил он, как отец сказал ему: «Вижу, чтó из тебя выйдет — мошенник. Так и знай». — «И выйдешь мошенником, если так. Ему хорошо. Он забыл, как был молод. Ну, какое же я сделал преступление? Просто поехал в театр, не было денег, взял у Пети Грушецкого. Что же тут дурного? Другой бы пожалел, расспросил, а этот только ругаться и об себе думать. Вот когда у него чего-нибудь нет — это крик на весь дом, а я мошенник. Нет, хоть он и отец, а не люблю я его. Не знаю, все ли так, но я не люблю».

В дверь постучалась горничная. Она принесла записку.

— Велели ответ непременно.

В записке было написано: «Вот уже третий раз я прошу тебя возвратить взятые тобой у меня шесть рублей, но ты отвиливаешь. Так не поступают честные люди. Прошу немедленно прислать с сим посланным. Мне самому нужда до зарезу. Неужели же ты не можешь достать?

Твой, смотря по тому, отдашь ты или не отдашь, презирающий или уважающий тебя товарищ

Грушецкий».

«Вот и думай. Экая свинья какая. Не может подождать. Попытаюсь еще».

Митя пошел к матери. Это была последняя надежда. Мать его была добрая и не умела отказывать, и она, может быть, и помогла бы ему, но нынче она была встревожена болезнью меньшого, двухлетнего Пети. Она рассердилась на Митю за то, что он пришел и зашумел, и сразу отказала ему.

Он что-то проворчал себе под нос и пошел из двери. Ей стало жалко сына, и она воротила его.

— Постой, Митя, — сказала она. — У меня нет теперь, но завтра я достану.

Но в Мите все еще кипела злоба на отца.

— Зачем мне завтра, когда нужно нынче? Так знайте, что я пойду к товарищу.

Он вышел, хлопнув дверью.

«Больше делать нечего, он научит, где часы заложить», — подумал он, ощупывая часы в кармане.

Митя достал из стола купон и мелочь, надел пальто и пошел к Махину.

II

Махин был гимназист с усами. Он играл в карты, знал женщин, и у него всегда были деньги. Он жил с теткой. Митя знал, что Махин нехороший малый, но, когда он был с ним, он невольно подчинялся ему. Махин был дома и собирался в театр: в грязной комнатке его пахло душистым мылом и одеколоном.

— Это, брат, последнее дело, — сказал Махин, когда Митя рассказал ему свое горе, показал купон и пятьдесят копеек и сказал, что ему нужно девять рублей. — Можно и часы заложить, а можно и лучше, — сказал Махин, подмигивая одним глазом.

— Как лучше?

— А очень просто. — Махин взял купон. — Поставить единицу перед 2 р. 50, и будет 12 р. 50.

— Да разве бывают такие?

— А как же, а на тысячерублевых билетах. Я один спустил такой.

— Да не может быть?

— Так что ж, валить? — сказал Махин, взяв перо и расправив купон пальцем левой руки.

— Да ведь это нехорошо.

— И, вздор какой.

«И точно, — подумал Митя, и ему вспомнились опять ругательства отца: — мошенник. Вот и буду мошенник». Он посмотрел в лицо Махину. Махин смотрел на него, спокойно улыбаясь.

— Что же, валить?

— Вали.

Махин старательно вывел единицу.

— Ну, вот теперь пойдем в магазин. Вот тут на углу: фотографические принадлежности. Мне кстати рамка нужна, вот на эту персону.

Он достал фотографическую карточку большеглазой девицы с огромными волосами и великолепным бюстом.

— Какова душка? А?

— Да, да. Как же...

— Очень просто. Пойдем.

Махин оделся, и они вместе вышли.

III

В входной двери фотографического магазина зазвонил колокольчик. Гимназисты вошли, оглядывая пустой магазин с полками, установленными принадлежностями, и с витринами на прилавках. Из задней двери вышла некрасивая с добрым лицом женщина и, став за прилавком, спросила, что нужно.

— Рамочку хорошенькую, мадам.

— На какую цену? — спросила дама, быстро и ловко перебирая руками в митенках, с опухшими сочленениями пальцев, рамки разных фасонов. — Эти на пятьдесят копеек, а эти подороже. А вот это очень миленький, новый фасон, рубль двадцать.

— Ну, давайте эту. Да нельзя ли уступить? Возьмите рубль.

— У нас не торгуются, — достойно сказала дама.

— Ну, бог с вами, — сказал Махин, кладя на витрину купон.

— Давайте рамочку и сдачу, да поскорее. Нам в театр не опоздать.

— Еще успеете, — сказала дама и стала близорукими глазами рассматривать купон.

— Мило будет в этой рамочке. А? — сказал Махин, обращаясь к Мите.

— Нет ли у вас других денег? — сказала продавщица.

— То-то и горе, что нету. Мне дал отец, надо же разменять.

— Да неужели нет рубля двадцати?

— Есть пятьдесят копеек. Да что же, вы боитесь, что мы вас обманываем фальшивыми деньгами?

— Нет, я ничего.

— Так давайте назад. Мы разменяем.

— Так сколько вам?

— Да, стало быть, одиннадцать с чем-то.

Продавщица пощелкала на счетах, отперла конторку, достала десять рублей бумажкой и, пошевелив рукой в мелочи, собрала еще шесть двугривенных и два пятака.

— Потрудитесь завернуть, — сказал Махин, неторопливо взяв деньги.

— Сейчас.

Продавщица завернула и завязала бечевкой.

Митя перевел дыхание, только когда колокольчик входной двери зазвенел за ними, и они вышли на улицу.

— Ну вот тебе десять рублей, а эти дай мне. Я тебе отдам.

И Махин ушел в театр, а Митя пошел к Грушецкому и рассчитался с ним.

IV

Через час после ухода гимназистов хозяин магазина пришел домой и стал считать выручку.

— Ах, дура косолапая! Вот дура-то, — закричал он на свою жену, увидав купон и тотчас же заметив подделку. — И зачем брать купоны.

— Да ты сам, Женя, брал при мне, именно двенадцатирублевые, — сказала жена, сконфуженная, огорченная и готовая плакать. — Я и сама не знаю, как они меня обморочили, — говорила она, — гимназисты. Красивый молодой человек, казался такой комильфотный.

— Комильфотная дура, — продолжал браниться муж, считая кассу. — Я беру купон, так знаю и вижу, что на нем написано. А ты, я чай, только рожу гимназистов рассматривала на старости лет.

Этого не выдержала жена и сама рассердилась.

— Настоящий мужчина! Только других осуждать, а сам проиграешь в карты пятьдесят четыре рубля — это ничего.

— Я — другое дело.

— Не хочу с тобой говорить, — сказала жена и ушла в свою комнату и стала вспоминать, как в ее семье не хотели выдавать ее замуж, считая мужа ее гораздо ниже по положению, и как она одна настояла на этом браке; вспомнила про своего умершего ребенка, равнодушие мужа к этой потере и возненавидела мужа так, что подумала о том, как бы хорошо было, если бы он умер. Но, подумав это, она испугалась своих чувств и поторопилась одеться и уйти. Когда ее муж вернулся в квартиру, жены уже не было. Она, не дожидаясь его, оделась и одна уехала к знакомому учителю французского языка, который звал нынче на вечер.

V

У учителя французского языка, русского поляка, был парадный чай с сладкими печениями, а потом сели за несколько столов в винт.

Жена продавца фотографических принадлежностей села с хозяином, офицером и старой, глухой дамой в парике, вдовой содержателя музыкального магазина, большой охотницей и мастерицей играть. Карты шли к жене продавца фотографических принадлежностей. Она два раза назначила шлем. Подле нее стояла тарелочка с виноградом и грушей, и на душе у нее было весело.

— Что же Евгений Михайлович не идет? — спросила хозяйка с другого стола. — Мы его пятым записали.

— Верно, увлекся счетами, — сказала жена Евгенья Михайловича, — нынче расчеты за провизию, за дрова.

И, вспомнив про сцену с мужем, она нахмурилась, и ее руки в митенках задрожали от злобы на него.

— Да вот легок на помине, — сказал хозяин, обращаясь к входившему Евгенью Михайловичу. — Что запоздали?

— Да разные дела, — отвечал Евгений Михайлович веселым голосом, потирая руки. И, к удивлению жены, он подошел к ней и сказал:

— А знаешь, я купон-то спустил.

— Неужели?

— Да, мужику за дрова.

И Евгений Михайлович рассказал всем с большим негодованием, — в рассказ его включала подробности его жена, — как надули его жену бессовестные гимназисты.

— Ну-с, теперь за дело, — сказал он, усаживаясь за стол, когда пришел его черед, и тасуя карты.

VI

Действительно, Евгений Михайлович спустил купон за дрова крестьянину Ивану Миронову.

Иван Миронов торговал тем, что покупал на дровяных складах одну сажень дров, развозил ее по городу и выкладывал так, что из сажени выходило пять четверок, которые он продавал за ту же цену, какую стоила четверть на дровяном дворе. В этот несчастный для Ивана Миронова день он рано утром вывез осьмушку и, скоро продав, наложил другую еще осьмушку и надеялся продать, но провозил до вечера, добиваясь покупателя, но никто не купил. Он все попадал на опытных городских жителей, которые знали обычные проделки мужиков, продающих дрова, и не верили тому, что он привез, как он уве-

рял, дрова из деревни. Сам он проголодался, иззяб в своем вытертом полушубке и рваном армяке; мороз к вечеру дошел до двадцати градусов; лошаденка, которую он не жалел, потому что собирался продать ее драчам, совсем стала. Так что Иван Миронов готов был даже с убытком отдать дрова, когда ему встретился ходивший за табаком в магазин и возвращавшийся домой Евгений Михайлович.

— Возьмите, барин, задешево отдам. Лошаденка стала совсем.

— Да ты откуда?

— Мы из деревни. Свои дрова, хорошие, сухие.

— Знаем мы вас. Ну, что возьмешь?

Иван Миронов запросил, стал сбавлять и, наконец, отдал за свою цену.

— Только для вас, барин, что близко везти, — сказал он.

Евгений Михайлович не очень торговался, радуясь мысли, что он спустит купон. Кое-как, сам подтягивая за оглобли, Иван Миронов ввез дрова во двор и сам разгрузил их в сарай. Дворника не было. Иван Миронов сначала замялся брать купон, но Евгений Михайлович так убедил его и казался таким важным барином, что он согласился взять.

Войдя с заднего крыльца в девичью, Иван Миронов перекрестился, оттаял сосульки с бороды и, заворотив полу кафтана, достал кожаный кошелек и из него восемь рублей пятьдесят копеек и отдал сдачу, а купон, завернув в бумажку, положил в кошелек.

Поблагодарив, как водится, барина, Иван Миронов, разгоняя уж не кнутом, но кнутовищем насилу передвигавшую ноги, обындевевшую, обреченную на смерть клячонку, порожнем погнал к трактиру.

В трактире Иван Миронов спросил себе на восемь копеек вина и чая и, отогревшись и даже распотевши, в самом веселом расположении духа беседовал с сидевшим у его же стола дворником. Он разговорился с ним, рассказал ему все свои обстоятельства. Рассказал, что он из деревни Васильевского, в двенадцати верстах от города, что он отделенный от отца и братьев и живет теперь с женой и двумя ребятами, из которых старший только ходил в училище, а еще не помогал ничего. Рассказал, что он здесь стоит на фатере и завтра пойдет на конную продаст своего одра и присмотрит, а если и придется — купит лошадку. Рассказал, что у него набралось теперь

без рубля четвертная и что у него половина денег в купоне. Он достал купон и показал дворнику. Дворник был безграмотный, но сказал, что он менивал для жильцов такие деньги, что деньги хорошие, но бывают поддельные, и потому советовал для верности отдать здесь у стойки. Иван Миронов отдал половому и велел принести сдачи, но половой не принес сдачу, а пришел лысый, с глянцевитым лицом приказчик с купоном в пухлой руке.

— Деньги ваши не годятся, — сказал он, показывая купон, но не отдавая его.

— Деньги хорошие, мне барин дал.

— То-то что не хорошие, а поддельные.

— А поддельные, так давай их сюда.

— Нет, брат, вашего брата учить надо. Ты с мошенниками подделал.

— Давай деньги, какую ты имеешь полную праву?

— Сидор! кликни-ка полицейского, — обратился буфетчик к половому.

Иван Миронов был выпивши. А выпивши он был неспокоен. Он схватил приказчика за ворот и закричал:

— Давай назад, я пойду к барину. Я знаю, где он.

Приказчик рванулся от Ивана Миронова, и рубаха его затрещала.

— А, ты так. Держи его.

Половой схватил Ивана Миронова, и тут же явился городовой. Выслушав, как начальник, в чем дело, он тотчас же решил его.

— В участок.

Купон городовой положил себе в портмоне и вместе с лошадью отвел Ивана Миронова в участок.

VII

Иван Миронов переночевал в участке с пьяными и ворами. Уже около полудня его потребовали к околоточному. Околоточный допросил его и послал с городовым к продавцу фотографических принадлежностей. Иван Миронов запомнил улицу и дом.

Когда городовой вызвал барина и представил ему купон и Ивана Миронова, утверждавшего, что этот самый барин дал ему купон, Евгений Михайлович сделал удивленное и потом строгое лицо.

— Что ты, видно с ума спятил. В первый раз его вижу.

— Барин, грех, умирать будем, — говорил Иван Миронов.

— Что с ним сделалось? Да ты, верно, заспал. Ты кому-нибудь другому продал, — говорил Евгений Михайлович. — Впрочем, постойте, я пойду у жены спрошу, брала ли она вчера дрова.

Евгений Михайлович вышел и тотчас же позвал дворника, красивого, необыкновенно сильного и ловкого щеголя, веселого малого Василья, и сказал ему, что если у него будут спрашивать, где взяты последние дрова, чтобы он говорил, что в складе, а что у мужиков дров не покупали.

— А то тут мужик показывает, что я ему фальшивый купон дал. Мужик бестолковый, бог знает что говорит, а ты человек с понятием. Так и говори, что дрова мы покупаем только в складе. А это я тебе давно хотел дать на куртку, — прибавил Евгений Михайлович и дал дворнику пять рублей.

Василий взял деньги, блеснул глазами на бумажку, потом на лицо Евгения Михайловича, тряхнул волосами и слегка улыбнулся.

— Известно, народ бестолковый. Необразованность. Не извольте беспокоиться. Я уж знаю, как сказать.

Сколько и как слезно ни умолял Иван Миронов Евгения Михайловича признать свой купон и дворника подтвердить его слова, и Евгений Михайлович и дворник стояли на своем: никогда не брали дров с возов. И городовой свел назад в участок Ивана Миронова, обвиняемого в подделке купона.

Только по совету сидевшего с ним пьяного писаря, отдав пятерку околоточному, Иван Миронов выбрался из-под караула без купона и с семью рублями вместо двадцати пяти, которые у него были вчера. Иван Миронов пропил из этих семи рублей три и с разбитым лицом и мертвецки пьяный приехал к жене.

Жена была беременная на сносях и больная. Она начала ругать мужа, он оттолкнул ее, она стала бить его. Он, не отвечая, лег брюхом на нары и громко заплакал.

Только на другое утро жена поняла, в чем было дело, и, поверив мужу, долго кляла разбойника барина, обманувшего ее Ивана. И Иван, протрезвившись, вспомнил, что ему советовал мастеровой, с которым он пил вчера, и решил идти к аблакату жаловаться.

VIII

Адвокат взялся за дело не столько из-за денег, которые он мог получить, сколько из-за того, что поверил Ивану и был возмущен тем, как бессовестно обманули мужика.

На суд явились обе стороны, и дворник Василий был свидетелем. На суде повторилось то же. Иван Миронов поминал про бога, про то, что умирать будем. Евгений Михайлович, хотя и мучился сознанием гадости и опасности того, что он делал, не мог уже теперь изменить показания и продолжал с внешне спокойным видом все отрицать.

Дворник Василий получил еще десять рублей и с улыбкой спокойно утверждал, что видом не видал Ивана Миронова. И когда его привели к присяге, хотя и робел внутренно, наружно спокойно повторил за вызванным старичком священником слова присяги, на кресте и святом Евангелии клянясь в том, что будет говорить всю правду.

Дело кончилось тем, что судья отказал Ивану Миронову в иске, положил взыскать с него пять рублей судебных издержек, которые Евгений Михайлович великодушно простил ему. Отпуская Ивана Миронова, судья прочел ему наставление о том, чтобы он вперед был осторожнее в взведении обвинений на почтенных людей и был бы благодарен за то, что ему простили судебные издержки и не преследуют его за клевету, за которую он отсидел бы месяца три в тюрьме.

— Благодарим покорно,— сказал Иван Миронов и, покачивая головой и вздыхая, вышел из камеры.

Все это, казалось, кончилось хорошо для Евгения Михайловича и дворника Василия. Но это только казалось так. Случилось то, чего никто не видел, но что было важнее всего того, что люди видели.

Василий уже третий год ушел из деревни и жил в городе. С каждым годом он подавал отцу все меньше и меньше и не выписал к себе жену, не нуждаясь в ней. У него здесь, в городе, жен, и не таких, как его нехалява, было сколько хочешь. С каждым годом Василий все больше и больше забывал деревенский закон и освоивался с городскими порядками. Там все было грубо, серо, бедно, неурядливо, здесь все было тонко, хорошо, чисто, богато, все в порядке. И он все больше и больше уверялся, что

деревенские живут без понятия, как звери лесные, здесь же — настоящие люди. Читал он книжки хороших сочинителей, романы, ходил на представления в народный дом. В деревне и во сне того не видишь. В деревне старики говорят: живи в законе с женой, трудись, лишнее не ешь, не щеголяй, а здесь люди умные, ученые — значит, знают настоящие законы, — живут в свое удовольствие. И все хорошо. До дела с купоном Василий все не верил, что у господ нет никакого закона насчет того, как жить. Ему все казалось, что он не знает их закона, а закон есть. Но последнее дело с купоном и, главное, его фальшивая присяга, от которой, несмотря на его страх, ничего худого не вышло, а, напротив, вышло еще десять рублей, он совсем уверился, что нет никаких законов и надо жить в свое удовольствие. Так он и жил, так и продолжал жить. Сначала он пользовался только на покупках жильцов, но этого было мало для всех его расходов, и он, где мог, стал таскать деньги и ценные вещи из квартир жильцов и украл кошелек Евгения Михайловича. Евгений Михайлович уличил его, но не стал подавать в суд, а расчел его.

Домой Василию идти не хотелось, и он остался жить в Москве с своей любезной, отыскивая место. Место нашлось дешевое к лавочнику в дворники. Василий поступил, но на другой же месяц попался в краже мешков. Хозяин не стал жаловаться, а побил Василья и прогнал. После этого случая места уже не находилось, деньги проживались, потом стала проживаться одежа, и кончилось тем, что остался один рваный пиджак, штаны и опорки. Любезная бросила его. Но Василий не утратил свое бодрое, веселое расположение и, дождавшись весны, пошел пеший домой.

IX

Петр Николаевич Свентицкий, маленький, коренастенький человечек в черных очках (у него болели глаза, ему угрожала полная слепота), встал, по обыкновению, до света и, выпив стакан чаю, надел крытый, отороченный мерлушкой полушубочек и пошел по хозяйству.

Петр Николаевич был таможенным чиновником и нажил там восемнадцать тысяч рублей. Лет двенадцать тому назад он вышел в отставку не совсем по своей воле

и купил именьице промотавшегося юноши-помещика. Петр Николаич был на службе еще женат. Жена его была бедная сирота старого дворянского рода, крупная, полная, красивая женщина, не давшая ему детей. Петр Николаич во всех делах был человек основательный и настойчивый. Ничего не зная о хозяйстве (он был сын польского шляхтича), он так хорошо занялся хозяйством, что разоренное имение в триста десятин через десять лет стало образцовым. Все постройки у него, от дома до амбара и навеса над пожарной трубой, были прочные, основательные, крытые железом и вовремя крашенные. В инструментном сарае стояли порядком телеги, сохи, плуги, бороны. Сбруя была вымазана. Лошади были не крупные, почти всё своего завода — саврасой масти, сытенькие, крепенькие, одна в одну. Молотилка работала в крытой риге, корм убирался в особенном сарае, навозная жижа стекала в мощеную яму. Коровы были тоже своего завода, не крупные, но молочные. Свиньи были аглицкие. Был птичник и особенно ноской породы куры. Сад фруктовый был обмазан и подсажен. Везде все было хозяйственно, прочно, чисто, исправно. Петр Николаич радовался на свое хозяйство и гордился тем, что всего этого он достигал не притеснением крестьян, а, напротив, строгой справедливостью к ним. Он даже среди дворян держался среднего, скорее либерального, чем консервативного, взгляда и всегда перед крепостниками защищал народ. Будь с ними хорош, и они будут хороши. Правда, он не спускал промахов и ошибок рабочих, иногда и сам поталкивал их, требовал работы, но зато помещения, харчи были самые хорошие, жалованье всегда было выдано вовремя, и в праздники он подносил водку.

Ступая осторожно по талому снегу, — это было в феврале, — Петр Николаич направился мимо рабочей конюшни к избе, где жили рабочие. Было еще темно; еще темнее от тумана, но в окнах рабочей избы был виден свет. Рабочие вставали. Он намеревался поторопить их: по наряду им надо было на шестерне ехать за последними дровами в рощу.

«Это что?» — подумал он, увидав отворенную дверь в конюшню.

— Эй, кто тут?

Никто не отозвался. Петр Николаич вошел в конюшню.

— Эй, кто тут?

Никто не отзывался. Было темно, под ногами мягко, и пахло навозом. Направо от двери в стойле стояла пара молодых саврасых. Петр Николаич протянул руку — пусто. Он тронул ногой. Не легла ли? Нога ничего не встретила. «Куда же они ее вывели?» — подумал он. Запрягать — не запрягали, сани еще все наружи. Петр Николаич вышел из двери и крикнул громко.

— Эй, Степан.

Степан был старший рабочий. Он как раз выходил из рабочей.

— Яу! — откликнулся весело Степан. — Это вы, Петр Николаич? Сейчас ребята идут.

— Что у вас конюшня отперта?

— Конюшня? Не могу знать. Эй, Прошка, давай фонарь.

Прошка прибежал с фонарем. Вошли в конюшню. Степан сразу понял.

— Это воры были, Петр Николаич. Замок сбит.

— Врешь?

— Свели, разбойники. Машки нет, Ястреба нет. Ястреб здесь. Пестрого нет. Красавчика нет.

Трех лошадей не было. Петр Николаич ничего не сказал.

Нахмурился и тяжело дышал.

— Ох, попался бы мне. Кто караулил?

— Петька. Петька проспал.

Петр Николаич подал в полицию, к становому, земскому начальнику, разослал своих. Лошадей не нашли.

— Поганый народ! — говорил Петр Николаич. — Что сделали. Я ли им добро не делал. Погоди же ты. Разбойники, все разбойники. Теперь я не так с вами поведу дело.

X

А лошади, тройка саврасых, были уже на местах. Одну, Машку, продали цыганам за восемнадцать рублей, другого, Пестрого, променяли мужику за сорок верст, Красавчика загнали и зарезали. Продали шкуру за три рубля. Всему делу этому был руководчиком Иван Миронов. Он служил у Петра Николаича и знал порядки Петра Николаича и решил вернуть свои денежки. И устроил дело.

После своего несчастья с фальшивым купоном Иван Миронов долго пил и пропил бы все, если бы жена не

спрятала от него хомуты, одежу и все, что можно было пропить. Во время пьянства своего Иван Миронов не переставая думал не только о своем обидчике, но о всех господах и господишках, которые только тем живут, что обирают нашего брата. Пил один раз Иван Миронов с мужиками из-под Подольска. И мужики, дорогой, пьяные, рассказали ему, как они свели лошадей у мужика. Иван Миронов стал ругать конокрадов за то, что они обидели мужика. «Грех это,— говорил он,— у мужика лошадка все равно брат, а ты его обездолишь. Коли уводить, так у господ. Эти собаки того стоят». Дальше, больше, разговорились, и подольские мужики сказали, что у господ свести лошадей хитро. Надо знать ходы, а без своего человека нельзя. Тогда Иван Миронов вспомнил про Свентицкого, у которого он жил в работниках, вспомнил, что Свентицкий недодал при расчете полтора рубля за сломанный шкворень, вспомнил и про саврасеньких лошадок, на которых он работал.

Иван Миронов сходил к Свентицкому как будто наниматься, а только затем, чтобы высмотреть и узнать все. И узнав все, что караульщика нет, что лошади в денниках, в конюшне, подвел воров и сделал все дело.

Поделив с подольскими мужиками выручку, Иван Миронов с пятью рублями приехал домой. Дома делать нечего было: лошади не было. И с той поры Иван Миронов стал водиться с конокрадами и цыганами.

XI

Петр Николаич Свентицкий из всех сил старался найти вора. Без своего не могло быть сделано дело. И потому он стал подозревать своих и, разузнав у рабочих, кто не ночевал в эту ночь дома, узнал, что не ночевал Прошка Николаев — молодой малый, только что пришедший из военной службы солдат, красивый, ловкий малый, которого Петр Николаич брал для выездов вместо кучера. Становой был приятель Петра Николаича, он знал и исправника, и предводителя, и земского начальника, и следователя. Все эти лица бывали у него в именины и знали его вкусные наливки и соленые грибки — белые, опенки и грузди. Все жалели его и старались помочь ему.

— Вот, а вы защищаете мужиков, — говорил становой. — Правду я говорил, что хуже зверей. Без кнута и палки с ними ничего не поделаешь. Так вы говорите, Прошка, тот, что с вами кучером ездит?

— Да, он.

— Давайте его сюда.

Прошку призвали и стали допрашивать:

— Где был?

Прошка тряхнул волосами, блеснул глазами.

— Дома.

— Как же дома, все рабочие показывают, что тебя не было.

— Воля ваша.

— Да не в моей воле дело. А где ты был?

— Дома.

— Ну, хорошо же. Сотский, сведи его в стан.

— Воля ваша.

Так и не сказал Прошка, где был, а не сказал потому, что ночь он был у своего дружка, у Параши, и обещал не выдавать ее, и не выдал. Улик не было. И Прошку выпустили. Но Петр Николаич был уверен, что это все дело Прокофья, и возненавидел его. Один раз Петр Николаич, взяв Прокофья за кучера, выслал его на подставу. Прошка, как и всегда делал, взял на постоялом дворе две меры овса. Полторы скормил, а на полмеры выпил. Петр Николаич узнал это и подал мировому судье. Мировой судья приговорил Прошку на три месяца в острог. Прокофий был самолюбив. Он считал себя выше людей и гордился собой. Острог унизил его. Ему нельзя было гордиться перед народом, и он сразу упал духом.

Из острога Прошка вернулся домой не столько озлобленный против Петра Николаича, сколько против всего мира.

Прокофий, как говорили все, после острога опустился, стал лениться работать, стал пить и скоро попался в воровстве одежи у мещанки и попал опять в острог.

Петр же Николаич узнал об лошадях только то, что была найдена шкура с саврасого мерина, которую Петр Николаич признал за шкуру Красавчика. И эта безнаказанность воров еще больше раздражила Петра Николаича. Он не мог теперь без злобы видеть мужиков и говорить про них и где мог старался прижать их.

XII

Несмотря на то, что, спустив купон, Евгений Михайлович перестал думать о нем, жена его Марья Васильевна не могла простить ни себе, что поддалась обману, ни мужу за жестокие слова, которые он сказал ей, ни, главное, тем двум мальчишкам-негодяям, которые так ловко обманули ее.

С того самого дня, как ее обманули, она приглядывалась ко всем гимназистам. Раз она встретила Махина, но не узнала его, потому что он, увидав ее, сделал такую рожу, которая совсем изменила его лицо. Но Митю Смоковникова она, столкнувшись с ним нос с носом на тротуаре недели две после события, тотчас же узнала. Она дала ему пройти и, повернувшись, следом пошла за ним. Дойдя до его квартиры и узнав, чей он сын, она на другой день пошла в гимназию и в передней встретила законоучителя Михаила Введенского. Он спросил, что ей нужно. Она сказала, что желает видеть директора.

— Директора нет, он нездоров; может быть, я могу исполнить или передать ему?

Марья Васильевна решила все рассказать законоучителю.

Законоучитель Введенский был вдовец, академик и человек очень самолюбивый. Еще в прошлом году он встретился в одном обществе с отцом Смоковникова и, столкнувшись с ним в разговоре о вере, в котором Смоковников разбил его по всем пунктам и поднял на смех, решил обратить особенное внимание на сына и, найдя в нем такое же равнодушие к закону божию, как и в неверующем отце, стал преследовать его и даже провалил его на экзамене.

Узнав от Марьи Васильевны про поступок молодого Смоковникова, Введенский не мог не почувствовать удовольствия, найдя в этом случае подтверждение своих предположений о безнравственности людей, лишенных руководства церкви, и решил воспользоваться этим случаем, как он старался себя уверить, для показания той опасности, которая угрожает всем отступающим от церкви, — в глубине же души для того, чтобы отомстить гордому и самоуверенному атеисту.

— Да, очень грустно, очень грустно, — говорил отец Михаил Введенский, поглаживая рукой гладкие бока наперсного креста. — Я очень рад, что вы передали дело мне; я, как служитель церкви, постараюсь не оставить

молодого человека без наставлений, но и постараюсь как можно более смягчить назидание.

«Да, я сделаю так, как подобает моему званию», — говорил себе отец Михаил, думая, что он, совершенно забыв недоброжелательство к себе отца, имеет в виду только благо и спасение юноши.

На следующий день на уроке закона божия отец Михаил рассказал ученикам весь эпизод фальшивого купона и сказал, что это сделал гимназист.

— Поступок дурной, постыдный, — сказал он, — но запирательство еще хуже. Если, чему я не верю, это сделал один из вас, то лучше ему покаяться, чем скрываться.

Говоря это, отец Михаил пристально смотрел на Митю Смоковникова. Гимназисты, следя за его взглядом, тоже оглядывались на Смоковникова. Митя краснел, потел, наконец расплакался и выбежал из класса.

Мать Мити, узнав про это, выпытала всю правду у сына и побежала в магазин фотографических принадлежностей. Она заплатила двенадцать рублей пятьдесят копеек хозяйке и уговорила ее скрыть имя гимназиста. Сыну же велела все отрицать и ни в коем случае не признаваться отцу.

И действительно, когда Федор Михайлович узнал о том, что было в гимназии, и призванный им сын отперся от всего, он поехал к директору и, рассказав все дело, сказал, что поступок законоучителя в высшей степени предосудителен и он не оставит этого так. Директор пригласил священника, и между им и Федором Михайловичем произошло горячее объяснение.

— Глупая женщина вклепалась в моего сына, потом сама отреклась от своего показания, а вы не нашли ничего лучшего, как оклеветать честного, правдивого мальчика.

— Я не клеветал и не позволю вам говорить так со мной. Вы забываете мой сан.

— Наплевать мне на ваш сан.

— Ваши превратные понятия, — дрожа подбородком, так что тряслась его редкая бородка, заговорил законоучитель, — известны всему городу.

— Господа, батюшка, — старался успокоить спорящих директор. Но успокоить их нельзя было.

— Я по долгу своего сана должен заботиться о религиозно-нравственном воспитании.

— Полноте притворяться. Разве я не знаю, что вы ни в чох, ни в смерть не верите?

— Я считаю недостойным себя говорить с таким господином, как вы, — проговорил отец Михаил, оскорбленный последними словами Смоковникова в особенности потому, что он знал, что они справедливы. Он прошел полный курс духовной академии и потому давно уже не верил в то, что исповедовал и проповедовал, а верил только в то, что все люди должны принуждать себя верить в то, во что он принуждал себя верить.

Смоковников не столько был возмущен поступком законоучителя, сколько находил, что это хорошая иллюстрация того клерикального влияния, которое начинает проявляться у нас, и всем рассказывал про этот случай.

Отец же Введенский, видя проявления утвердившегося нигилизма и атеизма не только в молодом, но старом поколении, все больше и больше убеждался в необходимости борьбы с ним. Чем больше он осуждал неверие Смоковникова и ему подобных, тем больше он убеждался в твердости и незыблемости своей веры и тем меньше чувствовал потребности проверять ее или согласовать ее с своей жизнью. Его вера, признаваемая всем окружающим его миром, была для него главным орудием борьбы против ее отрицателей.

Эти мысли, вызванные в нем столкновением с Смоковниковым, вместе с неприятностями по гимназии, происшедшими от этого столкновения, — именно, выговор, замечание, полученное от начальства, — заставили его принять давно уже, со смерти жены, манившее его к себе решение: принять монашество и избрать ту самую карьеру, по которой пошли некоторые из его товарищей по академии, из которых один был уже архиереем, а другой архимандритом на вакансии епископа.

К концу академического года Введенский покинул гимназию, постригся в монахи под именем Мисаила и очень скоро получил место ректора семинарии в поволжском городе.

XIII

Между тем Василий-дворник шел большой дорогой на юг.

День он шел, а на ночь десятский отводил его на очередную квартиру. Хлеб ему везде давали, а иногда

и сажали за стол ужинать. В одной деревне Орловской губернии, где он ночевал, ему сказали, что купец, снявший у помещика сад, ищет молодцов-караульных. Василью надоело нищенствовать, а домой идти не хотелось, и он пошел к купцу-садовнику и нанялся караульщиком за пять рублей в месяц.

Жизнь в шалаше, особенно после того, как стала поспевать грушовка и с барского гумна караульщики принесли большущие вязанки свежей, из-под молотилки, соломы, была очень приятна Василью. Лежи целый день на свежей, пахучей соломе подле кучек, еще более, чем солома, пахучих, падали ярового и зимового яблока, поглядывай, не забрались ли где ребята за яблоками, посвистывай и распевай песни. А песни петь Василий был мастер. И голос у него был хороший. Придут с деревни бабы, девки за яблоками. Пошутит с ними Василий, отдаст, как какая приглянется, побольше или поменьше яблок за яйца или копеечки — и опять лежи; только сходи позавтракать, пообедать, поужинать.

Рубаха на Василье была одна розовая, ситцевая, и та в дырах, на ногах ничего не было, но тело было сильное, здоровое, и когда котелок с кашей снимали с огня, Василий съедал за троих, так что старик караульщик только дивился на него. По ночам Василий не спал и либо свистал, либо покрикивал и, как кошка, далеко в темноте видел. Раз забрались с деревни большие ребята трясти яблоки. Василий подкрался и набросился на них; хотели они отбиться, да он расшвырял их всех, а одного привел в шалаш и сдал хозяину.

Первый шалаш Василья был в дальнем саду, а второй шалаш, когда грушовка сошла, был в сорока шагах от барского дома. И в этом шалаше Василью еще веселее было. Целый день Василий видел, как господа и барышни играли, ездили кататься, гуляли, а по вечерам и ночам играли на фортепьяно, на скрипке, пели, танцевали. Видел он, как барышни с студентами сидели на окнах и ласкались и потом одни шли гулять в темные липовые аллеи, куда только полосами и пятнами проходил лунный свет. Видел он, как бегали слуги с едой и питьем и как повара, прачки, приказчики, садовники, кучера — все работали только затем, чтобы кормить, поить, веселить господ. Заходили иногда молодые господа и к нему в шалаш, и он отбирал им и подавал лучшие, наливные и краснобокие яблоки, и барышни тут же, хрустя зубами,

кусали их и хвалили и что-то говорили — Василий понимал, что об нем, — по-французски и заставляли его петь.

И Василий любовался на эту жизнь, вспоминая свою московскую жизнь, и мысль о том, что все дело в деньгах, все больше и больше западала ему в голову.

И Василий стал все больше и больше думать о том, как бы сделать, чтобы сразу захватить побольше денег. Стал он вспоминать, как он прежде пользовался, и решил, что не так надо делать, что надо не так, как прежде, ухватить где плохо лежит, а вперед обдумать, вызнать и сделать чисто, чтобы никаких концов не оставить. К рожеству богородицы сняли последнюю антоновку. Хозяин попользовался хорошо и всех караульщиков и Василья расчел и отблагодарил.

Василий оделся — молодой барин подарил ему куртку и шляпу — и не пошел домой, очень тошно ему было думать о мужицкой, грубой жизни, — а вернулся назад в город с пьющими солдатиками, которые вместе с ним караулили сад. В городе он решил ночью взломать и ограбить ту лавку, у хозяина которой он жил и который прибил его и прогнал без расчета. Он знал все ходы и где были деньги, солдатика приставил караулить, а сам взломал окно со двора, пролез и выбрал все деньги. Дело было сделано искусно, и следов никаких не нашли. Денег вынул триста семьдесят рублей. Сто рублей Василий дал товарищу, а с остальными уехал в другой город и там кутил с товарищами и товарками.

XIV

Между тем Иван Миронов стал ловким, смелым и успешным конокрадом. Афимья, его жена, прежде ругавшая его за плохие дела, как она говорила, теперь была довольна и гордилась мужем, тем, что у него тулуп крытый и у ней самой полушалок и новая шуба.

В деревне и в округе все знали, что ни одна кража лошадей не обходилась без него, но доказать на него боялись, и, когда и бывало на него подозрение, он выходил чист и прав. Последняя кража его была из ночного в Колотовке. Когда мог, Иван Миронов разбирал, у кого красть, и больше любил брать у помещиков и купцов. Но и у помещиков и купцов было труднее. И потому, когда не подходили помещичьи и купеческие, он брал

и у крестьян. Так он и захватил в Колотовке из ночного каких попало лошадей. Сделал дело не он сам, но подговоренный им ловкий малый Герасим. Мужики хватились лошадей только на заре и бросились искать по дорогам. Лошади же стояли в овраге, в казенном лесу. Иван Миронов намеревался продержать их тут до другой ночи, а ночью махнуть за сорок верст к знакомому дворнику. Иван Миронов проведал Герасима в лесу, принес ему пирога и водки и пошел домой лесной тропинкой, где надеялся никого не встретить. На беду его он столкнулся с сторожем-солдатом.

— Али по грибы ходил? — сказал солдат.

— Да нет ничего нынче, — отвечал Иван Миронов, показывая на лукошко, которое он взял на всякий случай.

— Да, нынче не грибное лето, — сказал солдат, — нешто постом пойдут, — и прошел мимо.

Солдат понял, что тут что-то неладно. Незачем было Ивану Миронову ходить рано утром по казенному лесу. Солдат вернулся и стал шарить по лесу. Около оврага он услыхал лошадиное фырканье и пошел потихоньку к тому месту, откуда слышал. В овраге было притоптано, и был лошадиный помет. Дальше сидел Герасим и ел что-то, а две лошади стояли привязанные у дерева.

Солдат побежал в деревню, взял старосту, сотского и двух понятых. Они с трех сторон подошли к тому месту, где был Герасим, и захватили его. Гераська не стал запираться и тотчас же спьяна во всем сознался. Рассказал, как его напоил и подговорил Иван Миронов и как обещался нынче прийти за лошадьми в лес. Мужики оставили лошадей и Герасима в лесу, а сами сделали засаду, выжидая Ивана Миронова. Когда смерклось, послышался свист. Герасим откликнулся. Только Иван Миронов стал спускаться с горы, на него набросились и повели в деревню. Наутро перед старостиной избой собралась толпа.

Ивана Миронова вывели и стали допрашивать. Степан Пелагеюшкин, высокий, сутуловатый, длиннорукий мужик, с орлиным носом и мрачным выражением лица, первый стал допрашивать. Степан был мужик одинокий, отбывший воинскую повинность. Только что отошел от отца и стал справляться, как у него увели лошадь. Проработав год в шахтах, Степан опять справил двух лошадей. Обеих увели.

— Говори, где мои кони, — мрачно глядя то в землю, то в лицо Ивана, заговорил, побледнев от злобы, Степан.

Иван Миронов отперся. Тогда Степан ударил его в лицо и разбил нос, из которого потекла кровь.

— Говори, убью!

Иван Миронов молчал, сгибая голову. Степан ударил своей длинной рукой раз, другой. Иван все молчал, только откидывал то туда, то сюда голову.

— Все бей! — закричал староста.

И все стали бить. Иван Миронов молча упал и закричал:

— Варвары, черти, бейте насмерть. Не боюсь вас.

Тогда Степан схватил камень из заготовленной сажени и разбил Ивану Миронову голову.

XV

Убийц Ивана Миронова судили. В числе этих убийц был Степан Пелагеюшкин. Его обвинили строже других, потому что все показали, что он камнем разбил голову Ивана Миронова. Степан на суде ничего не таил, объяснил, что, когда у него увели последнюю пару лошадей, он заявил в стану, и следы по цыганам найти можно было, да становой его и на глаза не принял и не искал вовсе.

— Что ж нам с таким делать? Разорил нас.

— Почему ж другие не били, а вы? — сказал обвинитель.

— Неправда, все били, мир порешил убить. А я только прикончил. Что ж понапрасну мучить.

Судей поразило в Степане выражение совершенного спокойствия, с которым он рассказывал про свой поступок и про то, как били Ивана Миронова и как он прикончил его.

Степан действительно не видел ничего страшного в этом убийстве. Ему на службе пришлось расстреливать солдата, и, как тогда, так и при убийстве Ивана Миронова, он не видал ничего страшного. Убили так убили. Нынче его, завтра меня.

Степана приговорили легко, к одному году тюрьмы. Одежу мужицкую с него сняли, положили под номером в цейхгауз, а на него надели арестантский халат и коты.

Степан никогда не имел уважения к начальству, но теперь он вполне убедился, что всё начальство, все господа, все, кроме царя, который один жалел народ и был справедлив, все были разбойники, сосущие кровь из на-

рода. Рассказы ссыльных и каторжных, с которыми он сошелся в тюрьме, подтверждали такой взгляд. Один ссылался в каторгу за то, что обличал начальство в воровстве, другой — за то, что ударил начальника, когда стал занапрасно описывать крестьянское имущество, третий — за то, что подделал ассигнации. Господа, купцы, что ни делали, все им сходило с рук, а мужика-бедняка за все про все посылали в остроги вшей кормить.

В остроге посещала его жена. Без него ей и так плохо было, а тут еще сгорела и совсем разорилась, стала с детьми побираться. Бедствия жены еще больше озлобили Степана. Он и в остроге был зол со всеми и раз чуть не зарубил топором кашевара, за что ему был прибавлен год. В этот год он узнал, что жена его померла и что дома его нет больше...

Когда Степану вышел срок, его позвали в цейхгауз, достали с полочки его одежу, в которой он пришел, и дали ему.

— Куда же я пойду теперь? — сказал он, одеваясь, каптенармусу.

— Известно, домой.

— Дома нет. Должно, на дорогу идти надо. Людей грабить.

— А будешь грабить, опять к нам попадешь.

— Ну, это как придется.

И Степан ушел. Направился он все-таки к дому. Больше идти некуда было.

Не доходя до дома, зашел он почевать в знакомый постоялый двор с кабаком.

Двор держал толстый владимирский мещанин. Он знал Степана. И знал, что попал он в острог по несчастью. И оставил Степана у себя ночевать.

Мещанин этот богатый отбил у соседнего мужика жену и жил с ней, как с работницей и женой.

Степан знал все это дело — как обидел мещанин мужика, как эта скверная бабенка ушла от мужа и теперь разъелась и потная сидела за чаем и из милости угостила чаем и Степана. Проезжих никого не было. Степана оставили ночевать на кухне. Матрена убрала все и ушла в горницу. Степан лег на печке, но спать не мог и все трещал по лучинам, которые сохли на печке. Не выходило у него из головы толстое брюхо мещанина, торчавшее из-под пояска ситцевой мытой-перемытой, слинявшей рубахи. Все ему в голову приходило ножом полоснуть это

брюхо, сальник выпустить. И бабенке тоже. То он говорил себе: «Ну, черт с ними, уйду завтра», то вспоминал Ивана Миронова и опять думал о брюхе мещанина и белой, потной глотке Матрены. Уж убить, так обоих. Пропел второй петух. Делать, так теперь, а то рассвенет. Нож он приметил с вечера и топор. Он сполз с печи, взял топор и нож и вышел из кухни. Как раз он вышел, и за дверью щелкнула щеколда. Мещанин вышел к двери. Он сделал не так, как хотел. Ножом не пришлось, а он взмахнул топором и рассек голову. Мещанин повалился на притолоку и наземь.

Степан вошел в горницу. Матрена вскочила и в одной рубахе стояла у кровати. Степан тем же топором убил и ее.

Потом зажег свечу, вынул деньги из конторки и ушел.

XVI

В уездном городе в отдалении от других строений жил в своем доме старик, бывший чиновник, пьяница, с двумя дочерьми и зятем. Замужняя дочь тоже пила и вела дурную жизнь, старшая же, вдова Мария Семеновна, сморщенная, худая, пятидесятилетняя женщина, одна только содержала всех: у ней была пенсия в двести пятьдесят рублей. На эти деньги кормилась вся семья. Работала же в доме только одна Мария Семеновна. Она ходила за слабым, пьяным стариком отцом и за ребенком сестры, и готовила и стирала. И, как это всегда бывает, на нее же наваливали все дела, какие нужны были, и ее же все трое и ругали и даже бил зять в пьяном виде. Она все переносила молча и с кротостью, и, тоже как всегда бывает, чем больше у ней было дела, тем больше она успевала делать. Она и бедным помогала, отрезывая от себя, отдавая свои одежды, и помогала ходить за больными.

Работал раз у Марии Семеновны хромой, безногий портной деревенский. Перешивал он поддевку старику и покрывал сукном полушубок для Марии Семеновны — зимой на базар ходить.

Хромой портной был человек умный и наблюдательный, по своей должности много видавший разных людей и, вследствие своей хромоты, всегда сидевший и потому расположенный думать. Прожив у Марии Семеновны неделю, не мог надивиться на ее жизнь. Один раз она

пришла к нему в кухню, где он шил, застирать полотенцы и разговорилась с ним об его житье, как брат его обижал и как он отделился от него.

— Думал — лучше будет, а все то же, нужда.

— Лучше не менять, а как живешь, так и живи, — сказала Мария Семеновна.

— Да я и то на тебя, Мария Семеновна, дивлюсь, как ты все одна да одна во все концы на людей хлопочешь. А от них добра, я вижу, мало.

Мария Семеновна ничего не сказала.

— Должно, ты по книгам дошла, что награда за это будет на том свете.

— Про это нам неизвестно, — сказала Мария Семеновна, — а только жить так лучше.

— А в книгах это есть?

— И в книгах есть, — сказала она и прочла ему нагорную проповедь из Евангелия. Портной задумался. И когда рассчитался и пошел к себе, все думал о том, что видел у Марии Семеновны и что она сказала и прочла ему.

XVII

Петр Николаич изменился к народу, и народ изменился к нему. Не прошло и года, как они срубили двадцать семь дубов и сожгли не застрахованную ригу и гумно. Петр Николаич решил, что жить с здешним народом нельзя.

В это же время Ливенцовы искали управляющего на свои именья, и предводитель рекомендовал Петра Николаича, как лучшего хозяина в уезде. Именья ливенцовские, огромные, не давали ничего дохода, и крестьяне пользовались всем. Петр Николаич взялся привести всё в порядок и, отдав свое имение в аренду, переехал с женой в дальнюю поволжскую губернию.

Петр Николаич и всегда любил порядок и законность, а теперь тем более не мог допустить того, чтобы этот дикий, грубый народ мог бы, противно закону, завладеть не принадлежащей им собственностью. Он был рад случаю поучить их и строго взялся за дело. Одного крестьянина он за покражу леса засудил в острог, другого собственноручно избил за то, что тот не свернул с дороги и не снял шапку. О лугах, про которые шел спор и крестьяне считали своими, Петр Николаич объявил крестьянам,

что если они выпустят на них скотину, то он заарестует ее.

Пришла весна, и крестьяне, как они делали это в прежние года, выпустили скотину на барские луга. Петр Николаич собрал всех работников и велел загнать скотину на барский двор. Мужики были на пахоте, и потому работники, несмотря на крики баб, загнали скотину. Вернувшись с работы, мужики, собравшись, пришли на барский двор требовать скотину. Петр Николаич вышел к ним с ружьем за плечами (он только что вернулся с объезда) и объявил им, что скотину он отдаст не иначе, как по уплате пятидесяти копеек с рогатой и десяти с овцы. Мужики стали кричать, что луга ихние, что их и отцы и деды ими владели и что нет таких правов забирать чужую скотину.

— Отдай скотину, не то худо будет, — сказал один старик, наступая на Петра Николаича.

— Что худо будет? — весь бледный, подступая к старику, закричал Петр Николаич.

— От греха отдай. Шаромыжник.

— Что? — крикнул Петр Николаич и ударил в лицо старика.

— Ты драться не смеешь. Ребята, бери силом скотину.

Толпа надвинулась. Петр Николаич хотел уйти, но его не пускали. Он стал пробиваться. Ружье выстрелило и убило одного из крестьян. Сделалась крутая свалка. Петра Николаича смяли. И через пять минут изуродованное тело его стащили в овраг.

Над убийцами назначили военный суд, и двоих приговорили к повешению.

XVIII

В селе, из которого был портной, пять богатых крестьян снимали у помещика за тысячу сто рублей сто пять десятин пахотной, черной, как деготь, жирной земли и раздавали ее мужичкам же, кому по восемнадцати, кому по пятнадцати рублей. Ни одна земля не шла ниже двенадцати. Так что барыш был хороший. Сами покупщики брали себе по пяти десятин, и земля эта приходилась им даром. Умер у этих мужиков товарищ, и предложили они хромому портному идти к ним в товарищи.

Когда стали наемщики делить землю, портной не стал пить водку, и, когда речь зашла о том, кому сколько земли дать, портной сказал, что обложить всех надо поровну, что не надо брать лишнего с наемщиков, а сколько придется.

— Как так?

— Да али мы нехристи. Ведь это хорошо господам, а мы хрестьяне. По-божьему надо. Такой закон Христов.

— Где же закон такой?

— А в книге, в Евангелии. Вот приходи воскресенье, я почитаю и потолкуем.

И [в] воскресенье пришли не все, но трое к портному, и стал он им читать.

Прочел пять глав Матвея, стали толковать. Все слушали, но принял только один Иван Чуев. И так принял, что стал во всем жить по-божьему. И в семье его так жить стали. От земли лишней отказался, только свою долю взял.

И стали к портному и к Ивану ходить, и стали понимать, и поняли, и бросили курить, пить, ругаться скверными словами, стали друг другу помогать. И перестали ходить в церковь и снесли попу иконы. И стало таких дворов семнадцать. Всех шестьдесят пять душ. И испугался священник и донес архиерею. Архиерей подумал, как быть, и решил послать в село архимандрита Мисаила, бывшего законоучителем в гимназии.

XIX

Архиерей посадил Мисаила с собой и стал говорить о том, какие новости проявились в его епархии.

— Все от слабости духовной и от невежества. Ты человек ученый. Я на тебя надеюсь. Поезжай, созови и при народе разъясни.

— Если владыка благословит, буду стараться,— сказал отец Мисаил. Он был рад этому поручению. Все, где он мог показать, что он верит, радовало его. А обращая других, он сильнее всего убеждал себя, что он верит.

— Постарайся, очень я страдаю за свою паству,— сказал архиерей, неторопливо принимая белыми, пухлыми руками стакан чая, который подавал ему служка.

— Что ж одно варенье, принеси другого,— обратился он к служке. — Очень, очень мне больно, — продолжал он речь к Мисаилу.

Мисаил был рад себя заявить. Но, как человек небогатый, попросил денег на расходы поездки и, опасаясь противодействия грубого народа, попросил еще распоряжения губернатора о том, чтобы местная полиция в случае надобности оказывала ему содействие.

Архиерей все устроил ему, и Мисаил, собравши с помощью своего служки и кухарки погребец и провизию, которою нужно было запастись, отправляясь в глухое место, поехал к месту назначения. Отправляясь в эту командировку, Мисаил испытывал приятное чувство сознания важности своего служения и притом прекращения всяких сомнений в своей вере, а напротив, совершенную уверенность в истинности ее.

Мысли его были направлены не на сущность веры,— она признавалась аксиомой,— а на опровержение тех возражений, которые делались по отношению ее внешних форм.

XX

Священник села и попадья приняли Мисаила с большим почетом и на другой день его приезда собрали народ в церкви. Мисаил в новой шелковой рясе, с крестом наперсным и расчесанными волосами, вошел на амвон, рядом с ним стал священник, поодаль дьячки, певчие, а у боковых дверей полицейские. Пришли и сектанты — в засаленных, корявых полушубках.

После молебна Мисаил прочел проповедь, увещевая отпадших вернуться в лоно матери церкви, угрожая муками ада и обещая полное прощение покаявшимся.

Сектанты молчали. Когда их стали спрашивать, они отвечали.

На вопрос о том, почему они отпали, они отвечали, что в церкви почитают деревянных и рукотворенных богов и что в писании не только не показано это, но в пророчествах показано обратное. Когда Мисаил спросил Чуева, правда ли то, что они святые иконы называют досками, Чуев отвечал: «Да ты переверни, какую хочешь, икону, сам увидишь». Когда их спросили, почему они не признают священство, они отвечали, что в писании сказано: «Даром получили, даром и давайте», а попы только за деньги свою благодать раздают. На все попытки Мисаила опереться на Священное писание портной и Иван спокойно, но твердо возражали, указывая на писание, которое они

твердо знали. Мисаил рассердился, пригрозил властью мирской. На это сектанты сказали, что сказано: «Меня гнали — и вас будут гнать».

Кончилось ничем, и все бы прошло хорошо, но на другой день у обедни Мисаил сказал проповедь о зловредности совратителей, о том, что они достойны всякой кары, и в народе, выходившем из церкви, стали поговаривать о том, что стоило бы проучить безбожников, чтобы они не смущали народ. И в этот день, в то время как Мисаил закусывал семгой и сигом с благочинным и приехавшим из города инспектором, в селе сделалась свалка. Православные столпились у избы Чуева и ожидали их выхода, чтобы избить их. Сектантов было человек двадцать мужчин и женщин. Проповедь Мисаила и теперь сборище православных и их угрожающие речи вызвали в сектантах злое чувство, которого не было прежде. Завечерело, пора было бабам коров доить, а православные все стояли и ждали и вышедшего было малого побили и загнали опять в избу. Толковали, что делать, и не соглашались.

Портной говорил: терпеть надо и не обороняться. Чуев же говорил, что если так терпеть, они всех перебьют, и, захватив кочергу, вышел на улицу. Православные бросились на него.

— Ну-ка, по закону Моисея,— крикнул он и стал бить православных и вышиб одному глаз, остальные выскочили из избы и вернулись по домам.

Чуева судили и за совращение и за богохульство приговорили к ссылке.

Отцу же Мисаилу дали награду и сделали архимандритом.

XXI

Два года тому назад из земли Войска Донского приехала в Петербург на курсы здоровая, восточного типа, красивая девушка Турчанинова. Девушка эта встретилась в Петербурге с студентом Тюриным, сыном земского начальника Симбирской губернии, и полюбила его, но полюбила она не обыкновенной женской любовью с желанием стать его женой и матерью его детей, а товарищеской любовью, питавшейся преимущественно одинаковым возмущением и ненавистью не только к существующему строю, но и к людям, бывшим его представителями, и сознанием

своего умственного, образовательного и нравственного превосходства над ними.

Она была способна учиться и легко запоминала лекции и сдавала экзамены и, кроме того, поглощала новейшие книги в огромном количестве. Она была уверена, что и призвание ее не в том, чтобы рожать и воспитывать детей, — она даже с гадливостью и презрением смотрела на такое призвание, — а в том, чтобы разрушить существующий строй, сковывающий лучшие силы народа, и указать людям тот новый путь жизни, который ей указывался европейскими новейшими писателями. Полная, белая, румяная, красивая, с блестящими черными глазами и большой черной косой, она вызывала в мужчинах чувства, которых она не хотела, да и не могла разделять, — так она была вся поглощена своей агитационной, разговорной деятельностью. Но ей все-таки было приятно, что она вызывала эти чувства, и потому она хоть и не наряжалась, не пренебрегала своей наружностью. Ей приятно было, что она нравится, а на деле может показать, как она презирает то, что так ценится другими женщинами. В своих взглядах на средства борьбы с существующим порядком она шла дальше большинства своих товарищей и своего друга Тюрина и допускала, что в борьбе хороши и могут быть употребляемы все средства, до убийства включительно. А между тем эта самая революционерка Катя Турчанинова была в душе очень добрая и самоотверженная женщина, всегда непосредственно предпочитавшая чужую выгоду, удовольствие, благосостояние своей выгоде, удовольствию, благосостоянию и всегда истинно радовавшаяся возможности сделать кому-нибудь — ребенку, старику, животному — приятное.

Лето Турчанинова проводила в приволжском уездном городе, у товарки своей, сельской учительницы. В этом же уезде у отца жил и Тюрин. Все трое, вместе с уездным врачом, часто видались, обменивались книгами, спорили и возмущались. Именье Тюриных было рядом с тем именьем Ливенцовых, куда управляющим поступил Петр Николаич. Как скоро приехал Петр Николаич и взялся за порядки, молодой Тюрин, видя в ливенцовских крестьянах самостоятельный дух и твердое намерение отстаивать свои права, заинтересовался ими и часто ходил в село и разговаривал с крестьянами, развивая среди них теорию социализма вообще и в частности национализации земли.

Когда случилось убийство Петра Николаича и наехал суд, кружок революционеров уездного города имел сильный повод для возмущения судом и смело высказывал его. То, что Тюрин ходил в село и говорил с крестьянами, было выяснено на суде. У Тюрина сделали обыск, нашли несколько революционных брошюр, и студента арестовали и свезли в Петербург.

Турчанинова уехала за ним и пошла в тюрьму для свидания, но ее не пустили в обыкновенный день, а допустили только в день общих свиданий, где она виделась с Тюриным через две решетки. Свидание это еще усилило ее возмущение. Довело же до крайнего предела ее возмущение ее объяснение с красавцем жандармским офицером, который, очевидно, готов был на снисхождение в случае ее принятия его предложений. Это довело ее до последней степени негодования и злобы против всех начальствующих лиц. Она пошла к начальнику полиции жаловаться. Начальник полиции сказал ей то же, что говорил и жандарм, что они ничего не могут, что на это есть распоряжение министра. Она подала докладную записку министру, прося свидания; ей отказали. Тогда она решилась на отчаянный поступок и купила револьвер.

XXII

Министр принимал в свой обыкновенный час. Он обошел трех просителей, принял губернатора и подошел к черноглазой, красивой, молодой женщине в черном, стоявшей с бумагой в левой руке. Ласково-похотливый огонек загорелся в глазах министра при виде красивой просительницы, но, вспомнив свое положение, министр сделал серьезное лицо.

— Что вам угодно? — сказал он, подойдя к ней.

Она, не отвечая, быстро вынула из-под пелеринки руку с револьвером и, уставив его в грудь министра, выстрелила, но промахнулась.

Министр хотел схватить ее руку, она отшатнулась и выстрелила другой раз. Министр бросился бежать. Ее схватили. Она дрожала и не могла говорить. И вдруг расхохоталась истерически. Министр не был даже ранен.

Это была Турчанинова. Ее посадили в дом предварительного заключения. Министр же, получив поздравления

и соболезнования от самых высокопоставленных лиц и даже самого государя, назначил комиссию исследования того заговора, последствием которого было это покушение.

Заговора, разумеется, никакого не было; но чины тайной и явной полиции старательно принялись за разыскивание всех нитей несуществовавшего заговора и добросовестно заслуживали свое жалованье и содержание: вставая рано утром, в темноте, делали обыск за обыском, переписывали бумаги, книги, читали дневники, частные письма, делали из них на прекрасной бумаге прекрасным почерком экстракты и много раз допрашивали Турчанинову и делали ей очные ставки, желая выведать у нее имена ее сообщников.

Министр был по душе добрый человек и очень жалел эту здоровую, красивую казачку, но он говорил себе, что на нем лежат тяжелые государственные обязанности, которые он исполняет, как они ни трудны ему. И когда его бывший товарищ, камергер, знакомый Тюриных, встретился с ним на придворном бале и стал просить его за Тюрина и Турчанинову, министр пожал плечами, так что сморщилась красная лента на белом жилете, и сказал:

— Je ne demanderais pas mieux que de lâcher cette pauvre fillette, mais vous savez — le devoir [1].

А Турчанинова между тем сидела в доме предварительного заключения и иногда спокойно перестукивалась с товарищами и читала книги, которые ей давали, иногда же вдруг впадала в отчаяние и бешенство, билась о стены, визжала и хохотала.

XXIII

Получила раз Мария Семеновна в казначействе свою пенсию и, возвращаясь назад, встретила знакомого учителя.

— Что, Мария Семеновна, казну получили? — прокричал он ей с другой стороны улицы.

— Получила,— ответила Мария Семеновна,— только дыры заткнуть.

---

[1] Я очень рад был бы отпустить эту бедную девочку, но вы понимаете — долг *(франц.)*.

— Ну, денег много, и дыры заткнете, останется,— сказал учитель и, прощаясь, прошел.

— Прощайте,— сказала Мария Семеновна и, глядя на учителя, совсем столкнулась с высоким человеком с очень длинными руками и строгим лицом.

Но, подходя к дому, она удивилась, увидав опять этого же длиннорукого человека. Увидав, как она вошла в дом, он постоял, повернулся и ушел.

Марии Семеновне стало сначала жутко, потом грустно. Но когда она вошла в дом и раздала гостинцы и старику и маленькому золотушному племяннику Феде и приласкала визжавшую от радости Трезорку, ей опять стало хорошо, и она, отдав деньги отцу, взялась за работу, которая никогда не переводилась у ней.

Человек, с которым она столкнулась, был Степан.

Из постоялого двора, где Степан убил дворника, он не пошел в город. И удивительное дело, воспоминание об убийстве дворника не только не было ему неприятно, но он по нескольку раз в день вспоминал его. Ему было приятно думать, что он может сделать это так чисто и ловко, что никто не узнает и не помешает это делать и дальше и над другими. Сидя в трактире за чаем и водкой, он приглядывался к людям все с той же стороны: как можно убить их. Ночевать он зашел к земляку, ломовому извозчику. Извозчика дома не было. Он сказал, что подождет, и сидел, разговаривая с бабой. Потом, когда она повернулась к печи, ему пришло в голову убить ее. Он удивился, покачал на себя головой, потом достал из голенища нож и, повалив ее, перерезал ей горло. Дети стали кричать, он убил и их и ушел, не ночуя, из города. За городом, в деревне, он вошел в трактир и там выспался.

На другой день он пришел опять в уездный город и на улице слышал разговор Марии Семеновны с учителем. Ее взгляд испугал его, но все-таки он решил забраться в ее дом и взять те деньги, которые она получила. Ночью он взломал замок и вошел в горницу. Первая услыхала его меньшая, замужняя дочь. Она закричала. Степан тотчас же зарезал ее. Зять проснулся и сцепился с ним. Он ухватил Степана за горло и долго боролся с ним, но Степан был сильнее. И, покончив с зятем, Степан, взволнованный, возбужденный борьбой, пошел за перегородку. За перегородкой лежала в постели Мария Семеновна и, под-

нявшись, смотрела на Степана испуганными, кроткими глазами и крестилась. Взгляд ее опять испугал Степана. Он опустил глаза.

— Где деньги? — сказал он, не поднимая глаз.

Она молчала.

— Где деньги? — сказал Степан, показывая ей нож.

— Что ты? Разве можно? — сказала она.

— Стало быть, можно.

Степан подошел к ней, готовясь ухватить ее за руки, чтобы она не мешала ему, но она не подняла рук, не противилась и только прижала их к груди и тяжело вздохнула и повторила:

— Ох, великий грех. Что ты? Пожалей себя. Чужие души, а пуще свою губишь... О-ох! — вскрикнула она.

Степан не мог больше переносить ее голоса и взгляда и полоснул ее ножом по горлу. — «Разговаривать с вами». — Она опустилась на подушки и захрипела, обливая подушку кровью. Он отвернулся и пошел по горницам, собирая вещи. Обобрав, что нужно было, Степан закурил папироску, посидел, почистил свою одежу и вышел. Он думал, что и это убийство сойдет ему, как прежние, но, не дойдя до ночлега, вдруг почувствовал такую усталость, что не мог двинуть ни одним членом. Он лег в канаву и пролежал в ней остаток ночи, весь день и следующую ночь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Лежа в канаве, Степан не переставая видел перед собой кроткое, худое, испуганное лицо Марии Семеновны и слышал ее голос: «Разве можно?» — говорил ее особенный, ее шепелявящий, жалостный голос. И Степан опять переживал все то, что он сделал с нею. И ему становилось страшно, и он закрывал глаза и мотал своей волосатой головой, чтоб вытряхнуть из нее эти мысли и воспоминания. И на минутку он освобождался от воспоминаний, но на место их являлся ему сначала один, другой черный, и за другим шли еще другие черные с красными глазами и делали рожи, и все говорили одно: «С ней покончил — и с собой покончи, а то не дадим покоя». И он открывал

глаза и опять видел ее и слышал ее голос, и ему становилось жалко ее и гадко и страшно на себя. И он опять закрывал глаза, и опять — черные.

К вечеру другого дня он поднялся и пошел в кабак. Насилу добрел до кабака и стал пить. Но сколько ни пил, хмель не брал его. Он молча сидел за столом и пил стакан за стаканом. В кабак пришел урядник.

— Ты чей будешь? — спросил его урядник.

— А тот самый, я вчерась у Добротворова всех перерезал.

Его связали и, продержав день при становой квартире, отправили в губернский город. Смотритель тюрьмы, узнав в нем прежнего своего арестанта-буяна и теперь великого злодея, строго принял его.

— Смотри, у меня не шалить,— нахмуря свои брови и выставив нижнюю челюсть, прохрипел смотритель. — Если только замечу что — запорю. От меня не убежишь.

— Что мне бегать, — отвечал Степан, опустив глаза, — я сам в руки дался.

— Ну, со мной не разговаривать. А когда начальство говорит, смотри в глаза, — крикнул смотритель и ударил его кулаком под челюсть.

Степану в это время опять представилась она и слышался ее голос. Он не слыхал того, что говорил ему смотритель.

— Чаво? — спросил он, опомнившись, когда почувствовал удар по лицу.

— Ну, ну — марш, нечего прикидываться.

Смотритель ждал буйства, переговоров с другими арестантами, попыток к бегству. Но ничего этого не было. Когда ни заглядывал в дырку его двери вахтер или сам смотритель, Степан сидел на набитом соломой мешке, подперев голову руками, и все что-то шептал про себя. На допросах следователя он тоже был не похож на других арестантов: он был рассеян, не слушал вопросов; когда же понимал их, то был так правдив, что следователь, привыкший к тому, чтобы бороться ловкостью и хитростью с подсудимыми, здесь испытывал чувство подобное тому, которое испытываешь, когда в темноте на конце лестницы поднимаешь ногу на ступень, которой нету. Степан рассказывал про все свои убийства, нахмурив брови и устремив глаза в одну точку, самым простым, деловитым тоном, стараясь вспомнить все подробности:

«Вышел он,— рассказывал Степан про первое убийство,— босой, стал в дверях, я его, значит, долбанул раз, он и захрипел, я тогда сейчас взялся за бабу»... и т. д. При обходе прокурором камер острога у Степана спросили, не имеет ли он жалоб и не нужно ли чего. Он отвечал, что ему ничего не нужно и что его не обижают. Прокурор, пройдя несколько шагов по вонючему коридору, остановился и спросил у сопутствующего ему смотрителя, как себя ведет этот арестант?

— Не надивлюсь на него,— отвечал смотритель, довольный тем, что Степан похвалил обращение с ним.— Второй месяц он у нас, примерного поведения. Только боюсь, не задумывает ли чего. Человек отважный и силы непомерной.

II

Первый месяц тюрьмы Степан не переставая мучался все тем же: он видел серую стену своей камеры, слышал звуки острога — гул под собой в общей камере, шаги часового по коридору, стук часов и вместе с тем видел ее — с ее кротким взглядом, который победил его еще при встрече на улице, и худой, морщинистой шеей, которую он перерезал, и слышал ее умильный, жалостный, шепелявый голос: *«Чужие души и свою губишь. Разве это можно?»* Потом голос затихал, и являлись те трое — черные. И являлись все равно, закрыты или открыты были глаза. При закрытых глазах они являлись явственнее. Когда Степан открывал глаза, они смешивались с дверями, стенами и понемногу пропадали, но потом опять выступали и шли с трех сторон, делая рожи и приговаривая: покончи, покончи. Петлю можно сделать, зажечь можно. И тут Степана прохватывала дрожь, и он начинал читать молитвы, какие знал: «Богородицу», «Вотче», и сначала как будто помогало. Читая молитвы, он начинал вспоминать свою жизнь: вспоминал отца, мать, деревню, Волчка-собаку, деда на печке, скамейки, на которых катался с ребятами, потом вспоминал девок с их песнями, потом лошадей, как их увели и как поймали конокрада, как он камнем добил его. И вспоминался первый острог, и как он вышел, и вспоминал толстого дворника, жену извозчика, детей и потом опять вспоминал ее. И ему становилось жарко, и он, спустив с плеч халат, вскакивал с нары и начинал, как зверь в клетке, скорыми шагами ходить

взад и вперед по короткой камере, быстро поворачиваясь у запотелых, сырых стен. И он опять читал молитвы, но молитвы уже не помогали.

В один из длинных осенних вечеров, когда в трубах свистел и гудел ветер, он, набегавшись по камере, сел на койку и почувствовал, что бороться больше нельзя, что черные одолели, и он покорился им. Он давно уже приглядывался к отдушнику печи. Если обхватить его тонкими бечевками или тонкими лентами полотна, то не соскользнет. Но надо было это умно устроить. И он взялся за дело и два дня готовил полотняные ленты из мешка, на котором спал (когда входил вахтер, он накрывал койку халатом). Ленты он связывал узлами и делал их двойные, чтобы они не оборвались, а сдержали тело. Пока он готовил все это, он не мучался. Когда все было готово, он сделал мертвую петлю, надел ее на шею, влез на кровать и повесился. Но только что стал высовываться у него язык, как ленты оборвались, и он упал. На шум вошел вахтер. Позвали фельдшера, и свели его в больницу. На другой день он совсем оправился, и его взяли из больницы и поместили уже не в отдельную, а в общую камеру.

В общей камере он жил среди двадцати человек, как будто был один, никого не видел, ни с кем не говорил и все так же мучался. Особенно тяжело ему было, когда все спали, а он не спал и по-прежнему видел ее, слышал ее голос, потом опять являлись черные с своими страшными глазами и дразнили его.

Опять, как прежде, он читал молитвы, и, как прежде, они не помогали.

Один раз, когда, после молитвы, она опять явилась ему, он стал молиться ей, ее душеньке, о том, чтоб она отпустила, простила его. И когда он к утру повалился на примятый мешок, он крепко заснул, и во сне она, с своей худой, сморщенной, перерезанной шеей, пришла к нему.

— Что ж, простишь?

Она посмотрела на него своим кротким взглядом и ничего не сказала.

— Простишь?

И так до трех раз он спросил ее. Но она все-таки ничего не сказала. И он проснулся. С тех пор ему легче стало, и он как бы очнулся, оглянулся вокруг себя и в первый раз стал сближаться и говорить с своими товарищами по камере.

III

В одной камере с Степаном сидел Василий, опять попавшийся в воровстве и приговоренный к ссылке, и Чуев, тоже приговоренный на поселение. Василий все время или пел песни своим прекрасным голосом, или рассказывал товарищам свои похождения. Чуев же или работал, что-нибудь шил из платья или белья, или читал Евангелие и псалтырь.

На вопрос Степана о том, за что его ссылали, Чуев объяснил ему, что его ссылали за истинную веру Христову, за то, что обманщики-попы духа тех людей не могут слышать, которые живут по Евангелию и их обличают. Когда же Степан спросил Чуева, в чем евангельский закон, Чуев разъяснил ему, что евангельский закон в том, чтобы не молиться рукотворенным богам, а поклоняться в духе и истине. И рассказал, как они эту настоящую веру от безногого портного узнали на дележке земли.

— Ну, а за дурные дела что будет? — спросил Степан.

— Все сказано.

И Чуев прочел ему:

— «Когда же приидет сын человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону свою, а козлов — по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал я, и вы дали мне есть; жаждал, и вы напоили меня; был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня; в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи! когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огнь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его: ибо алкал я, и вы не дали мне есть; жаждал, и вы не напоили меня; был странником, и не приняли меня; был наг, и не одели меня; болен

и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи! когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную». (Матф. XXV, 31—46.)

Василий, присевший на полу против Чуева и слушавший чтение, одобрительно кивнул своей красивой головой.

— Верно,— решительно проговорил он,— идите, мол, проклятые, в муку вечную, никого не кормили, а сами жрали. Так им и надо. Ну-ка дай, я почитаю,— прибавил он, желая похвастаться своим чтением.

— Ну, а прощение разве не будет? — спросил Степан, молча, опустив свою мохнатую голову, слушавший чтение.

— Погоди, помолчи,— сказал Чуев Василью, который все приговаривал о том, как богатые ни странника не накормили, ни в темнице не посетили. — Погоди, что ль,— повторил Чуев, перелистывая Евангелие. Найдя то, что искал, Чуев расправил большой, побелевшей в остроге, сильной рукой листы.

— «И вели с ним,— с Христом, значит,— начал Чуев,— на смерть и двух злодеев. И, когда пришли на место, называемое лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону.

Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают...» И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранник божий». Так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, надписанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, господи, когда приидешь во царствие твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе: ныне же будешь со мной в раю». (Луки XXIII, 32—43.)

Степан ничего не сказал и сидел задумавшись, как будто слушая, но он ничего не слышал уже из того, что дальше читал Чуев.

«Так вот она в чем истинная вера,— думал он. — Спасутся только те, кто кормил, поил бедных, посещал заключенных, а в ад пойдут, кто не делал этого. А все-таки разбойник только на кресте покаялся, а и то пошел в рай». Он не видел тут никакого противоречия, а напротив, одно подтверждало другое: что милостивые пойдут в рай, а немилостивые — в ад, значило то, что всем надо быть милостивыми, а что разбойника Христос простил, значит, что и Христос был милостив. Все это было совершенно ново для Степана; он только удивлялся, зачем это до сих пор было скрыто от него. И он все свободное время проводил с Чуевым, спрашивая и слушая. И, слушая, он понимал. Ему открылся общий смысл всего учения в том, что люди — братья и им надо любить и жалеть друг друга, и тогда всем хорошо будет. И когда он слушал, то воспринимал, как что-то забытое и знакомое, все, что подтверждало общий смысл этого учения, и пропускал мимо ушей то, что не подтверждало его, приписывая это своему непониманию.

И с этого времени Степан стал другим человеком.

IV

Степан Пелагеюшкин и прежде был смирен, но в последнее время он поражал и смотрителя, и вахтеров, и товарищей происшедшей в нем переменой. Он без приказания, вне очереди, совершал все самые тяжелые работы, в том числе и очищение параши. Но, несмотря на эту свою покорность, сотоварищи уважали и боялись его, зная его твердость и большую физическую силу, особенно после случая с двумя бродягами, которые напали на него, но от которых он отбился, сломав одному из них руку. Бродяги эти взялись обыгрывать молодого богатенького арестанта и отобрали у него все, что у него было. Степан вступился за него и отнял у них выигранные деньги. Бродяги стали его ругать, потом бить, но он осилил их обоих. Когда же смотритель дознавался, в чем ссора, бродяги объявили, что Пелагеюшкин стал бить их. Степан не оправдывался и покорно принял наказание, состоящее в трехдневном карцере и в перемещении в одиночную камеру.

Одиночная камера была для него тяжела тем, что разлучила его с Чуевым и Евангелием, и, кроме того, он боялся, что возвратятся опять видения ее и черных. Но видений не было. Вся душа его была полна новым, радостным содержанием. Он бы был рад своему уединению, если бы он мог читать и у него было бы Евангелие. Евангелие дали бы ему, но читать он не мог.

Мальчиком он начал учиться грамоте по-старинному: аз, буки, веди, но не пошел по непонятливости дальше азбуки и никак не мог понять тогда складов и так и остался безграмотным. Теперь же он решил выучиться и попросил у вахтера Евангелие. Вахтер принес ему, и он взялся за работу. Буквы он узнавал, но сложить ничего не мог. Сколько он ни бился, чтобы понять, как из букв складываются слова, ничего не выходило. Он ночи не спал, все думал, есть не хотелось, и от тоски на него такая вошь напала, что он не мог отгрестись от нее.

— Что ж, все не дошел? — спросил его раз вахтер.

— Нет.

— Да ты «Отче» знаешь?

— Знаю.

— Ну вот читай ее. Вот она,— и вахтер показал ему «Отче наш» в Евангелии.

Степан стал читать «Отче», сличая знакомые буквы с знакомыми звуками. И вдруг ему открылась тайна сложения букв, и он стал читать. Это была большая радость. И с тех пор он стал читать, и выделявшийся понемногу смысл из трудно составляемых слов получал еще большее значение.

Одиночество теперь уже не тяготило, но радовало Степана. Он был весь полон своим делом и не обрадовался, когда его, для того чтобы освободить камеры для вновь прибывших политических, перевели опять в общую камеру.

V

Теперь уже не Чуев, а Степан часто в камере читал Евангелие, и одни арестанты пели похабные песни, другие слушали его чтение и его разговоры о прочитанном. Так слушали его молча и внимательно всегда двое: каторжник, убийца, палач Махоркин и Василий, который попался в воровстве и, ожидая суда, сидел в том же остроге. Махоркин два раза во время своего содержания

в тюрьме исполнял свои обязанности, оба раза в отъезде, так как не находилось людей, которые бы исполняли то, что присуживали судьи. Крестьяне, убившие Петра Николаича, были судимы военным судом, и два из них были приговорены к смертной казни через повешение.

Махоркина потребовали в Пензу для исполнения его обязанности. В прежнее время он в этих случаях тотчас же писал — он был хорошо грамотен — бумагу губернатору, в которой объяснял, что он командирован для исполнения своих обязанностей в Пензу, и потому просил начальника губернии о назначении ему причитающихся суточных кормовых денег; теперь же он, к удивлению начальника тюрьмы, объявил, что он не поедет и не будет больше исполнять обязанности палача.

— А плети забыл? — крикнул начальник тюрьмы.

— Что ж, плети — так плети, а убивать закона нет.

— Что ж это ты, от Пелагеюшкина набрался? Нашелся пророк острожный, погоди же ты.

VI

Между тем Махин, тот гимназист, который научил подделать купон, кончил гимназию и курс в университете по юридическому факультету. Благодаря его успеху у женщин, у бывшей любовницы старика товарища министра, его совсем молодым назначили судебным следователем. Он был нечестный человек в долгах, соблазнитель женщин, картежник, но он был ловкий, сметливый, памятливый человек и умел хорошо вести дела.

Он был судебным следователем в том округе, где судился Степан Пелагеюшкин. Еще на первом допросе Степан удивил его своими ответами, простыми, правдивыми и спокойными. Махин бессознательно чувствовал, что этот стоящий перед ним человек в кандалах и с бритой головой, которого привели и караулят и отведут под замок два солдата, что это человек вполне свободный, нравственно недосягаемо высоко стоящий над ним. И потому, допрашивая его, он беспрестанно подбадривал себя и подстегивал, чтобы не смущаться и не путаться. Поражало его то, что Степан говорил про свои дела, как про что-то давно прошедшее, совершенное не им, а каким-то другим человеком.

— И тебе не жалко было их? — спрашивал Махин.

— Не жалко. Я не понимал тогда.
— Ну, а теперь?
Степан грустно улыбнулся.
— Теперь на огне меня жги, того бы не сделал.
— Отчего же?
— Оттого, что понял, что все люди братья.
— Что же, и я тебе брат?
— А то как же.
— Как же, я брат, а сужу тебя в каторгу?
— От непонятия.
— Что же я не понимаю?
— Не понимаете, коли судите.
— Ну, продолжаем. Потом ты куда пошел?..

Больше же всего поразило Махина то, что он узнал от смотрителя о влиянии Пелагеюшкина на палача Махоркина, который, рискуя быть наказанным, отказался от исполнения своей обязанности.

VII

На вечере у Еропкиных, где были две барышни — богатые невесты, за которыми обеими ухаживал Махин, после пения романсов, в котором особенно отличался очень музыкальный Махин,— он и вторил прекрасно и аккомпанировал,— он рассказал очень верно и подробно — у него была прекрасная память — и совершенно безучастно про странного преступника, который обратил палача. Махин потому так хорошо и помнил и мог передать все, что он всегда был совершенно безучастен к тем людям, с которыми имел дело. Он не входил, не умел входить в душевное состояние других людей и потому-то и мог так хорошо запоминать все, что происходило с людьми, что они делали, говорили. Но Пелагеюшкин заинтересовал его. Он не вошел в душу Степана, но невольно задался вопросом: что у него в душе, и, не найдя ответа, но чувствуя, что это что-то интересное, рассказал на вечере все дело: и совращение палача, и рассказы смотрителя о том, как странно ведет себя Пелагеюшкин, и как читает Евангелие, и какое сильное влияние имеет на товарищей.

Всех заинтересовал рассказ Махина, но больше всех меньшую — Лизу Еропкину, восемнадцатилетнюю девушку, только что вышедшую из института и только что опомнившуюся от темноты и тесноты ложных условий,

в которых она выросла, и точно вынырнувшую из воды, страстно вдыхавшую в себя свежий воздух жизни. Она стала расспрашивать Махина о подробностях и о том, как, почему произошла такая перемена в Пелагеюшкине, и Махин рассказал то, что он слышал от Степана о последнем убийстве, и как кротость, покорность и бесстрашие смерти этой очень доброй женщины, которую он последнюю убил, победили его, открыли ему глаза и как потом чтение Евангелия докончило дело.

Долго в эту ночь не могла Лиза Еропкина заснуть. В ней уже несколько месяцев шла борьба между светской жизнью, в которую увлекала ее сестра, и увлечением Махиным, соединенным с желанием исправить его. И теперь последнее взяло верх. Она и прежде слышала про убитую. Теперь же, после этой ужасной смерти и рассказа Махина со слов Пелагеюшкина, она до подробностей узнала историю Марии Семеновны и была поражена всем тем, что узнала о ней.

Лизе страстно захотелось быть такой Марией Семеновной. Она была богата и боялась, что Махин ухаживает за ней из-за денег. И она решила раздать свое имение и сказала об этом Махину.

Махин рад был случаю выказать свое бескорыстие и сказал Лизе, что он любит ее не из-за денег, и это, как ему казалось, великодушное решение тронуло его самого. У Лизы между тем началась борьба с ее матерью (имение было отцовское), не позволявшей раздавать имение. И Махин помогал Лизе. И чем больше он поступал так, тем больше он понимал совсем другой, чуждый ему до тех пор мир духовных стремлений, который он видел в Лизе.

VIII

Все утихло в камере. Степан лежал на своем месте на нарах и не спал еще. Василий подошел к нему и, дернув его за ногу, мигнул ему, чтобы он встал и вышел к нему. Степан сполз с нар и подошел к Василью.

— Ну, брат,— сказал Василий,— ты уж потрудись, пособи мне.

— В чем пособить-то?

— Да вот бежать хочу.

И Василий открыл Степану то, что у него все готово, чтоб бежать.

— Завтра я их взбаламучу,— он указал на лежащих. — На меня скажут. Переведут в верхние, а уж там я знаю как. Только ты мне пробой из мертвецкой вышатай.

— Это можно. Куда пойдешь-то?

— А куда глаза глядят. Разве мало народу плохого?

— Это, брат, так, только не нам судить их.

— Да что ж, я разве душегуб какой. Я ни одной души не погубил, а что воровать? Что ж тут плохого? Разве они не грабят нашего брата?

— Это их дело. Они отвечать будут.

— Да что ж им в зубы-то смотреть? Ну вот я церковь обобрал. Кому от этого худо? Я теперь хочу так сделать, чтобы не лавчонку, а хватить казну и раздавать. Добрым людям раздавать.

В это время поднялся с нар один арестант и стал прислушиваться. Степан и Василий разошлись.

На другой день Василий сделал, как хотел. Он стал жаловаться на хлеб, что сыр, подбил всех арестантов звать к себе смотрителя, заявить претензию. Смотритель пришел, обругал всех и, узнав, что затейщик всего дела Василий, велел посадить его отдельно в одиночную камеру верхнего этажа.

Этого только и нужно было Василью.

IX

Василий знал ту верхнюю камеру, в которую его посадили. Он знал пол в ней и как только попал туда, так стал разбирать пол. Когда можно было пролезть под пол, он разобрал потолочины и спрыгнул в нижний этаж, в мертвецкую. В этот день в мертвецкой лежал на столе один мертвый. В этой же мертвецкой были сложены мешки для сенников. Василий знал это и на эту камеру рассчитывал. Пробой в этой камере был вытащен и вложен. Василий вышел из двери и пошел в строящийся нужник в конце коридора. В этом нужнике была сквозная дыра с третьего этажа до нижнего, подвального. Ощупав дверь, Василий вернулся в мертвецкую, снял с холодного, как лед, мертвеца полотно (он коснулся его руки, когда снимал), потом взял мешки, связал их узлами так, чтобы сделать из них веревку, и снес эту веревку из мешков в нужник; там привязал веревку к перекладине и полез по ней вниз. Веревка не доставала до пола. Много ли,

мало она не хватала — он не знал, но делать нечего было, он повис и прыгнул. Ноги отбил, но ходить мог. В подвальном этаже было два окна. Пролезть можно бы, но вделаны железные решетки. Надо было выломать их. Чем? Василий стал шарить. В подвальном этаже лежали отрезки досок. Он нашел один отрезок с острым концом и стал им выворачивать кирпичи, державшие решетки. Долго он работал. Петухи второй раз уже пели, а решетка держалась. Наконец одна сторона вышла. Василий подсунул отрезок и понапер, решетка выворотилась вся, но упал кирпич и загремел. Часовые могли услыхать. Василий замер. Все тихо. Он полез в окно. Вылез. Бежать ему надо было через стену. В углу двора была пристройка. Надо было влезть на эту пристройку и с нее через стену. Надо взять с собой отрезок доски. Без него не влезешь. Василий полез назад. Опять выполз с отрезком и замер, слушая, где часовой. Часовой, как он и рассчитал, ходил по другой стороне квадрата двора. Василий подошел к пристройке, приставил отрезок, полез. Отрезок соскользнул, упал. Василий был в чулках. Он снял чулки, чтобы цепляться ногами, поставил опять отрезок, вскочил на него и ухватился рукой за желоб. — Батюшка, не оторвись, выдержи. — Он схватился за желоб, и вот коленка его на крыше. Часовой идет. Василий лег и замер. Часовой не видит и опять отходит. Василий вскакивает. Железо трещит под ногами. Еще шаг, два, вот стена. До стены легко достать рукой. Одна рука, другая, вытянулся весь, и вот на стене. Только бы не расшибиться, спрыгивая. Василий переворачивается, виснет на руках, вытягивается, пускает одну руку, другую,— господи, благослови! — На земле. И земля мягкая. Ноги целы, и он бежит.

В предместье Маланья отпирает, и он залезает под стеганое из кусочков теплое, пропитанное запахом пота одеяло.

X

Крупная, красивая, всегда спокойная, бездетная, полная, как яловая корова, жена Петра Николаича видела из окна, как убили ее мужа и потащили куда-то в поле. Чувство ужаса при виде этого побоища, которое испытала Наталья Ивановна (так звали вдову Петра Николаича), как это всегда бывает, было так сильно, что заглушило в ней все другие чувства. Когда же вся толпа скрылась за

оградой сада и гул голосов затих, и босая Маланья, прислуживавшая им девка, с выпяченными глазами прибежала с известием, точно это было что-то радостное, что Петра Николаича убили и бросили в овраге, из-за первого чувства ужаса стало выделяться другое: чувство радости освобождения от деспота с закрытыми черными очками глазами, которые девятнадцать лет держали ее в рабстве. Она сама ужаснулась этому чувству, сама себе не призналась в нем, а тем более не высказала его никому. Когда обмывали изуродованное желтое, волосатое тело и одевали и укладывали в гроб, она ужасалась, плакала и рыдала. Когда приехал следователь по особо важным делам и как свидетельницу допрашивал ее, она видела тут же, в квартире следователя, двух закованных крестьян, признанных главными виновниками. Один был уже старый с длинной белокурой бородой в завитках, с спокойным и строгим, красивым лицом, другой был цыганского склада, не старый человек с блестящими черными глазами и курчавыми, взъерошенными волосами. Она показывала, что́ знала, признала в этих самых людях тех, которые первые схватили за руки Петра Николаича, и, несмотря на то, что похожий на цыгана мужик, блестя и поводя глазами из-под движущихся бровей, укоризненно сказал: «Грех, барыня! Ох, умирать будем»,— несмотря на это, ей нисколько не жалко было их. Напротив, во время следствия в ней поднялось враждебное чувство и желание отомстить убийцам мужа.

Но, когда через месяц дело, переданное в военный суд, было решено тем, что восемь человек были приговорены к каторжным работам, а двое, белобородый старик и черномазый цыганок, как его звали, были приговорены к повешению, она почувствовала что-то неприятное. Но неприятное сомнение это, под влиянием торжественности суда, скоро прошло. Если высшее начальство признает, что надо, то, стало быть, это хорошо.

Казнь должна была совершиться в селе. И, вернувшись в воскресенье от обедни, Маланья, в новом платье и новых башмаках, доложила барыне, что строят виселицу и к середе ждут палача из Москвы и что воют семейные не переставая, по всей деревне слышно.

Наталья Ивановна не выходила из дома, чтобы не видать ни виселиц, ни народа, и одного желала: чтобы поскорее кончилось то, что должно быть. Она думала только о себе, а не о приговоренных и их семьях.

XI

Во вторник к Наталье Ивановне заехал знакомый становой. Наталья Ивановна угостила его водкой и солеными грибками ее приготовления. Становой, выпив водки и закусив, сообщил ей, что казни завтра еще не будет.

— Как? Отчего?

— Удивительная история. Палача не могли найти. Один был в Москве, и тот, рассказывал мне сын, начитался Евангелия и говорит: не могу убивать. Сам за убийство приговорен к каторжным работам, а теперь вдруг — не может по закону убивать. Ему говорили, что плетьми сечь будут. Секите, говорит, а я не могу.

Наталья Ивановна вдруг покраснела, вспотела даже от мыслей.

— А нельзя их простить теперь?

— Как же простить, когда приговорены судом. Один царь простить может.

— Да как же царь узнает?

— Имеют право просить о помиловании.

— Да ведь их за меня казнят, — сказала глупая Наталья Ивановна. — А я прощаю.

Становой засмеялся.

— Что ж, просите.

— Можно?

— Известно, можно.

— Да ведь теперь не успеешь?

— Можно телеграммой.

— К царю?

— Что ж, и к царю можно.

Известие о том, что палач отказался и готов пострадать скорее, чем убивать, вдруг перевернуло душу Натальи Ивановны, и то чувство сострадания и ужаса, которое просилось несколько раз наружу, прорвалось и захватило ее.

— Голубчик, Филипп Васильевич, напишите мне телеграмму. Я хочу просить у царя помилования.

Становой покачал головой.

— Как бы нам не влетело за это?

— Да ведь я в ответе. Я про вас не скажу.

«Эка добрая баба,— подумал становой,— хорошая баба. Кабы моя такая была, рай бы был, а не то, что теперь».

И становой написал телеграмму царю: «Его Императорскому Величеству Государю Императору. Верноподданная Вашего Императорского Величества, вдова убитого крестьянами коллежского асессора Петра Николаевича Свентицкого, припадая к священным стопам (это место телеграммы особенно понравилось составлявшему ее становому) Вашего Императорского Величества, умоляет Вас помиловать приговоренных к смертной казни крестьян таких-то, такой-то губернии, уезда, волости, деревни».

Телеграмма была послана самим становым, и на душе у Натальи Ивановны было радостно, хорошо. Ей казалось, что если она, вдова убитого, прощает и просит помиловать, то царь не может не помиловать.

XII

Лиза Еропкина жила в неперестающем восторженном состоянии. Чем дальше она шла по открывшемуся ей пути христианской жизни, тем увереннее она была, что это путь истинный, и тем радостнее ей становилось на душе.

У ней были теперь две ближайшие цели: первая обратить Махина, или, скорее, как она говорила это себе, вернуть к себе, к своей доброй, прекрасной натуре. Она любила его, и при свете своей любви ей открывалось божественное его души, общее всем людям, но она видела в этом общем всем людям начале жизни его ему одному свойственную доброту, нежность, высоту. Другая цель ее была в том, чтобы перестать быть богатой. Она захотела освободиться от имущества, для того чтобы испытать Махина, а потом для себя, для своей души — по слову Евангелия захотела сделать это. Сначала она начала раздавать, но ее остановил отец, и еще больше, чем отец, толпа нахлынувших личных и письменных просителей. Тогда она решила обратиться к старцу, известному своей святой жизнью, с тем чтобы он взял ее деньги и поступил с ними, как найдет нужным. Узнав это, отец рассердился и в горячем разговоре с ней назвал ее сумасшедшей, психопаткой и сказал, что он примет меры к тому, чтобы оградить ее, как сумасшедшую, от самой себя.

Сердитый, раздраженный тон отца передался ей, и она не успела опомниться, как злобно расплакалась и

наговорила отцу грубостей, называя его деспотом и даже корыстолюбцем.

Она просила прощенье у отца, он сказал, что не сердится, но она видела, что он был оскорблен и в душе не простил ее. Махину она не хотела говорить про это. Сестра, ревновавшая ее к Махину, совсем отдалилась от нее. Ей не с кем было поделиться своим чувством, не перед кем покаяться.

«Богу надо покаяться»,— сказала она себе и, так как был великий пост, решила говеть и на исповеди сказать все духовнику и попросить его совета о том, как ей поступать дальше.

Недалеко от города был монастырь, в котором жил старец, прославившийся своей жизнью, поучениями и предсказаниями и исцелениями, которые приписывали ему.

Старец получил письмо от старого Еропкина, предупреждающее его о приезде дочери и об ее ненормальном, возбужденном состоянии и выражающее уверенность в том, что старец наставит ее на путь истинный — золотой середины, доброй христианской жизни, без нарушения существующих условий.

Усталый от приема, старец принял Лизу и стал спокойно внушать ей умеренность, покорность существующим условиям, родителям. Лиза молчала, краснела и потела, но когда он кончил, она с слезами, стоящими в глазах, начала говорить, сначала робко, о том, что Христос сказал: «Оставь отца и мать и иди за мной», потом, все больше и больше одушевляясь, высказала все то свое представление о том, как она понимала христианство. Старец сначала чуть улыбался и возражал обычными поучениями, но потом замолчал и стал вздыхать, только повторяя: «О господи».

— Ну, хорошо, приходи завтра исповедоваться,— сказал он и сморщенной рукой благословил ее.

На другой день он исповедовал ее и, не продолжая вчерашний разговор, отпустил ее, коротко отказавшись взять на себя распоряжение ее имуществом.

Чистота, полная преданность воле бога и горячность этой девушки поразили старца. Он давно уже хотел отречься от мира, но монастырь требовал от него его деятельности. Эта деятельность давала средства монастырю. И он соглашался, хотя смутно чувствовал всю неправду своего положения. Его делали святым, чудотворцем, а он

был слабый, увлеченный успехом человек. И открывшаяся ему душа этой девушки открыла ему и его душу. И он увидал, как он был далек от того, чем хотел быть и к чему влекло его сердце.

Скоро после посещения Лизы он заперся в затвор и только через три недели вышел в церковь, служил и после службы сказал проповедь, в которой каял себя и уличал мир в грехе и призывал его к покаянию.

Каждые две недели он говорил проповеди. И на проповеди эти съезжалось все больше и больше народа. И слава его, как проповедника, разглашалась все больше и больше. Было что-то особенное, смелое, искреннее в его проповедях. И от этого он так сильно действовал на людей.

XIII

Между тем Василий сделал все, как хотел. С товарищами он ночью пролез к Краснопузову, богачу. Он знал, как он скуп и развратен, и залез в бюро и вынул деньгами тридцать тысяч. И Василий делал, как хотел. Он даже пить перестал, а давал деньги бедным невестам. Замуж отдавал, из долгов выкупал и сам скрывался. И только то и забота была, чтобы хорошо раздать деньги. Давал он и полиции. И его не искали.

Сердце у него радовалось. И когда все-таки взяли его, он на суде смеялся и хвалился, что деньги у толстопузого ду́рно лежали, он и счета им не знал, а я их в ход пустил, ими добрым людям помогал.

И защита его была такая веселая, добрая, что присяжные чуть не оправдали его. Приговорили его в ссылку.

Он поблагодарил и вперед сказал, что уйдет.

XIV

Телеграмма Свентицкой к царю не произвела никакого действия. В комиссии прошений сначала решили даже не докладывать о ней царю, но потом, когда за завтраком у государя зашла речь о деле Свентицкого, завтракавший у государя директор доложил про телеграмму от жены убитого.

— C'est très gentil de sa parte [1],— сказал одна из дам царской фамилии.

Государь же вздохнул, пожал плечами с эполетами и сказал: «Закон»,— и подставил бокал, в который камерлакей наливал шипучий мозельвейн. Все сделали вид, что удивлены мудростью сказанного государем слова. И больше о телеграмме не было речи. И двух мужиков — старого и молодого — повесили с помощью выписанного из Казани жестокого убийцы и скотоложника, татарина-палача.

Старуха хотела одеть тело своего старика в белую рубаху, белые онучи и новые бахилки, но ей не позволили, и обоих закопали в одной яме за оградой кладбища.

— Мне говорила княгиня Софья Владимировна, что он удивительный проповедник,— сказала раз мать государя, старая императрица, своему сыну: — Faites le venir. Il peut prêcher à la cathédrale [2].

— Нет, лучше у нас,— сказал государь и велел пригласить старца Исидора.

В дворцовой церкви собралось все генеральство. Новый, необыкновенный проповедник был событием.

Вышел старичок седенький, худенький, оглянул всех: «Во имя отца и сына и святого духа», и начал.

Сначала шло хорошо, но что дальше, то хуже. «Il devenait de plus en plus agressif» [3], — как сказала потом императрица. Он громил всех. Говорил о казни. И приписывал необходимость казни дурному правлению. Разве в христианской стране можно убивать людей?

Все переглядывались, и всех занимало только неприличие и то, как неприятно это было государю, но никто не выказал этого. Когда Исидор сказал: «Аминь», — к нему подошел митрополит и попросил его к себе.

После беседы с митрополитом и обер-прокурором старичка отправили тотчас же назад в монастырь, но не в свой, а в Суздальский, где настоятелем и комендантом был отец Михаил.

---

[1] Это очень мило с ее стороны *(франц.)*

[2] Пригласите его. Он может проповедовать в соборе *(франц.)*.

[3] Он становился все более и более агрессивным *(франц.)*.

XV

Все сделали вид, что ничего неприятного не было от проповеди Исидора, и никто не упоминал про нее. И царю казалось, что слова старца не оставили в нем никакого следа, но раза два в продолжение дня он вспоминал о казни крестьян, о помиловании которых просила телеграммой Свентицкая. Днем был парад, потом выезд на гулянье, потом прием министров, потом обед, вечером театр. Как обыкновенно, царь заснул, как только донес голову до подушки. Ночью его разбудил страшный сон: в поле стояли виселицы, и на них качались трупы, и трупы высовывали языки, и языки тянулись дальше и дальше. И кто-то кричал: «Твоя работа, твоя работа». Царь проснулся в поту и стал думать. В первый раз стал думать об ответственности, которая лежала на нем, и все слова старичка вспомнились ему...

Но он видел в себе человека только издалека и не мог отдаться простым требованиям человека из-за требований, со всех сторон предъявляемых к царю; признать же требования человека более обязательными, чем требования царя, у него не было сил.

XVI

Отбыв второй срок в остроге, Прокофий, этот бойкий, самолюбивый щеголь-малый, вышел оттуда совсем конченым человеком. Трезвый он сидел, ничего не делал и, сколько ни ругал его отец, ел хлеб, не работал и, мало того, норовил стащить что-нибудь в кабак, чтобы выпить. Сидел, кашлял, харкал и плевал. Доктор, к которому он ходил, послушал его грудь и покачал головой.

— Тебе, брат, надо того, чего у тебя нет.

— Это, известно, всегда надо.

— Пей молоко, не кури.

— Ныне и так пост, да и коровы нет.

Раз весною он всю ночь не спал, тосковал, хотелось ему выпить. Дома нечего захватить было. Надел шапку и вышел. Прошел по улице, дошел до попов. У дьячка борона наружу стоит прислонена к плетню. Прокофий подошел, вскинул борону на спину и понес к Петровне в корчму. «Авось даст бутылочку». Не успел он отойти, как дьячок вышел на крыльцо. Уж совсем светло,— видит, Прокофий несет его борону.

— Эй, ты что?

Вышел народ, схватили Прокофья, посадили в холодную. Мировой судья присудил на одиннадцать месяцев в тюрьму.

Была осень. Прокофья перевели в больницу. Он кашлял и всю грудь разрывал. И не мог согреться. Кто посильнее был, те все-таки не дрожали. А Прокофий дрожал и день и ночь. Смотритель загонял экономию дров и не топил больницу до ноября. Больно страдал Прокофий телом, но хуже всего страдал духом. Все ему противно было, и ненавидел он всех: и дьячка, и смотрителя за то, что не топил, и вахтера, и соседа по койке с раздутой красной губой. Возненавидел и того новенького каторжного, которого привели к ним. Каторжный этот был Степан. Он заболел рожей на голове, и его перевели в больницу и положили рядом с Прокофьем. Сначала Прокофий возненавидел его, но потом полюбил его так, что ждал только того, когда поговорить с ним. Только после разговора с ним утишалась тоска в сердце Прокофья.

Степан всегда всем рассказывал свое последнее убийство и как оно подействовало на него.

— Не то что закричать или что,— говорил он,— а вот на, режь. Не меня, мол, себя пожалей.

— Ну, известно, душу загубить страшно, я и барана раз взялся резать, сам не рад был. А вот никого не загубил, а за что они меня, злодеи, погубили. Никому худого не делал...

— Что ж, это тебе все зачтется.

— Где там?

— Как где? А бог?

— Что-то не видать его; я, брат, не верю,— думаю, помрешь — трава вырастет. Вот и вся.

— Как же думаешь? Я сколько душ загубил, а она, сердечная, только людям помогала. Что же, думаешь, мне с ней одно будет? Нет, погоди...

— Так, думаешь, помрешь, душа останется?

— А то как же. Это верно.

Тяжело было Прокофью умирать, задыхался он. Но в последний час вдруг легко стало. Позвал он Степана.

— Ну, брат, прощай. Видно, пришла смерть моя. И вот боялся, а теперь ничего. Только скорей хочется.

И Прокофий помер в больнице.

XVII

Между тем дела Евгения Михайловича шли все хуже и хуже. Магазин был заложен. Торговля не шла. В городе открылся другой магазин, а проценты требовали. Надо было занимать опять за проценты. И кончилось тем, что магазин и весь товар был назначен к продаже. Евгений Михайлович и его жена бросались повсюду и нигде не могли достать тех четырехсот рублей, которые нужны были, чтобы спасти дело.

Была маленькая надежда на купца Краснопузова, любовница которого была знакома с женой Евгения Михайловича. Теперь же по всему городу было известно, что у Краснопузова украли огромные деньги. Рассказывали, что украли полмиллиона.

— И кто ж украл? — рассказывала жена Евгения Михайловича. — Василий, наш бывший дворник. Говорят, он швыряет теперь этими деньгами, и полиция подкуплена.

— Негодяй был,— сказал Евгений Михайлович. — Как он тогда легко на клятвопреступление пошел. Я никак не думал.

— Говорят, он заходил к нам на двор. Кухарка говорила, что он. Она говорит, что он четырнадцать бедных невест замуж отдал.

— Ну, они выдумают.

В это время какой-то странный пожилой человек в казинетовой куртке вошел в магазин.

— Что тебе?

— Вам письмо.

— От кого?

— Там написано.

— Что же, ответа не надо? Да подожди.

— Нельзя.

И странный человек, отдав конверт, торопливо ушел.

— Чудно!

Евгений Михайлович разорвал толстый конверт и не верил своим глазам: сторублевые бумажки. Четыре. Что это? И тут же безграмотное письмо Евгению Михайловичу: «По Евангелию говорится, делай добро за зло. Вы мине много зла иcделали с купоном и мужичка я дюже обидел, а я вот тебя жилею. На, возьми четыре екатеринки и помни своего дворника Василья».

— Нет, это удивительно, — говорил Евгений Михайлович, говорил и жене и сам себе. И когда вспоминал об этом или говорил об этом жене, слезы выступали у него на глаза и на душе было радостно.

XVIII

В Суздальской тюрьме содержалось четырнадцать духовных лиц, всё преимущественно за отступление от православия; туда же был прислан и Исидор. Отец Михаил принял Исидора по бумаге и, не разговаривая с ним, велел поместить его в отдельной камере, как важного преступника. На третьей неделе пребывания Исидора в тюрьме отец Михаил обходил содержащихся. Войдя к Исидору, он спросил: не нужно ли чего?

— Мне многое нужно, не могу сказать при людях. Дай мне случай говорить с тобою наедине.

Они взглянули друг на друга, и Михаил понял, что ему бояться нечего. Он велел привести Исидора в свою келью и, когда они остались одни, сказал:

— Ну, говори.

Исидор упал на колени.

— Брат! — сказал Исидор. — Что ты делаешь? Пожалей себя. Ведь хуже нет злодея тебя, ты поругал все святое...

Через месяц Михаил подал бумаги об освобождении как раскаявшихся, не только Исидора, но и семерых других и сам попросился в монастырь на покой.

XIX

Прошло десять лет.

Митя Смоковников кончил курс в техническом училище и был инженером с большим жалованьем на золотых приисках в Сибири. Ему надо было ехать по участку. Директор предложил ему взять каторжника Степана Пелагеюшкина.

— Как каторжника? Разве не опасно?

— С ним не опасно. Это святой человек. Спросите у кого хотите.

— Да за что он?

Директор улыбнулся.

— Шесть душ убил, а святой человек. Уж я ручаюсь.

И вот Митя Смоковников принял Степана, плешивого, худого, загорелого человека, и поехал с ним.

Дорогой Степан ходил, как он ухаживал за всеми, где мог, как за своим детищем, за Смоковниковым и дорогой рассказал ему всю свою историю. И то, как и зачем и чем он живет теперь.

И удивительное дело. Митя Смоковников, живший до тех пор только питьем, едой, картами, вином, женщинами, задумался в первый раз над жизнью. И думы эти не оставили его, а разворачивали его душу все дальше и дальше. Ему предлагали место, где была большая польза. Он отказался и решил на то, что у него было, купить именье, жениться и, как сумеет, служить народу.

XX

Он так и сделал. Но прежде приехал к отцу, с которым у него были неприятные отношения за новую семью, которую завел отец. Теперь же он решил сблизиться с отцом. И так и сделал. И отец удивлялся, смеялся над ним, а потом сам перестал нападать на него и вспомнил многие и многие случаи, где он был виноват перед ним.

АЛЕША ГОРШОК

Алешка был меньшой брат. Прозвали его Горшком за то, что мать послала его снести горшок молока дьяконице, а он споткнулся и разбил горшок. Мать побила его, а ребята стали дразнить его «Горшком». Алешка Горшок — так и пошло ему прозвище.

Алешка был малый худощавый, лопоухий (уши торчали, как крылья), и нос был большой. Ребята дразнили: «У Алешки нос, как кобель на бугре». В деревне была школа, но грамота не далась Алеше, да и некогда было учиться. Старший брат жил у купца в городе, и Алешка сызмальства стал помогать отцу. Ему было шесть лет, уж он с девчонкой-сестрой овец и корову стерег на выгоне, а еще подрос, стал лошадей стеречь и в денном и в ночном. С двенадцати лет уж он пахал и возил. Силы не было, а ухватка была. Всегда он был весел. Ребята смеялись над ним; он молчал либо смеялся. Если отец ругал, он молчал и слушал. И как только переставали его ругать, он улыбался и брался за то дело, которое было перед ним.

Алеше было девятнадцать лет, когда брата его взяли в солдаты. И отец поставил Алешу на место брата к купцу в дворники. Алеше дали сапоги братнины старые, шапку отцовскую и поддевку и повезли в город. Алеша не мог нарадоваться на свою одежду, но купец остался недоволен видом Алеши.

— Я думал, и точно человека заместо Семена поставишь,— сказал купец, оглянув Алешу. — А ты мне какого сопляка привел. На что он годится?

— Он все может — и запрячь, и съездить куда, и работать лютой; он только на вид как плетень. А то он жилист.

— Ну уж, видно, погляжу.

— А пуще всего — безответный. Работать завистливый.

— Что с тобой делать. Оставь.

И Алеша стал жить у купца.

Семья у купца была небольшая: хозяйка, старуха мать, старший сын женатый, простого воспитания, с отцом в деле был, и другой сын — ученый, кончил в гимназии и был в университете, да оттуда выгнали, и он жил дома, да еще дочь — девушка гимназистка.

Сначала Алешка не понравился — очень уж он был мужиковат и одет плохо, и обхожденья не было, всем говорил «ты», но скоро привыкли к нему. Служил он еще лучше брата. Точно был безответный, на все дела его посылали, и все он делал охотно и скоро, без останова переходя от одного дела к другому. И как дома, так и у купца на Алешу наваливались все работы. Чем больше он делал, тем больше все на него наваливали дела. Хозяйка, и хозяйская мать, и хозяйская дочь, и хозяйский сын, и приказчик, и кухарка, все то туда, то сюда посылали его, то то, то это заставляли делать. Только и слышно было «Сбегай, брат», или: «Алеша, ты это устрой.— Ты что ж это, Алешка, забыл, что ль? — Смотри, не забудь, Алеша». И Алеша бегал, устраивал, и смотрел, и не забывал, и все успевал, и все улыбался.

Сапоги братнины он скоро разбил, и хозяин разбранил его за то, что он ходил с махрами на сапогах и голыми пальцами, и велел купить ему новые сапоги на базаре. Сапоги были новые, и Алеша радовался на них, но ноги у него были всё старые, и они к вечеру ныли у него от беготни, и он сердился на них. Алеша боялся, как бы отец, когда приедет за него получить деньги, не обиделся бы за то, что купец за сапоги вычтет из жалованья.

Вставал Алеша зимой до света, колол дров, потом выметал двор, задавал корм корове, лошади, поил их. Потом топил печи, чистил сапоги, одежу хозяевам, ставил самовары, чистил их, потом либо приказчик звал его вытаскивать товар, либо кухарка приказывала ему месить тесто, чистить кастрюли. Потом посылали его в город, то

с запиской, то за хозяйской дочерью в гимназию, то за деревянным маслом для старушки. «Где ты пропадаешь, проклятый»,— говорил ему то тот, то другой. «Что вам самим ходить — Алеша сбегает. Алешка! А Алешка!» И Алеша бегал.

Завтракал он на ходу, а обедать редко поспевал со всеми. Кухарка ругала его за то, что он не со всеми ходит, но все-таки жалела его и оставляла ему горячего и к обеду и к ужину. Особенно много работы бывало к праздникам и во время праздников. И Алеша радовался праздникам особенно потому, что на праздники ему давали на чай хоть и мало, собиралось копеек шестьдесят, но все-таки это были его деньги. Он мог истратить их, как хотел. Жалованья же своего он и в глаза не видал. Отец приезжал, брал у купца и только выговаривал Алешке, что он сапоги скоро растрепал.

Когда он собрал два рубля этих денег «начайных», то купил, по совету кухарки, красную вязаную куртку, и когда надел, то не мог уж свести губы от удовольствия.

Говорил Алеша мало, и когда говорил, то всегда отрывисто и коротко. И когда ему что приказывали сделать или спрашивали, может ли он сделать то и то, то он всегда без малейшего колебания говорил: «Это все можно»,— и сейчас же бросался делать и делал.

Молитв он никаких не знал; как его мать учила, он забыл, а все-таки молился и утром и вечером — молился руками, крестясь.

Так прожил Алеша полтора года, и тут, во второй половине второго года, случилось с ним самое необыкновенное в его жизни событие. Событие это состояло в том, что он, к удивлению своему, узнал, что, кроме тех отношений между людьми, которые происходят от нужды друг в друге, есть еще отношения совсем особенные: не то чтобы нужно было человеку вычистить сапоги, или снести покупку, или запрячь лошадь, а то, что человек так, ни зачем нужен другому человеку, нужно ему послужить, его приласкать, и что он, Алеша, тот самый человек. Узнал он через кухарку Устинью. Устюша была сирота, молодая, такая же работящая, как и Алеша. Она стала жалеть Алешу, и Алеша в первый раз почувствовал, что он, сам он, не его услуги, а он сам нужен другому человеку. Когда мать жалела его, он не замечал этого, ему

казалось, что это так и должно быть, что это все равно, как он сам себя жалеет. Но тут вдруг он увидал, что Устинья совсем чужая, а жалеет его, оставляет ему в горшке каши с маслом и, когда он ест, подпершись подбородком на засученную руку, смотрит на него. И он взглянет на нее, и она засмеется, и он засмеется.

Это было так ново и странно, что сначала испугало Алешу. Он почувствовал, что это помешает ему служить, как он служил. Но все-таки он был рад и, когда смотрел свои штаны, заштопанные Устиньей, покачивал головой и улыбался. Часто за работой или на ходу он вспоминал Устинью и говорил: «Ай да Устинья!» Устинья помогала ему, где могла, и он помогал ей. Она рассказала ему свою судьбу, как она осиротела, как ее тетка взяла, как отдали в город, как купеческий сын ее на глупость подговаривал и как она его осадила. Она любила говорить, а ему приятно было ее слушать. Он слыхал, что в городах часто бывает: какие мужики в работниках — женятся на кухарках. И один раз она спросила его, скоро ли его женят. Он сказал, что не знает и что ему неохота в деревне брать.

— Что ж, кого приглядел? — сказала она.

— Да я бы тебя взял. Пойдешь, что ли?

— Вишь, горшок, горшок, а как изловчился сказать,— сказала она, ударив его ручником по спине.— Отчего же не пойти?

На масленице старик приехал в город за деньгами. Купцова жена узнала, что Алексей задумал жениться на Устинье, и ей не понравилось это. «Забеременеет, с ребенком куда она годится». Она сказала мужу.

Хозяин отдал деньги Алексееву отцу.

— Что ж, хорошо живет мой-то? — сказал мужик.— Я говорил — безответный.

— Безответный-то безответный, да глупости задумал. Жениться вздумал на кухарке. А я женатых держать не стану. Нам это не подходяще.

— Дурак, дурак, а что вздумал,— сказал отец.— Ты не думай. Я прикажу ему, чтоб он это бросил.

Придя в кухню, отец сел, дожидаясь сына, за стол. Алеша бегал по делам и, запыхавшись, вернулся.

— Я думал, ты путный. А ты что задумал? — сказал отец.

— Да я ничего.

— Как ничего. Жениться захотел. Я женю, когда время подойдет, и женю на ком надо, а не на шлюхе городской.

Отец много говорил. Алеша стоял и вздыхал. Когда отец кончил, Алеша улыбнулся.

— Что ж, это и оставить можно.

— То-то.

Когда отец ушел и он остался один с Устиньей, он сказал ей (она стояла за дверью и слушала, когда отец говорил с сыном):

— Дело наше не того, не вышло. Слышала? Рассерчал, не велит.

Она заплакала молча в фартук.

Алеша щелкнул языком.

— Как не послушаешь-то. Видно, бросать надо.

Вечером, когда купчиха позвала его закрыть ставни, она сказала ему:

— Что ж, послушал отца, бросил глупости свои?

— Видно, что бросил,— сказал Алеша, засмеялся и тут же заплакал.

С тех пор Алеша не говорил больше с Устиньей об женитьбе и жил по-старому.

Потом приказчик послал его счищать снег с крыши. Он полез на крышу, счистил весь, стал отдирать примерзлый снег у желобов, ноги покатились, и он упал с лопатой. На беду упал он не в снег, а на крытый железом выход. Устинья подбежала к нему и хозяйская дочь.

— Ушибся, Алеша?

— Вот еще ушибся. Ничево.

Он хотел встать, но не мог и стал улыбаться. Его снесли в дворницкую. Пришел фельдшер. Осмотрел его и спросил, где больно.

— Больно везде, да это ничево. Только что хозяин обидится. Надо батюшке послать слух.

Пролежал Алеша двое суток, на третьи послали за попом.

— Что же, али помирать будешь? — спросила Устинья.

— А то что ж? Разве всё и жить будем? Когда-нибудь надо,— быстро, как всегда, проговорил Алеша.— Спасибо, Устюша, что жалела меня. Вот оно и лучше, что не ве-

лели жениться, а то бы ни к чему было. Теперь все похорошему.

Молился он с попом только руками и сердцем. А в сердце у него было то, что как здесь хорошо, коли слушаешь и не обижаешь, так и там хорошо будет.

Говорил он мало. Только просил пить и все чему-то удивлялся.

Удивился чему-то, потянулся и помер.

КОРНЕЙ ВАСИЛЬЕВ

I

Корнею Васильеву было пятьдесят четыре года, когда он в последний раз приезжал в деревню. В густых курчавых волосах у него не было еще ни одного седого волоса, и только в черной бороде у скул пробивалась седина. Лицо у него было гладкое, румяное, загривок широкий и крепкий, и все сильное тело обложилось жиром от сытой городской жизни.

Он двадцать лет тому назад отбыл военную службу и вернулся со службы с деньгами. Сначала он завел лавку, потом оставил лавку и стал торговать скотиной. Ездил в Черкасы за «товаром» (скотиной) и пригонял в Москву.

В селе Гаях, в его каменном, крытом железом доме, жила старуха мать, жена с двумя детьми (девочка и мальчик), еще сирота племянник, немой пятнадцатилетний малый, и работник. Корней был два раза женат. Первая жена его была слабая, больная женщина и умерла без детей, и он, уже немолодым вдовцом, женился второй раз на здоровой, красивой девушке, дочери бедной вдовы из соседней деревни. Дети были от второй жены.

Корней так выгодно продал последний «товар» в Москве, что у него собралось около трех тысяч денег. Узнав от земляка, что недалеко от его села выгодно продается у разорившегося помещика роща, он вздумал заняться еще и лесом. Он знал это дело и еще до службы жил помощником приказчика у купца в роще.

На железнодорожной станции, с которой сворачивали в Гаи, Корней встретил земляка, гаевского кривого Кузьму. Кузьма к каждому поезду выезжал из Гаев за седо-

ками на своей парочке плохоньких косматых лошаденок. Кузьма был беден и оттого не любил всех богатых, а особенно богача Корнея, которого он знал Корнюшкой.

Корней, в полушубке и тулупе, с чемоданчиком в руке, вышел на крыльцо станции и, выпятив брюхо, остановился, отдуваясь и оглядываясь. Было утро. Погода была тихая, пасмурная, с легким морозцем.

— Что ж, не нашел седоков, дядя Кузьма? — сказал он. — Свезешь, что ли?

— Что ж, давай рублевку. Свезу.

— Ну и семь гривен довольно.

— Брюхо наел, а тридцать копеек у бедного человека оттянуть хочешь.

— Ну, ладно, давай, что ль,— сказал Корней. И, уложив в маленькие санки чемодан и узел, он широко уселся на заднем месте.

Кузьма остался на козлах.

— Ладно. Трогай.

Выехали из ухабов у станции на гладкую дорожку.

— Ну, а что, как у вас, не у нас, а у вас на деревне?— спросил Корней.

— Да хорошего мало.

— А что так? Моя старуха жива?

— Старуха-то жива. Надысь в церкви была. Старуха твоя жива. Жива и молодая хозяйка твоя. Что ей делается. Работника нового взяла.

И Кузьма засмеялся как-то чудно́, как показалось Корнею.

— Какого работника? А Петра что?

— Петра заболел. Взяла Евстигнея Белого из Каменки,— сказал Кузьма,— из своей деревни, значит.

— Вот как?— сказал Корней.

Еще когда Корней сватал Марфу, в народе что-то бабы болтали про Евстигнея.

— Так-то, Корней Васильич, — сказал Кузьма. — Очень уж бабы нынче волю забрали.

— Что и говорить! — промолвил Корней. — А стара твоя сивая стала,— прибавил он, желая прекратить разговор.

— Я и сам не молод. По хозяину,— проговорил Кузьма в ответ на слова Корнея, постегивая косматого, кривоногого мерина.

На полдороге был постоялый двор. Корней велел остановить и вошел в дом. Кузьма приворотил лошадь

к пустому корыту и оправлял шлею, не глядя на Корнея и ожидая, что он позовет его.

— Заходи, что ль, дядя Кузьма,— сказал Корней, выходя на крыльцо,— выпьешь стаканчик.

— Ну что ж,— отвечал Кузьма, делая вид, что не торопится.

Корней потребовал бутылку водки и поднес Кузьме. Кузьма, не евши с утра, тотчас же захмелел. И как только захмелел, стал шепотом, пригибаясь к Корнею, рассказывать ему, что говорили в деревне. А говорили, что Марфа, его жена, взяла в работники своего прежнего полюбовника и живет с ним.

— Мне что ж. Мне тебя жалко,— говорил пьяный Кузьма. — Только нехорошо, народ смеется. Видно, греха не боится. Ну, да погоди же ты, говорю. Дай срок, сам приедет. Так-то, брат, Корней Васильич.

Корней молча слушал то, что говорил Кузьма, и густые брови все ниже и ниже спускались над блестящими черными, как уголь, глазами.

— Что ж, поить будешь? — сказал он только, когда бутылка была выпита. — А нет, так и едем.

Он расплатился с хозяином и вышел на улицу.

Домой он приехал сумерками. Первый встретил его тот самый Евстигней Белый, про которого он не мог не думать всю дорогу. Корней поздоровался с ним. Увидав худощавое белобрысое лицо заторопившегося Евстигнея, Корней только недоуменно покачал головой. «Наврал, старый пес,— подумал он на слова Кузьмы. — А кто их знает. Да уж я дознаюсь».

Кузьма стоял у лошади и подмигивал своим одним глазом на Евстигнея.

— У нас, значит, живешь?— спросил Корней.

— Что ж, надо где-нибудь работать,— отвечал Евстигней.

— Топлена горница-то?

— А то как же? Матвевна тама, — отвечал Евстигней.

Корней поднялся на крыльцо. Марфа, услыхав голоса, вышла в сени и, увидав мужа, вспыхнула и торопливо и особенно ласково поздорововалась с ним.

— А мы с матушкой уж и ждать перестали,— сказала она и вслед за Корнеем вошла в горницу.

— Ну что, как живете без меня?

— Живем всё по-старому,— сказала она и, подхватив на руки двухлетнюю дочку, которая тянула ее за юбку

и просила молока, большими решительными шагами вошла в сени.

Корнеева мать с такими же черными глазами, как у Корнея, с трудом волоча ноги в валенках, вошла в горницу.

— Спасибо проведать приехал,— сказала она, покачивая трясущейся головой.

Корней рассказал матери, по какому делу заехал, и, вспомнив про Кузьму, пошел вынести ему деньги. Только он отворил дверь в сени, как прямо перед собой он увидал у двери на двор Марфу и Евстигнея. Они близко стояли друг от друга, и она говорила что-то. Увидав Корнея, Евстигней шмыгнул во двор, а Марфа подошла к самовару, поправляя гудевшую над ним трубу.

Корней молча прошел мимо ее согнутой спины и, взяв узел, позвал Кузьму пить чай в большую избу. Перед чаем Корней роздал московские гостинцы домашним: матери шерстяной платок, Федьке книжку с картинками, немому племяннику жилетку и жене ситец на платье.

За чаем Корней сидел насупившись и молчал. Только изредка неохотно улыбался, глядя на немого, который забавлял всех своей радостью. Он не мог нарадоваться на жилетку. Он укладывал и развертывал ее, надевал ее и целовал свою руку, глядя на Корнея, и улыбался.

После чая и ужина Корней тотчас же ушел в горницу, где спал с Марфой и маленькой дочкой. Марфа оставалась в большой избе убирать посуду. Корней сидел один у стола, облокотившись на руку, и ждал. Злоба на жену все больше и больше ворочалась в нем. Он достал со стены счеты, вынул из кармана записную книжку и, чтобы развлечь мысли, стал считать. Он считал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к голосам в большой избе.

Несколько раз он слышал, как отворялась дверь в избу и кто-то выходил в сени, но это все была не она. Наконец послышались ее шаги, дернулась дверь, отлипла, и она, румяная, красивая, в красном платке, вошла с девочкой на руках.

— Небось с дороги-то уморился, — сказала она, улыбаясь, как будто не замечая его угрюмого вида.

Корней глянул на нее и стал опять считать, хотя считать уже нечего было.

— Уж не рано,— сказала она и, спустив с рук девочку, прошла за перегородку.

Он слышал, как она убирала постель и укладывала спать дочку.

«Люди смеются,— вспомнил он слова Кузьмы. —Погоди же ты...»— подумал он, с трудом переводя дыхание, и медленным движением встал, положил обгрызок карандаша в жилетный карман, повесил счеты на гвоздь, снял пиджак и подошел к двери перегородки. Она стояла лицом к иконам и молилась. Он остановился, ожидая. Она долго крестилась, кланялась и шепотом говорила молитвы. Ему казалось, что она давно перечитала все молитвы и нарочно по нескольку раз повторяет их. Но вот она положила земной поклон, выпрямилась, прошептала в себя какие-то молитвенные слова и повернулась к нему лицом.

— А Агашка-то уж спит,— сказала она, указывая на девочку, и, улыбаясь, села на заскрипевшую кровать.

— Евстигней давно здесь?— сказал Корней, входя в дверь.

Она спокойным движением перекинула одну толстую косу через плечо на грудь и начала быстрыми пальцами расплетать ее. Она прямо смотрела на него, и глаза ее смеялись.

— Евстигней-то? А кто его знает,— недели две али три.

— Ты живешь с ним?— проговорил Корней.

Она выпустила из рук косу, но тотчас же поймала опять свои жесткие густые волосы и опять стала плести.

— Чего не выдумают. Живу с Евстигнеем? — сказала она, особенно звучно произнося слово Евстигней. — Выдумают же! Тебе кто сказал?

— Говори: правда, нет ли?— сказал Корней и сжал в кулаки засунутые в карманы могучие руки.

— Будет болтать пустое. Снять сапоги-то?

— Я тебя спрашиваю,— повторил он.

— Ишь добро какое. На Евстигнея польстилась,— сказала она. — И кто только наврал тебе?

— Что ты с ним в сенях говорила?

— Что говорила. Говорила, на бочку обруч набить надо. Да ты что ко мне пристал?

— Я тебе велю: говори правду. Убью, сволочь поганая.

Он схватил ее за косу.

Она выдернула у него из руки косу, лицо ее скосилось от боли.

— Только на то тебя и взять, что драться. Что я от тебя хорошего видела? От такого житья не знаю, что сделаешь.

— Что сделаешь?— проговорил он, надвигаясь на нее.

— За что полкосы выдрал? Во, так шмотами и лезут. Что пристал. И правда, что...

Она не договорила. Он схватил ее за руку, сдернул с кровати и стал бить по голове, по бокам, по груди. Чем больше он бил, тем больше разгоралась в нем злоба. Она кричала, защищалась, хотела уйти, но он не пускал ее. Девочка проснулась и бросилась к матери.

— Мамка,— ревела она.

Корней ухватил девочку за руку, оторвал от матери и, как котенка, бросил в угол. Девочка визгнула, и несколько секунд ее не слышно было.

— Разбойник! Ребенка убил,— кричала Марфа и хотела подняться к дочери.

Но он опять схватил ее и так ударил в грудь, что она упала навзничь и тоже перестала кричать. Только девочка кричала отчаянно, не переводя духа.

Старуха, без платка, с растрепанными седыми волосами, с трясущейся головой, шатаясь, вошла в каморку и, не глядя ни на Корнея, ни на Марфу, подошла к внучке, заливавшейся отчаянными слезами, и подняла ее.

Корней стоял, тяжело дыша и оглядываясь, как будто спросонья, не понимая, где он и кто тут с ним.

Марфа подняла голову и, стоная, вытирала окровавленное лицо рубахой.

— Злодей постылый! — проговорила она. — И живу с Евстигнеем и жила. На, убей до смерти. И Агашка не твоя дочь; с ним прижила,— быстро выговорила она и закрыла локтем лицо, ожидая удара.

Но Корней как будто ничего не понимал и только сопел и оглядывался.

— Ты глянь, что с девчонкой сделал: руку вышиб, — сказала старуха, показывая ему вывернутую висящую ручку не перестававшей заливавшейся криками девочки. Корней повернулся и молча вышел в сени и на крыльцо.

На дворе было все так же морозно и пасмурно. Снежинки инея падали ему на горевшие щеки и лоб. Он сел на приступки и ел горстями снег, собирая его на перилах. Из-за дверей слышно было, как стонала Марфа и жалостно плакала девочка; потом отворилась дверь в сени, и он слышал, как мать с девочкой вышла из горницы и

прошла через сени в большую избу. Он встал и вошел в горницу. Завернутая лампа горела малым светом на столе. Из-за перегородки слышались усилившиеся, как только он вошел, стоны Марфы. Он молча оделся, достал из-под лавки чемодан, уложил в него свои вещи и завязал его веревкой.

— За что убил меня? За что? Что я тебе сделала?— заговорила Марфа жалостным голосом. Корней, не отвечая, поднял чемодан и понес к двери. — Каторжник. Разбойник! Погоди ж ты. Али на тебя суда нет?— совсем другим голосом злобно проговорила она.

Корней, не отвечая, толкнул дверь ногой и так сильно захлопнул ее, что задрожали стены.

Войдя в большую избу, Корней разбудил немого и велел ему запрягать лошадь. Немой, не сразу проснувшись, удивленно-вопросительно поглядывал на дядю и обеими руками расчесывал голову. Поняв, наконец, что́ от него требовали, он вскочил, надел валенки, рваный полушубок, взял фонарь и пошел на двор.

Уж было совсем светло, когда Корней выехал с немым в маленьких пошевнях за ворота и поехал назад по той же дороге, по которой с вечера приехал с Кузьмою.

Он приехал на станцию за пять минут до отхода поезда. Немой видел, как он брал билет, как взял чемодан и как сел в вагон, кивнув ему головой, и как вагон укатился из вида.

У Марфы, кроме побоев на лице, были сломаны два ребра и разбита голова. Но сильная, здоровая молодая женщина справилась через полгода, так что не осталось никаких следов побоев. Девочка же навек осталась полукалекой. У ней были переломлены две кости руки, и рука осталась кривая.

Про Корнея же с тех пор, как он ушел, никто ничего не знал. Не знали, жив ли он, или умер.

II

Прошло семнадцать лет. Была глухая осень. Солнце ходило низко, и в четвертом часу вечера уже смеркалось. Андреевское стадо возвращалось в деревню. Пастух, от-

служив срок, до заговенья ушел, и гоняли скотину очередные бабы и ребята.

Стадо только что вышло с овсяного жнивья на грязную, испещренную раздвоенно-копытными следами черноземную, взрытую колеями большую грунтовую дорогу и с непереставающим мычанием и блеянием подвигалось к деревне. По дороге впереди стада шел в потемневшем от дождя, заплатанном зипуне, в большой шапке, с кожаным мешком за сутуловатой спиной высокий старик с седой бородой и курчавыми седыми волосами; только одни густые брови были у него черные. Он шел, тяжело двигая по грязи мокрыми и разбившимися грубыми хохлацкими сапогами и через шаг равномерно подпираясь дубовой клюкой. Когда стадо догнало его, он, опершись на клюку, остановился. Гнавшая стадо молодайка, покрывшись с головой дерюжкой, в подтыканной юбке и мужских сапогах, перебегала быстрыми ногами то на ту, то на другую сторону дороги, подгоняя отстающих овец и свиней. Поравнявшись с стариком, она остановилась, оглядывая его.

— Здорово, дедушка,— сказала она звучным, нежным, молодым голосом.

— Здорово, умница,— проговорил старик.

— Что ж, ночевать, что ль?

— Да видно так. Уморился, — хрипло проговорил старик.

— А ты, дед, к десятскому не ходи,— ласково проговорила молодайка. — Иди прямо к нам,— третья изба с краю. Странных людей свекровь так пущает.

— Третья изба. Зиновеева, значит?— сказал старик, как-то значительно поводя черными бровями.

— А ты разве знаешь?

— Бывал.

— Ты чего, Федюшка, слюни распустил,— хромая-то вовсе отстала,— крикнула молодайка, указывая на ковылявшую позади стада трехногую овцу, и, взмахнув правой рукой хворостиной и как-то странно, снизу, кривой левой рукой перехватив дерюжку на голове, побежала назад за отставшей хромой мокрой черной овцой.

Старик был Корней. А молодайка была та самая Агашка, которой он выломал руку семнадцать лет тому назад. Она была выдана в Андреевку, в богатую семью, за четыре версты от Гаев.

III

Корней Васильев из сильного, богатого, гордого человека стал тем, что он был теперь: старым побирушкой, у которого ничего не было, кроме изношенной одежи на теле, солдатского билета и двух рубах в сумке. Вся эта перемена сделалась так понемногу, что он не мог бы сказать, когда это началось и когда сделалось. Одно, что он знал, в чем был твердо уверен, это то, что виною его несчастия была его злодейка жена. Ему странно и больно было вспоминать то, что он был прежде. И когда он вспоминал про это, он с ненавистью вспоминал про ту, кого он считал причиной всего того дурного, что он испытал в эти семнадцать лет.

В ту ночь, когда он избил жену, он поехал к помещику, где продавалась роща. Рощи не довелось купить. Она была уже куплена, и он вернулся в Москву и там запил. Он и прежде пивал, но теперь пьянствовал без просыпу две недели, и когда опомнился, уехал на низ за скотиной. Покупка была неудачная, и он понес убыток. Он поехал в другой раз. И вторая покупка не задалась. И через год у него из трех тысяч осталось двадцать пять рублей и пришлось наниматься к хозяевам. Он и прежде пил, а теперь стал выпивать чаще и чаще.

Сначала он прожил год приказчиком у скотопромышленника, но дорогой запил, и купец расчел его. Потом он нашел по знакомству место торговца вином, но и тут прожил недолго. Запутался в расчетах, и ему отказали. Домой ехать и стыдно было, и злоба брала. «Проживут и без меня. Может, и мальчишка-то не мой»,— думал он.

Все шло хуже и хуже. Без вина он не мог жить. Стал наниматься уж не в приказчики, а в погонщики к скотине, потом и в эту должность не стали брать.

Чем хуже ему становилось, тем больше он обвинял ее, и тем больше разгоралась его злоба на нее.

В последний раз Корней нанялся в погонщики к скотине к незнакомому хозяину. Скотина заболела. Корней не был виноват, но хозяин рассердился и рассчитал и приказчика и его. Наниматься некуда было, и Корней решил идти странствовать. Состроил себе сапоги хорошие, сумку, взял чаю, сахару, денег восемь рублей и пошел в Киев. В Киеве ему не понравилось, и он пошел на Кавказ, в Новый Афон. Не доходя Нового Афона, его захватила лихорадка. Он вдруг ослабел. Денег оставалось рубль

семьдесят копеек, знакомых никого не было, и он решил идти домой к сыну. «Может, она и померла теперь, злодейка моя,— думал он. — А жива, так хоть перед смертью выскажу ей все; чтоб знала она, мерзавка, что со мной сделала», — думал он и пошел к дому.

Лихорадка трепала его через день. Он слабел все больше и больше, так что не мог уходить больше десяти, пятнадцати верст в день. Не доходя двухсот верст до дому деньги все вышли, и он шел уж Христовым именем и ночевал по отводу десятского. «Радуйся, до чего довела меня!» — думал он про жену, и, по старой привычке, старые и слабые руки сжимались в кулаки. Но и бить некого было, да и силы в кулаках уже не было.

Две недели шел он эти двести верст и, совсем больной и слабый, добрел до того места, в четырех верстах от дома, где встретился, не узнав ее и не быв узнан, с той Агашкой, которая считалась, но не была его дочерью и которой он выломал руку.

IV

Он сделал, как сказала ему Агафья. Дойдя до Зиновеева двора, он попросился ночевать. Его пустили.

Войдя в избу, он, как и всегда делал, перекрестился на иконы и поздоровался с хозяевами.

— Застыл, дед! Иди, иди на печь,— сказала сморщенная веселая старушка хозяйка, убиравшаяся у стола.

Муж Агафьи, моложавый мужик, сидел на лавке у стола и заправлял лампу.

— И мокрый же ты, дед! — сказал он. — Да что станешь делать. Сушись!

Корней разделся, разулся, повесил против печки онучи и влез на печь.

В избу вошла и Агафья с кувшином. Она уже успела пригнать стадо и убраться с скотиной.

— А не бывал старик странный? — спросила она. — Я велела к нам заходить.

— А вон он,— сказал хозяин, указывая на печь, где, потирая мохнатые костлявые ноги, сидел Корней.

К чаю хозяева кликнули и Корнея. Он слез и сел на краю лавки. Ему подали чашку и кусок сахара.

Разговор шел про погоду, про уборку. Не дается в руки хлеб. У помещиков проросли копны в поле. Только

начнут возить — опять дождь. Мужички свезли. А у господ так дуро́м преет. А мыша в снопах — страсть.

Корней рассказал, что он видел по дороге целое поле полно копен. Молодайка налила ему пятую чашку жидкого, чуть желтого чаю и подала.

— Ничего. Пей, дедушка, на здоровье,— сказала она на его отказ.

— Что ж это рука у тебя неисправная?— спросил он у нее, осторожно принимая от нее полную чашку и пошевеливая бровями.

— С мальства еще сломали,— сказала говорливая свекровь. — Это ее отец нашу Агашку убить хотел.

— С чего ж это? — спросил Корней. И, глядя на лицо молодайки, ему вспомнился вдруг Евстигней Белый с его голубыми глазами, и рука, державшая чашку, так задрожала, что он разлил половину чая, пока донес ее до стола.

— А такой был в Гаях у нас человек, отец ей, Корней Васильевым звали. Богатей был. Так возгордился на жену. Ее избил и ее вот испортил.

Корней молчал, взглядывая из-под не переставая шевелившихся черных бровей то на хозяина, то на Агашу.

— За что же?— спросил он, откусывая сахар.

— Кто их знает. Про нашу сестру всякое сболтнут, а ты отвечай,— говорила старуха. — Из-за работника что-то у них вышло. Работник малый хороший был из нашей деревни. Он и помер у них в доме.

— Помер?— переспросил Корней и откашлялся.

— Давно помер... У них мы и взяли молодайку. Жили хорошо. Первые на селе были. Пока жив был хозяин.

— А он что же?— спросил Корней.

— Тоже помер, должно. С того раза пропал. Лет пятнадцать будет.

— Больше, никак, мне мамушка сказывала, меня она только кормить бросила.

— Что ж, ты на него не обижаешься на то, что он руку... — начал было Корней и вдруг захлюпал.

— Разве он чужой — отец ведь. Что ж, еще пей с холоду-то. Налить, что ль?

Корней не отвечал и, всхлипывая, плакал.

— Чего ж ты?

— Ничего, так, спаси Христос.

И Корней дрожащими руками ухватился за столбик и за полати и полез большими худыми ногами на печь.

— Вишь ты,— сказала старушка сыну, подмигивая на старика.

V

На другой день Корней поднялся раньше всех. Он слез с печи, размял высохшие подвертки; с трудом обул заскорузшие сапоги и надел мешок.

— Что ж, дед, позавтракал бы?— сказала старуха.

— Спаси бог. Пойду.

— Так вот возьми хоть лепешек вчерашних. Я тебе в мешок положу.

Корней поблагодарил и простился.

— Заходи, когда назад пойдешь, живы будем...

На дворе был тяжелый осенний туман, закрывающий все. Но Корней хорошо знал дорогу, знал всякий спуск и подъем, и всякий куст, и все ветлы по дороге, и леса направо и налево, хотя за семнадцать лет одни срубили и из старых стали молодыми, а другие из молодых стали старыми.

Деревня Гаи была все та же, только построились с краю новые дома, каких не было прежде. И из деревянных домов стали кирпичные. Его каменный дом был такой же, только постарел. Крыша была давно не крашена, и на угле выбитые были кирпичи, и крыльцо покривилось.

В то время как он подходил к своему прежнему дому, из скрипучих ворот вышла матка с жеребенком, старый мерин чалый и третьяк. Старый чалый был весь в ту матку, которую Корней за год до своего ухода привел с ярмонки.

«Должно, это тот самый, что у нее тогда в брюхе был. Та же вислозадина и та же широкая грудь и косматые ноги»,— подумал он.

Лошадей гнал поить черноглазый мальчишка в новых лапотках. «Должно, внук, Федькин сын значит, в него черноглазый»,— подумал Корней.

Мальчик посмотрел на незнакомого старика и побежал за заигравшим по грязи стригуном. За мальчиком бежала собака, такая же черная, как прежний Волчок.

«Неужели Волчок?» — подумал он. И вспомнил, что тому было бы двадцать лет.

Он подошел к крыльцу и с трудом взошел на те ступеньки, на которых он тогда сидел, глотая снег с перил, и отворил дверь в сени.

— Чего лезешь не спросясь,— окликнул его женский голос из избы. Он узнал ее голос. И вот она сама, сухая, жилистая, морщинистая старуха, высунулась из двери. Корней ждал той молодой красивой Марфы, которая оскорбила его. Он ненавидел ее и хотел укорить, и вдруг вместо нее перед ним была какая-то старуха. — Милостыни — так под окном проси,— пронзительным, скрипучим голосом проговорила она.

— Я не милостыни,— сказал Корней.

— Так чего же ты? Чего еще?

Она вдруг остановилась. И он по лицу ее увидал, что она узнала его.

— Мало ли вас шляется. Ступай, ступай. С богом.

Корней привалился спиной к стене и, упираясь на клюку, пристально смотрел на нее и с удивлением чувствовал, что у него не было в душе той злобы на нее, которую он столько лет носил в себе, но какая-то умиленная слабость вдруг овладела им.

— Марфа! Помирать будем.

— Ступай, ступай с богом,— быстро и злобно говорила она.

— Больше ничего не скажешь?

— Нечего мне говорить,— сказала она. — Ступай с богом. Ступай, ступай. Много вас, чертей, дармоедов, шляется.

Она быстрыми шагами вернулась в избу и захлопнула дверь.

— Чего ж ругать-то,— послышался мужской голос, и в дверь вошел с топором за поясом черноватый мужик, такой же, как был Корней сорок лет тому назад, только поменьше и похудее, но с такими же черными блестящими глазами.

Это был тот самый Федька, которому он семнадцать лет тому назад подарил книжку с картинками. Это он упрекнул мать за то, что она не пожалела нищего. С ним вместе вошел, и тоже с топором за поясом, немой племянник. Теперь это был взрослый, с редкой бородкой морщинистый, жилистый человек, с длинной шеей, решитель-

ным и внимательно пронизывающим взглядом. Оба мужика только позавтракали и шли в лес.

— Сейчас, дедка,— сказал Федор и указал немому спачала на старика, а потом на горницу и показал рукою, как режут хлеб.

Федор вышел на улицу, а немой вернулся в избу. Корней все стоял, опустив голову, прислонившись к стене и опираясь на клюку. Он чувствовал большую слабость и с трудом удерживал рыдания. Немой вышел из избы с большим пахучим ломтем свежего черного хлеба и, перекрестившись, подал Корнею. Когда Корней, приняв хлеб, тоже перекрестился, немой обратился к двери в избу, провел двумя руками по лицу и начал делать вид, что плюет. Он выражал этим неодобрение тетке. Вдруг он замер и, разинув рот, уставился на Корнея, как будто узнавая. Корней не мог больше удерживать слезы и, вытирая глаза, нос и седую бороду полою кафтана, отвернулся от немого и вышел на крыльцо. Он испытывал какое-то особенное, умиленное, восторженное чувство смирения, унижения перед людьми, перед нею, перед сыном, перед всеми людьми, и чувство это и радостно и больно раздирало его душу.

Марфа смотрела из окна и спокойно вздохнула только тогда, когда увидала, что старик скрылся за углом дома.

Когда Марфа уверилась, что старик ушел, она села за стан и стала ткать. Она ударила раз десяток бердом, но руки не шли, она остановилась и стала думать и вспоминать, каким она сейчас видела Корнея,— она знала, что это был он — тот самый, который убивал ее и прежде любил ее, и ей было страшно за то, что она сейчас сделала. Не то она сделала, что надо было. А как же надо было обойтись с ним? Ведь он не сказал, что он Корней и что он домой пришел.

И она опять взялась за челнок и продолжала ткать до самого вечера.

VI

Корней с трудом добрел к вечеру до Андреевки и опять попросился ночевать к Зиновеевым. Его приняли.

— Что ж, дед, не пошел дальше?

— Не пошел. Ослаб. Видно, назад пойду. Ночевать пустите?

— Место не пролежишь. Иди сушись.

Всю ночь Корнея трепала лихорадка. Перед утром он забылся, а когда проснулся, домашние все разошлись по своим делам, и в избе оставалась одна Агафья.

Он лежал на хорах на сухом кафтане, который подостлала ему старуха. Агафья вынимала хлебы из печи.

— Умница,— позвал он ее слабым голосом,— подойди ко мне.

— Сейчас, дед, — отвечала она, высаживая хлебы. — Напиться, что ль? Кваску?

Он не отвечал.

Высадив последний хлеб, она подошла к нему с ковшиком кваса. Он не поворотился к ней и не стал пить, а как лежал кверху лицом, так и стал говорить, не поворачиваясь.

— Гаша,— сказал он тихим голосом,— время мое доспело. Я помирать хочу. Так вот ты прости меня Христа ради.

— Бог простит. Что ж, ты мне худого не делал...

Он помолчал.

— А еще вот что: сходи ты, умница, к матери, скажи ей... странник, мол, скажи... вчерашний странник, скажи...

Он стал всхлипывать.

— А ты разве был у наших?

— Был. Скажи, странник вчерашний... странник, скажи... — опять он остановился от рыданий и, наконец, собравшись с силами, договорил: — попрощаться к ней приходил, — сказал он и стал шарить у себя около груди.

— Скажу, дед, скажу. А ты чего ищешь? — сказала Агафья.

Старик, не отвечая, сморщившись от усилия, достал своей худой волосатой рукой бумагу из-за пазухи и подал ей.

— А это вот отдай, кто спросит. Билет мой солдатский. Слава богу, развязались все грехи,— и лицо его сложилось в торжественное выражение. Брови поднялись, глаза уставились в потолок, и он затих.

— Свечку,— проговорил он, не шевеля губами.

Агафья поняла. Достала от икон обгоревшую восковую свечку, зажгла и подала ему. Он прихватил ее большим пальцем.

Агафья отошла убрать в сундучок его билет, и когда подошла к нему, свеча валилась у него из руки, и остановившиеся глаза уже не видели, и грудь не дышала. Агафья перекрестилась, задула свечу, достала полотенце чистое и закрыла его лицо.

Во всю ночь эту Марфа не могла заснуть и все думала о Корнее. Наутро она надела зипун, накрылась платком и пошла узнавать, где вчерашний старик. Очень скоро она узнала, что старик в Андреевке. Марфа взяла из плетня палку и пошла в Андреевку. Чем дальше она шла, тем все страшнее и страшнее ей становилось. «Попрощаемся с ним, возьмем домой, грех развяжем. Пускай хоть помрет дома при сыне»,— думала она.

Когда Марфа стала подходить к дочернему двору, она увидала большую толпу народа у избы. Одни стояли в сенях, другие под окнами. Все уж знали, что тот самый знаменитый богач Корней Васильев, который двадцать лет тому назад гремел по округе, бедным странником помер в доме дочери. Изба тоже была полна народа. Бабы перешептывались, вздыхали и охали.

Когда Марфа вошла в избу и народ расступился, пропуская ее, она под святыми увидала обмытое, убранное, прикрытое полотном мертвое тело, над которым грамотный Филипп Конопыч, подражая дьячкам, читал нараспев славянские слова псалтыря.

Ни простить, ни просить прощенья уже нельзя было. А по строгому, прекрасному, старому лицу Корнея нельзя было понять, прощает ли он, или еще гневается.

ЯГОДЫ

Стояли жаркие, безветренные июньские дни. Лист в лесу сочен, густ и зелен, только кое-где срываются пожелтевшие березовые и липовые листы. Кусты шиповника осыпаны душистыми цветами, в лесных лугах сплошной медовый клевер, рожь густая, рослая, темнеет и волнуется, до половины налилась, в низах перекликаются коростели, в овсах и ржах то хрипят, то щелкают перепела, соловей в лесу только изредка сделает колено и замолкнет, сухой жар печет. По дорогам лежит неподвижно на палец сухая пыль и поднимается густым облаком, уносимым то вправо, то влево случайным слабым дуновением.

Крестьяне доделывают постройки, возят навоз, скотина голодает на высохшем пару, ожидая отавы. Коровы и телята зыкаются с поднятыми крючковато хвостами, бегают от пастухов со стойла. Ребята стерегут лошадей по дорогам и обрезам. Бабы таскают из леса мешки травы, девки и девочки вперегонку друг с другом ползают между кустов по срубленному лесу, собирают ягоды и носят продавать дачникам.

Дачники, в разукрашенных, архитектурно вычурных домиках, лениво гуляют под зонтиками, в легких, чистых, дорогих одеждах по усыпанным песком дорожкам или сидят в тени дерев, беседок, у крашеных столиков и, томясь от жары, пьют чай или прохладительные напитки.

У великолепной дачи Николая Семеныча, с башней, верандой, балкончиком, галереями — все свеженькое, новенькое, чистенькое — стоит ямская с бубенцами тройка в коляске, привезшая из города за пятнадцать «взад-назад», как говорит ямщик, петербургского барина.

Барин этот — известный либеральный деятель, участвовавший во всех комитетах, комиссиях, подношениях,

хитро составленных, как будто верноподданнических, а в сущности самых либеральных адресов. Он приехал из города, в котором он, как всегда, страшно занятой человек, пробудет только сутки, к своему другу, товарищу детства и почти единомышленнику.

Они немного только расходятся в способах применения конституционных начал. Петербуржец — больше европеец, с маленьким пристрастием даже к социализму, получает очень большое жалованье по местам, которые он занимает. Николай же Семеныч — чисто русский человек, православный, с оттенком славянофильства, владеет многими тысячами десятин земли.

Они пообедали в саду обедом из пяти кушаний, но от жару почти ничего не ели, так что труды сорокарублевого повара и его помощников, особенно усердно работавших для гостя, пропали почти даром. Покушали только ботвинью ледяную с свежей белорыбицей и разноцветное мороженое в красивой форме и разукрашенное разными сахарными волосами и бисквитами. Обедали гость, либеральный врач, учитель детей — студент, отчаянный социал-демократ, революционер, которого Николай Семеныч умел держать в узде, Мари — жена Николая Семеныча, и трое детей, из которых меньшой только приходил к пирожному.

Обед был немножко натянут, потому что Мари, сама очень нервная женщина, была озабочена расстройством желудка Гоги, — так (как и водится у порядочных людей) назывался меньшой мальчик Николай,— и еще оттого, что, как только начинался политический разговор между гостем и Николаем Семенычем, отчаянный студент, желая показать, что он ни перед кем не стесняется высказывать свои убеждения, врывался в разговор, и гость замолкал, Николай же Семеныч утишал революционера.

Обедали в семь часов. После обеда приятели сидели на веранде, прохлаждаясь холодным нарзаном с легким белым вином, и беседовали.

Разногласие их прежде всего выразилось в вопросе о том, какие должны быть выборы, двухстепенные или одностепенные, и они горячо начали было спорить, когда их позвали к чаю в защищенную сетками от мух столовую. За чаем шел общий разговор с Мари, которую разговор этот не мог занимать, так как она вся была поглощена мыслью о признаках расстройства желудка Гоги. Разговор шел о живописи, и Мари доказывала, что в декадентской

живописи есть un je ne sais quoi[1], которое нельзя отрицать. Она в эту минуту вовсе не думала о декадентской живописи, но говорила то, что говорила много раз. Гостю уже совсем это было не нужно, но он слыхал, что говорят против декадентства, и говорил все это так похоже, что никто бы не догадался о том, что ему не было никакого дела до декадентства или недекадентства. Николай же Семеныч, глядя на жену, чувствовал, что она чем-то недовольна и что будет, пожалуй, какая-нибудь неприятность — кроме того, ему очень скучно было слушать то, что она говорила и что он слышал, ему казалось, больше чем сто раз.

Зажгли дорогие бронзовые лампы и фонари на дворе, детей уложили спать, подвергнув больного Гогу лечебным операциям.

Гость с Николаем Семенычем и доктором вышли на веранду. Лакей подал свечи с колпаками и еще нарзану, и начался около двенадцати часов уж настоящий, оживленный разговор о том, какие должны были быть приняты государственные меры в настоящее, важное для России время. Оба не переставая курили, разговаривая.

Снаружи, за воротами дачи побрякивали бубенчиками ямщицкие лошади, стоявшие без корма, и то зевал, то храпел тоже без корма сидевший в коляске старик ямщик, двадцать лет живший у одного хозяина и все свое жалованье, за исключением рублей трех или пяти, которые он пропивал, отсылавший домой брату. Когда уж с разных дач стали перекликаться петухи, и особенно один громкий, тонкий в соседней даче, ямщик усомнился, не забыли ли его, сошел с коляски и вошел в дачу. Он видел, что его седок сидел и пил что-то и в промежутках громко говорил. Он забоялся и пошел отыскивать лакея. Лакей в ливрейном пиджачке сидя спал в передней. Ямщик разбудил его. Лакей, бывший дворовый, кормивший своей службой (служба была выгодная — пятнадцать рублей жалованья и от господ на чай в год рублей иногда до ста) свою большую семью — пять девок и два мальчика, вскочил и, оправившись и отряхнувшись, пошел к господам сказать, что ямщик беспокоится, просит отпустить.

Когда лакей вошел, спор был в самом разгаре. Подошедший к ним доктор участвовал в нем.

---

[1] Что-то такое *(франц.)*.

— Не могу я допустить,— говорил гость,— чтобы русский народ должен бы был идти по каким-то иным путям развития. Прежде всего нужна свобода — свобода политическая — та свобода, как это всем известно, наибольшая свобода, при соблюдении наибольших прав других людей.

Гость чувствовал, что он запутался и что-то не так говорит, но в горячке спора он не мог хорошенько вспомнить, как надо говорить.

— Это так,— отвечал Николай Семеныч, не слушая гостя и только желая высказать свою мысль, которая ему особенно нравилась.— Это так, но достигается это другим путем — не большинством голосов, а всеобщим согласием. Посмотрите на решения мира.

— Ах, этот мир.

— Нельзя отрицать,— сказал доктор,— что у славянских народов есть свой особенный взгляд. Например, польское право veto. Я не утверждаю, чтобы это было лучше.

— Позвольте, я доскажу всю мою мысль,— начал Николай Семеныч.— Русский народ имеет особенные свойства. Свойства эти...

Но пришедший с заспанными глазами в своей ливрее Иван перервал его:

— Ямщик беспокоится...

— Скажите ему (петербургский гость всем лакеям говорил «вы» и гордился этим), что я поеду скоро. И за лишнее заплачу.

— Слушаю-с.

Иван ушел, и Николай Семеныч мог досказать всю свою мысль. Но и гость и доктор слышали ее двадцать раз (или по крайней мере им так казалось) и стали опровергать ее, особенно гость, примерами истории. Он отлично знал историю.

Доктор был на стороне гостя и любовался его эрудицией и был рад случаю знакомства с ним.

Разговор так затянулся, что стало светло за лесом на другой стороне дороги и соловей проснулся, но собеседники всё курили и разговаривали, разговаривали и курили.

Может быть, разговор продолжался бы еще, но из двери вышла горничная.

Горничная эта была сирота, которая, чтобы кормиться, должна была поступить в услужение. Сначала она жила у купцов, где приказчик соблазнил ее и она родила. Ребе-

нок ее умер, она поступила к чиновнику, где сын гимназист не давал ей покоя, потом поступила помощницей горничной к Николаю Семенычу и считала себя счастливой, что ее не преследовали более своей похотью господа и платили исправно жалованье. Она вошла доложить, что барыня зовут доктора и Николая Семеныча.

«Ну,— подумал Николай Семеныч,— верно, с Гогой что-нибудь».

— А что? — спросил он.

— Николай Николаевич что-то нездоровы,— сказала горничная. Николай Николаевич, «они» — это был одержимый поносом объевшийся Гога.

— Ну и пора,— сказал гость,— смотрите, как светло. Как мы засиделись,— сказал он, улыбаясь, как бы хваля себя и своих собеседников за то, что они так долго и много говорили, и простился.

Иван долго бегал усталыми ногами за шляпой и зонтиком гостя, которые сам гость засунул в самые неподходящие места. Иван надеялся получить на чай, но гость, всегда щедрый и никак не пожалевший бы дать ему рубль, увлеченный разговором, совсем забыл про это и вспомнил только дорогой, что он ничего не дал лакею. «Ну, нечего делать».

Ямщик влез на козлы, подобрал вожжи, сел бочком и тронул. Бубенчики звенели. Петербуржец, покачиваясь на мягких рессорах, ехал и думал об ограниченности и предвзятости мыслей своего приятеля.

То же самое думал Николай Семеныч, не сразу пошедший к жене. «Ужасна эта петербургская ограниченная узость. Не могут они выйти из этого», — думал он.

К жене же он медлил входить, потому что от этого свидания теперь не ожидал ничего хорошего. Дело все было в ягодах. Мальчики вчера принесли ягоду. Николай Семеныч купил, не торговавшись, две тарелки не совсем спелых ягод. Дети прибежали, прося себе, начали есть прямо с тарелок. Мари еще не выходила. И когда вышла и узнала, что Гоге дано было ягод, ужасно рассердилась, так как у него желудок уже был расстроен. Она стала упрекать мужа, он ее. И вышел неприятный разговор, почти ссора. К вечеру, точно, Гога нехорошо сходил. Николай Семеныч думал, что этим кончится, но призыв доктора обозначал, что дело приняло дурной оборот.

Когда он вошел к жене, она, в пестром шелковом халате, который ей очень нравился, но о котором она те-

перь не думала, стояла в детской с доктором над горшком и светила ему туда текущей свечкой.

Доктор с внимательным видом, в пенсне, смотрел туда, палочкой ворочая вонючее содержимое.

— Да,— сказал он значительно.

— Всё эти проклятые ягоды.

— Ну отчего же ягоды,— робко сказал Николай Семеныч.

— Отчего ягоды? Ты вот накормил его, а я ночь не сплю, и ребенок умрет...

— Ну, не умрет,— улыбаясь, сказал доктор,— маленький прием висмута и осторожность. Дадим сейчас.

— Он заснул,— сказала Мари.

— Ну, лучше не тревожить, завтра я зайду.

— Пожалуйста.

Доктор ушел, Николай Семеныч остался один и еще долго не мог успокоить жену. Когда он заснул, было уж совсем светло.

В соседней деревне в это самое время возвращались из ночного мужики и ребята. Некоторые были на одной, у некоторых были лошади в поводу и позади бежали стригуны и двухлетки.

Тараска Резунов, малый лет двенадцати, в полушубке, но босой, в картузе, на пегой кобыле с мерином в поводу и таким же пегим, как мать, стригуном, обогнал всех и поскакал в гору к деревне. Черная собака весело бежала впереди лошадей, оглядываясь на них. Пегий сытый стригун сзади взбрыкивал своими белыми в чулках ногами то в ту, то в другую сторону. Тараска подъехал к избе, слез, привязал лошадей у ворот и вошел в сени.

— Эй вы, заспалися! — закричал он на сестер и брата, спавших в сенях на дерюжке.

Мать, спавшая рядом с ними, встала уже доить корову.

Ольгушка вскочила, оправляя обеими руками взлохмаченные длинные белесые волосы, Федька же, спавший с ней, все еще лежал, уткнувшись головой в шубу, и только потирал заскорузлой пяткой высунувшуюся из-под кафтана стройную детскую ножку.

Ребята с вечера собирались за ягодами, и Тараска обещал разбудить сестру и малого, как только вернется из ночного.

Он так и сделал. В ночном, сидя под кустом, он падал от сна; теперь же разгулялся и решил не ложиться спать, а идти с девками за ягодами. Мать дала ему кружку молока. Ломоть хлеба он сам отрезал себе и уселся за стол на высокой лавке и стал есть.

Когда он в одной рубашке и портках, быстрыми шагами прокладывая отчетливые следы босых ног по пыли, пошел по дороге, по которой лежали уже несколько таких же, одних побольше, других поменьше, босых следов с четко отпечатанными пальчиками, девки уже красными и белыми пятнышками виднелись далеко впереди на темной зелени рощи. (Они с вечера приготовили себе горшочек и кружечку и, не завтракая и не запасшись хлебом, перекрестились раза два на передний угол и побежали на улицу.) Тараска догнал их за большим лесом, только что они свернули с дороги.

Роса лежала на траве, на кустах, даже на нижних ветвях и кустов и дерев, и голые ножонки девочек тотчас намокли и сначала захолодели, а потом разогрелись, ступая то по мягкой траве, то по неровностям сухой земли. Ягодное место было по сведенному лесу. Девчонки вошли прежде в прошлогоднюю вырубку. Молодая поросль только что поднималась, и между сочных молодых кустов выдавались места с невысокой травой, в которой зрели и прятались розовато-белые еще и кое-где красные ягоды.

Девчонки, перегнувшись вдвое, ягодку за ягодкой выбирали своими маленькими загорелыми ручонками и клали какую похуже в рот, какую получше в кружку.

— Ольгушка! сюда иди. Тут бяда сколько.

— Ну? Вре! Ау! — перекликались они, далеко не расходясь, когда заходили за кусты.

Тараска ушел от них дальше за овраг в прежде, за год, срубленный лес, на котором молодая поросль, особенно ореховая и кленовая, была выше человеческого роста. Трава была сочнее и гуще, и когда попадались места с земляникой, ягоды были крупнее и сочнее под защитой травы.

— Грушка!

— Аась!

— А как волк?

— Ну что ж волк? Ты что ж пужаешь. А я небось не боюсь, — говорила Грушка, и, забывшись, она, думая о волке, клала ягоду за ягодой, и самые лучшие не в кружку, а в рот.

— А Тараска-то наш ушел за овраг. Тараска-а!

— Я-о! — отвечал Тараска из-за оврага.— Идите сюда.

— А и то пойдем, тама больше.

И девчата полезли вниз в овраг, держась за кусты, а из оврага отвершками на другую сторону, и тут, на припоре солнца, сразу напали на полянку с мелкой травой, сплошь усыпанную ягодами. Обе молчали и не переставая работали и руками и губами.

Вдруг что-то шарахнулось и среди тишины с страшным, как им показалось, грохотом затрещало по траве и кустам.

Грушка упала от страха и рассыпала до половины кружки набранные ягоды.

— Мамушка! — завизжала она и заплакала.

— Заяц это, заяц! Тараска! Заяц. Вон он,— кричала Ольгушка, указывая на серо-бурую спинку с ушами, мелькавшую между кустов.— Ты чего? — обратилась Ольгушка к Грушке, когда заяц скрылся.

— Я думала, волк, — отвечала Грушка и вдруг тотчас же после ужаса и слез отчаяния расхохоталась.

— Вот дура-то.

— Страсть испугалась! — говорила Грушка, заливаясь звонким, как колокольчик, хохотом.

Подобрали ягоды и пошли дальше. Солнце уже взошло и светлыми яркими пятнами и тенями расцветило зелень и блестело в каплях росы, о которую вымокли девчонки теперь по самый пояс.

Девчата были уж почти на конце леса, всё уходя дальше и дальше, в надежде что что дальше, то больше будет ягод, когда в разных местах послышались звонкие ауканья девок и баб, вышедших позднее и также собиравших ягоды.

В завтрак кружка и горшочек были уже наполовину полны, когда девчата сошлись с теткой Акулиной, тоже вышедшей по ягоды. За теткой Акулиной ковылял на толстых кривых ножонках крошечный толстопузый мальчик в одной рубашонке и без шапки.

— Увязался со мной,— сказала Акулина девчатам, взяв мальчика на руки.— И оставить не с кем.

— А мы сейчас зайца здорового выпугнули. Как затрещи-ит — жуть...

— Вишь ты! — сказала Акулина и спустила опять с рук малого.

Переговорившись так, девочки разошлись с Акулиной и продолжали свое дело.

— Знать, посидим таперича,— сказала Ольгушка, садясь под густую тень орехового куста.— Уморилася. Эх, хлебушка не взяли, поесть бы теперь.

— И мне хочется,— сказала Грушка.

— Что это тетка Акулина кричит больно чего-то? Чуешь? Ау, тетка Акулина!

— Ольгушка-а! — отозвалась Акулина.

— Чаго!

— Малый не с вами? — кричала Акулина из-за отвершка.

— Нету.

Но вот зашелестели кусты, и из-за отвершка показалась сама тетка Акулина с подобранной выше колен юбкой, с кошелкой на руке.

— Малого не видали?

— Нету.

— Вот грех какой! Мишка-а-а!

— Мишка-а-а!

Никто не отзывался.

— Ох, горюшко, заплутается он. В большой лес забредет.

Ольгушка вскочила и пошла с Грушкой искать в одну сторону, тетка Акулина в другую. Не переставая звонкими голосами кликали Мишку, но никто не откликался.

— Уморилась,— говорила Грушка, отставая, но Ольгушка не переставая аукала и шла то вправо, то влево, поглядывая по сторонам.

Акулинин голос отчаянный слышался далеко к большому лесу. Ольгушка уже хотела бросить искать и идти домой, когда в одном сочном кусте, около пня липовой молодой поросли, она услыхала упорный и сердитый, отчаянный писк какой-то птицы, вероятно, с птенцами, чем-то недовольной. Птица, очевидно, чего-то боялась и на что-то сердилась. Ольгушка оглянулась на куст, обросший густой и высокой с белыми цветами травой, и под самым им увидала синенькую, не похожую ни на какие лесные травы кучку. Она остановилась, пригляделась. Это был Мишка. И его-то боялась и на него сердилась птица.

Мишка лежал на толстом брюхе, подложив ручонки под голову и вытянув пухлые кривые ножонки, и сладко спал.

Ольгушка покликала мать и, разбудивши малого, дала ему ягод.

И долго потом Ольгушка всем, кого встречала, и дома матери, и отцу, и соседям рассказывала, как она искала и как нашла Акулининова малого.

Солнце уж совсем вышло из-за леса и жарко пекло землю и все, что было на ней.

— Ольгушка! Купаться, — пригласили Ольгу сошедшиеся с ней девочки. И все большим хороводом пошли с песнями к реке. Барахтаясь, визжа и болтая ногами, девчата не заметили, как с запада заходила черная низкая туча, как солнце стало скрываться и открываться и как запахло цветами и березовым листом и стало погромыхивать. Не успели девки одеться, как полил дождь и измочил их до нитки.

В прилипших к телу и потемневших рубашонках девчонки прибежали домой, поели и понесли на поле, где отец перепахивал картофель, обедать.

Когда они вернулись и пообедали, рубашонки уж высохли. Перебрав землянику и уложив ее в чашки, они понесли ее на дачу к Николаю Семенычу, где хорошо платили; но на этот раз им отказали.

Мари, сидевшая под зонтиком в большом кресле и томившаяся от жара, увидав девочек с ягодами, замахала на них веером.

— Не надо, не надо.

Но Валя, старший, двенадцатилетний мальчик, отдыхавший от переутомления классической гимназии и игравший в крокет с соседями, увидав ягоды, подбежал к Ольгушке и спросил:

— Сколько?

Она сказала:

— Тридцать копеек.

— Много,— сказал он. Он потому сказал «много», что так всегда говорили большие. — Подожди, только зайди за угол, — сказал он и побежал к няне.

Ольгушка с Грушкой между тем любовались на зеркальный шар, в котором виднелись какие-то маленькие дома, леса, сады. И этот шар и многое другое было для них не удивительно, потому что они ожидали всего самого чудесного от таинственного и непонятного для них мира людей-господ.

Валя побежал к няне и стал просить у нее тридцать копеек. Няня сказала, что довольно двадцать, и достала ему из сундучка деньги. И он, обходя отца, который только

что встал после вчерашней тяжелой ночи, курил и читал газеты, отдал двугривенный девочкам и, пересыпав ягоды в тарелку, напустился на них.

Вернувшись домой, Ольгушка развязала зубами узелок в платке, в котором был завязан двугривенный, и отдала его матери. Мать спрятала деньги и собрала белье на речку.

Тараска же, с завтрака пропахивавший с отцом картофель, спал в это время в тени густого темного дуба, тут же сидел и отец его, поглядывая на спутанную отпряженную лошадь, которая паслась на рубеже чужой земли и всякую минуту могла зайти в овсы или чужие луга.

Все в семье Николая Семеныча было нынче так, как обыкновенно. Все было исправно. Завтрак из трех блюд был готов, мухи давно ели его, но никто не шел, потому что никому не хотелось есть.

Николай Семеныч был доволен справедливостью своих суждений, которая выяснялась из того, что он прочел нынче в газетах. Мари была спокойна, потому что Гога сходил хорошо. Доктор был доволен тем, что предложенные им средства принесли пользу. Валя был доволен тем, что съел целую тарелку земляники.

ЗА ЧТО?

I

В 1830 году весною к пану Ячевскому в его родовое имение Рожанку приехал единственный сын его умершего друга молодой Иосиф Мигурский. Ячевский был шестидесятипятилетний широколобый, широкоплечий, широкогрудый старик с длинными белыми усами на кирпично-красном лице, патриот времен второго раздела Польши. Он юношей вместе с Мигурским-отцом служил под знаменами Костюшки и всеми силами своей патриотической души ненавидел апокалипсическую, как он называл ее, блудницу Екатерину II и изменника, мерзкого ее любовника Понятовского, и так же верил в восстановление Речи Посполитой, как верил ночью, что к утру опять взойдет солнце. В 12-м году он командовал полком в войсках Наполеона, которого он обожал. Погибель Наполеона огорчила его, но он не отчаивался в восстановлении хотя и искалеченного, но все-таки царства Польского. Открытие сейма в Варшаве Александром I оживило его надежды, но Священный Союз, реакция во всей Европе, самодурство Константина отдаляло осуществление заветного желания. С 25-го года Ячевский поселился в деревне и безвыездно жил в своей Рожанке, занимая время хозяйством, охотой и чтением газет и писем, посредством которых он все-таки горячо следил за политическими событиями в своем отечестве. Он был женат вторым браком на бедной красивой шляхтенке, и брак этот был несчастлив. Он не любил и не уважал этой своей второй жены, тяготился ею, дурно, грубо обращался с нею, как будто вымещая на ней свою ошибку второго брака. Детей от второй жены не было. От первой же жены было две дочери: старшая, Ванда, величавая красавица, знавшая цену своей красоты и скучавшая в деревне, и меньшая, Альбина, любимица отца,

живая, костлявая девочка, с вьющимися белокурыми волосами и широко, как у отца, расставленными большими блестящими голубыми глазами.

Альбине было пятнадцать лет, когда приехал Иосиф Мигурский. Мигурский и прежде, студентом, бывал у Ячевских в Вильно, где они жили по зимам, и ухаживал за Вандой, теперь же в первый раз уже вполне взрослым, свободным человеком приехал к ним в деревню. Приезд молодого Мигурского был приятен всем жителям Рожанки. Старику Иозё Мигурский был приятен тем, что напоминал ему друга, его отца, в то время, как они оба были молоды, и еще тем, что с жаром и самыми розовыми надеждами рассказывал о революционном брожении не только в Польше, но и за границей, откуда он только что приехал. Пани Ячевской Мигурский был приятен тем, что при гостях старик Ячевский сдерживался и не бранил ее за все, как обыкновенно. Ванде он был приятен потому, что она была уверена, что Мигурский приехал для нее и намеревается ей сделать предложение; она готовилась дать ему согласие, но намеревалась, как она сама с собой говорила: lui tenir la dragée haute[1]. Альбина была рада тому, что все были рады. Не одна Ванда была уверена в том, что Мигурский приехал с намерением сделать ей предложение. Это думали все в доме — от старика Ячевского до няни Лудвики, хотя никто и не говорил этого.

И это была правда. Мигурский приехал с этим намерением, но, пробыв неделю, он, чем-то смущенный и расстроенный, уехал, не сделав предложения. Все были удивлены этим неожиданным отъездом, и никто, кроме Альбины, не понимал его причины. Альбина знала, что причиной этого странного отъезда была она. Во все время пребывания его в Рожанке она замечала, что Мигурский был особенно возбужден и весел только с нею. Он обращался с ней, как с ребенком, шутил с ней, дразнил ее, но она женским чутьем чуяла, что в этом обращении его с нею было не отношение взрослого к ребенку, а мужчины к женщине. Она видела это в том любующемся взгляде и ласковой улыбке, с которыми он встречал ее, когда она входила в комнату, и провожал, когда она выходила. Она не отдавала себе ясного отчета о том, что такое это было, но это его отношение к ней веселило ее, и она невольно старалась делать то, что нравилось ему. Нравилось же ему все, что она бы ни

---

[1] помучить его, чтобы он это оценил *(франц.)*.

делала. И потому она в его присутствии с особенным возбуждением делала все, что делала. Ему нравилось, как она наперегонки бегала с прекрасным хортым (борзая собака), прыгавшим на нее и лизавшим ее в раскрасневшееся сияющее лицо; нравилось, как она при малейшем поводе заливалась заразительно звонким смехом; нравилось, как она, продолжая весело смеяться глазами, принимала серьезный вид при скучной проповеди ксендза; нравилось, как с необыкновенной верностью и комизмом представляла то старую няню, то пьяного соседа, то его самого, Мигурского, мгновенно переходя от изображения одного к изображению другого. Нравилась, главное, ее восторженная жизнерадостность, точно как будто она только что сейчас узнала вполне всю прелесть жизни и спешила воспользоваться ею. Ему нравилась эта особенная ее жизнерадостность, а жизнерадостность эта возбуждалась и усиливалась именно тем, что она знала, что эта жизнерадостность восхищает его. И потому одна Альбина знала, отчего Мигурский, приехавший, чтобы сделать предложение Ванде, уехал, не сделав его. Хотя она никому не решилась бы сказать этого, не говорила этого ясно и сама себе, она в глубине души знала, что он хотел полюбить сестру, и полюбил ее, Альбину. Альбина очень удивлялась этому, считая себя вполне ничтожной в сравнении с умной, образованной, красавицей Вандой, но не могла не знать, что это так, и не могла не радоваться этому, потому что сама всеми силами своей души полюбила Мигурского, полюбила так, как любят только в первый раз и только один раз в жизни.

II

В конце лета газеты принесли известие о парижской революции. Вслед за этим стали приходить известия о готовящихся беспорядках в Варшаве. Ячевский с страхом и надеждой ожидал с каждой почтой известия об убийстве Константина и начале революции. Наконец в ноябре получились в Рожанке сначала весть о нападении на бельведер, о бегстве Константина Павловича, потом о том, что сейм объявил династию Романовых лишенной польского престола, что Хлопицкий объявлен диктатором и польский народ опять свободен. Восстание не дошло еще до Рожанки, но все обитатели ее следили за ходом его, ожидали его у себя и готовились к нему. Старик Ячевский перепи-

сывался с старым знакомым, одним из главарей восстания, принимал таинственных евреев-факторов, не по хозяйственным, а по революционным делам, и готовился присоединиться к восстанию, когда настанет время. Пани Ячевская не только как всегда, но еще более, чем всегда, заботилась о материальных удобствах мужа и, как всегда, этим самым все больше и больше раздражала его. Ванда отослала свои брильянты подруге в Варшаву, с тем чтобы вырученные деньги отдать в революционный комитет. Альбина интересовалась только тем, что делает Мигурский. Через отца она знала, что он поступил в отряд Дверницкого, и старалась узнать все то, что касалось этого отряда. Мигурский писал два раза: один раз извещал о том, что он поступил в войско, другой раз, в половине февраля, писал восторженное письмо о победе поляков при Сточеке, где взяли шесть русских орудий и пленных. «Zwycięstwo Polaków i klęska Moskali! Wiwat!» [1] — заканчивал он письмо. Альбина была в восторге. Она рассматривала карту, рассчитывала, где и когда должны быть окончательно побеждены москали, и бледнела, и дрожала, когда отец медленно распечатывал привезенные с почты пакеты. Один раз мачеха, зайдя в ее комнату, застала ее перед зеркалом в панталонах и конфедератке. Альбина готовилась в мужском платье бежать из дома, чтобы присоединиться к польскому войску. Мачеха сказала отцу. Отец призвал дочь к себе и, скрывая свое сочувствие ей, даже восхищение перед ней, сделал ей строгий выговор, требуя, чтобы она выбросила из головы глупые мысли об участии в войне. «У женщины есть другое дело: любить и утешать тех, которые жертвуют собой за отчизну», — сказал он ей. Теперь она нужна ему, составляя его радость и утешение, а придет время, она так же нужна будет мужу. Он знал, чем подействовать на нее. Он намекнул ей на то, что он одинок и несчастен, и поцеловал ее. Она прижалась к нему лицом, скрывая слезы, которые все-таки намочили рукав его халата, и обещала ему ничего не предпринимать без его согласия.

III

Только люди, испытавшие то, что испытали поляки после раздела Польши и подчинения одной части ее власти ненавистных немцев, другой — власти еще более нена-

[1] Да здравствуют поляки, погибель москалям! Ура! *(польск.)*

вистных москалей, могут понять тот восторг, который испытывали поляки в 30-м и 31-м году, когда после прежних несчастных попыток освобождения новая надежда освобождения казалась осуществимою. Но надежда эта продолжалась недолго. Силы были слишком несоразмерны, и революция опять была задавлена. Опять бессмысленно повинующиеся десятки тысяч русских людей были пригнаны в Польшу и под начальством то Дибича, то Паскевича и высшего распорядителя — Николая I, сами не зная, зачем они делают это, пропитав землю кровью своей и своих братьев поляков, задавили их и отдали опять во власть слабых и ничтожных людей, не желающих ни свободы, ни подавления поляков, а только одного: удовлетворения своего корыстолюбия и ребяческого тщеславия.

Варшава была взята, отдельные отряды разбиты. Сотни, тысячи людей были расстреляны, забиты палками, сосланы. В числе сосланных был и молодой Мигурский. Имение его было конфисковано, а сам он определен солдатом в линейный батальон в Уральск.

Ячевские жили зиму 1832 года в Вильне для здоровья старика, после 31-го года страдавшего болезнью сердца. Здесь пришло к ним письмо от Мигурского из крепости. Он писал, что, как ни тяжело для него было то, что он перенес и что предстоит ему, он рад тому, что ему пришлось пострадать за отчизну, что он не отчаивается в том святом деле, за которое он отдал часть своей жизни и готов отдать остаток ее, и что если бы завтра явилась новая возможность, он поступил бы так же. Читая письмо вслух, старик зарыдал на этом месте и долго не мог продолжать. В остальной части письма, которую вслух прочла Ванда, Мигурский писал, что, *какие бы ни были его планы и мечты* в тот последний его приезд, который останется вечно самой светлой точкой во всей его жизни, он теперь и не может и не хочет говорить про них.

Ванда и Альбина поняли каждая по-своему значение этих слов, но никому не объяснили того, как они поняли их. В конце письма Мигурский посылал приветствия всем и, между прочим, с тем же игривым тоном, с которым он обращался с Альбиной во время своего приезда, обращался к ней и в письме, спрашивая ее, так же ли она быстро бегает, перегоняя хортых, и так ли хорошо передразнивает всех. Он желал здоровья старику, успеха в хозяйственных делах матери, достойного мужа Ванде и продолжения той же жизнерадостности Альбине.

IV

Здоровье старика Ячевского шло все хуже и хуже, и в 1833 году вся семья переехала за границу. Ванда встретила в Бадене богатого польского эмигранта и вышла за него замуж. Болезнь старика быстро ухудшалась, и в начале 1833 года он умер за границей на руках Альбины. Жену он не допускал ходить за собой и до последней минуты не мог простить ей той ошибки, которую он сделал, женившись на ней. Пани Ячевская вернулась с Альбиной в деревню. Главный интерес жизни Альбины был Мигурский. В ее глазах это был величайший герой и мученик, служению которому она решила посвятить свою жизнь. Еще до отъезда за границу она начала переписываться с ним, сначала по поручению отца, потом от себя. После смерти отца она, вернувшись в Россию, продолжала переписываться с ним и, когда ей минуло восемнадцать лет, объявила мачехе, что она решила ехать в Уральск к Мигурскому, с тем чтобы выйти там за него замуж. Мачеха стала упрекать Мигурского за то, что он эгоистически хочет облегчить свое тяжелое положение тем, чтобы, увлекши богатую девушку, заставить ее разделить его несчастье. Альбина рассердилась и объявила мачехе, что только она одна может приписывать такие подлые мысли человеку, пожертвовавшему всем для своего народа, что Мигурский, напротив, отказывался от той помощи, которую она предлагала ему, и что она бесповоротно решила ехать к нему и выйти за него замуж, если он только захочет дать ей это счастье. Альбина была совершеннолетняя, и деньги у нее были, — те триста тысяч злотых, которые покойник дядя оставил двум племянницам. Так что ничего не могло задержать ее.

В ноябре 1833 года Альбина простилась с домашними, как на смерть, со слезами провожавшими ее в дальний, неведомый край варварской Московии, села с старой преданной няней Лудвикой, которую она брала с собой, в отцовский, вновь исправленный для дальней дороги возок и пустилась в дальнюю дорогу.

V

Мигурский жил не в казармах, а на своей отдельной квартире. Николай Павлович требовал, чтобы разжалованные поляки не только несли всю тяжесть суровой солдатской жизни, но и терпели все те унижения, которым

подвергались в это время рядовые солдаты; но большинство тех простых людей, которые должны были исполнять эти его распоряжения, понимали всю тяжесть положения этих разжалованных и, несмотря на опасность неисполнения его воли, где могли, не исполняли ее. Полуграмотный, выслужившийся из солдат командир того батальона, в который был зачислен Мигурский, понимал положение бывшего богатого, образованного молодого человека, лишившегося всего, жалел его и уважал и делал ему всякого рода послабления. И Мигурский не мог не оценить добродушия подполковника с белыми бакенбардами на одутловатом солдатском лице и, чтобы отплатить ему, согласился учить его сыновей, готовящихся в корпус, математике и французскому языку.

Жизнь Мигурского в Уральске, тянувшаяся уже седьмой месяц, была не только однообразная, унылая и скучная, но и тяжелая. Знакомств, кроме батальонного командира, с которым он старался держаться как можно дальше, у него был только один сосланный поляк, малообразованный и пронырливый, неприятный человек, занимавшийся здесь торговлей рыбой. Главная же тяжесть жизни Мигурского состояла в том, что ему трудно было привыкать к нужде. Средств у него после конфискации его имения не было никаких, и он перебивался продажей золотых вещей, которые у него остались.

Единственная и большая радость его жизни после его ссылки была переписка с Альбиной, поэтическое, милое представление о которой со времени посещения его Рожанки осталось у него в душе и становилось теперь в изгнании все прекраснее и прекраснее. В одном из первых писем своих она, между прочим, спрашивала его, что значат слова его давнишнего письма: «какие бы ни были мои желания и мечты». Он отвечал ей, что теперь он может признаться ей, что мечты его были о том, чтобы назвать ее своей женой. Она ответила ему, что любит его. Он ответил, что лучше бы она не писала этого, потому что ему ужасно думать о том, что могло бы быть и теперь невозможно. Она ответила, что это не только возможно, но что это непременно будет. Он отвечал ей, что не может принять ее жертвы, что в теперешнем положении его это невозможно. Вскоре после этого своего письма он получил повестку на две тысячи злотых. По штемпелю конверта и почерку он узнал, что это было прислано от Альбины, и вспомнил, что в одном из первых писем он

в шуточном тоне описывал ей то удовольствие, которое он испытывает теперь, уроками зарабатывая все, что ему нужно, — денег на чай, табак и даже книги. Переложив деньги в другой конверт, он отослал их назад с письмом, в котором он просил ее не портить их святых отношений деньгами. У него всего было довольно, писал он, и он вполне счастлив, зная, что имеет такого друга, как она. На этом остановилась их переписка.

В ноябре Мигурский сидел у подполковника, давая урок мальчикам, когда послышался звук приближающегося почтового колокольца и заскрипели по морозному снегу полозья саней и остановились у подъезда. Дети вскочили, чтобы узнать, кто приехал. Мигурский остался в комнате, глядя на дверь и ожидая возвращения детей, но в дверь вошла сама подполковница.

— А к вам, пан, какие-то барыни приехали, вас спрашивают, — сказала она. — Должно, с вашей стороны, похоже — полячки.

Если бы Мигурского спросили: считает ли он возможным приезд к нему Альбины, он бы сказал, что это немыслимо; в глубине же души он ждал ее. Кровь прилила ему к сердцу, и он, задыхаясь, выбежал в переднюю. В передней развязывала платок на голове толстая рябая женщина. Другая женщина входила в дверь квартиры полковника. Услыхав за собой шаги, она оглянулась. Из-под капора сияли жизнерадостные, широко расставленные, блестящие голубые глаза с заиндевевшими ресницами Альбины. Он остолбенел и не знал, как встретить ее, как здороваться. «Юзё!» — вскрикнула она, назвав его так, как называл его отец и как сама с собой она называла его, обхватила руками его шею, прильнула к его лицу своим зардевшимся холодным лицом и засмеялась и заплакала.

Узнав, кто такая Альбина и зачем она приехала, добрая полковница приняла ее и поместила до свадьбы у себя.

VI

Добродушный подполковник выхлопотал разрешение высшего начальства. Из Оренбурга выписали ксендза и обвенчали Мигурских. Жена батальонного командира была посаженой матерью, один из учеников нес образ, а Бржозовский, сосланный поляк, был шафером.

Альбина, как ни странно это может казаться, страстно любила своего мужа, но совсем не знала его. Она теперь только знакомилась с ним. Само собой разумеется, что она нашла в живом человеке с плотью и кровью много такого обыденного и непоэтического, чего не было в том образе, который она носила и растила в своем воображении; но зато, именно потому, что это был человек с плотью и кровью, она нашла в нем много такого простого, хорошего, чего не было в том отвлеченном образе. Она слышала от знакомых и друзей про его храбрость на войне и знала про его мужество при потере состояния и свободы и представляла себе его героем, всегда живущим возвышенной героической жизнью; в действительности же, с своей необыкновенной физической силой и храбростью, он оказался кротким, смирным ягненком, самым простым человеком, с добродушными шутками, с той самой детской улыбкой чувственного рта, окруженного белокурой бородкой и усами, которая прельстила ее еще в Рожанке, и с неугасимой трубкой, которая была ей особенно тяжела во время беременности.

Мигурский тоже только теперь узнал Альбину, и в Альбине в первый раз узнал женщину. По тем женщинам, которых он знал до женитьбы, он не мог знать женщин. И то, что он узнал в Альбине, как в женщине вообще, удивило его и скорее могло бы разочаровать его в женщине вообще, если бы он не чувствовал к Альбине, как к Альбине, особенно нежного и благодарного чувства. К Альбине, как к женщине вообще, он чувствовал ласковое, несколько ироническое снисхождение, к Альбине же, как к Альбине, не только нежную любовь, но и восхищение, и сознание неоплатного долга за ее жертву, давшую ему незаслуженное счастье.

Мигурские были счастливы тем, что, направив всю силу своей любви друг на друга, они испытывали среди чужих людей чувство двух заблудившихся зимой, замерзающих и отогревающих друг друга. Радостной жизни Мигурских содействовало и участие в их жизни рабски, самоотверженно преданной своей панюсе, добродушно-ворчливой, комической, влюбляющейся во всех мужчин, няни Лудвики. Мигурские были счастливы и детьми. Через год родился мальчик. Через полтора года — девочка. Мальчик был повторением матери: те же глаза и та же резвость и грация. Девочка была здоровый красивый зверок.

Несчастливы же Мигурские были удалением от родины и, главное, тяжестью своего непривычно-униженного положения. Особенно страдала за это унижение Альбина. Он, ее Юзё, герой, идеал человека, должен был вытягиваться перед всяким офицером, делать ружейные приемы, ходить в караул и безропотно повиноваться.

Кроме того, известия из Польши получались самые печальные. Почти все близкие родные, друзья были или сосланы, или, лишившись всего, бежали за границу. Для самих же Мигурских не предвиделось какого-либо конца этому положению. Все попытки ходатайствовать о прощении или хотя бы об улучшении положения, о производстве в офицеры, не достигали цели. Николай Павлович делал смотры, парады, учения, ходил по маскарадам, заигрывал с масками, скакал без надобности по России из Чугуева в Новороссийск, Петербург и Москву, пугая народ и загоняя лошадей, и когда какой-нибудь смельчак решался просить смягчения участи ссыльных декабристов или поляков, страдавших из-за той самой любви к отечеству, которая им же восхвалялась, он, выпячивая грудь, останавливал на чем попало свои оловянные глаза и говорил: «Пускай служат. Рано». Как будто он знал, когда будет не рано, а когда будет время. И все приближенные: генералы, камергеры и их жены, кормившиеся около него, умилялись перед необычайной прозорливостью и мудростью этого великого человека.

В общем, все-таки в жизни Мигурских было больше счастья, чем несчастья.

Так прожили они пять лет. Но вдруг обрушилось на них неожиданное, страшное горе. Заболела сначала девочка, через два дня заболел мальчик: горел три дня и, без помощи врачей (никого нельзя было найти), на четвертый день умер. Через два дня после него умерла и девочка.

Альбина не утопилась в Урале только потому, что не могла без ужаса представить себе положения мужа при известии об ее самоубийстве. Но жить ей было трудно. Всегда прежде деятельная и заботливая, она теперь, предоставив все свои заботы Лудвике, сидела часами без дела, молча глядя на то, что попадалось под глаза, а то вдруг вскакивала и убегала в свою каморку и там, не отвечая на утешения мужа и Лудвики, тихо плакала, только качая головой, прося их уйти и оставить ее одну. Летом она уходила на могилу детей и там сидела, раз-

дирая себе сердце воспоминаниями о том, что было и что могло бы быть. Особенно мучила ее мысль о том, что дети могли бы остаться живы, если бы они жили в городе, где могла бы быть подана медицинская помощь. «За что? За что? — думала она. — И Юзё и я — мы ничего ни от кого не хотим, кроме того, чтоб ему жить так, как он родился и жили его деды и прадеды, а мне только — чтобы жить с ним, любить его, любить моих крошек, воспитывать их. И вдруг его мучают, ссылают, а у меня отнимают то, что мне дороже света. Зачем? За что?» — задавала она этот вопрос людям и богу. И не могла представить себе возможности какого-нибудь ответа.

А без этого ответа не было жизни. И жизнь ее остановилась. Бедная жизнь в изгнании, которую она прежде умела украшать своим женским вкусом и изяществом, стала теперь невыносима не только ей, но и Мигурскому, страдавшему за нее и не знавшему, чем помочь ей.

VII

В это самое тяжелое для Мигурских время прибыл в Уральск поляк Росоловский, замешанный в грандиозном плане возмущения и побега, устроенного в то время в Сибири сосланным ксендзом Сироцинским.

Росоловский, так же как и Мигурский, так же как и тысячи людей, наказанных ссылкою в Сибирь за то, что они хотели быть тем, чем родились, — поляками, был замешан в этом деле, наказан за это розгами и отдан в солдаты в тот же батальон, где был Мигурский. Росоловский, бывший учитель математики, был длинный, сутуловатый, худой человек с впалыми щеками и нахмуренным лбом.

В первый же вечер своего пребывания Росоловский, сидя за чаем у Мигурских, стал, естественно, рассказывать своим медленным, спокойным басом про то дело, за которое он так жестоко пострадал. Дело состояло в том, что Сироцинский организовал по всей Сибири тайное общество, цель которого состояла в том, чтобы с помощью поляков, зачисленных в казачьи и линейные полки, взбунтовать солдат и каторжных, поднять поселенцев, захватить в Омске артиллерию и всех освободить.

— Да разве это было возможно? — спросил Мигурский.

— Очень возможно, все было готово, — сказал Росоловский, мрачно хмурясь, и медленно, спокойно рассказал весь план освобождения и все принятые меры для успеха дела и, в случае неуспеха, для спасения заговорщиков. Успех был верный, если бы не изменили два злодея. Сироцинский, по словам Росоловского, был человек гениальный и великой душевной силы. Он и умер героем и мучеником. И Росоловский ровным, спокойным басом стал рассказывать подробности казни, на которой он, по приказанию начальства, должен был присутствовать вместе со всеми судившимися по этому делу.

— Два батальона солдат стояли в два ряда, длинной улицей, у каждого солдата в руке была гибкая палка такой высочайше утвержденной толщины, чтобы три только могли входить в дуло ружья. Первым повели доктора Шакальского. Два солдата вели его, а те, которые были с палками, били его по оголенной спине, когда он равнялся с ними. Я видел это только тогда, когда он подходил к тому месту, где я стоял. То я слышал только дробь барабана, но потом, когда становился слышен свист палок и звук ударов по телу, я знал, что он подходит. И я видел, как его тянули за ружья солдаты, и он шел, вздрагивая и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону. И раз, когда его проводили мимо нас, я слышал, как русский врач говорил солдатам: «Не бейте больно, пожалейте». Но они всё били; когда его провели мимо меня второй раз, он уже не шел сам, а его тащили. Страшно было смотреть на его спину. Я зажмурился. Он упал, и его унесли. Потом повели второго. Потом третьего, потом четвертого. Все падали, всех уносили — одних замертво, других еле живыми, и мы всё должны были стоять и смотреть. Продолжалось это шесть часов — от раннего утра и до двух часов пополудни. Последнего повели самого Сироцинского. Я давно не видал его и не узнал бы, так он постарел. Все в морщинах бритое лицо его было бледно-зеленоватое. Тело обнаженное было худое, желтое, ребра торчали над втянутым животом. Он шел так же, как и все, при каждом ударе вздрагивая и вздергивая голову, но не стонал и громко читал молитву: Miserere mei Deus secundam magnam misericordiam tuam [1].

— Я сам слышал,— быстро прохрипел Росоловский и, закрыв рот, засопел носом.

---

[1] Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей *(лат.)*.

Лудвика, сидевшая у окна, рыдала, закрыв лицо платком.

— И охота вам расписывать! Звери — звери и есть! — вскрикнул Мигурский и, бросив трубку, вскочил со стула и быстрыми шагами ушел в темную спальню. Альбина сидела как окаменевшая, уставив глаза в темный угол.

VIII

На другой день Мигурский, придя домой с ученья, был удивлен видом жены, которая, как в старину, легкими шагами, с сияющим лицом встретила его и повела в спальню.

— Ну, Юзё, слушай.

— Слушаю. Что?

— Я всю ночь думала о том, что рассказал Росоловский. И я решилась: я не могу жить так, не могу жить тут. Не могу! Я умру, но не останусь здесь.

— Да что же делать?

— Бежать.

— Бежать? Как?

— Я все обдумала. Слушай.

И она рассказала ему тот план, который она придумала сегодня ночью. План был такой: он, Мигурский, уйдет из дома вечером и оставит на берегу Урала свою шинель и на шинели письмо, в котором напишет, что лишает себя жизни. Поймут, что он утопился. Будут искать тело, будут посылать бумаги. А он спрячется. Она так спрячет его, что никто не найдет. Можно будет прожить так хоть месяц. А когда все уляжется, они убегут.

Затея ее в первую минуту показалась Мигурскому неисполнимой, но к концу дня, когда она с такой страстью и уверенностью убеждала его, он стал соглашаться с нею. Кроме того, он был склонен согласиться еще и потому, что наказание за неудавшийся побег, такое же наказание, как то, про которое рассказывал Росоловский, падало на него, Мигурского, успех же освобождал ее, а он видел, как после смерти детей тяжела ей была жизнь здесь.

Росоловский и Лудвика были посвящены в замысел, и после долгих совещаний, изменений, поправок план

побега был выработан. Сначала хотели сделать так, чтобы Мигурский, после того как он будет признан утонувшим, бежал бы один, пешком. Альбина же выедет в экипаже и в условленном месте встретит его. Такой был первый план. Но потом, когда Росоловский рассказал про все неудавшиеся попытки побегов последних пяти лет в Сибири (за все время убежал и спасся только один счастливец), Альбина предложила другой план, тот, чтобы Юзё, спрятанный в экипаже, ехал с нею и Лудвикой до Саратова. В Саратове же ему, переодетому, идти вниз по берегу Волги и в условленном месте сесть в лодку, которую она наймет в Саратове и в которой поплывет вместе с Альбиной и Лудвикой вниз по Волге до Астрахани и через Каспийское море в Персию. План был этот одобрен всеми и главным устроителем Росоловским, но представлялась трудность устройства такого помещения в экипаже, которое не обратило бы на себя внимания начальства, а между тем могло бы вместить в себя человека. Когда же Альбина после поездки на могилу детей сказала Росоловскому, как ей больно оставлять прах детей на чужой стороне, он, подумав, сказал:

— Просите начальство о разрешении взять с собой гробы детей, вам разрешат.

— Нет, я не хочу, не хочу этого! — сказала Альбина.

— Просите. В этом всё. Мы не возьмем гробов, а для них сделаем большой ящик и в ящик положим Юзефа.

В первую минуту Альбина отвергла это предложение, так ей неприятно было связывать обман с воспоминанием о детях, но когда Мигурский весело одобрил этот проект, она согласилась.

Так что окончательный план выработался такой: Мигурский сделает все то, что должно убедить начальство, что он утопился. Когда смерть его будет признана, Альбина подаст прошение о том, чтобы ей после смерти мужа разрешено было вернуться на родину и взять с собой и прах детей. Когда же ей дадут и это разрешение, будет сделано подобие того, что могилы раскопаны и гробы взяты, но гробы оставят на месте, а вместо детских гробов в приготовленном для этого ящике поместится Мигурский. Ящик поставят в тарантас и так доедут до Саратова. От Саратова они сядут на лодку. В лодке Юзё выйдет из ящика, и они поплывут до Каспийского моря. А там Персия или Турция и — свобода.

IX

Прежде всего Мигурские купили тарантас под предлогом отправления Лудвики на родину. Потом началось устройство в тарантасе такого ящика, в котором, не задохнувшись, можно бы было, хотя и скорчившись, лежать и из которого можно бы было скоро и незаметно выходить и опять влезать. Втроем, Альбина, Росоловский и сам Мигурский, придумывали и прилаживали ящик. В особенности важна была помощь Росоловского, который был хороший столяр. Ящик был сделан так, что, утвержденный на дрожины позади кузова, он плотно приходился к кузову, и стенка, приходившаяся к кузову, отваливалась так, что человек, вынув стенку, мог лежать частью в ящике, частью на дне тарантаса. Кроме того, в ящике были провернуты дыры для воздуха, и сверху и с боков ящик должен был быть покрыт рогожей и увязан веревками. Входить и выходить из него можно было через тарантас, в котором было сделано сиденье.

Когда тарантас и ящик были готовы, еще до исчезновения мужа, Альбина, чтобы приготовить начальство, пошла к полковнику и заявила, что муж ее впал в меланхолию и покушался на самоубийство и она боится за него и просит на время отпустить его. Способность ее к драматическому искусству пригодилась ей. Выражаемые ею беспокойство и страх за мужа были так естественны, что полковник был тронут и обещал сделать все, что может. После этого Мигурский сочинил письмо, которое должно было быть найдено за обшлагом его шинели на берегу Урала, и в условленный день, вечером, он пошел к Уралу, дождался темноты, положил на берегу одежду, шинель с письмом и тайно вернулся домой. На чердаке, запиравшемся замком, было приготовлено для него место. Ночью Альбина послала Лудвику к полковнику заявить о муже, что он, выйдя из дома двадцать часов назад, не возвращался. Утром ей принесли письмо мужа, и она с выражением сильного отчаяния, в слезах, отнесла его полковнику.

Через неделю Альбина подала прошение об отъезде на родину. Горе, выражаемое Мигурской, поражало всех, видевших ее. Все жалели несчастную мать и жену. Когда отъезд ее был разрешен, она подала другое проше-

ние — о позволении откопать трупы детей и взять их с собою. Начальство подивилось на эту сентиментальность, но разрешило и это.

На другой день после получения и этого разрешения вечером Росоловский с Альбиной и Лудвикой в наемной телеге с ящиком, в который должны были быть вложены гробы детей, приехали на кладбище, к могиле детей. Альбина, опустившись на колени у могил детей, помолилась и скоро встала и, нахмурившись, обращаясь к Росоловскому, сказала:

— Делайте то, что надо, а я не могу, — и отошла в сторону.

Росоловский с Лудвикой сдвинули надгробный камень и вскопали лопатой верхние части могилы так, что могила имела вид раскопанный. Когда все было сделано, они кликнули Альбину и с ящиком, наполненным землей, вернулись домой.

Наступил назначенный день отъезда. Росоловский радовался успеху доведенного почти до конца предприятия, Лудвика напекла на дорогу печений и пирожков и, приговаривая свою любимую поговорку: Jak mamę kocham», говорила, что у ней сердце разрывается от страха и радости. Мигурский радовался и своему освобождению с чердака, на котором он просидел больше месяца, и больше всего — оживлению и жизнерадостности Альбины. Она как будто забыла все прежнее горе и все опасности и, как в девичье время, прибегая к нему на чердак, сияла восторженной радостью.

В три часа утра пришел казак провожать, и привел казак-ямщик тройку лошадей. Альбина с Лудвикой и собачкой сели в тарантас на подушки, покрытые ковром. Казак и ямщик сели на козлы. Мигурский, одетый в крестьянское платье, лежал в кузове тарантаса.

Выехали из города, и добрая тройка понесла тарантас по гладкой, как камень, убитой дороге между бесконечной, непаханой, поросшей прошлогодним серебристым ковылем степью.

X

Сердце замирало в груди Альбины от надежды и восторга. Желая поделиться своими чувствами, она изредка, чуть улыбаясь, указывала Лудвике головой то на широкую спину казака, сидевшего на козлах, то на дно та-

рантаса. Лудвика с значительным видом неподвижно смотрела перед собой и только чуть-чуть морщила губы. День был ясный. Со всех сторон расстилалась безграничная пустынная степь, блестящая серебристым ковылем на косых лучах утреннего солнца. Только то с той, то с другой стороны жесткой дороги, по которой, как по асфальту, гулко звучали некованые быстрые ноги башкирских коней, виднелись бугорки насыпанной земли сусликов; на заду сидел сторожевой зверок и, предупреждая об опасности, пронзительно свистел и скрывался в нору. Редко встречались проезжие: обоз казаков с пшеницей или конные башкиры, с которыми казак бойко перекидывался татарскими словами. На всех станциях лошади были свежие, сытые, и полтинники на водку, которые давала Альбина, делали то, что ямщики гнали, как они говорили, по-фельдъегерски — вскачь всю дорогу.

На первой же станции, в то время как прежний ямщик увел, а новый не приводил еще лошадей и казак вошел во двор, Альбина, перегнувшись, спросила мужа, как он себя чувствует, не нужно ли ему чего.

— Превосходно, покойно. Ничего не нужно. Легко пролежу хоть двое суток.

К вечеру приехали в большое село Дергачи. Для того чтобы муж мог расправить члены и освежиться, Альбина остановилась не на почтовом, а на постоялом дворе и тотчас же, дав деньги казаку, послала его купить ей яиц и молока. Тарантас стоял под навесом, на дворе было темно, и, поставив Лудвику караулить казака, Альбина выпустила мужа, накормила его, и до возвращения казака он опять влез в свое потаенное место. Послали опять за лошадьми и поехали дальше. Альбина чувствовала все больший и больший подъем духа и не могла удержать своего восторга и веселости. Говорить ей было больше не с кем, как с Лудвикой, казаком и Трезоркой, и она забавлялась ими.

Лудвика, несмотря на свою некрасивость, при всяком отношении с мужчиной тотчас же подозревавшая в этом мужчине любовные на нее виды, подозревала теперь это самое по отношению к здоровенному добродушному казаку-уральцу с необыкновенно ясными и добрыми голубыми глазами, который провожал их и который был особенно приятен обеим женщинам своей простотою и добродушной ласковостью. Кроме Трезорки, на которого Альбина грозилась, не позволяя ему нюхать под сидением,

она теперь забавлялась Лудвикой и ее комическим кокетством с не подозревающим приписываемые ему намерения, добродушно улыбающимся на все, что ему говорили, казаком. Альбина, возбужденная и опасностью, и начинающим осуществляться успехом дела, и чудной погодой, и степным воздухом, испытывала давно не испытанное ею чувство детского восторга и веселья. Мигурский слышал ее веселый говор и тоже, несмотря на скрываемую им физическую тяжесть своего положения (особенно жарко ему было, и жажда его мучила), забывая о себе, радовался на ее радость.

К вечеру второго дня стало виднеться что-то в тумане. Это был Саратов и Волга. Казак своими степными глазами видел и Волгу, и мачты и указывал их Лудвике. Лудвика говорила, что видела тоже. Но Альбина ничего не могла разобрать. И только нарочно громко, чтобы слышал муж, говорила:

— Саратов, Волга, — как будто разговаривая с Трезором, рассказывала мужу Альбина все то, что она видела.

XI

Не въезжая в Саратов, Альбина остановилась на левой стороне Волги, в слободе Покровской, против самого города. Здесь она надеялась в продолжение ночи успеть переговорить с мужем и даже вывести его из ящика. Но казак во всю короткую весеннюю ночь не отходил от тарантаса и сидел подле него в стоявшей под навесом пустой телеге. Лудвика, по распоряжению Альбины, сидела в тарантасе и, будучи вполне уверена, что казак ради нее не отходит от тарантаса, мигала, смеялась и закрывала свое рябое лицо платком. Но Альбина не видела уж в этом ничего веселого и все больше и больше тревожилась, не понимая, для чего казак так неотлучно держался около тарантаса.

Несколько раз в короткую майскую ночь с зарей, сливающейся с зарей, Альбина выходила из горницы постоялого двора мимо вонючей галереи на заднее крыльцо. Казак все еще не спал и, спустив ноги, сидел на стоявшей подле тарантаса пустой телеге. Только перед рассветом, когда петухи уже проснулись и перекликались со двора на двор, Альбина, сойдя вниз, нашла время переговорить с мужем. Казак храпел, развалившись в те-

леге. Она осторожно подошла к тарантасу и толкнула ящик.

— Юзё! — Ответа не было. — Юзё, Юзё! — с испугом, громче проговорила она.

— Что ты, милая, что? — сонным голосом проговорил Мигурский из ящика.

— Что ты не отвечал?

— Спал, — проговорил он, и она по звуку голоса узнала, что он улыбался. — Что же, выходить? — спросил он.

— Нельзя, казак тут, — и, сказав это, она взглянула на казака, спящего в телеге.

И удивительное дело, казак храпел, но глаза его, добрые голубые глаза, были открыты. Он смотрел на нее и, только встретившись с ней взглядом, закрыл глаза.

«Показалось это мне или точно он не спал? — спросила себя Альбина. — Верно, показалось», — подумала она и опять обратилась к мужу.

— Потерпи еще немного, — сказала она. — Поесть хочешь?

— Нет. Курить хочу.

Альбина опять взглянула на казака. Он спал. «Да, это показалось мне», — подумала она.

— Я теперь поеду к губернатору.

— Ну, час добрый...

И Альбина, достав из чемодана платье, пошла в горницу одеваться.

Переодевшись в свое лучшее вдовье платье, Альбина переехала Волгу. На набережной она взяла извозчика и поехала к губернатору. Губернатор принял ее. Хорошенькая, мило улыбающаяся вдова-полька, прекрасно говорящая по-французски, очень понравилась молодящемуся старику губернатору. Он все разрешил ей и просил ее приехать еще завтра к нему, чтобы получить от него приказ к городничему в Царицын. Радуясь и успеху своего ходатайства, и тому действию ее привлекательности, которое она видела в манере губернатора, Альбина, счастливая и полная надежд, возвращалась под гору по немощеной улице на долгушке к пристани. Солнце взошло уже выше леса и косыми лучами играло на рябящей воде огромного разлива. Справа и слева по горе виднелись, как белые облака, облитые пахучим цветом яблони. Лес мачт виднелся у берега, и паруса белели по играющему на солнце, рябящему от ветерка разливу.

На пристани, разговорившись с извозчиком, Альбина спросила, можно ли нанять лодку до Астрахани, и десятки шумливых, веселых лодочников предложили ей свои услуги и лодки. Она сговорилась с одним из лодочников, больше других понравившимся ей, и пошла смотреть его лодку-косовушку, стоявшую в тесноте других лодок у пристани. На лодке была устанавливающаяся небольшая мачта с парусом, так что можно было идти ветром. В случае безветрия были весла и два здоровые, веселые бурлака-гребцы, сидевшие на солнце в лодке. Веселый, добродушный лоцман советовал не оставлять тарантас, а, сняв с него колеса, поставить на лодку. «Как раз уставится, и вам покойней сидеть будет. Даст бог погодку, дней в пяток до Астрахани добежим».

Альбина сторговалась с лодочником и велела ему прийти в Покровскую слободу, на Логинов постоялый двор, чтобы посмотреть тарантас и получить задаток. Все удалось лучше, чем она ожидала. В самом восторженно-счастливом состоянии Альбина переехала Волгу и, разочтясь с извозчиком, направилась к постоялому двору.

XII

Казак Данило Лифанов был из Стрелецкого Умета на Общем Сырту. Ему было тридцать четыре года, и он отслуживал последний месяц своего срока казацкой службы. У него в семье был старик, девяностолетний дед, помнящий еще Пугачева, два брата, сноха старшего брата, за старую веру сосланного в каторгу в Сибирь, жена, две дочери и два сына. Отец его был убит на войне с французами. Он был старшим в доме. У них во дворе было шестнадцать коней, два цабана быков и было распахано и засеяно пшеницей своей вольной земли пятнадцать сотенников. Он, Данило, служил в Оренбурге, в Казани и теперь кончал срок. Он твердо держался старой веры, не курил, не пил и не ел из одной посуды с мирскими и также строго держался присяги. Во всех своих делах он был медлительно-твердо обстоятелен и на то, что ему поручено было делать от начальства, употреблял все свое внимание и не забывал ни на минуту, пока не исполнил всего, как он понимал, своего назначения. Теперь ему велено было проводить до Саратова двух полячек с гробами так, чтобы над ними дорогой ничего худого не сде-

лали, чтобы они ехали смирно, никаких шалостей не делали, и в Саратове честь честью сдать их начальству. Так он и доставил их до Саратова и с собачонкой, и со всеми с гробами ихними. Бабы были смирные, ласковые, хотя и полячки, а ничего худого не делали. Но тут, в Покровской слободе, ввечеру, он, проходя мимо тарантаса, увидал, что собачонка вспрыгнула в тарантас и там стала визжать и хвостом махать, и из-под сидения тарантаса ему показался чей-то голос. Одна из полячек, старая, увидав собачку в тарантасе, испугалась чего-то, схватила собачонку и унесла.

«Что-то тут есть»,— подумал казак и стал примечать. Когда молодая полячка вышла ночью к тарантасу, он притворился, что спит, и явственно услыхал мужской голос из ящика. Рано утром он пошел в полицию и заявил о том, что полячки, какие ему поручены, не добром едут, а вместо мертвых везут какого-то живого человека в ящике.

Когда Альбина в своем восторженно-веселом настроении, уверенная в том, что теперь все кончено и они через несколько дней будут свободны, подошла к постоялому двору, она с удивлением увидала у ворот щегольскую пару с пристяжкой на отлете и двух казаков. В воротах толпился народ, заглядывая во двор.

Она была так полна надежды и энергии, что ей и в голову не пришла мысль о том, что эта пара и толпившийся народ имеют отношение к ней. Она вошла во двор и, в одно и то же время взглянув под тот навес, где стоял ее тарантас, увидала, что народ толпится именно около ее тарантаса, и в то же мгновение услыхала отчаянный лай Трезорки. Случилось то самое ужасное, что только могло случиться. Перед тарантасом, блестя своим чистым мундиром, с сияющими на солнце пуговицами и полупогонами и лаковыми сапогами, стоял осанистый, с черными бакенбардами человек и говорил что-то громко, хриплым повелительным голосом. Перед ним, между двумя солдатами, в крестьянском наряде, с сеном в спутанных волосах, стоял ее Юзё и, как бы недоумевая о том, что вокруг него делалось, поднимал и опускал свои могучие плечи. Трезорка, не зная того, что он был причиной всего несчастья, ощетинившись, бесполезно озлобленно лаял на полицмейстера. Увидав Альбину, Мигурский вздрогнул, хотел подойти к ней, но солдаты удержали его.

— Ничего, Альбина, ничего! — проговорил Мигурский, улыбаясь своей кроткой улыбкой.

— А вот и барынька сама! — проговорил полицмейстер. — Пожалуйте сюда. Гробы ваших младенцев? А? — сказал он, подмигивая на Мигурского.

Альбина не отвечала и только, схватившись за грудь, раскрыв рот, с ужасом смотрела на мужа.

Как это бывает в предсмертные и вообще решительные в жизни минуты, она в одно мгновение перечувствовала и передумала бездну чувств и мыслей и вместе с тем не понимала еще, не верила своему несчастью. Первое чувство было знакомое ей давно — чувство оскорбленной гордости при виде ее героя-мужа, униженного перед теми грубыми, дикими людьми, которые держали его теперь в своей власти. «Как смеют они держать *его*, этого лучшего из всех людей, в своей власти?» Другое чувство, одновременно с этим охватившее ее, было сознание совершившегося несчастия. Сознание же несчастия вызвало в ней воспоминание о главном несчастье ее жизни, о смерти детей. И сейчас же возник вопрос: за что? за что отняты дети? Вопрос же: за что отняты дети? вызвал вопрос: за что теперь гибнет, мучается любимый, лучший из людей, ее муж? И тут же она вспомнила о том, какое ждет его позорное наказание, и то, что она, она одна виновата в этом.

— Кто он вам? Муж он вам? — повторил полицмейстер.

— За что, за что? — вскрикнула она и, закатившись истерическим хохотом, упала на снятый теперь с козел и стоявший у тарантаса ящик. Вся трясущаяся от рыданий, с залитым слезами лицом Лудвика подошла к ней.

— Паненка, милая паненка! Як бога кохам, ничего не будет, ничего, — говорила она, бессмысленно водя по ней руками.

На Мигурского надели наручники и повели со двора. Увидав это, Альбина побежала за ним.

— Прости, прости меня, — говорила она. — Все я! Я одна виновата.

— Там разберут, кто виноват. И до вас дело дойдет, — сказал полицмейстер и рукою отстранил ее.

Мигурского повели к переправе, и Альбина, сама не зная, зачем она делала это, шла за ним и не слушала уговаривающую ее Лудвику.

Казак Данило Лифанов во все это время стоял у колес тарантаса и мрачно взглядывал то на полицмейстера, то на Альбину, то себе на ноги.

Когда Мигурского увели, оставшийся один Трезорка, махая хвостиком, стал ласкаться к нему. Он привык к нему во время дороги. Казак вдруг отслонился от тарантаса, сорвал с себя шапку, швырнул ее изо всех сил наземь, откинул ногой от себя Трезорку и пошел в харчевню. В харчевне он потребовал водки и пил день и ночь, пропил все, что было у него и на нем, и только на другую ночь, проснувшись в канаве, перестал думать о мучившем его вопросе: хорошо ли он сделал, донеся начальству о полячкином муже в ящике?

Мигурского судили и приговорили за побег к прогнанию сквозь тысячу палок. Его родные и Ванда, имевшая связи в Петербурге, выхлопотали ему смягчение наказания, и его сослали на вечное поселение в Сибирь. Альбина поехала за ним.

Николай же Павлович радовался тому, что задавил гидру революции не только в Польше, но и во всей Европе, и гордился тем, что он не нарушил заветов русского самодержавия и для блага русского народа удержал Польшу во власти России. И люди в звездах и золоченых мундирах так восхваляли его за это, что он искренно верил, что он великий человек и что жизнь его была великим благом для человечества и особенно для русских людей, на развращение и одурение которых были бессознательно направлены все его силы.

БОЖЕСКОЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

I

Это было в 70-х годах в России, в самый разгар борьбы революционеров с правительством.

Генерал-губернатор Южного края, здоровый немец с опущенными книзу усами, холодным взглядом и безвыразительным лицом, в военном сюртуке, с белым крестом на шее, сидел вечером в кабинете за столом с четырьмя свечами в зеленых абажурах и пересматривал и подписывал бумаги, оставленные ему правителем дел. «Генерал-адъютант такой-то», — выводил он с длинным росчерком и откладывал.

В числе бумаг был и приговор к смертной казни через повешение кандидата Новороссийского университета Анатолия Светлогуба за участие в заговоре, имеющем целью низвержение существующего правительства. Генерал, особенно нахмурившись, подписал и эту. Белыми, сморщенными от старости и мыла, выхоленными пальцами он аккуратно сравнял края листов и отложил в сторону. Следующая бумага касалась назначения сумм на перевозку провианта. Он внимательно читал эту бумагу, думая о том, верно или неверно высчитаны суммы, как вдруг ему вспомнился его разговор с своим помощником о деле Светлогуба. Генерал полагал, что найденный у Светлогуба динамит еще не доказывает его преступного намерения. Помощник же его настаивал на том, что, кроме динамита, было много улик, доказывающих то, что Светлогуб был главой шайки. И, вспомнив это, генерал задумался, и под его сюртуком с ватой на груди и крепкими, как картон, лацканами неровно забилось сердце, и он стал так тяжело дышать, что большой белый крест, предмет его радости и гордости, зашевелился на его гру-

ди. Можно еще воротить правителя дел и если не отменить, то отложить приговор.

«Воротить? Не воротить?»

Сердце еще неровнее забилось. Он позвонил. Скорым неслышным шагом вошел курьер.

— Иван Матвеевич уехал?

— Никак нет-с, ваше высокопревосходительство, в канцелярию изволили пройти.

Сердце генерала то останавливалось, то давало быстрые толчки. Он вспомнил предупреждение слушавшего на днях его сердце врача.

«Главное, — сказал врач, — как только почувствуете, что есть сердце, кончайте занятия, развлекайтесь. Хуже всего — волнения. Ни в каком случае не допускайте себя до этого».

— Прикажете позвать?

— Нет, не надо, — сказал генерал. «Да, — сказал он сам себе, — нерешительность хуже всего волнует. Подписано — и кончено. Ein jeder macht sich sein Bett und muss d'rauf schlafen [1], — сказал он сам себе любимую пословицу. — Да и это меня не касается. Я исполнитель высшей воли и должен стоять выше таких соображений», — прибавил он, сдвигая брови, чтобы вызвать в себе жестокость, которой не было в его сердце.

И тут же ему вспомнилось его последнее свидание с государем, как государь, сделав строгое лицо и устремив на него свой стеклянный взгляд, сказал: «Надеюсь на тебя: как ты не жалел себя на войне, ты так же решительно будешь поступать в борьбе с красными — не дашь ни обмануть, ни испугать себя. Прощай!» И государь, обняв его, подставил ему свое плечо для поцелуя. Генерал вспомнил это и то, как он ответил государю: «Одно мое желание — отдать жизнь на служение своему государю и отечеству».

И, вспомнив чувство подобострастного умиления, которое он испытал перед сознанием своей самоотверженной преданности своему государю, он отогнал от себя смутившую его на мгновение мысль, подписал остальные бумаги и еще раз позвонил.

— Чай подан? — спросил он.

— Сейчас подают, ваше высокопревосходительство.

— Хорошо, ступай.

---

[1] Как постелешь, так и поспишь *(нем.)*.

Генерал глубоко вздохнул и, потирая рукой место, где было сердце, тяжелой походкой вышел в большую пустую залу и по свеженатертому паркету залы в гостиную, из которой слышались голоса.

У жены генерала были гости: губернатор с женой, старая княжна, большая патриотка, и гвардейский офицер, жених последней, незамужней дочери генерала.

Жена генерала, сухая, с холодным лицом и тонкими губами, сидя за низким столиком, на котором стоял чайный прибор с серебряным чайником на конфорке, фальшиво-грустным тоном рассказывала толстой молодящейся даме, жене губернатора, о своем беспокойстве за здоровье мужа.

— Всякий день новые и новые донесения открывают заговоры и всякие ужасные вещи... И это все ложится на Базиля, он должен все решать.

— Ах, не говорите! — сказала княжна. — Je deviens féroce quand je pense à cette maudite engeance [1].

— Да, да, ужасно! Верите ли, он работает двенадцать часов в сутки, и с его слабым сердцем. Я прямо боюсь...

Она не договорила, увидав входящего мужа.

— Да, вы непременно послушайте его. Барбини — удивительный тенор, — сказала она, приятно улыбаясь губернаторше, о вновь приехавшем певце так натурально, как будто они только об этом и говорили.

Дочь генерала, миловидная полная девушка, сидела с женихом в дальнем углу гостиной, за китайскими ширмочками. Она встала и вместе с женихом подошла к отцу.

— Каково, мы и не видались нынче! — сказал генерал, целуя дочь и пожимая руку ее жениху.

Поздоровавшись с гостями, генерал подсел к столику и разговорился с губернатором о последних новостях.

— Нет, нет, о делах не разговаривать, запрещено! — перебила речь губернатора жена генерала. — А вот кстати и Копьев; он нам что-нибудь веселое расскажет. Здравствуйте, Копьев.

И Копьев, известный весельчак и остряк, действительно рассказал последний анекдот, который рассмешил всех.

---

[1] Я свирепею, когда думаю об этой проклятой породе *(франц.)*.

II

— Да нет, этого не может быть, не может, не может! Пустите меня! — кричала, взвизгивая, мать Светлогуба, вырываясь из рук учителя гимназии — товарища сына, и доктора, которые старались удержать ее.

Мать Светлогуба была не старая, миловидная женщина, с седеющими локонами и звездой морщинками от глаз. Учитель, товарищ Светлогуба, узнав о том, что смертный приговор подписан, хотел осторожно подготовить ее к страшному известию, но только что он начал говорить про ее сына, она по тону его голоса, по робости взгляда угадала, что случилось то, чего она боялась.

Это происходило в небольшом номере лучшей гостиницы города.

— Да что вы меня держите, пустите меня! — кричала она, вырываясь от доктора, старого друга их семьи, который одной рукой держал ее за худой локоть, другой ставил на овальный стол перед диваном склянку капель. Она рада была, что ее держат, потому что чувствовала, что ей надо что-то предпринять, — а что — она не знала и боялась себя.

— Успокойтесь. Вот, выпейте валерьяновых капель, — говорил доктор, подавая в рюмке мутную жидкость.

Она вдруг затихла и почти сложилась вдвое, склонив голову на впалую грудь, и, закрыв глаза, опустилась на диван.

И ей вспомнилось, как сын ее три месяца тому назад прощался с ней с таинственным и грустным лицом. Потом вспомнила она восьмилетнего мальчика в бархатной курточке, с голыми ножками и длинными вьющимися колечками белокурых волос.

«И его, его, этого самого мальчика... сделают с ним это!»

Она вскочила, оттолкнула стол и вырвалась из рук доктора. Дойдя до двери, она опять упала на кресло.

— А они говорят — бог есть! Какой он бог, если он позволяет это! Черт его возьми, этого бога! — кричала она, то рыдая, то закатываясь истерическим хохотом. — Повесят, повесят того, кто бросил все, всю карьеру, все состояние отдал другим, народу, все отдал, — говорила она, всегда прежде упрекавшая сына за это, теперь же

выставлявшая перед собой заслугу его самоотречения. — И его, его, с ним сделают это! А вы говорите, что есть бог! — вскрикнула она.

— Да я ничего не говорю, я только прошу вас выпить капли.

— Ничего не хочу. Ха-ха-ха! — хохотала и рыдала она, упиваясь своим отчаянием.

К ночи она так измучилась, что не могла уже ни говорить, ни плакать, а только смотрела перед собой остановившимся, сумасшедшим взглядом. Доктор вспрыснул ей морфий, и она заснула.

Сон был без сновидений, но пробуждение было еще ужаснее. Ужаснее всего было то, что люди могли быть так жестоки, не только эти ужасные генералы с бритыми щеками и жандармы, но все, все: коридорная девушка, с спокойным лицом приходившая убирать комнату, и соседи в номере, которые весело встречались и о чем-то смеялись, как будто ничего не было.

III

Светлогуб второй месяц сидел в одиночном заключении и за это время пережил многое.

С детства Светлогуб бессознательно чувствовал неправду своего исключительного положения богатого человека, и, хотя старался заглушить в себе это сознание, ему часто, когда он встречался с нуждой народа, а иногда просто, когда самому было особенно хорошо и радостно, становилось совестно за тех людей — крестьян, стариков, женщин, детей, которые рождались, росли и умирали, не только не зная всех тех радостей, которыми он пользовался, не ценя их, но и не выходили из напряженного труда и нужды. Когда он кончил университет, чтобы освободиться от этого сознания своей неправоты, завел школу у себя в деревне, образцовую школу, лавку потребительного товарищества и приют для бездольных стариков и старух. Но, странное дело, ему, занимаясь этими делами, еще гораздо более было совестно перед народом, чем когда он ужинал с товарищами или заводил дорогую верховую лошадь. Он чувствовал, что все это было не то, и хуже, чем не то: тут было что-то дурное, нравственно нечистое.

В одном из таких состояний разочарования в своей деревенской деятельности он приехал в Киев и встретился с одним из наиболее близких товарищей по университету. Товарищ этот три года после этой встречи был расстрелян во рву киевской крепости.

Товарищ этот, горячий, увлекающийся и с огромными дарованиями человек, привлек его к участию в обществе, цель которого состояла в просвещении народа, вызове в нем сознания его прав и образования в нем объединенных кружков, стремящихся к освобождению себя от власти землевладельцев и правительства. Беседы с этим человеком и его друзьями как бы привели в ясное сознание все то, что до тех пор смутно чувствовалось Светлогубом. Он понял теперь, что ему надо было делать. Не прерывая сношений с новыми товарищами, он уехал в деревню и начал там совсем новую деятельность. Он сам стал школьным учителем, устроил классы для взрослых, читал им книги и брошюры, объяснял крестьянам их положение; кроме того, он издавал нелегальные народные книги и брошюры и отдавал все, что мог, не отнимая у матери, на устройство таких же центров по другим деревням.

С первых же шагов этой новой деятельности Светлогуб встретил два неожиданных препятствия: одно в том, что большинство людей народа не только было равнодушно к его проповедям, но почти презрительно смотрело на него. (Понимали его и сочувствовали ему только исключительные личности и часто люди сомнительной нравственности.) Другое препятствие было со стороны правительства. Школа была запрещена ему, и у него и у близких ему людей были сделаны обыски и отобраны книги и бумаги.

Светлогуб мало обратил внимания на первое препятствие — равнодушие народа, так как был слишком возмущен вторым препятствием: притеснениями правительства, бессмысленными и оскорбительными. То же испытывали и его товарищи в своей деятельности и в других местах, и чувство раздражения против правительства, взаимно разжигаемое, дошло до того, что большая часть этого кружка решила силою бороться с правительством.

Главою этого кружка был некто Меженецкий — человек, как его считали все, непоколебимой силы воли, непобедимой логичности и весь преданный делу революции.

Светлогуб подчинился влиянию этого человека и с той же энергией, с которой он прежде работал в народе, отдался террористической деятельности.

Деятельность эта была опасна, но эта-то опасность более всего и привлекала Светлогуба.

Он говорил себе: «Победа или мученичество, а если и мученичество, то мученичество это та же победа, но только в будущем». И огонь, загоревшийся в нем, не только не потухал в продолжение семи лет его революционной деятельности, а все более и более разгорался, поддерживаемый любовью и уважением тех людей, среди которых он вращался.

Тому, что он отдал почти все свое состояние — состояние, перешедшее ему от отца, — на это дело, он не приписывал никакой важности, не приписывал и тем трудам и той нужде, которые он переносил часто в этой деятельности. Одно только огорчало его: это то горе, которое он доставлял этой деятельностью своей матери и той девушке, ее воспитаннице, которая жила с его матерью и любила его.

В последнее время мало любимый им и неприятный товарищ, террорист, преследуемый полицией, просил его спрятать у себя динамит. Светлогуб без колебания согласился именно потому, что не любил этого товарища, и на следующий день в квартире Светлогуба сделан был обыск и найден динамит. На все вопросы о том, как, откуда он приобрел динамит, Светлогуб отказался отвечать.

И вот то мученичество, которое он ожидал, началось для него. В последнее время, когда столько друзей его было казнено, заключено, сослано, когда пострадало столько женщин, Светлогуб почти желал мученичества. И в первые минуты ареста и допросов он чувствовал особенное возбуждение, почти радость.

Он испытывал это чувство, когда его раздевали, обыскивали и когда ввели в тюрьму и заперли за ним железную дверь. Но когда прошел день, другой, третий, прошла неделя, другая, третья в грязной, сырой, наполненной насекомыми камере и в одиночестве и невольной праздности, прерываемой только перестукиваниями с товарищами заключенными, передававшими всё недобрые и нерадостные вести, да изредка допросами холодных, враждебных людей, старавшихся выпытывать от него обвинения товарищей, нравственные силы его вместе

с физическими постоянно ослабевали, и он только тосковал и желал, как он говорил себе, какого-нибудь конца этого мучительного положения. Тоска его увеличилась еще тем, что он усомнился в своих силах. На второй месяц своего заточения он стал заставать себя на мысли сказать всю правду, только бы быть освобожденным. Он ужасался на свою слабость, но не находил уже в себе прежних сил и ненавидел, презирал себя и тосковал еще больше.

Самое же ужасное было то, что ему в заточении так жалко стало тех молодых сил и радостей, которыми он так легко жертвовал, пока был на воле, и которые ему теперь казались так обаятельны, что он раскаивался в том, что считал хорошим, раскаивался иногда во всей своей деятельности. Ему приходили мысли о том, как счастливо, хорошо он мог бы жить на свободе — в деревне, на воле, за границей, среди любимых и любящих друзей. Жениться на ней, а может быть и на другой, и жить с ней простой, радостной, светлой жизнью.

IV

В один из мучительно однообразных дней заключения второго месяца смотритель при обычном обходе передал Светлогубу маленькую книжку с золоченым крестом на коричневом переплете, сказав, что тюрьму посетила губернаторша и оставила Евангелия, которые разрешено передать заключенным. Светлогуб поблагодарил и слегка улыбнулся, кладя книжку на привинченный к стене столик.

Когда смотритель ушел, Светлогуб переговорился стуками с соседями о том, что был смотритель и ничего не сказал нового, а только принес Евангелие, и сосед ответил, что и ему тоже.

После обеда Светлогуб раскрыл склеившуюся от сырости листами книжонку и стал читать. Светлогуб никогда еще, как книгу, не читал Евангелия. Все, что он знал о ней, было то, что в гимназии проходил законоучитель и что нараспев читали в церкви попы и дьяконы.

«Глава первая. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду... — читал он. — Зоровавель родил Авиуда», —

продолжал он читать. Все это было то самое, чего он ожидал: какая-то запутанная, ни на что не нужная бессмыслица. Если бы это было не в тюрьме, он не мог бы дочесть одной страницы, а тут он продолжал читать для процесса чтения. «Как гоголевский Петрушка», — подумал он про себя. Он прочел первую главу о рождении девой и о пророчестве, состоящем в том, что нарекут рожденному имя Эммануил, означающее «с нами бог». «И в чем же тут пророчество?» — подумал он и продолжал читать. Он прочел и вторую главу — о ходячей звезде, и третью — об Иоанне, питающемся стрекозами, и четвертую — о каком-то дьяволе, предлагавшем Христу гимнастическое упражнение с крыши. Так все это казалось ему неинтересно, что, несмотря на скуку тюрьмы, он уже хотел закрыть книгу и начать обычное свое вечернее занятие — ловлю блох в снятой рубашке, как вдруг вспомнил, что на экзамене пятого класса гимназии он забыл одну из заповедей блаженства и розоволицый, кудрявый батюшка вдруг рассердился и поставил ему двойку. Он не мог вспомнить, какая была эта заповедь, и прочел блаженства. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное», — прочел он. «Это, пожалуй, и к нам относится», — подумал он. «Блаженны вы, когда будут поносить и гнать вас. Радуйтесь и веселитесь: так гнали и пророков, бывших прежде вас». «Вы — соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям».

«Это совсем уж к нам относится», — подумал он и продолжал читать дальше. Прочтя всю пятую главу, он задумался: «Не сердитесь, не прелюбодействуйте, терпите зло, любите врагов».

«Да, если бы все так жили, — думал он, — и не нужно бы и революции». Читая дальше, он все больше и больше вникал в смысл тех мест книги, которые были вполне понятны. И чем дальше он читал, тем все больше и больше приходил к мысли, что в этой книге сказано что-то особенно важное. И важное, и простое, и трогательное, такое, чего он никогда не слыхал прежде, но что как будто было давно знакомо ему.

«Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет свою душу ради меня, тот сбережет ее. Ибо что

пользы человеку приобресть весь мир, а себя самого погубить или повредить себе».

— Да, да, это самое! — вдруг вскрикнул он со слезами на глазах. — Это самое я и хотел делать. Да, хотел этого самого: именно, отдать душу свою; не сберечь, а отдать. В этом радость, в этом жизнь. «Многое я делал для людей, для славы людской, — думал он, — не славы толпы, а славы доброго мнения тех, кого я уважал и любил: Наташи, Дмитрия Шеломова, — и тогда были сомнения, было тревожно. Хорошо мне было только тогда, когда я делал только потому, что этого требовала душа, когда хотел отдать себя, всего отдать...»

С этого дня Светлогуб большую часть времени стал проводить за чтением и обдумыванием того, что было сказано в этой книге. Чтение это вызвало в нем не только умиленное состояние, которое выносило его из тех условий, в которых он находился, но и такую работу мысли, которой он прежде никогда не сознавал в себе. Он думал о том, почему люди, все люди не живут так, как сказано в этой книге. «Ведь жить так хорошо не одному, а всем. Только живи так — и не будет горя, нужды, будет одно блаженство. Только бы кончилось это, только бы быть мне опять на свободе, — думал он иногда, — выпустят же они меня когда-нибудь или сошлют в каторгу. Все равно, везде можно жить так. И буду жить так. Это можно и надо жить так; не жить так — безумие».

V

В один из тех дней, когда он находился в таком радостном, возбужденном состоянии, в камеру к нему вошел в необычное время смотритель и спросил, хорошо ли ему и не желает ли он чего. Светлогуб удивился, не понимая, что означает эта перемена, и попросил папирос, ожидая отказа. Но смотритель сказал, что он сейчас пришлет; и действительно, сторож принес ему пачку папирос и спички.

«Должно быть, кто-нибудь походатайствовал за меня», — подумал Светлогуб и, закурив папиросу, стал ходить взад и вперед по камере, обдумывая значение этой перемены.

На другой день его повели в суд. В помещении суда, где он уже бывал несколько раз, его не стали допраши-

вать. Но один из судей, не глядя на него, встал с своего кресла, встали и другие, и, держа в руках бумагу, стал читать громким, ненатурально невыразительным голосом.

Светлогуб слушал и смотрел на лица судей. Все они не смотрели на него и с значительными, унылыми лицами слушали.

В бумаге было сказано, что Анатолий Светлогуб за доказанное участие в революционной деятельности, имеющей целью ниспровержение, в более близком или далеком будущем, существующего правительства, приговаривается к лишению всех прав и к смертной казни через повешение.

Светлогуб слышал и понимал значение слов, произносимых офицером. Он заметил нелепость слов: в более близком или далеком будущем и лишения прав человека, приговоренного к смерти, но совершенно не понимал того значения, которое имело для него то, что было прочитано.

Только долго после того, как ему сказали, что он может идти и он вышел с жандармом на улицу, он начал понимать то, что ему было объявлено.

«Тут что-то не то, не то... Тут какая-то бессмыслица. Этого не может быть», — говорил он себе, сидя в карете, которая везла его назад в тюрьму.

Он чувствовал в себе такую силу жизни, что не мог представить себе смерти: не мог соединить сознания своего «я» с смертью, с отсутствием «я».

Вернувшись назад в свою тюрьму, Светлогуб сел на койку и, закрыв глаза, старался живо представить себе то, что его ожидает, и никак не мог этого сделать. Он никак не мог представить себе того, чтобы его не было, не мог представить себе и того, чтобы люди могли желать убить его.

«Меня, молодого, доброго, счастливого, любимого столькими людьми, — думал он, — он вспомнил о любви к себе матери, Наташи, друзей, — меня убьют, повесят! Кто, зачем сделает это? И потом, что же будет, когда меня не будет? Не может быть», — говорил он себе.

Пришел смотритель. Светлогуб не слыхал его входа.

— Кто это? Что вы? — проговорил Светлогуб, не узнавая смотрителя. — Ах да, это вы! Когда же это будет? — спросил он.

— Не могу знать, — сказал смотритель и, постояв молча несколько секунд, вдруг вкрадчивым, нежным голосом проговорил: — Тут наш батюшка желал бы... напут... желал бы видеть вас...

— Мне не надо, не надо, ничего не надо! Уйдите! — вскрикнул Светлогуб.

— Не нужно ли вам написать кому-нибудь? Это можно, — сказал смотритель.

— Да, да, пришлите. Я напишу.

Смотритель ушел.

«Стало быть, утром, — думал Светлогуб. — Они всегда так делают. Завтра утром меня не будет... Нет, этого не может быть, это сон».

Но пришел сторож, настоящий, знакомый сторож, и принес два пера, чернильницу, пачку почтовой бумаги и синеватых конвертов и поставил табуретку к столу. Все это было настоящее и не сон.

«Надо не думать, не думать. Да, да, писать. Напишу маме», — подумал Светлогуб, сел на табуретку и тотчас же начал писать.

«Милая, родная! — написал он и заплакал. — Прости меня, прости за все горе, которое я причинил тебе. Заблуждался я или нет, но я не мог иначе. Об одном прошу, прости меня». — «Да это я уже написал, — подумал он. — Ну, да все равно, теперь некогда переписывать». — «Не тужи обо мне,— писал он дальше.— Немного раньше, немного позже... разве не все равно? Я не боюсь и не раскаиваюсь в том, что делал. Я не мог иначе. Только ты прости меня. И не сердись на них — ни на тех, с которыми я работал, ни на тех, которые казнят меня. Ни те, ни другие не могли иначе: прости им, они не знают, что творят. Я не смею о себе повторять эти слова, но они у меня в душе и поднимают и успокоивают меня. Прости, целую твои милые сморщенные, старые руки! — Две слезы одна за другой капнули на бумагу и расплылись на ней. — Я плачу, но не от горя или страха, а от умиления перед самой торжественной минутой моей жизни и оттого, что люблю тебя. Друзей моих не упрекай, а люби. Особенно Прохорова, именно за то, что он был причиной моей смерти. Это так радостно любить того, кто не то что виноват, но которого можно упрекать, ненавидеть. Полюбить такого человека — врага — такое счастье! Наташе скажи, что ее любовь была моим утешением и радостью. Я не понимал этого ясно, но в глубине души со-

знавал. Мне было легче жить, зная, что она есть и любит меня. Ну, сказал все. Прощай!»

Он перечел письмо и, в конце его прочтя имя Прохорова, вдруг вспомнил, что письмо могут прочесть, наверное прочтут, и это погубит Прохорова.

— Боже мой, что я наделал! — вдруг вскрикнул он и, разорвав письмо на длинные полосы, стал старательно сжигать их на лампе.

Он сел писать с отчаянием, а теперь чувствовал себя спокойным, почти радостным.

Он взял другой лист и тотчас же стал писать. Мысли одна за другой толпились в его голове.

«Милая, голубушка мама! — писал он, и опять глаза его затуманились слезами, и ему надо было вытирать их рукавом халата, чтобы видеть то, что он пишет. — Как я не знал себя, не знал всю силу той любви к тебе и благодарности, которая всегда жила в моем сердце! Теперь я знаю и чувствую, и когда вспоминаю наши размолвки, мои недобрые слова, сказанные тебе, мне больно и стыдно и почти непонятно. Прости же меня и вспоминай только то хорошее, если что было такого во мне.

Смерти я не боюсь. По правде сказать, не понимаю ее, не верю в нее. Ведь если есть смерть, уничтожение, то разве не все равно умереть тридцатью годами или минутами раньше или позже? Если же нет смерти, то уж совсем все равно, раньше или позже».

«Но что я философствую, — подумал он, — надо сказать то, что было в том письме, — что-то хорошее в конце. — Да». — «Друзей моих не упрекай, а люби, и особенно того, кто был причиной невольной моей смерти. Наташу поцелуй за меня и скажи ей, что я любил ее всегда».

Он сложил письмо, запечатал и сел на кровать, положив руки на колена и глотая слезы.

Он все не верил, что должен умереть. Несколько раз он, опять задавая себе вопрос, не спит ли он, тщетно старался проснуться. И эта мысль навела его на другую: о том, что и вся жизнь в этом мире не есть ли сон, пробуждение от которого будет смерть. А если это так, то сознание жизни в этом мире не есть ли только пробуждение от сна предшествующей жизни, подробности которой и я не помню? Так что жизнь здесь не начало, а только новая форма жизни. Умру и перейду в новую форму. Мысль эта понравилась ему; но когда он хотел опереться

на нее, он почувствовал, что эта мысль, да и всякая мысль, какая бы ни была, не может дать бесстрашие перед смертью. Наконец он устал думать. Мозг больше не работал. Он закрыл глаза и долго сидел так, не думая.

«Как же? Что же будет? — опять вспомнил он. — Ничего? Нет, не ничего. А что же?»

И ему вдруг совершенно ясно стало, что на эти вопросы для живого человека нет и не может быть ответа.

«Так зачем же я спрашиваю себя об этом? Зачем? Да, зачем? Не надо спрашивать, надо жить так, как я жил сейчас, когда писал это письмо. Ведь мы все приговорены давно, всегда, и живем. Живем хорошо, радостно, когда... любим. Да, когда любим. Вот я писал письмо, любил, и мне было хорошо. Так и надо жить. И можно жить везде и всегда, и на воле, и в тюрьме, и нынче, и завтра, и до самого конца».

Ему хотелось сейчас же ласково, любовно поговорить с кем-нибудь. Он постучал в дверь, и когда часовой заглянул к нему, он спросил его, который час и скоро ли он будет сменяться, но часовой ничего не ответил ему. Тогда он попросил позвать смотрителя. Смотритель пришел, спрашивая, что ему нужно.

— Вот я написал письмо матери, отдайте, пожалуйста, — сказал он, и слезы выступили ему на глаза при воспоминании о матери.

Смотритель взял письмо и, обещая передать его, хотел уходить, но Светлогуб остановил его.

— Послушайте, вы добрый. Зачем вы служите в этой тяжелой должности? — сказал он, ласково трогая его за рукав.

Смотритель неестественно жалостно улыбнулся и, опустив глаза, сказал:

— Надо же жить.

— А вы оставьте эту должность. Ведь всегда можно устроиться. Вы такой добрый. Может быть, я бы мог...

Смотритель вдруг всхлипнул, быстро повернулся и вышел, хлопнув дверью.

Волнение смотрителя еще больше умилило Светлогуба, и, удерживая радостные слезы, он стал ходить от стены до стены, не испытывая теперь уже никакого страха, а только умиленное состояние, поднимавшее его выше мира.

Тот самый вопрос, что будет с ним после смерти, на который он так старался и не мог ответить, казался разрешенным для него и не каким-либо положительным, рассудочным ответом, а сознанием той истинной жизни, которая была в нем.

И он вспомнил слова Евангелия: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». «Вот и я упадаю в землю. Да, истинно, истинно», — думал он.

«Заснуть бы, — вдруг подумал он, — чтобы не ослабеть потом». Он лег на койку, закрыл глаза и тотчас же заснул.

Он проснулся в шесть часов утра, весь под впечатлением светлого, веселого сновидения. Он видел во сне, что он с какой-то маленькой белокурой девочкой лазает по развесистым деревьям, осыпанным спелыми черными черешнями, и собирает в большой медный таз. Черешни не попадают в таз и сыплются на землю, и какие-то странные животные, вроде кошек, ловят черешни и подбрасывают кверху и опять ловят. И, глядя на это, девочка заливается, хохочет так заразительно, что и Светлогуб тоже весело смеется во сне, сам не зная чему. Вдруг медный таз выскальзывает из рук девочки, Светлогуб хочет поймать его, но не успевает, и таз с медным грохотом, толкаясь о сучья, падает на землю. И он просыпается, улыбаясь и слушая продолжающийся грохот таза. Грохот этот есть звук отворяемых железных запоров в коридоре. Слышны шаги по коридору и бряканье ружей. Он вдруг вспоминает все. «Ах, если бы заснуть опять!» — думает Светлогуб, но заснуть уже нельзя. Шаги подошли к его двери. Он слышит, как ключ ищет замка и как, отворяясь, скрипит дверь.

Вошли жандармский офицер, смотритель и конвой.

«Смерть? Ну, так что же? Уйду. Да, это хорошо. Все хорошо», — думает Светлогуб, чувствуя, как возвращается к нему то умиленно-торжественное состояние, в котором он был вчера.

VI

В той же тюрьме, где содержался Светлогуб, содержался и старик раскольник, беспоповец, усомнившийся в своих руководителях и искавший истинную веру. Он

отрицал не только никонианскую церковь, но и правительство со времени Петра, которого считал антихристом, царскую власть называл «табачной державой» и смело высказывал то, что думал, обличая попов и чиновников, за что и был судим и содержим в остроге и пересылаем из одной тюрьмы в другую. То, что он не на воле, а в тюрьме, что над ним ругались смотрители, что на него надевали кандалы, что над ним издевались сотоварищи узники, что все они, так же как и начальство, отреклись от бога и ругались друг над другом и оскверняли всячески в себе образ божий, — все это не занимало его, все это он видел везде в миру, когда был на воле. Все это, он знал, происходило оттого, что люди потеряли истинную веру и все разбрелись, как слепые щенята от матери. А между тем он знал, что истинная вера есть. Знал он это потому, что чувствовал эту веру в своем сердце. И он искал эту веру везде. Больше всего он надеялся найти ее в откровении Иоанна.

«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». И он постоянно читал эту таинственную книгу и всякую минуту ждал «грядущего», который не только воздаст каждому по делам его, но и откроет всю божескую истину людям.

В утро казни Светлогуба он услыхал барабаны и, влезши на окно, увидал через решетку, как подвезли колесницу и как вышел из тюрьмы юноша с светлыми очами и вьющимися кудрями и, улыбаясь, взошел на колесницу. В небольшой белой руке юноши была книга. Юноша прижимал к сердцу книгу, — раскольник узнал, что это было Евангелие, — и, кивая в окна заключенным, улыбаясь, переглянулся с ним. Лошади тронулись, и колесница с сидевшим в ней светлым, как ангел, юношей, окруженная стражниками, громыхая по камням, выехала за ворота.

Раскольник слез с окна, сел на свою койку и задумался. «Этот познал истину, — думал он. — Антихристовы слуги затем и задавят его веревкой, чтоб не открыл никому».

VII

Было пасмурное осеннее утро. Солнца не видно было. С моря дул влажный теплый ветер.

Свежий воздух, вид домов, города, лошадей, людей, смотревших на него, — все это развлекало Светлогуба. Сидя на скамейке колесницы, спиною к кучеру, он невольно вглядывался в лица конвоирующих его солдат и встречавшихся жителей.

Был ранний час утра, улицы, по которым его везли, были почти пусты, и встречались только рабочие. Обрызганные известкой каменщики в фартуках, поспешно шедшие ему навстречу, остановились и вернулись назад, равняясь с колесницей. Один из них что-то сказал, махнул рукой, и все они повернулись и пошли назад к своему делу; извозчики-ломовики, везущие гремящие полосы железа, своротив своих крупных лошадей, чтобы дать дорогу колеснице, остановились и с недоумевающим любопытством смотрели на него. Один из них снял шапку и перекрестился. Кухарка в белом фартуке и чепчике, с корзинкой в руке, вышла из ворот, но, увидав колесницу, быстро вернулась во двор и выбежала оттуда с другой женщиной, и обе, не переводя дыхания, широко раскрытыми глазами проводили колесницу до тех пор, пока могли видеть ее. Какой-то растерзанно одетый, небритый седоватый человек что-то, очевидно неодобрительное, с энергическими жестами внушал дворнику, указывая на Светлогуба. Два мальчика рысью догнали колесницу и с повернутыми головами, не глядя перед собой, шагали рядом с ней по тротуару. Один, постарше, шел быстрыми шагами; другой, маленький, без шапки, держась за старшего и испуганно глядя на колесницу, короткими ножонками с трудом, спотыкаясь, поспевал за старшим. Встретившись с ним глазами, Светлогуб кивнул ему головой. Этот жест страшного человека, везомого на колеснице, так смутил мальчика, что он, выпучивши глаза и раскрыв рот, собрался плакать. Тогда Светлогуб, поцеловав свою руку, ласково улыбнулся ему. И мальчик вдруг неожиданно ответил милой, доброй улыбкой.

Во все время переезда сознание того, что ожидает его, не нарушало спокойно-торжественного настроения Светлогуба.

Только когда колесница подъехала к виселице и его свели с нее и он увидал столбы с перекладиной и слегка

качавшейся на ней от ветра веревкой, он почувствовал как будто физический удар в сердце. Ему вдруг стало тошно. Но это продолжалось недолго. Вокруг помоста он увидал черные ряды солдат с ружьями. Впереди солдат ходили офицеры. И как только его стали сводить с колесницы, раздался неожиданный, заставивший его вздрогнуть треск барабанной дроби. Позади рядов солдат Светлогуб увидал коляски господ и дам, очевидно приехавших смотреть на зрелище. Вид всего этого в первую минуту удивил Светлогуба, но тотчас же он вспомнил себя, какой он был до тюрьмы, и ему стало жалко того, что люди эти не знают, чтó он знал теперь. «Но они узнают. Я умру, но истина не умрет. Они будут знать. И как все — уж не я, а все они могли бы быть и будут счастливыми».

Его ввели на помост, и вслед за ним вошел офицер. Барабаны замолкли, и офицер прочел ненатуральным голосом, особенно слабо звучавшим среди широкого поля и после треска барабанов, тот глупый смертный приговор, который ему читали на суде: о лишении прав того, кого убивают, и о близком и далеком будущем. «Зачем, зачем они делают все это? — думал Светлогуб. — Как жалко, что они еще не знают и что я уже не могу передать им всего, но они узнают. Все узнают».

К Светлогубу подошел худощавый, с длинными редкими волосами священник в лиловой рясе, с одним небольшим золоченым крестом на груди и с другим большим серебряным крестом, который он держал в слабой, белой, жилистой, худой руке, выступавшей из черно-бархатного обшлага.

— Милосердный господь, — начал он, перекладывая крест из левой руки в правую и поднося его к Светлогубу.

Светлогуб вздрогнул и отстранился. Он чуть было не сказал недоброго слова священнику, участвующему в совершаемом над ним деле и говорящему о милосердии, но, вспомнив слова Евангелия: «Не знают, что творят», сделал усилие и робко проговорил:

— Извините, мне не надо этого. Пожалуйста, простите меня, но мне, право, не надо! Благодарю вас.

Он протянул священнику руку. Священник переложил опять крест в левую руку и, пожав руку Светлогуба, стараясь не смотреть ему в лицо, спустился с помоста. Барабаны опять затрещали, заглушая все другие звуки.

Вслед за священником, колебля доски помоста, быстрыми шагами подошел к Светлогубу среднего возраста человек с покатыми плечами и мускулистыми руками, в пиджаке сверх русской рубахи. Человек этот, быстро оглянув Светлогуба, совсем близко подошел к нему и, обдав его неприятным запахом вина и пота, схватил его цепкими пальцами за руки выше кисти и, сжав их так, что стало больно, загнул их ему за спину и туго завязал. Завязав руки, палач на минуту остановился, как бы соображая и взглядывая то на Светлогуба, то на какие-то вещи, которые он принес с собой и положил на помосте, то на висевшую на перекладине веревку. Сообразив то, что ему нужно было, он подошел к веревке, что-то сделал с ней, подвинул Светлогуба вперед ближе к веревке и обрыву помоста.

Как при объявлении смертного приговора Светлогуб не мог понять всего значения того, что объявлялось ему, так и теперь он не мог обнять всего значения предстоящей минуты и с удивлением смотрел на палача, поспешно, ловко и озабоченно исполняющего свое ужасное дело. Лицо палача было самое обыкновенное лицо русского рабочего человека, не злое, но сосредоточенное, какое бывает у людей, старающихся как можно точнее исполнить нужное и сложное дело.

— Еще сюда вот подвинься... или подвиньтесь... — проговорил хриплым голосом палач, толкая его к виселице. Светлогуб подвинулся.

«Господи, помоги, помилуй меня!» — проговорил он.

Светлогуб не верил в бога и даже часто смеялся над людьми, верящими в бога. Он и теперь не верил в бога, не верил потому, что не мог не только словами выразить, но мыслью обнять его. Но то, что он разумел теперь под тем, к кому обращался, — он знал это, — было нечто самое реальное из всего того, что он знал. Знал и то, что обращение это было нужно и важно. Знал это потому, что обращение это тотчас успокоило, укрепило его.

Он подвинулся к виселице и, невольно окинув взглядом ряды солдат и пестрых зрителей, еще раз подумал: «Зачем, зачем они делают это?» И ему стало жалко и их и себя, и слезы выступили ему на глаза.

— И не жалко тебе меня? — сказал он, уловив взгляд бойких серых глаз палача.

Палач на минуту остановился. Лицо его вдруг сделалось злое.

— Ну вас! Разговаривать! — пробормотал он и быстро нагнулся к полу, где лежала его поддевка и какое-то полотно, и, ловким движением обеих рук сзади обняв Светлогуба, накинул ему на голову холстинный мешок и поспешно обдернул его до половины спины и груди.

«В руки твои предаю дух мой», — вспомнил Светлогуб слова Евангелия.

Дух его не противился смерти, но сильное, молодое тело не принимало ее, не покорялось и хотело бороться.

Он хотел крикнуть, рвануться, но в то же мгновение почувствовал толчок, потерю точки опоры, животный ужас задыханья, шум в голове и исчезновение всего.

Тело Светлогуба, качаясь, повисло на веревке. Два раза поднялись и опустились плечи.

Подождав минуты две, палач, мрачно хмурясь, положил руки на плечи трупу и сильным движением потянул его. Все движения трупа прекратились, кроме медленного покачивания висевшей в мешке куклы с неестественно выпяченной вперед головой и вытянутыми в арестантских чулках ногами.

Сходя с помоста, палач объявил начальнику, что труп можно снять с петли и похоронить.

Через час труп был снят с виселицы и отвезен на неосвященное кладбище.

Палач исполнил то, что хотел и что взялся исполнить. Но исполнение это было нелегко. Слова Светлогуба: «И не жалко тебе меня» — не выходили у него из головы. Он был убийца, каторжник, и звание палача давало ему относительную свободу и роскошь жизни, но с этого дня он отказался впредь исполнять взятую на себя обязанность и в ту же неделю пропил не только все деньги, полученные за казнь, но и всю свою относительно богатую одежду, и дошел до того, что был посажен в карцер, а из карцера переведен в больницу.

VIII

Один из главарей революционеров террористической партии, Игнатий Меженецкий, тот самый, который увлек Светлогуба в террористическую деятельность, пересылался из губернии, где его взяли, в Петербург. В той же тюрьме сидел и старик раскольник, видевший казнь Свет-

логуба. Его пересылали в Сибирь. Он все так же думал о том, как и где бы ему узнать, в чем истинная вера, и иногда вспоминал про того светлого юношу, который, идя на смерть, радостно улыбался.

Узнав, что в одной с ним тюрьме сидит товарищ этого юноши, человек одной с ним веры, раскольник обрадовался и упросил вахтера, чтобы он свел его к другу Светлогуба.

Меженецкий, несмотря на все строгости тюремной дисциплины, не переставал сноситься с людьми своей партии и ждал каждый день известия о том подкопе, который им же был выдуман и придуман для взрыва на воздух царского поезда. Теперь, вспоминая некоторые упущенные им подробности, он придумывал средства передать их своим единомышленникам. Когда вахтер пришел в его камеру и осторожно, тихо сказал ему, что один арестант хочет видеться с ним, он обрадовался, надеясь, что это свидание даст ему возможность сообщения с своей партией.

— Кто он? — спросил он.

— Из крестьян.

— Что ж ему нужно?

— Об вере говорить хочет.

Меженецкий улыбнулся.

— Ну, что же, пошлите его, — сказал он. «Они, раскольники, тоже ненавидят правительство. Может быть, и пригодится», — подумал он.

Вахтер ушел и через несколько минут, отворив дверь, впустил в камеру сухого, невысокого старика, с густыми волосами и редкой седеющей козлиной бородкой, с добрыми, усталыми голубыми глазами.

— Что вам надо? — спросил Меженецкий.

Старик вскинул на него глазами и, поспешно опустив их, подал небольшую, энергическую, сухую руку.

— Что вам надо? — повторил Меженецкий.

— Слово до тебя есть.

— Какое слово?

— Об вере.

— О какой вере?

— Сказывают, ты одной веры с тем вьюношем, что в Одесте антихристовы слуги задавили веревкой.

— Каким юношей?

— А в Одесте по осени задавили.

— Верно, Светлогуб?

— Он самый. Друг он тебе? — старик при каждом вопросе пытливо взглядывал своими добрыми глазами в лицо Меженецкого и тотчас опять опускал их.

— Да, близкий был мне человек.

— И веры одной?

— Должно быть, одной, — улыбаясь, сказал Меженецкий.

— Об этом самом и слово мое к тебе.

— Что же, собственно, вам нужно?

— Веру вашу познать.

— Веру нашу... Ну, садитесь, — сказал Меженецкий, пожимая плечами. — Вера наша вот в чем. Верим мы в то, что есть люди, которые забрали силу и мучают и обманывают народ, и что надо не жалеть себя, бороться с этими людьми, чтобы избавить от них народ, который они эксплуатируют, — по привычке сказал Меженецкий, — мучают, — поправился он. — И вот их-то надо уничтожить. Они убивают, и их надо убивать до тех пор, пока они не опомнятся.

Старик раскольник вздыхал, не поднимая глаз.

— Вера наша в том, чтобы не жалеть себя, свергнуть деспотическое правительство и установить свободное, выборное, народное.

Старик тяжело вздохнул, встал, расправил полы халата, опустился на колени и лег к ногам Меженецкого, стукнувшись лбом о грязные доски пола.

— Зачем вы кланяетесь?

— Не оманывай ты меня, открой, в чем вера ваша, — сказал старик, не вставая и не поднимая головы.

— Я сказал, в чем наша вера. Да вы встаньте, а то я и говорить не буду.

Старик поднялся.

— В том и вера того юноши была? — сказал он, стоя перед Меженецким и изредка взглядывая ему в лицо своими добрыми глазами и тотчас же опять опуская их.

— В том самом и была, за то его и повесили. А меня вот за ту же веру теперь в Петропавловку везут.

Старик поклонился в пояс и молча вышел из камеры.

«Нет, не в том вера того юноши, — думал он. — Тот юнош знал истинную веру, а этот либо хвастался, что он одной с ним веры, либо не хочет открыть... Что же, буду добиваться. И здесь и в Сибири. Везде бог, везде люди.

На дороге стал, о дороге спрашивай», — думал старик и опять взял Новый завет, который сам собой раскрывался на Откровении, и, надев очки, сел у окна и стал читать его.

IX

Прошло еще семь лет. Меженецкий отбыл одиночное заключение в Петропавловской крепости и пересылался на каторгу.

Он много перенес за эти семь лет, но направление его мыслей не изменилось, и энергия не ослабела. При допросах, перед заключением в крепость, он удивлял следователей и судей своей твердостью и презрительным отношением к тем людям, во власти которых он находился. В глубине души он страдал оттого, что был пойман и не мог докончить начатого дела, но не показывал этого: как только он приходил в соприкосновение с людьми, в нем поднималась энергия злобы. На вопросы, которые ему делали, он молчал и только тогда говорил, когда был случай уязвить допрашивающих — жандармского офицера или прокурора.

Когда ему сказали обычную фразу: «Вы можете облегчить свое положение искренним признанием», он презрительно улыбнулся и, помолчав, сказал:

— Если вы думаете выгодой или страхом заставить меня выдать товарищей, то судите по себе. Неужели вы думаете, что, делая то дело, за которое вы меня судите, я не готовился к самому худшему? Так вы ничем ни удивить, ни испугать меня не можете. Делать со мной можете, что хотите, а говорить я не буду.

И ему приятно было видеть, как они смущенно переглянулись между собой.

Когда его в Петропавловской крепости поместили в маленькую, с темным стеклом в высоком окне, сырую камеру, он понял, что это не на месяцы, а на годы, — и на него нашел ужас. Ужасна была эта благоустроенная мертвая тишина и сознание того, что он не один, а что тут, за этими непроницаемыми стенами, сидят такие же узники, приговоренные на десять, двадцать лет, убивающиеся, и вешаемые, и сходящие с ума, и медленно умирающие чахоткой. Тут и женщины и мужчины, и друзья, может быть... «Пройдут годы, и ты так же сойдешь

с ума, повесишься или умрешь, и не узнают про тебя»,— думал он.

И в душе его поднималась злоба на всех людей и в особенности на тех, которые были причиной его заключения. Злоба эта требовала присутствия предметов злобы, требовала движения, шума. А тут мертвая тишина, мягкие шаги молчаливых, не отвечающих на вопросы людей, звуки отпираемых, запираемых дверей, в обычные часы пища, посещение молчаливых людей и сквозь тусклые стекла свет от поднимающегося солнца, темнота и та же тишина, те же мягкие шаги, и одни и те же звуки. Так нынче, завтра... И злоба, не находя себе выхода, разъедала его сердце.

Пробовал он стучать, но ему не отвечали, и стук его вызывал только опять те же мягкие шаги и ровный голос человека, угрожавшего карцером.

Единственное время отдыха и облегчения было время сна. Но зато ужасно было пробуждение. Во сне он всегда видел себя на свободе и большей частью увлекающимся такими делами, которые он считал несогласными с революционной деятельностью. То он играл на какой-то странной скрипке, то ухаживал за девицами, то катался в лодке, то ходил на охоту, то за какое-то странное научное открытие был провозглашен доктором иностранного университета и говорил благодарственную речь за обедом. Сны эти были так ярки, а действительность так скучна и однообразна, что воспоминания мало отличались от действительности.

Тяжело было в сновидениях только то, что большей частью он просыпался в тот момент, когда вот-вот должно было совершиться то, к чему он стремился, чего желал. Вдруг толчок сердца — и вся радостная обстановка исчезала; оставалось мучительное, неудовлетворенное желание, опять эта с разводами сырости серая стена, освещенная лампочкой, и под телом жесткая койка с примятым на один бок сенником.

Сон был лучшим временем. Но чем дольше продолжалось заключение, тем меньше он спал. Как величайшего счастья он ждал сна, желал его, и чем больше желал, тем больше разгуливался. И стоило ему задать себе вопрос: «Засыпаю ли я?» — и проходила вся сонливость.

Беганье, прыганье по своей клетке не помогало. От усиленного движения только делалась слабость и еще

большее возбуждение нервов, делалась головная боль в темени, и стоило только закрыть глаза, чтобы на темном с блестками фоне стали выступать рожи лохматые, плешивые, большеротые, криворотые, одна страшнее другой. Рожи гримасничали самыми ужасными гримасами. Потом рожи стали являться уже при открытых глазах, и не только рожи, но целые фигуры, стали говорить и плясать. Становилось страшно, он вскакивал, бился головой о стену и кричал. Форточка в двери отворялась.

— Кричать не полагается, — говорил спокойный, ровный голос.

— Позовите смотрителя! — кричал Меженецкий.

Ему ничего не отвечали, и форточка закрывалась.

И такое отчаяние охватывало Меженецкого, что он одного желал — смерти.

Один раз в таком состоянии он решил лишить себя жизни. В камере был душник, на котором можно было утвердить веревку с петлею и, став на койку, повеситься. Но не было веревки. Он стал разрывать простыню на узкие полосы, но полос этих оказалось мало. Тогда он решил заморить себя голодом и не ел два дня, но на третий день ослабел, и припадок галлюцинаций повторился с ним с особенной силой. Когда принесли ему пищу, он лежал на полу без чувств, с открытыми глазами.

Пришел доктор, положил его на койку, дал ему брому и морфину, и он заснул.

Когда на другой день он проснулся, доктор стоял над ним и покачивал головой. И вдруг Меженецкого охватило знакомое ему прежде бодрящее чувство злобы, которого он давно уже не испытывал.

— Как вам не стыдно, — сказал он доктору в то время, как тот, наклонив голову, считал его пульс, — служить здесь! Зачем вы меня лечите, чтобы опять мучить? Ведь это все равно как присутствовать при сечении и разрешать повторить операцию.

— Потрудитесь на спинку лечь, — сказал невозмутимо доктор, не глядя на него и доставая инструмент для оскультации из бокового кармана.

— Те залечивали раны, чтобы догнать остальные пять тысяч палок. К черту, к дьяволу! — вдруг закричал он, скидывая ноги с койки. — Убирайтесь, издохну без вас!

— Нехорошо, молодой человек, на грубости есть у нас свои ответы.

— К черту, к черту!

И Меженецкий был так страшен, что доктор поспешил уйти.

X

Произошло ли это от приемов лекарств, или он пережил кризис, или поднявшаяся злоба на доктора вылечила его, но с этой поры он взял себя в руки и начал совсем другую жизнь.

«Вечно держать меня здесь они не могут и не станут, — думал он. — Освободят же когда-нибудь. Может быть, — что всего вероятнее, — изменится режим (наши продолжают работать), и потому надо беречь жизнь, чтобы выйти сильным, здоровым и быть в состоянии продолжать работу».

Он долго обдумывал наилучший для этой цели образ жизни и придумал так: ложился он в девять часов и заставлял себя лежать — спать или не спать, все равно — до пяти часов утра. В пять часов он вставал, убирался, умывался, делал гимнастику и потом, как он себе говорил, шел по делам. И в воображении он шел по Петербургу, с Невского на Надеждинскую, стараясь представлять себе все то, что могло встретиться ему на этом переходе: вывески, дома, городовые, встречающиеся экипажи и пешеходы. В Надеждинской он входил в дом своего знакомого и сотрудника, и там они, вместе с пришедшими товарищами, обсуживали предстоящее предприятие. Шли прения, споры. Меженецкий говорил и за себя и за других. Иногда он говорил вслух, так что часовой в окошечко делал ему замечания, но Меженецкий не обращал на него никакого внимания и продолжал свой воображаемый петербургский день. Пробыв часа два у приятеля, он возвращался домой и обедал, сначала в воображении, а потом в действительности, тем обедом, который ему приносили, и ел всегда умеренно. Потом он, в воображении, сидел дома и занимался то историей, математикой и иногда, по воскресеньям, литературой. Занятие историей состояло в том, что он, избрав какую-нибудь эпоху и народ, вспоминал факты и хронологию. Занятие математикой состояло в том, что он делал на-

изусть выкладки и геометрические задачи. (Он особенно любил это занятие.) По воскресеньям он вспоминал Пушкина, Гоголя, Шекспира и сам сочинял.

Перед сном он еще делал маленькую экскурсию, в воображении ведя с товарищами, мужчинами и женщинами, шуточные, веселые, иногда серьезные разговоры, иногда бывшие прежде, иногда вновь выдумываемые. И так шло дело до ночи. Перед сном он для упражнения делал в действительности две тысячи шагов в своей клетке и ложился на свою койку и большей частью засыпал.

На другой день было то же. Иногда он ехал на юг и подговаривал народ, начинал бунт и вместе с народом прогонял помещиков, раздавал землю крестьянам. Все это, однако, он воображал себе не вдруг, а постепенно, со всеми подробностями. В воображении его революционная партия везде торжествовала, правительственная власть слабела и была вынуждена созвать собор. Царская фамилия и все угнетатели народа исчезали, и устанавливалась республика, и он, Меженецкий, избирался президентом. Иногда он слишком скоро доходил до этого, и тогда начинал опять сначала и достигал цели другим способом.

Так он жил год, два, три, иногда отступая от этого строгого порядка жизни, но большей частью возвращаясь к нему. Управляя своим воображением, он освободился от непроизвольных галлюцинаций. Только изредка на него находили припадки бессонницы и видения, рожи, и тогда он глядел на отдушник и соображал, как он укрепит веревку, как сделает петлю и повесится. Но припадки эти продолжались недолго. Он преодолевал их.

Так прожил он почти семь лет. Когда срок его заключения кончился и его повезли на каторгу, он был вполне свеж, здоров и в полном обладании своих душевных сил.

XI

Везли его, как особенно важного преступника, одного, не давая ему сообщаться с другими. И только в красноярской тюрьме ему в первый раз удалось войти в общение с другими политическими преступниками, тоже ссылавшимися на каторгу; их было шесть чело-

век — две женщины и четверо мужчин. Это были всё молодые люди нового склада, незнакомого Меженецкому. Это были революционеры следующего за ним поколения, его наследники, и потому они особенно интересовали его. Меженецкий ожидал встретить в них людей, идущих по его стопам и потому долженствующих высоко оценить все то, что было сделано их предшественниками, особенно им, Меженецким. Он готовился ласково и снисходительно обойтись с ними. Но, к неприятному удивлению его, эта молодежь не только не считала его своим предшественником и учителем, но обращалась с ним как бы снисходительно, обходя и извиняя его устарелые взгляды. По мнению их, этих новых революционеров, все то, что делал Меженецкий и его друзья, все попытки возмущения крестьян и, главное, террор и все убийства: губернатора Кропоткина, Мезенцова и самого Александра II — все это был ряд ошибок. Все это привело только к реакции, торжествовавшей при Александре III и вернувшей общество назад, почти к крепостному праву. Путь освобождения народа, по мнению новых, был совсем иной.

В продолжение двух дней и почти двух ночей не переставали споры между Меженецким и его новыми знакомыми. Особенно один, руководитель всех, Роман, как его все звали только по имени, мучительно огорчал Меженецкого непоколебимой уверенностью в своей правоте и снисходительным, даже насмешливым отрицанием всей прошедшей деятельности Меженецкого и его товарищей.

Народ, по понятию Романа, грубая толпа, «быдло», и с народом, стоящим на той степени развития, на которой он стоит теперь, ничего сделать нельзя. Все попытки поднять русское сельское население — это все равно, что пытаться зажечь камень или лед. Нужно воспитать народ, нужно приучить его к солидарности, и это может сделать только большая промышленность и выросшая на ней социалистическая организация народа. Земля не только не нужна народу, но она-то и делает его консерватором и рабом. Не только у нас, но и в Европе. И он на память приводил мнения авторитетов и статистические цифры. Народ надо освободить от земли. И чем скорее это сделается, тем лучше. Чем больше их идут на фабрики, и чем больше забирают в руки землю капита-

листы, и чем больше угнетают их, тем лучше. Уничтожиться деспотизм, а главное капитализм, может только солидарностью людей народа, а солидарность эта может быть достигнута только союзами, корпорациями рабочих, то есть только тогда, когда народные массы перестанут быть земельными собственниками и станут пролетариями.

Меженецкий спорил и горячился. Особенно раздражала его одна из женщин, недурная волосатая брюнетка с очень блестящими глазами, которая, сидя на окне и как будто не принимая прямого участия в разговоре, изредка вставляла словечки, подтверждавшие доводы Романа, или только презрительно посмеивалась на слова Меженецкого.

— Разве можно переделать весь земледельческий народ в фабричный? — говорил Меженецкий.

— Отчего же нельзя? — возражал Роман. — Это общий экономический закон.

— Почему мы знаем, что закон это всеобщий? — говорил Меженецкий.

— Прочтите Каутского, — презрительно улыбаясь, вставила брюнетка.

— Если и допустить, — говорил Меженецкий, — (я не допускаю этого) что народ переделается в пролетариев, то почему вы думаете, что он сложится в ту, вперед предназначенную ему вами форму?

— Потому что это научно обосновано, — вставляла брюнетка, поворачиваясь от окна.

Когда же речь зашла о форме деятельности, которая нужна для достижения цели, разногласие стало еще больше. Роман и его друзья стояли на том, что нужно подготавливать армию рабочих, содействовать переходу крестьян в фабричных и пропагандировать социализм среди рабочих. И не только не бороться открыто с правительством, а пользоваться им для достижения своих целей. Меженецкий же говорил, что надо прямо бороться с правительством, терроризировать его, что правительство и сильнее и хитрее вас. «Не вы обманете правительство, а оно вас. Мы и пропагандировали народ и боролись с правительством».

— И как много сделали! — иронически проговорила брюнетка.

— Да, я думаю, что прямая борьба с правительством — неправильная трата сил, — сказал Роман.

— Первое марта трата сил! — закричал Меженецкий. — Мы жертвовали собой, жизнями, а вы спокойно сидите по домам, наслаждаясь жизнью, и только проповедуете.

— Не очень-то наслаждаемся жизнью, — спокойно сказал Роман, оглядываясь на своих товарищей, и победоносно расхохотался своим незаразительным, но громким, отчетливым, самоуверенным смехом.

Брюнетка, покачивая головой, презрительно улыбалась.

— Не очень-то наслаждаемся жизнью, — сказал Роман. — А если и сидим здесь, то обязаны этим реакции, а реакция — произведение именно первого марта.

Меженецкий замолчал. Он чувствовал, что задыхается от злобы, и вышел в коридор.

XII

Стараясь успокоиться, Меженецкий стал ходить взад и вперед по коридору. Двери камер до вечерней переклички были открыты. Высокий белокурый арестант, с лицом, добродушие которого не нарушалось до половины выбритой головой, подошел к Меженецкому.

— Арестантик тут, в нашей камере, увидал ваше степенство, — позови, говорит, его ко мне.

— Какой арестант?

— «Табачная держава», так ему прозвище. Старичок он, из раскольников. Позови, говорит, ко мне того человека. Про ваше степенство, значит.

— Где же он?

— Во тут, в нашей камере. Покличь, говорит, того барина.

Меженецкий вошел с арестантом в небольшую камеру с нарами, на которых сидели и лежали арестанты.

На голых досках, под серым халатом, на краю нар, лежал тот самый старик раскольник, который семь лет тому назад приходил к Меженецкому расспрашивать о Светлогубе. Лицо старика, бледное, все ссохлось и сморщилось, волоса все были такие же густые, редкая бородка была совсем седая и торчала кверху. Глаза голубые, добрые и внимательные. Он лежал навзничь и,

очевидно, был в жару: на маслаках щек был болезненный румянец.

Меженецкий подошел к нему.

— Что вам? — спросил он.

Старик с трудом поднялся на локоть и подал трясущуюся сухую небольшую руку. Он, собираясь говорить, как бы раскачиваясь, стал тяжело дышать и, с трудом переводя дыханье, тихо заговорил:

— Не открыл ты мне тогда, — бог с тобой, а я всем открываю.

— Что же открываете?

— Про агнца... про агнца открываю... тот юнош с агнцем был. А сказано: агнец победит я, всех победит... И кто с ним, те избраннии и вернии.

— Я не понимаю, — сказал Меженецкий.

— А ты понимай в духе. Цари область приимут со зверем. А агнец победит я.

— Какие цари? — сказал Меженецкий.

— И цари седмь суть: пять их пало и един остался, другий еще не прииде, не пришел, значит. И егда приидет, мало ему есть... значит, конец ему придет... понял?

Меженецкий покачивал головой, думая, что старик бредит и слова его бессмысленны. Так же думали и арестанты, товарищи по камере. Тот бритый арестант, который звал Меженецкого, подошел к нему и, слегка толкнув его локтем и обратив на себя внимание, подмигнул на старика.

— Всё болтает, всё болтает, табачная держава наша, — сказал он. — А что, и сам не знает.

Так думали, глядя на старика, и Меженецкий и его сотоварищи по камере. Старик же хорошо знал, что говорил, и то, что он говорил, имело для него ясный и глубокий смысл. Смысл был тот, что злу недолго остается царствовать, что агнец добром и смирением побеждает всех, что агнец утрет всякую слезу, и не будет ни плача, ни болезни, ни смерти. И он чувствовал, что это уже совершается, совершается во всем мире, потому что это совершается в просветленной близостью к смерти душе его.

— Ей гряди скоро! Аминь. Ей гряди, господи Иисусе! — проговорил он и слегка значительно и, как показалось Меженецкому, сумасшедше улыбнулся.

XIII

«Вот он, представитель народа, — подумал Меженецкий, выходя от старика. — Это лучший из них. И какой мрак! Они (он разумел Романа с его друзьями) говорят: с таким народом, каков он теперь, ничего нельзя сделать».

Меженецкий одно время работал свою революционную работу среди народа и знал всю, как он выражался, «инертность» русского крестьянина; сходился и с солдатами на службе и отставными и знал их тупую веру в присягу, в необходимость повиновения и невозможность рассуждением подействовать на них. Он знал все это, но никогда не делал из этого знания того вывода, который неизбежно вытекал из него. Разговор с новыми революционерами расстроил, раздражил его.

«Они говорят, что все то, что делали мы, что делали Халтурин, Кибальчич, Перовская, что все это было ненужно, даже вредно, что это-то и вызвало реакцию Александра III, что благодаря им народ убежден, что вся революционная деятельность идет от помещиков, убивших царя за то, что он отнял у них крепостных. Какой вздор! Какое непонимание и какая дерзость думать так!» — думал он, продолжая ходить по коридору.

Все камеры были закрыты, исключая одной той, в которой были новые революционеры. Подходя к ней, Меженецкий услышал смех ненавистной ему брюнетки и трескучий, решительный голос Романа. Они, очевидно, говорили про него. Меженецкий остановился слушать. Роман говорил:

— Не понимая экономических законов, они не отдавали себе отчета в том, что делали. И большая доля тут была...

Меженецкий не мог и не хотел дослушать, чего тут была большая доля, но ему и не нужно было знать этого. Один тон голоса этого человека показывал то полное презрение, которое испытывали эти люди к нему, к Меженецкому, герою революции, погубившему двенадцать лет жизни для этой цели.

И в душе Меженецкого поднялась такая страшная злоба, какой он еще никогда не испытывал. Зло на всех, на всё, на весь этот бессмысленный мир, в котором могли жить только люди, подобные животным, как этот старик со своим агнцем, и такие же полуживотные па-

лачи и тюремщики, эти наглые, самоуверенные, мертворожденные доктринеры.

Вошел дежурный вахтер и увел политических женщин на женскую половину. Меженецкий отошел в дальний конец коридора, чтобы не встречаться с ними. Вернувшись, вахтер запер дверь новых политических и предложил Меженецкому войти к себе. Меженецкий машинально послушался, но попросил не запирать своей двери.

Вернувшись в свою камеру, Меженецкий лег на койку, лицом к стене.

«Неужели в самом деле так понапрасну погублены все силы: энергия, сила воли, гениальность (он никогда никого не считал выше себя по душевным качествам) погублены задаром!» Он вспомнил недавно, уже по дороге в Сибирь, полученное им письмо от матери Светлогуба, упрекавшей его по-женски, глупо, как он думал, за то, что он погубил ее сына, увлекши в террористическую партию. Получив письмо, он только презрительно улыбнулся: что могла понимать эта глупая женщина о тех целях, которые стояли перед ним и Светлогубом. Но теперь, вспомнив письмо и милую, доверчивую, горячую личность Светлогуба, он задумался сначала о нем, а потом и о себе. Неужели вся жизнь была ошибка? Он закрыл глаза и хотел заснуть, но вдруг с ужасом почувствовал, что возвратилось то состояние, которое он испытывал первый месяц в Петропавловской крепости. Опять боль в темени, опять рожи, большеротые, мохнатые, ужасные, на темном фоне с звездочками, и опять фигуры, представляющиеся открытым глазам. Новое было то, что какой-то уголовный, в серых штанах, с бритой головой, качался над ним. И опять, по связи идей, он стал искать отдушника, на котором можно бы было утвердить веревку.

Невыносимая злоба, требующая проявления, жгла сердце Меженецкого. Он не мог сидеть на месте, не мог успокоиться, не мог отогнать своих мыслей.

«Как? — стал он уж задавать себе вопрос. — Разрезать артерию? Не сумею. Повеситься? Разумеется, самое простое».

Он вспомнил о веревке, которой была перевязана вязанка дров, лежащая в коридоре. «Стать на дрова или на табуретку. В коридоре ходит вахтер. Но он заснет или

выйдет. Надо выждать и тогда унести к себе веревку и утвердить на отдушнике».

Стоя у своей двери, Меженецкий слушал шаги вахтера в коридоре и изредка, когда вахтер уходил в дальний конец, выглядывал в отверстие двери. Вахтер все не уходил и все не засыпал. Меженецкий жадно прислушивался к звукам его шагов и ожидал.

В это время в той камере, где был больной старик, среди темноты, чуть освещаемой коптящей лампой, среди сонных ночных звуков дыханья, ворчанья, кряхтенья, храпа, кашля, происходило величайшее в мире дело. Старик раскольник умирал, и духовному взору его открылось все то, чего он так страстно искал и желал в продолжение всей своей жизни. Среди ослепительного света он видел агнца в виде светлого юноши, и великое множество людей из всех народов стояло перед ним в белых одеждах, и все радовались, и зла уже больше не было на земле. Все это совершилось, старик знал это, и в его душе и во всем мире, и он чувствовал великую радость и успокоение.

Для людей же, бывших в камере, было то, что старик громко хрипел предсмертным хрипом, и сосед его проснулся и разбудил других; и когда хрип кончился и старик затих и похолодел, товарищи его по камере стали стучать в дверь.

Вахтер отпер дверь и вошел к арестантам. Минут через десять два арестанта вынесли мертвое тело и понесли его вниз в мертвецкую. Вахтер вышел за ними и запер дверь за собою. Коридор остался пустой.

«Запирай, запирай, — подумал Меженецкий, следивший из своей двери за всем, что делалось, — не помешаешь мне уйти от всего этого нелепого ужаса».

Меженецкий не испытывал уже теперь того внутреннего ужаса, который до этого томил его. Он весь был поглощен одной мыслью: как бы что-нибудь не помешало ему исполнить свое намерение.

С трепещущим сердцем он подошел к вязанке дров, развязал веревку, вытянул ее из-под дров и, оглядываясь на дверь, понес к себе в камеру. В камере он влез на табуретку и накинул веревку на отдушник. Связав оба конца веревки, он перетянул узел и из двойной веревки сделал петлю. Петля была слишком низко. Он вновь перевязал веревку, опять сделал петлю, примерил

на шею и, беспокойно прислушиваясь и оглядываясь на дверь, влез на табуретку, всунул голову в петлю, оправил ее и, оттолкнув табуретку, повис...

Только при утреннем обходе вахтер увидал Меженецкого, стоявшего на согнутых в коленях ногах подле лежавшей на боку табуретки. Его вынули из петли. Прибежал смотритель и, узнав, что Роман был врач, позвал его, чтобы оказать помощь удавленнику.

Были употреблены все обычные приемы для оживления, но Меженецкий не ожил.

Тело Меженецкого снесли в мертвецкую и положили на нары рядом с телом старика раскольника.



ПРИМЕЧАНИЯ

Двенадцатый том Собрания сочинений Л. Н. Толстого содержит произведения, написанные на протяжении двух десятилетий — с середины 80-х до середины 900-х годов.

Всего пять лет отделяют открывающую этот том драму «Власть тьмы» от «Исповеди», в которой великий писатель так объяснил смысл идейного перелома, пережитого им в конце 70-х — начале 80-х годов: «Со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл... Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом... Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь...» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 23, с. 40, 47) [1].

Своим идеалом Толстой провозгласил «жизнь простого трудового народа — того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей».

Простым трудовым народом, сторону которого принял Толстой, было русское многомиллионное патриархальное крестьянство, после отмены крепостного права попавшее в новую, еще более мучительную кабалу. Происходящая по всей стране крутая ломка старых порядков приносила народу тягчайшие страдания, обрекая его на новое — капиталистическое рабство, которое Толстой назвал «рабством нашего времени».

С целью дать образование своим подраставшим детям Толстой в начале 80-х годов переезжает из Ясной Поляны в Москву и на два десятилетия становится городским жителем. Перед писателем, хорошо знавшим деревенскую бедность, развернулись

---

[1] В дальнейшем ссылки на это издание даются лишь с указанием тома и страницы.

картины городской нищеты. Чтобы узнать ее истоки, Толстой принял участие в переписи московского населения, проводившейся в 1882 году. О том, что он увидел и почувствовал тогда, Толстой рассказал в статье о переписи и в трактате «Так что же нам делать?». В этих публицистических произведениях, написанных вслед за «Исповедью», писатель высказал свои новые взгляды на жизнь, подверг суровому обличению буржуазно-дворянское общество, его экономические и политические основы, его культуру, мораль и нравственные «законы».

В начале 90-х годов голод охватил многие из центральных губерний России. Близко к сердцу приняв народное бедствие, Толстой развернул сбор средств и пожертвований, открыл в деревнях Тульской и Рязанской губерний более двухсот бесплатных столовых для голодавших крестьян. Тогда же он написал статьи «О голоде», «Страшный вопрос», «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая».

Эти произведения Толстого привлекли внимание В. И. Ленина, сочувственно откликнувшегося на них в статье «Признаки банкротства». А реакционная печать встретила статьи Толстого о голоде грубой бранью. «Московские ведомости» (от 22 января 1892 г.) писали, что эти статьи «являются открытой пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя».

И катковская «полицейская» газета не ошиблась. В статье «О существующем строе» (1896) Толстой открыто потребовал коренного общественного переустройства в стране. «Существующий строй жизни,— писал он,— подлежит разрушению...» А в 1905 году Толстой написал о себе одному из близких родственников царя: «...я человек, отрицающий и осуждающий весь существующий порядок и власть и прямо заявляющий об этом» (т. 76, с. 32).

В статьях о земельном вопросе («Великий грех» и др.), в трактате «Рабство нашего времени», в обращении «Царю и его помощникам», в статье о русско-японской войне «Одумайтесь!» и других публицистических произведениях 90-х и 900-х годов Толстой ставит самые острые и больные вопросы русской жизни. Гневно осуждая дворянское землевладение и капиталистическую эксплуатацию, писатель в то же время выдвигает утопические, несбыточные теории спасения трудящихся от земельного и фабричного рабства. Он предлагает крестьянам, поступившим на фабрики и заводы, вернуться в деревню и заниматься земледельческим трудом. Писатель надеялся усовестить помещиков, ограбивших крестьян при проведении реформы 1861 года, и уговорить их вернуть крестьянам землю.

Отрицая революционный путь борьбы и отстранившись от первой русской революции, Толстой, однако, надеялся, что она принесет народу освобождение. В октябре 1905 года он писал В. В. Стасову: «Я во всей этой революции состою в звании, добро и самовольно принятом на себя, адвоката 100-миллионного земледельческого народа. Всему, что содействует или может содействовать его благу, я сорадуюсь, всему тому, что не имеет этой главной цели и отвлекает от нее, я не сочувствую» (т. 76, с. 45).

Когда в Ясную Поляну пришли вести о вооруженном восстании, о баррикадных боях в Москве и других городах, о разгромах крестьянами помещичьих усадеб, Толстой выступил с призывами к народу и правительству прекратить кровавую борьбу, найти пути к согласию на основе религии всепрощения и братской любви.

Эти выступления писателя вызвали осуждение со стороны передовых людей России. Как указывал В. И. Ленин, толстовская проповедь непротивления и всеобщей любви принесла «самый непосредственный и самый глубокий вред» революционному движению [1].

В гениальной ленинской работе «Лев Толстой, как зеркало русской революции» и других его статьях и высказываниях о Толстом глубоко раскрыты богатство, сложность и противоречивость творчества великого писателя — его публицистических и художественных произведений. И в тех и в других нашли выражение и сильные и слабые стороны его взглядов.

В 80-е, 90-е и 900-е годы Толстой создает свои драматургические шедевры — «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Живой труп». Каждая из этих пьес составила эпоху в истории русского театра. В первой половине 900-х годов появляется такой шедевр художественной прозы Толстого, как повесть «Хаджи-Мурат». В течение трех десятилетий писатель возвращался к повести «Фальшивый купон». На протяжении 1905 года были созданы образцы «малой» учительной прозы Толстого — в частности, «Алеша Горшок», «Корней Васильев», «Ягоды», а также волнующий рассказ на историко-революционную тему «За что?» и повесть на современную революционную тему «Божеское и человеческое».

Каждому из этих произведений принадлежит свое место в творческом наследии писателя, однако не подлежит сомнению,

---

[1] См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 104.

что как для лучших пьес Толстого, так и для шедевров его большой и малой прозы характерен «самый трезвый реализм», «срыванье всех и всяческих масок», что именно такой реализм определяет художественный метод и Толстого-романиста и Толстого-драматурга.

* * *

Драматическое творчество Л. Толстого, как и все творчество великого писателя, связано с эпохой после 1861 и до 1905 года, хотя началось оно раньше и закончилось позже этого периода. В. И. Ленин указал на *переломный, переходный* характер этой эпохи, как ее важнейшую, отличительную черту.

Не только в своих эпических произведениях, но и в пьесах Толстой отразил решающие противоречия эпохи, острейшие конфликты переходного времени.

В классической русской драматургии нет, кроме «Власти тьмы» Л. Толстого, другой пьесы, в которой с такою же художественной силой было показано разрушение «старой» деревни с ее патриархальными порядками и «укладывание» в ней новых, по существу, буржуазных отношений. «Власть тьмы» изображает пореформенную русскую деревню в эпоху, когда «старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои, действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой» (Ленин). Характеризуя эту эпоху, Ленин говорит: «В самом крестьянстве рост обмена, господство рынка и власти денег все более вытесняет патриархальную старину и патриархальную толстовскую идеологию». Толстой во «Власти тьмы» дал великолепную художественную картину этого вытеснения патриархальной старины проникающим в деревню капитализмом, властью денег.

На смену хозяйственному, обстоятельному Петру идет нехозяйственный, беспутный, выросший на «чугунке» Никита. В этом замещении Петра Никитой заключен глубокий смысл. Насильственная смерть Петра, силой новых жизненных обстоятельств втянутого в буржуазные отношения (деньги, работники), разрушение его семьи, его хозяйства олицетворяют собой разрушение «устоев», гибель патриархальной деревни. Так, в образах Петра и Никиты, раскрывается главная тема пьесы Толстого.

Было бы неправильно думать, что Толстой выступает в драме только против той «тьмы», которая идет в деревню из города вместе с «властью денег». Нет, драма его направлена и против «тьмы», накопленной в русской деревне веками крепостничества.

Драма «Власть тьмы» — вся целиком — является выражением бессознательного мужицкого протеста и беспредельного отчаяния. Нарисовав потрясающие картины деревенской забитости, нищеты, темноты, одичания, Толстой, устами девочки Анютки, спрашивает в драме: «Как быть?» И чрезвычайно показательно, что ответить на этот вопрос Толстой поручил Акиму, а не Митричу: старый солдат, батрак Митрич, сохранивший в себе дух непокорства, не забывший, как его пороли, мог звать только на путь общественной борьбы, неповиновения, бунтарства.

Нельзя спастись путем социальной борьбы, спасение в нравственном самоусовершенствовании — утверждал Толстой-проповедник и устами косноязычного Акима предложил людям «вспомнить о боге, опамятоваться». Однако логика драматического действия снимает акимовское непротивленчество, обнаруживает его полную несостоятельность. Сталкиваясь с конкретными проявлениями зла, Аким каждый раз отступает, и его «невмешательство» временами выглядит как прямое пособничество темным делам, происходящим вокруг него.

Образ Акима глубоко типичен в том смысле, что он как нельзя лучше отражает «мягкотелость патриархальной деревни». Аким Чиликин — типический представитель той «большей части крестьянства», которая «плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и посылала «ходателей»,— совсем в духе Льва Николаевича Толстого!» (Ленин).

Всем своим содержанием драма Толстого подводила к мысли о том, что необходимо изменить общественный строй, при котором «хрустение косточек человеческих» является «законом жизни».

Только враждебная Толстому критика могла не увидеть, что силам тьмы в его драме противостоят силы добра, и не просто противостоят, а и выигрывают тяжбу со злом. Во «Власти тьмы» существующее зло обличается и осуждается настойчиво и непрерывно, и притом многими голосами. Это и голос патриархального старика Акима, и голос бывалого, много повидавшего Митрича. Это и прерывающийся от обиды и слез голос сироты Марины. Это, наконец, чистый и светлый голосок десятилетней Анютки. Самое поразительное в драме Толстого — это то, что зло сильнее всего осуждается в ней не людьми старой патриархальной деревни, представителем которой выступает Аким, а людьми будущего, теми, кому предстоит вступать в жизнь. Настойчиво и требовательно спрашивает Анютка у взрослых: «Как быть?» — то есть как жить, что делать? какими средствами уберечь и себя,

чтобы не «изгадиться», и едва затеплившуюся жизнь ребенка Акулины, зверски убиваемого в погребе.

Из всех «лучей света» в драме Толстого самый светлый — десятилетняя Анютка. Значение ее образа огромно. «Дети,— писал Толстой в дневнике,— *это увеличительные стекла зла.* Стоит приложить к детям какое-нибудь злое дело и то, что казалось по отношению взрослых только нехорошим, представляется ужасным по отношению детей...» (Подчеркнуто мной. — *К. Л.).*

Эта удивительная по глубине мысли запись в какой-то мере объясняет причину появления знаменитого «варианта» к той сцене IV действия «Власти тьмы», где показано убийство новорожденного ребенка. От прямого изображения ужасного преступления Толстой перешел к его «отраженному» показу: о происходящем за сценой убийстве зритель узнает от Анютки. С поразительным искусством воссоздает писатель постепенное нарастание ужаса, охватывающего Анютку. «Ишь, настращали девчонку как»,— встревожился ко всему привыкший Митрич.

Беседуя с Анюткой о горькой судьбине, которая ждет ее, Митрич вспоминает о другой девчонке,— найденной солдатами в разоренной деревне на чужбине и выпестованной ими. В рассказе об этой девчонке, прозванной солдатами Сашкой, раскрылись лучшие, глубоко человечные качества старого Митрича — доброта, нежность, бескорыстие, любовь к детям. Треклятая царская служба душила и мяла Митрича долгие годы, однако не смогла погасить его приметливый, проницательный ум, способный «раздробить» и привести в ясность вопросы, которые ставят в тупик Акима.

«Власть тьмы» — громадное художественное полотно, написанное по законам реализма. «Что за правда беспредельная,— восторгался Стасов,— что за глубина, что за сила и красота творчества! А какой язык — этому и названия нет» («Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка». Л., 1929, с. 76).

Ни одно из произведений Толстого не может сравниться с «Властью тьмы» по числу пословиц, поговорок, присловий и других фольклорных жемчужин, взятых писателем из живого крестьянского языка. Толстой как-то сделал такое признание: «Я ограбил свои записные книжки, чтобы написать «Власть тьмы».

И действительно, многие из фольклорных записей, которые содержатся в его записных книжках 70—80-х годов, перешли в текст «Власти тьмы». Однако лишь некоторые из них перекочевали в драму в своем чистом виде. Громадное же боль-

шинство их было Толстым творчески переработано, отшлифовано, «огранено» и — приобрело еще больший блеск и законченность.

«Власть тьмы» — реалистическая драма. Критики, объявившие «Власть тьмы» натуралистическим произведением, были неправы потому, что самое важное в пьесе — не внешняя, бытовая сторона, а глубочайший показ внутренней, духовной жизни народа. Не фальшивая идеализация народного быта, а правдивое изображение жизни народа со всеми ее темными, тяжелыми сторонами,— такова важнейшая черта, отличающая драму Толстого от многочисленных псевдонародных пьесок из жизни деревни.

«Власть тьмы» художник писал той же кистью, что и лучшие свои эпические произведения. Создавая драму для народного театра, для народного зрителя, Толстой не только не снижал художественных требований, но, наоборот, выдвигал еще бо̀льшие требования. Так возникло произведение огромной силы и значения, одно из немногих созданий Толстого, которыми сам он был вполне доволен.

Когда появилась «Власть тьмы», то все пьесы «пейзанного» репертуара, казавшиеся правдивыми, должны были сойти со сцены.

Толстой ввел на русскую и европейскую сцену подлинного мужика. «Драма из крестьянского быта у нас вещь необыкновенная»,— признавался журнал «Театрал» в те годы, когда «Власть тьмы» после десятилетнего запрещения стала ставиться едва ли не всеми драматическими театрами России.

Ставя «Власть тьмы» в 1902 году на сцене Московского Художественного театра, К. С. Станиславский сделал такое признание по поводу своей режиссерской работы: «Продолжая искать новое, я не мог примириться с шаблоном театральных мужиков. Хотелось дать подлинного мужика, и, конечно, не только по костюму, но главным образом по внутреннему складу. Но в результате вышло иначе. Духовной стороны пьесы мы, актеры, не дали, не сумели, не доросли еще до нее...»

Постановка народной драмы Толстого даже для лучших театров в те годы оказалась необычайно трудной задачей. И очень немногие из актеров смогли показать «подлинного мужика», которого, по словам Ленина, сказанным Горькому, «до этого графа» (до Толстого. — *К. Л.*) в русской литературе не было. Не было его до «Власти тьмы» и на русской сцене. Трудной для сценического воплощения оказалась и комедия «Плоды просвещения». Ведь и в ней — «подлинные мужики», глазами которых Толстой посмотрел на барскую жизнь.

Толстой начал писать «Плоды просвещения», еще не закончив работу над «Властью тьмы». Пьесы эти органически связаны между собой. В «Плоды просвещения» Толстой переводит из «Власти тьмы» наиболее симпатичный ему персонаж: Аким принял в комедии образ Третьего мужика. Толстой сохранил даже его фамилию: Чиликин! Третий мужик, Митрий Чиликин, как и Аким Чиликин,— патриархально-богобоязненный старик, носитель ветхих религиозных идеалов. Даже во внешнем его облике много от Акима. Но Митрий Чиликин не повторяет Акима Чиликина. Приняв образ Третьего мужика, Аким стал «ходателем» по мужицким земельным делам. Через всю пьесу проносит он мужицкую жалобу на безземелье. Как рефрен, семь раз повторяет он фразу, ставшую знаменитой: «Земля наша малая, не то, что скотину,— курицу, скажем, и ту выпустить некуда». Мужицкой тоской по земле, отнятой у народа реформами, наполнена вся пьеса.

В «Плодах просвещения» Толстой поднимает вторую важнейшую тему эпохи: пореформенные отношения мужиков с господами. Во «Власти тьмы» эта тема нашла лишь отраженное освещение, в комедии она является главной.

Не только Аким, но и Митрич как бы переходят из драмы в комедию. Одним из ярчайших образов «Плодов просвещения» является образ старого повара. Старый повар, потерявший здоровье на господской службе, несет в себе черты «митричевской» озлобленности, непокорства. Столкновение старого повара с Третьим мужиком — это столкновение митричевской ожесточенности с акимовской незлобивостью. На акимовский вздох Третьего мужика («Народ слабый. Жалеть надо») старый повар отвечает по-митричевски: «Как же, пожалеют они (господа. — *К. Л.*), черти! Я у плиты тридцать лет прожарился. А вот не нужен стал, издыхай, как собака... Как же, пожалеют».

В «Плодах просвещения» и во «Власти тьмы» Толстой показал таящиеся в народе, накопленные веками «горы ненависти, злобы и отчаянной решимости» (Ленин).

Старая, враждебная Толстому критика пыталась изобразить «Плоды просвещения» водевилем, фарсом, «домашней шуткой». Но стоит сличить первоначальную редакцию комедии («Исхитрилась») с ее окончательным текстом и посмотреть промежуточные редакции, чтобы ясно увидеть, в каком направлении шла работа художника. Безобидная шутка, написанная для домашнего яснополянского спектакля, превратилась в бичующую социальную комедию — сатиру. В окончательном тексте выросли и выдвинулись на первый план роли мужиков. «Господские» роли драматург разрабатывал в плане сатирическом.

Сатирически заостряя комедию, Толстой поставил в центр произведения не интригу сметливой горничной Тани, которая «исхитрилась» и ловко одурачила верящего в духов барина, а сцены, где раскрывается отношение господ к мужикам и мужиков к господам.

Толстой выдвигает эти роли на первый план. Мужики-ходатаи, уполномоченные крестьянским «миром» на то, чтобы любыми средствами склонить барина к продаже земли, принесли на сцену не только жалобы, но и попытки протеста. Если в речах Третьего мужика, 70-летнего Митрия Чиликина, звучит неизбывная тоска-жалоба на горькую жизнь, то Второй мужик, Захар Трифонович, говорит барину прямо: «Что ж так делать? Обида это!» Не напрасно Толстой дал ему такую характеристику: «Грубый и правдивый, не говорит ничего лишнего!»

Даже критики, нападавшие на комедию Толстого за ее обличительную направленность, признавали, что мужики показаны в ней правдиво и мастерски. «Это,— писал Н. И. Николаев,— не какие-нибудь вымытые и приглаженные мужички, окруженные легким ореолом подвижничества, каких так охотно выводят на сцену в псевдонародных драмах разные молодые и либеральные драматурги, а настоящие русские мужики с их прямыми интересами и ясно определенным миросозерцанием» (Н. И. Николаев. Театрально-критические очерки. Киев, 1897, с. 90—91).

Критики давно уже заметили, что, противопоставляя в комедии два мира — барский и крестьянский,— Толстой строит «Плоды просвещения» по принципу резкого контраста. Дело, разумеется, не в том, что число действующих лиц комедии делится на две «равные» половины: 15 лиц принадлежат к лагерю «командующих» и 15 — находящихся под их командой — «командуемых» (С. Н. Дурылин. Комедия «Плоды просвещения». — Сб. «Творчество Л. Н. Толстого». М., 1954, с. 324). Главное состоит в том, что они показаны в остром и непримиримом конфликте, исход которого мог быть только один: земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. «Нам без этой земли надо жизни решиться»,— говорит Второй мужик.

Толстой высмеивает в своей комедии «господ», «носителей культуры», «соль земли». Изображая спиритический психоз представителей «так называемого образованного общества», Толстой показывает умственное ничтожество, полнейшую духовную деградацию «хозяев жизни».

В «деревенской» своей части комедия звучит далеко не всегда смешно и весело: в ней очень сильны ноты народной скорби, гнева и ненависти. Фигура старого повара не столько

смешная, сколько трагическая. В «Плодах просвещения» с новой силой прозвучал гоголевский горький «смех сквозь слезы».

«Плоды просвещения» отличаются ясностью, простотой и естественностью композиции, развивающейся стремительно и без каких-либо искусственных пружин. В то же время в пьесе все взвешено, нет «проходных» сцен, не связанных с основным сюжетом. Необыкновенно выразителен язык комедии.

А. М. Горький указывал на «Плоды просвещения» как на классическое произведение, в котором даны блестящие примеры использования живой речи (М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 27, с. 213).

«Плоды просвещения» должны были прозвучать со сцены грозным предостережением «верхам» буржуазно-дворянского общества. Но «верхи» призвали к действию охранительную критику, и она приняла свои меры. Князь Мещерский в своей газете «Гражданин» объявил комедию «небрежно набросанным фарсом», вовсе не стоящим шума, поднятого ею в печати и обществе.

Фарс, водевиль, пустая шутка, шарж, карикатура — весь ассортимент уничижительных оценок был пущен в ход для того, чтобы «обезвредить» воздействие комедии Толстого на зрителей и читателей.

Однако уже один из первых постановщиков «Плодов просвещения» К. С. Станиславский стремился к тому, чтобы со всей ясностью была раскрыта в спектакле «мужицкая» тенденция комедии Толстого. Участник этой постановки А. Ф. Артем, исполнявший роль старого повара, свидетельствует: «Мы все старались играть так, чтобы свернуть на мужичью стать» (Сб. «Творчество Л. Н. Толстого». М., 1954, с. 356).

В «Живом трупе» Толстой выступил сторонником проблемной драматургии, ставящей острейшие вопросы жизни, зовущей зрителя к активному, действенному отношению к жизни. «В драматическом произведении,— говорил Толстой,— должно поставить какое-нибудь еще не разрешенное людьми положение и заставить его решать каждое действующее лицо сообразно его внутренним данным». «Живой труп» — блестящий образец пьесы, тенденциозной в лучшем смысле этого слова. Проходят десятилетия, а драма Толстого не умирает, хотя в свое время критика и обещала ей очень короткую жизнь. В чем же секрет долговечности толстовской драмы? Как тенденциозная, «злободневная» пьеса приобрела непреходящее значение? Секрет величайшей художественной убедительности «Живого трупа» кроется в сочетании беспощадной социальной критики с глубокой разработкой психологии действующих лиц, с изумительной тонкостью

изображения душевных переживаний, с показом «диалектики души».

В «Живом трупе» с особой силой обнаруживается новаторская устремленность толстовского драматического творчества.

«Живой труп», как и «Власть тьмы», обошел крупнейшие сцены всего мира. Роль Феди Протасова стала одной из любимых ролей многих больших актеров. Чем же она замечательна? Протасов бежит из «благоустроенного, добропорядочного общества», опускается на «дно», обитает в том самом Ржановом ночлежном доме, который еще в 1886 году Толстой потрясающе описал в «Так что же нам делать?». «Всем ведь нам в нашем кругу, в том, в котором я родился,— говорит Протасов,— три выбора,— только три: служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь... Это мне было противно, может быть, не умел, но главное, было противно. Второй — разрушать эту пакость; для этого надо быть героем, а я не герой. Или третье: забыться — жить, гулять, петь — это самое я и делал. И вот допелся!» Протасову не по душе «пакостная» обывательская жизнь без «изюминки», без огонька, без смысла и радости. Чтобы дать возможность Лизе выйти замуж за Каренина, Протасов должен пройти через отвратительную ложь и грязь, сопутствовавшие разводам. Сцена допроса Лизы, Каренина, Феди следователем — одна из сильнейших сцен в драме — напоминает лучшие страницы «Воскресения». Протасов, взволнованный присутствием Лизы и Каренина, произносит страстную, в полном смысле слова обличительную речь.

Критика 900-х годов увидела в «Живом трупе» лишь «бракоразводную проблему». Но не только против суда, церкви и государства с его законами выступил в своей драме Толстой, но и против буржуазно-дворянского общества с его ханжеской, лицемерной моралью, эгоизмом.

«Идейные наследники» Толстого объявили «Живой труп» «антитолстовской пьесой», протестовали против опубликования драмы и постановок ее на сцене. И в самом деле, Толстой — враг разводов, проповедник единобрачия и даже аскетизма — в драме ратует за разводы. Враг «плотской», чувственной жизни — Толстой в драме поэтизирует кутежи беспутного Феди, его поиски «изюминки», его стремление к «игре жизни». Толстой осудил свою собственную писательскую деятельность, а Протасова сделал писателем. Протасов — самоубийца, но Толстой его не осуждает. Толстой судит общество, погубившее Протасова. Образ Феди согрет большой любовью художника, но разве не очевидно, что образ этот противоречит важнейшим «принципам» толстовского «вероучения»?

Как бы предвидя нападки на драму, Толстой сказал устами одного из ее героев: «Неужели мы все так непогрешимы и не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна?»

Признание в высокой степени знаменательное! Толстой-художник, показывая жизнь со всеми ее противоречиями, во всей ее сложности, «вступал в спор» с Толстым-моралистом и опрокидывал многие догматы «учения». «Живой труп» — пример блистательной победы художника.

Самые тонкие, едва приметные движения души не только улавливаются драматургом, но и «закрепляются» в поступках, словах и жестах героев драмы. Мы действительно видим, как в душе Лизы сталкиваются и борются два взаимоисключающие чувства: за Федю и против него. То одно из них, то другое берет верх. Противоборствующие стороны души Лизы как бы олицетворены в Саше, горячо вступающейся за Федю, и в Анне Павловне, ненавидящей его. Это помогает не только понять, но и увидеть всю сложность и мучительность положения, в котором оказалась Лиза.

В драме «нужны... готовые моменты», утверждал Толстой («Л. Н. Толстой о театре». — «Театр и искусство», 1908, № 34, с. 580). В «Живом трупе» он открывает двери к Протасовым в тот момент, когда их семейный разлад стал непоправимым. За несколько минут сценического действия мы знакомимся с острейшей коллизией, в которую поставлены действующие лица драмы и из которой им предстоит найти выход.

«Живой труп» написан великолепным, не стареющим толстовским языком. Отличительная его особенность здесь — лаконизм, сочетающийся с многокрасочностью. Как ни мало число реплик, произносимых матерью Каренина, Анной Дмитриевной, но их достаточно, чтобы исполнительница ее роли могла создать запоминающийся образ молодящейся светской дамы.

А вот как говорит судебный следователь: «Вы обвиняетесь в том, что вы, зная о том, что ваш муж жив, вышли замуж за другого. И еще в том, что...» и т. д. Достаточно одной этой фразы, чтобы представить себе «мастера» судейского сыска. Таким эпизодическим, но ярким персонажам, каковы Афремов, Коротков, Буткевич, «отпущено» автором всего по нескольку реплик.

Свой излюбленный прием контраста Толстой употребил и в «Живом трупе». Двенадцать картин драмы группируются автором в шесть действий. При этом почти в каждом действии одна картина посвящена «верхам», миру, с которым порывает герой

пьесы, а другая — тем «низам», у которых он ищет покоя и пристанища.

Тончайший психологизм, удивительное мастерство в передаче глубоких человеческих переживаний сочетаются в драме с обличением и протестом против порядков, вынуждающих людей... превращаться в «живые трупы».

Несмотря на некоторую незавершенность (Толстой не довел пьесу, говоря его словами, до «последней степени отделки»), «Живой труп» давно уже занял место среди лучших произведений русской и мировой драматургии.

«Живой труп» — это драма «не решенных людьми вопросов». Интересно, что, создавая ее, Толстой больше, нежели во время работы над предшествующими пьесами, заботился о поисках новой формы. Как видно из сохранившихся рукописей пьесы, он собирался написать пятнадцать — двадцать и больше картин. Писатель проявил тогда живой интерес к новинке театральной техники — вращающейся сцене. Он думал о многокартинной пьесе, находя, что в ней легче передать «текучесть», изменчивость жизни и человека.

В этом неугасимом интересе ко всему новому выразилась, быть может, самая характерная черта Толстого — человека и художника, до конца дней озабоченного поисками непроторенных, неведомых путей в будущее.

* * *

Заканчивая растянувшуюся на полтора десятилетия работу над трактатом «Что такое искусство?», Толстой записал в дневнике: «Моя работа над искусством многое уяснила мне». И к этому добавил, что если ему еще придется писать художественные вещи — «они будут совсем другие. И писать их будет и легче и труднее».

Исследователи видят в этих словах писателя своего рода «отречение» от его любимой эпической художественной формы — романов типа «Войны и мира» и «Анны Карениной» [1]. Однако в год завершения эстетического трактата Толстой заканчивает десятилетнюю работу над романом «Воскресение», о котором говорит, что написал его в своей «прежней манере».

Характерные для его «прежней манеры» глубочайшее проникновение в «диалектику души» человека, не знающий преграды и «запретных тем» психологический анализ, «снятие по-

---

[1] См.: «История русской литературы», т. IX. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1956, с. 604.

кровов» с внешнего и внутреннего облика изображаемых персонажей — входят в арсенал художественных средств и «позднего» Толстого. Достаточно напомнить о таких его произведениях, как «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Дьявол», «Отец Сергий».

После перелома в мировоззрении, оформившегося у него к началу 80-х годов, Толстой сознательно и целеустремленно усиливает обличение буржуазно-помещичьего строя. В августе 1900 года он записал в дневнике: «Все яснее и яснее представляется обличение неверия и разбойничьего царства. Это *нужно* писать». Толстой стремится к тому, чтобы этой задаче служили не только публицистические, но и художественные его произведения.

Однако из этого вовсе не следует, что «поздний» Толстой перестал быть художником, что он отказался от решения новых художественных задач.

Осенью 1902 года П. А. Сергеенко записал следующий разговор с Толстым: «Рассказывает, что кончил сегодня «Хаджи-Мурата». Я говорю: «Вы, конечно, говорите им что-нибудь?» — «Нет, представьте, меня увлекала чисто художественная сторона» [1].

«Я знал,— рассказывает П. Бирюков,— что он тогда гостил у своей сестры в Шамординском монастыре, и я спросил его, чем он был тогда занят. Совсем сконфузившись, шепотком, чтобы никто не слыхал, приблизившись ко мне и вместе с тем с заблестевшими глазами, он сказал: «Я писал Хаджи-Мурата...» Он вспоминает испытанное наслаждение и стыдится признаться в нем» [2].

Эти свидетельства мемуаристов подтверждаются письмами Толстого. В августе 1902 года он писал В. Г. Черткову: «Я здоров и все пишу Хаджи-Мурата; балуюсь. Довел до того же, до чего доведены Отец Сергий и др., ...но хочется отделывать. А многое требуется более важное, как мне кажется».

Какие характерные признания! Чисто художественная работа над «Хаджи-Муратом», «Отцом Сергием» и другими произведениями (их «отделка») в разговоре с «толстовцами» и в переписке с ними оценивается как «баловство», в котором «учитель» — проповедник и моралист — стыдился признаться. Но есть в этих признаниях, засвидетельствованных мемуаристами, подтверждаемых письмами и дневниковыми записями самого Толстого,

[1] «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 2. М., 1955, с. 99.

[2] «Северные записки», 1913, № 8, с. 123.

в высшей степени важная сторона. Они убеждают нас в том, что даже в дни, когда писателем овладевали самые мрачные «покаянные» настроения, не угасала его тяга к художественной работе.

История создания «Хаджи-Мурата» во многом напоминает творческую историю «Войны и мира». Такая же огромная работа по изучению исторических источников (В. В. Стасов посылает из Петербурга в Ясную Поляну целые транспорты книг по истории кавказской войны); те же поиски живых участников и свидетелей описываемых событий; та же (если еще не бóльшая) забота о верности исторических подробностей и деталей (ведь именно в связи с работой над «Хаджи-Муратом» Толстой сделал признание: «Когда я пишу историческое, я люблю быть до малейших подробностей верным действительности»); те же долгие поиски начала произведения; то же стремление пластически выразить, передать дух, «цвет и запах» описываемой эпохи...

В то же время, создавая «Хаджи-Мурата», Толстой ставил и решал новые творческие задачи. Уже давно отмечены критиками и исследователями как главные особенности поэтики этой повести поразительный лаконизм художественных средств, необычная сжатость ее сюжета. «В искусстве важно, чтобы не сказать ничего лишнего, а только давать ряд сжатых впечатлений, и тогда сильное место даст глубокое впечатление»,— говорил Толстой в 1889 году [1]. Этот принцип динамического развития сюжета и стал основным принципом построения «Хаджи-Мурата».

Восхищаясь художественными достоинствами произведений Толстого, Горький писал: «Вот это мастерство. У него, например, одна страница из повести «Хаджи-Мурат» — страница изумительная. Очень трудно передать движение в пространстве словами. Хаджи-Мурат со своими нукерами — адъютантами — едет по ущелью. Над ущельем — небо, как река. В небе звезды. Звезды перемещаются в голубой реке по отношению к изгибу ущелья. И этим самым он передал, что люди действительно едут» (М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 26, с. 68).

Один из мемуаристов приводит со слов Горького отзыв В. И. Ленина о повести «Хаджи-Мурат»: «Помните толстовский татарник? Как у него все замечательно выходило! Я даже иногда самого Толстого воспринимаю, как этот живой, колючий и цепкий татарник» (Д. Соколов. Друг. Харьковское книжное изд-во, 1946, с. 8).

---

[1] «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 2, с. 93—94.

Во вступлении к повести Толстой создает образ «чудного малинового» репья («того сорта, который у нас называется «татарином»). Его изуродованный колесом куст одиноко стоял среди черного, недавно вспаханного поля. Один из его отростков был оторван, «и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки».

Но куст репья все еще стоял живой. «Экая энергия! — подумал я,— все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается».

В финале повести, словно бы замыкая сравнение своего героя с репьем, поразившим его яростной силой сопротивления, упорной борьбой за жизнь, Толстой говорит о Хаджи-Мурате: «Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался».

Перед нами редкий пример не только, как это принято называть, развернутого, а и замкнутого в единое образное кольцо сравнения. Образ репья не просто символичен, он, если можно так сказать, очеловечен. А смерть Хаджи-Мурата не только описана, она еще и воспета, опоэтизирована, показана как смерть близкого к природе человека, как сына природы. Этой цели служат и горские песни (песня матери Хаджи-Мурата, песня о Гамзате), рождающие в душе героя повести самые дорогие для него воспоминания.

Если пролог в «Хаджи-Мурате» занимает две неполные страницы, то для эпилога Толстому хватило двух неполных строк: «Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля».

Уже давно замечено исследователями и читателями «Хаджи-Мурата», что образ репья, символизирующий важнейшую черту героя повести, противоречит одной из главных заповедей толстовского вероучения — о непротивлении злу насилием.

Напряженность в развитии действия повести не помешала Толстому глубоко раскрыть характер главного героя, его психологию. «Есть такая игрушка английская peepshow: под стеклушком показывается то одно, то другое. Вот так-то показать надо человека Хаджи-Мурата: мужа, фанатика и т. п.». Ставя Хаджи-Мурата в различные, чаще всего опасные, драматические положения и при этом обнаруживая разные грани характера своего героя, Толстой на первый план выдвигает его мужество и стойкость, энергию, способность до последнего вздоха сопротивляться насилию, отстаивать свою жизнь. Привлекательны в нем также его детская непосредственность и доброта, чувство собственного достоинства, глубокая привязанность к семье и родной земле. Вместе с тем писатель не идеализирует героя повести. Весной 1897 года Толстой записал в дневнике: «Вчера ду-

мал очень хорошо о Хаджи-Мурате — о том, что в нем, главное, надо выразить обман веры. Как он был бы хорош, если бы не этот обман».

Перейдя на сторону русских, Хаджи-Мурат сумел вызвать у них чувство расположения. Однако приставленный к нему адъютант князя Воронцова Лорис-Меликов скоро понял, что Хаджи-Мурат умеет скрывать свои намерения и ни перед чем не остановится, чтобы осуществить свои тайные замыслы.

Как одному из наибов Шамиля, родовитому мюриду («второе лицо после Шамиля»,— писал о нем молодой Толстой брату), Хаджи-Мурату были свойственны честолюбие и властолюбие. Хаджи-Мурат мог быть и был и коварным и жестоким — достаточно вспомнить, как, убегая из Нухи, расправился он с конвоирами-казаками.

Судьба Хаджи-Мурата складывается трагически. Он становится жертвой двух властных деспотов — Николая I и Шамиля. «Меня здесь занимает не один Хаджи-Мурат с его трагической судьбой, но и крайне любопытный параллелизм двух главных противников той эпохи — Шамиля и Николая, представляющих вместе как бы два полюса властного абсолютизма — азиатского и европейского» [1],— делился своим замыслом писатель.

И Николай I и Шамиль показаны в повести жестокими властными деспотами. Их мысли сосредоточены на себе и своем мнимом величии. Поступками и решениями каждого из них руководит «наитие свыше».

Хаджи-Мурат не может оставаться соратником Шамиля, требующего от всех горцев абсолютного повиновения себе. Он не может быть союзником Николая I, которого за его свирепую жестокость солдаты прозвали Николаем Палкиным.

Николай I и его сановники, Шамиль и его наибы основывают свою политику на разжигании национальной розни и шовинизма. Русские крестьяне, одетые в солдатские шинели, не испытывают к горцам никакой вражды. Солдат Авдеев говорит о спутниках Хаджи-Мурата: «А какие эти, братец ты мой, голобые ребята хорошие... Ей-богу! Я с ними как разговорился... Право, совсем как российские».

Своим человеком чувствует себя и Хаджи-Мурат, находясь среди простых русских людей.

Жертвой жестоких законов войны становится и русский солдат Петр Авдеев, и горцы разоряемого аула. Жертвой этих законов становится и главный герой повести.

---

[1] «Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом». М., «Златоцвет», 1911, с. 99.

До конца дней Толстой не терял интереса к судьбе главного героя своей кавказской повести. Как сообщил Д. П. Маковицкий, в Ясную Поляну летом 1905 года знакомые писателя прислали портрет Хаджи-Мурата, тисненный по дереву. «Такого я себе его представлял,— сказал Лев Николаевич».

Со слов Толстого Маковицкий рассказал, что «Хаджи-Мурата Лев Николаевич сам не видел, но в то время, когда Хаджи-Мурат действовал и погиб, он был на Кавказе и живо интересовался им.

— Хаджи-Мурат — мое личное увлечение,— сказал Лев Николаевич» (Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. 8 июня 1905 г. Рукопись. Архив Госуд. музея Л. Н. Толстого).

К событиям николаевской эпохи Толстой обращается также в рассказе «За что?». Участники польского восстания начала 30-х годов Альбина и Иосиф Мигурские — герои этого произведения — обрисованы Толстым с теплым сочувствием. То, что произошло с ними, имело место в действительности: смерть двух детей, попытка бегства из места ссылки, суд, приговоривший Мигурского к тысяче палочных ударов и отправке в Сибирь на вечное поселение...

В концовке рассказа Толстой выразил всю силу своего отвращения к коронованному деспоту: «Николай же Павлович радовался тому, что задавил гидру революции не только в Польше, но и во всей Европе... Он искренно верил, что он великий человек и что жизнь его была великим благом для человечества и особенно для русских людей, на развращение и одурение которых были бессознательно направлены все его силы».

«Хаджи-Мурат» и «За что?» силой негодования, пафосом обличения николаевского режима, олицетворявшего в представлении Толстого самые уродливые и отвратительные формы деспотизма, противостояли тем произведениям писателя, в которых он развивал идеи своего религиозно-нравственного учения.

С конца 80-х и до середины 900-х годов творческое внимание писателя наряду с другими замыслами занимала повесть «Фальшивый купон». Как и в романе «Воскресение», здесь Толстой использовал способ создания панорамной композиции, перенося место действия из города в деревню, из квартиры богатого чиновника в трактир, из зала судебного заседания в острог. Как и в «Воскресении», здесь действует прием контраста — социального, психологического, нравственного,— подчеркивающий полярную противоположность взглядов и образа жизни угнетателей и угнетенных.

Однако, в отличие от «Воскресения», в «Фальшивом купоне» и сюжетное построение, и характеры действующих лиц жестко

подчинены одной идее, смысл которой можно выразить пословицей «грех за грех цепляет». В повести показано, как подделка денежного купона двумя гимназистами повела за собой множество дурных дел и преступлений, втягивающих в свой водоворот многих людей. Зло, даже если оно поначалу не очень страшно, порождает как бы цепную реакцию дурных, преступных, ужасных дел. Возникают своего рода метастазы зла, спасение от которых, как полагает автор повести, люди могут найти только на путях религии. Во второй части повести Толстой и пытается показать, как закоренелые преступники, убийцы под влиянием евангельской проповеди становятся добродетельными людьми.

Читатели помнят, что Толстой в конце романа «Воскресение» сообщил о вступлении Нехлюдова в «новые условия жизни». «Чем кончится этот новый период его жизни, покажет будущее»,— говорит писатель в самом конце романа. Известно, что он хотел написать продолжение «Воскресения», но не сделал этого.

В «Фальшивом купоне» показаны оба периода жизни его героев — «злой» и «добрый». Повесть носит явно заданный, экспериментальный характер. Она, как мы полагаем, и убедила писателя отказаться от замысла показать «добрую» половину жизни Нехлюдова.

Однако идеями всепрощения, непротивления злу насилием проникнут ряд толстовских произведений, написанных после «Фальшивого купона». Это «Алеша Горшок», «Корней Васильев», «Ягоды».

По изумительной простоте языка и стиля, прозрачной логичности и краткости развития сюжета, на нескольких страницах выпукло и подробно воссоздающего всю жизнь героя от рождения до смерти — рассказ «Алеша Горшок» может быть отнесен к шедеврам малой прозы Толстого. В ноябре 1911 года Александр Блок отметил в своем дневнике: «Гениальнейшее, что читал,— Толстой — *«Алеша Горшок»* [1].

Вещь эта замечательна тем, что при всей видимой простоте ее содержания и при несомненной заданности ее замысла она далеко не проста по выводам, по смыслу, который в ней заключен.

Многие из современников писателя увидели в этом рассказе всего лишь поэтизацию юродства. Из книги Т. А. Кузминской «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» мы узнали, что герой рассказа имел прототипа: в 40-х годах жил в Ясной Поляне

---

[1] Александр Блок. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 7. М. — Л., 1963, с. 87.

помощник повара — «юродивый и уродливый» по прозвищу Алеша Горшок. Засвидетельствовав, что его главные черты переданы в рассказе верно, Т. А. Кузминская выразила недовольство поэтизацией этих черт. Однако основное достоинство рассказа в другом: в беспощадно правдивом изображении безрадостной судьбы героя рассказа, у которого его хозяева отняли все — силы, здоровье, надежды на счастье и, наконец, самое жизнь...

В характере Алеши Горшка доведены до предела такие черты Платона Каратаева из «Войны и мира», как терпение, незлобивость, добродушие, всепрощение, полное равнодушие к удобствам жизни, безволие, готовность к смерти. Нельзя не заметить, однако, что гибель Алеши Горшка еще более страшна, нежели гибель Платона Каратаева. Страшна, если можно так сказать, своей заурядностью, обычностью. Заболевшего Платона, измученного и обессилевшего, расстреляли французы-конвоиры. Безответный и безобидный Алеша гибнет среди «своих» людей...

Финал «Алеши Горшка» заставляет вспомнить о раннем толстовском рассказе «Три смерти». И там и тут — мудро-спокойное «мужицкое» отношение к смерти противопоставлено «барскому» страху перед ней. И там и тут тема смерти служит ясной цели: доказать нравственное превосходство людей из народа над теми, кто принадлежит к господскому миру.

Этой же цели служит написанный, как и «Алеша Горшок», в 1905 году рассказ «Ягоды».

Уже в зачине этого рассказа, как и в зачине «Хаджи-Мурата», Толстой блеснул своим мастерством живописца-колориста: «Стояли жаркие, безветренные июньские дни. Лист в лесу сочен, густ и зелен, только кое-где срываются пожелтевшие березовые и липовые листья». А дальше развертываются картины лесного луга, спеющего ржаного и овсяного поля, летних пыльных полевых дорог... С любовью и абсолютным знанием дела повествуется о крестьянских работах этого времени года.

И совершенно в другой тональности рассказывается далее о бездельничающих дачниках, лениво гуляющих под зонтиками, томящихся от жары, пьющих чай и прохладительные напитки. Хозяин великолепной дачи «с башней, верандой, балкончиком, галереями», владеющий многими тысячами десятин земли, известный либеральный деятель (зовут его Николаем Семенычем) ведет диспут о применении конституционных начал с гостем из Петербурга, о котором сказано, что он «получает очень большое жалованье по местам, которые занимает» и имеет «маленькое пристрастие даже к социализму».

В ироническом свете написана сцена дорогого обеда на даче Николая Семеныча. Гости и хозяева «покушали только ботвинью

ледяную с свежей белорыбицей и разноцветное мороженое в красивой форме и разукрашенное разными сахарными волосами и бисквитами». Обед, замечает писатель, не вполне удался, так как жена хозяина дачи Мари была озабочена расстройством желудка у младшего сына Гоги...

В «барских» сценах рассказа звучат знакомые интонации из романа «Воскресение». И в самых «поздних» своих произведениях Толстой оставался непримиримым обличителем и критиком господского «разбойничьего царства».

По свидетельству Д. П. Маковицкого, Толстой читал рассказ «Ягоды» семейным и гостям Ясной Поляны летом 1905 года.

«— Это я только написал и не поправлял,— сказал Лев Николаевич, когда начинал читать «Ягоды». Когда кончил, Софья Андреевна сказала: «Вот господам досталось» (Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. 12 июня 1905 г. Рукопись. Архив Гос. музея Л. Н. Толстого).

«Ягоды», как и рассказ «Корней Васильев», были включены Толстым в «Круг чтения» — книгу, соединившую мысли мудрых людей «об истине, жизни и поведении». В «Ягодах» обличается неправедное поведение людей из барской среды, а в «Корнее Васильеве» — людей из народной среды. Таким образом, оба эти произведения написаны с целью назидания.

Назидательность замысла особенно очевидна в «Корнее Васильеве». Как в «Фальшивом купоне», композиция этого произведения двухчастна: сначала описаны «злые» поступки действующих лиц (измена жены мужу, расправа мужа с женой и нанесение травмы малолетней дочери), а во второй части рассказано о возвращении постаревшего и переменившегося Корнея в родные места, обрисованы доброе отношение к нему дочери, его кончина и запоздалое раскаяние и примирение с ним жены.

Характеризуя особенности построения рассказа «Корней Васильев», Толстой говорил, что он, «как библейский, без приключений»[1]. Позаимствовав его сюжет у знаменитого сказителя былин крестьянина В. П. Щеголенка, Толстой ведет повествование в духе неторопливого, былинного сказа, однако не стилизуя рассказ под былину. Для писателя в произведениях фольклора самым важным и дорогим было выраженное в них народное представление о правде и справедливости.

Известный собиратель и исследователь фольклора А. Н. Афанасьев писал по этому поводу: «Народная сказка... всегда на стороне нравственной правды, и по ее твердому убеж-

[1] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 28 августа 1905 г. (Рукопись).

дению, выигрыш постоянно должен оставаться за простодушием, незлобием и сострадательностью меньшого брата»[1]. Эти слова могут служить эпиграфом ко всем произведениям малой прозы позднего Толстого, и в идейном и в художественном планах тесно связанной с устным народным творчеством.

В конце октября 1905 года Толстой записал в дневнике: «Революция в полном разгаре». Отстранившись от нее и осуждая революционный путь борьбы с общественным злом, Толстой не мог не думать о революции, не откликнуться на ее бурный рост пером публициста и художника.

Двумя годами ранее писатель набросал начало повести, героями которой должны были стать революционеры Светлогуб и Меженецкий. Он еще в пору работы над «Воскресением» стремился увидеть и понять революционеров «различных оттенков». В романе показаны революционные деятели народнического типа, во многом расходящиеся между собой по взглядам на способы борьбы с самодержавием.

Еще более резко различны взгляды героев «Божеского и человеческого» — Светлогуба и Меженецкого — двух революционеров-народников. Оба они показаны как обреченные люди. Светлогуб был повешен, а Меженецкий повесился сам. Но Светлогуб умирает, сохранив веру в справедливость того дела, ради которого он жил. Меженецкий охвачен чувством горького разочарования: новые люди, идущие в революцию, отказываются видеть в нем своего учителя...

Рассказ «Божеское и человеческое» не дает и не может дать полного представления о том, как относился Толстой к революции и революционерам. Тема революции прошла через многие его произведения, написанные до этого рассказа и после него. Но «Божеское и человеческое», как и рассказ «За что?», свидетельствует о том, что эта тема неотступно приковывала внимание Толстого. И не случайно после рассказа «За что?» он делает в дневнике такую помету: «Все больше и больше думается о значении дилеммы, разрешаемой революцией. Очень хочется написать».

В самые поздние годы своей жизни писатель обдумывал замысел большого художественного произведения о первой революции в России. Этот замысел не получил осуществления. Но, как мы помним, по характеристике и оценке В. И. Ленина, все его творчество явилось зеркалом русской революции. И нет сомнения, что с этой характеристикой в той или иной мере

---

[1] А. П. Афанасьев, Русская народная сказка, т. 1, с. LXI.

(иногда прямо, а иногда опосредованно) связаны и те произведения Толстого, о которых шла речь выше. В них, как и во всем творчестве Толстого, звучат голоса пореформенной и предреволюционной эпохи, отражается «народное море, взволновавшееся до самых глубин» [1].

«ВЛАСТЬ ТЬМЫ, ИЛИ КОГОТОК УВЯЗ, ВСЕЙ ПТИЧКЕ ПРОПАСТЬ»

В 1880 году Толстой познакомился с судебным делом крестьянина деревни Сидоровка, Чернского уезда, Тульской губернии, Ефрема Колоскова, обвиненного «в кровосмешении, покушении на убийство своей дочери и в убийстве незаконнорожденного ребенка». Прокурор Тульского окружного суда Н. В. Давыдов помог Толстому посетить Колоскова в тюрьме перед его высылкой на каторгу (Н. В. Давыдов. Из прошлого. М., 1913, с. 286, 307, 312).

«Дело» Колоскова и легло в основу сюжета драмы «Власть тьмы». «Фабула «Власти тьмы» почти целиком взята мною из подлинного уголовного дела, рассматривавшегося в Тульском суде,— рассказывал Толстой. — В деле этом имелось именно такое же, какое приведено и во «Власти тьмы», убийство ребенка, прижитого от падчерицы, причем виновник убийства точно так же каялся на свадьбе этой падчерицы... Отравление мужа придумано мною, но даже главные фигуры навеяны действительным происшествием» («Новости и биржевая газета», 9 января 1896 г.).

Толстой работал над «Властью тьмы» с большим творческим подъемом. 25 октября 1886 года С. А. Толстая отметила в дневнике: «Лев Николаевич затевает писать драму из крестьянского быта» («Дневники С. А. Толстой 1860—1861», с. 133), а через семнадцать дней приехавший в Ясную Поляну известный театрал А. А. Стахович уже читал «Власть тьмы» крестьянам в присутствии Толстого! 14 ноября писатель сообщил Н. Н. Страхову: «Я живу очень хорошо, радостно — пишу. Написал пьесу для народных театров» (63, 408).

Однако до конца года Толстой продолжал работать над текстом драмы. Каждый из пяти актов «Власти тьмы» переделывался им от трех до пяти раз. Затем писатель исправлял не менее трех корректур драмы. Всего «Власть тьмы» насчитывает не менее семи редакций. Проделав громадную работу над текстом пьесы, Толстой писал В. Г. Черткову: «Кажется, что я грешил с ней, очень уж ее отделывал» (85, 416).

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 71.

В 1887 году «Власть тьмы» была выпущена издательством «Посредник» тиражом в несколько сот тысяч экземпляров и быстро распространилась по всей России.

А. А. Стахович выступал в столичных салонах с чтением «Власти тьмы», надеясь, что удастся «обойти» цензуру и драма будет разрешена для постановок. Однажды он читал драму на квартире министра императорского двора в присутствии Александра III. Царь назвал «Власть тьмы» «чудной вещью» и предложил соединить силы петербургского и московского императорских театров для того, чтобы она была поставлена наилучшим образом (А. А. Стахович. Клочки воспоминаний. — «Толстовский ежегодник 1912 года», с. 27). Но вмешательство обер-прокурора Святейшего синода Победоносцева изменило отношение царя к пьесе. «Я только что прочел новую драму Л. Толстого и не могу прийти в себя от ужаса»,— писал Победоносцев царю. Обер-прокурор синода увидел во «Власти тьмы» «отрицание идеала», «унижение нравственного чувства», «оскорбление вкуса» и т. д. Победоносцев пугал царя тем, что, когда пьеса Толстого дойдет до широкого народного зрителя — в стране... резко увеличится число преступлений. «...И то уже нехорошо,— писал Победоносцев,— что в эту минуту драма Толстого, напечатанная в виде народного издания в громадном количестве экземпляров, продается теперь по 10 копеек разносчиками на всех перекрестках; скоро она обойдет всю Россию и будет в руках у каждого, от мала до велика» («Письма Победоносцева к Александру III», т. 2. М., 1926, с. 130, 132, 134).

«Драму я читал,— писал Александр III в ответ обер-прокурору,— и она на меня сделала сильное впечатление, но и отвращение... Мое мнение и убеждение, что эту драму на сцене давать невозможно, она слишком реальна и ужасна по сюжету». А министру внутренних дел Александр III писал о «Власти тьмы»: «Надо было бы положить конец этому безобразию Л. Толстого, он чисто нигилист и безбожник. Не дурно было бы запретить теперь продажу его драмы «Власть тьмы», довольно он уже успел продать этой мерзости и распространить ее в народе» («Красный архив», 1922, т. 1, с. 417). По указанию царя пьеса Толстого была запрещена и для постановок на сцене, и для печати. Воспрещена была ее продажа «на улицах, площадях и других публичных местах, а равно через офеней...» («Московские церковные ведомости», 1887, № 18).

Цензурный запрет был снят с «Власти тьмы» в 1895 году, и то не полностью: для народных театров драма Толстого оставалась запрещенной вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции. Лишь московскому театру «Скоморох» удалось

тогда добиться права на постановку «Власти тьмы» (в то время он перестал именоваться народным, чтобы уйти из-под особой цензурной опеки). На сцене «Скомороха» драма была показана более ста раз подряд и — каждый раз при переполненном зрительном зале. На тридцать шестом представлении пьесы в «Скоморохе» присутствовал Л. Н. Толстой.

В том же году «Власть тьмы» была поставлена Малым театром и театром Корша в Москве, а также Александринским театром в Петербурге. В середине 90-х годов она обошла все русские провинциальные сцены. В 1902 году ее поставил Московский Художественный театр.

За те десять лет, когда «Власть тьмы» находилась в России под запретом, она совершила триумфальное шествие по театрам Европы. В 1888 году ее поставил Свободный театр Антуана в Париже. В 1890 году драму Толстого ставит Свободный театр в Берлине, основанный режиссером Отто Брамом. Через восемь лет она вошла в репертуар Свободного театра в Мюнхене. В 1904 году «Власть тьмы» ставится Сценическим обществом в Лондоне.

В Италии драму Толстого в 1893 году поставила труппа Эрмете Цаккони, который превосходно играл роль Никиты. Цаккони и его труппа показали «Власть тьмы» во многих итальянских городах, а также в России (1898 г.).

В 900-е годы «Власть тьмы» была показана театрами Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Швеции, Дании.

В последнее двадцатилетие драма Толстого ставилась театрами Румынии, Франции, Бельгии, ГДР, Швеции, США и других стран.

«Власть тьмы» занимает прочное место в репертуаре советского театра.

«ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ»

В декабре 1889 года старшая дочь Толстого и ее друзья попросили Толстого написать пьесу для домашнего спектакля. Он охотно согласился и возобновил приостановленную было работу над комедией. Учитель детей Толстого А. М. Новиков, участвовавший в первой любительской постановке «Плодов просвещения», рассказывает: «Кучка молодежи с упоением переписывала утром роли, вечером шли репетиции — и почти ежедневно после них Толстой снова собирал роли и снова переделывал пьесу. Пьеса создавалась прямо по исполнителям и переделывалась и переписывалась, по крайней мере, раз двадцать — тридцать, но окончательная отделка ее была произведена уже после спек-

такля, в январе 1890 года (спектакль был 30 декабря 1889 г.)» («Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 1. М., 1960, с. 450—451).

Еще до появления комедии в печати она, по выражению самого Толстого, «ходила по рукам» (65, 68) — в рукописных копиях. В основном этот способ распространения имел место после первых постановок «Плодов просвещения» на любительской сцене.

Впервые комедия была напечатана в книге «В память С. А. Юрьева. Сборник, изданный друзьями покойного». М., 1891.

Весной 1890 года комедия Толстого была сыграна любителями в Царскосельском театре, в постановке В. Н. Давыдова. На спектакле присутствовала придворная знать. Александр III «горячо благодарил» любителей. Однако он нашел комедию Толстого «неудобной» для театра и разрешил ее лишь для любительских спектаклей.

В феврале 1891 года комедия была поставлена на сцене Немецкого клуба в Москве Обществом искусства и литературы. Спектакль этот был разрешен как любительский и закрыт для широкой публики. Ставил его К. С. Станиславский. Это была первая режиссерская работа будущего руководителя Московского Художественного театра. Сам он играл роль Звездинцева, создав роль барина, отличавшегося, как писали рецензенты, «безграничной высшей культурной глупостью». Роли мужиков в этом спектакле превосходно исполняли А. А. Федотов, В. В. Лужский и В. М. Лопатин (он же играл Третьего мужика в первых постановках комедии в Ясной Поляне и Туле). Большой успех имели также А. Ф. Артем (старый повар), М. П. Лилина (Таня) и В. Ф. Комиссаржевская (Бетси).

«Достоинство моей тогдашней работы,— писал К. С. Станиславский,— заключалось в том, что я старался быть искренним и искал правды, а ложь, особенно театральную, ремесленную,— изгонял» (К. С. Станиславский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1. М., 1954, с. 136).

Московский Малый театр впервые поставил комедию Толстого в 1891 году. Участница этого спектакля, тогда только начинавшая свой путь на сцене, народная артистка СССР Е. Д. Турчанинова пишет: «Моя первая удачная роль — Таня в «Плодах просвещения». С этой ролью у меня связаны хорошие воспоминания... В этом спектакле играли: Федотова, Никулина, Музиль, Рыбаков, Макшеев, Садовский, Садовская и другие и среди них — я, только что выпущенная из школы... В этой роли я имела честь получить одобрение Толстого. ...Толстому в этом спектакле очень понравился Музиль в роли повара, Садовская и Рыбаков,

который прекрасно играл барина. Ленский изумительно играл профессора» («Творческие беседы мастеров театра. А. А. Яблочкина, В. Н. Рыжова, Е. Д. Турчанинова». Л. — М., изд. ВТО, 1938, с. 65).

Однако, несмотря на прекрасное исполнение многих ролей, Толстой отнесся к спектаклю Малого театра неодобрительно. «Я в «Плодах просвещения» был, как автор, на стороне мужиков,— говорил он,— а на сцене вдруг они оказались такими же мошенниками и плутами, как и Гросман, и плутами сознательными» (П. Гнедич. Книга жизни. Воспоминания. Л., 1929, с. 199—200).

Видя, как потешалась аристократическая публика над мужиками, Толстой сетовал на актеров: «По моему мнению... они неестественно исполняют свои роли... Чему же смеется публика? Ведь в речах мужиков постоянно звучит жалоба, а иногда и попытка протеста. И их слова, по моему мнению, должны возбуждать сочувствие к безвыходному положению, а уж никак не смех» («Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 1. 1960, с. 527—528).

В спектаклях, поставленных советскими театрами, режиссеры и актеры, говоря словами Толстого, были «на стороне мужиков».

За рубежом «Плоды просвещения» ставились значительно реже, чем «Власть тьмы». Широкую известность приобрела постановка комедии Толстого в берлинском театре Макса Рейнгардта (начало 900-х годов). В 20-х годах ее ставят театры Англии, в 30-х — Карнеги-театр США, в 50-х — театры Бельгии и Чехословакии.

«ЖИВОЙ ТРУП»

В декабре 1897 года Толстой записал в дневнике: «Думал о Хаджи-Мурате. Вчера же целый день складывалась драма-комедия «Труп» (53, 172). Однако к работе над пьесой он приступил лишь через два года. «Толчком» послужило посещение Московского Художественного театра, где Толстой смотрел спектакль «Дядя Ваня». Об этом свидетельствует дневниковая запись, сделанная 27 января 1900 года, в которой Толстой говорит и о впечатлении от чеховской пьесы и о том, что он захотел написать драму «Труп» и «набросал конспект» (54, 10).

С увлечением работая над пьесой на протяжении года, Толстой в августе завершил ее первую редакцию, затем, как это было с каждым его произведением, начал переделывать написанное, углубляя содержание и совершенствуя художественную

форму. В конце же года Толстой сообщил В. Г. Черткову о своем решении оставить драму «Живой труп» незавершенной: «... Не только не думаю ее теперь кончать и печатать, но очень сомневаюсь, чтобы я когда-нибудь это сделал» (88, 216).

Писатель так объяснил причины принятого им решения: «Ко мне приходил сын жены описанного мною человека, а потом и он сам. Сын от имени матери просил не опубликовывать драму, так как ей это было бы тяжело, да и, кроме того, она боится, чтобы опять не вышла история. Я, разумеется, обещал. Их приход мне был очень интересен и полезен. Я еще раз, как раньше неоднократно, убедился, насколько психологические побуждения, которые сам придумываешь для объяснения поступков людей, которых описываешь, ничтожнее, искусственнее побуждений, руководивших этими людьми в действительности» (А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, с. 81—82).

Толстой здесь говорит о семье Гимер, судебное дело которых послужило основой для сюжета драмы «Живой труп». Супруги Николай и Екатерина Гимер были вынуждены разойтись, так как Николай спился и попал на «дно». По просьбе жены он симулировал самоубийство, послав ей письмо о том, что решил покончить с собой. Екатерина Гимер вторично вышла замуж, выдав себя за вдову. Однако их «хитрость» была раскрыта, и оба они были преданы суду. Положение супругов Гимер было ужасным. Вот что писал тогда Л. Е. Владимиров о Екатерине Гимер известному судебному деятелю А. Ф. Кони: «Сегодня у меня была несчастная Г., и я чуть не плакал, смотря на нее и слушая ее рассказ... Это больная, замученная, растерзанная женщина... Стоит посмотреть на эту тень... чтобы увидеть, что назначенное ей наказание есть непосильное бремя. На конвоира при поездке в Сибирь на свой счет у нее нет никаких средств; отправиться же в Сибирь по этапу, в компании преступников, ей невозможно: она просто умрет. Краше в гроб кладут! удивляться нужно, в чем держится жизнь» (А. Ф. Кони. По поводу драматических произведений Толстого. — Избр. произв., т. 2. М., 1959, с. 299).

Председатель Московского окружного суда Н. В. Давыдов познакомил Толстого с делом супругов Гимер. Толстой был очень взволнован их судьбой и сказал: «Да ведь это готовый... рассказ. Для какого-нибудь молодого писателя это настоящая находка. Впрочем, может быть, я еще и сам воспользуюсь им» (П. А. Сергеенко. Как живет и работает Л. Н. Толстой. М., 1908, с. 77).

Как было сказано выше, встретившись с Николаем Гимером и его сыном, Толстой охладел к своей пьесе и оставил ее

незавершенной. В октябре 1900 года его посетил В. И. Немирович-Данченко и просил дать пьесу для Художественного театра. Толстой по этому поводу написал в дневнике: «Немирович-Данченко был о драме. А у меня к ней охота прошла» (54, 48). Но в конце разговора сказал: «Когда умру — играйте...» («Студия», 1911, № 1, с. 5).

Менее чем через год после кончины Толстого пьеса «Живой труп» была напечатана («Русское слово», 23 сентября 1911 г.) и тогда же впервые поставлена Московским Художественным театром. «Спектакль «Живой труп» был одним из самых замечательных в Художественном театре,— говорил В. И. Немирович-Данченко. — Не преувеличено было, как один из крупных рецензентов выразился, что «об этом спектакле надо писать золотым пером» (В. И. Немирович-Данченко. Из прошлого. М., 1936, с. 371).

В спектакле выступили лучшие артисты театра. Роль Феди Протасова играл И. М. Москвин, Викто́ра Каренина — В. И. Качалов, его матери — М. П. Лилина, Лизы — М. Н. Германова, князя Абрезкова — К. С. Станиславский, Маши — А. Г. Коонен. Крупнейшие актеры исполняли эпизодические роли — курьера в суде играл А. Ф. Артем, письмоводителя — А. Д. Дикий, следователя — И. Н. Берсенев и т. д.

После спектакля Художественного театра «Живой труп» становится одной из самых репертуарных пьес. Так, с 1 января по 15 октября 1912 года драму Толстого поставили 243 театра и показана она была 9000 раз («Толстовский ежегодник 1912 года», с. 205).

В советские годы «Живой труп» остается одной из наиболее репертуарных пьес русской классической драматургии. В Москве драма Толстого была поставлена семью театрами, в том числе Театром имени Ленинского комсомола (1941 г.), Малым (1951 г.) и театром имени Евгения Вахтангова (1962 г.).

Начиная с 1911 года «Живой труп» ставится зарубежными театрами — Вены, Будапешта, Праги, Загреба, Кракова. Она шла также в театрах Италии, Японии, Турции, США. В наши дни «Живой труп» был показан зрителям Англии, Норвегии, Болгарии, Польши, Франции и других стран.

«ХАДЖИ-МУРАТ»

В середине 90-х годов Толстой начал писать повесть «Хаджи-Мурат». Работа над ней продолжалась с перерывами до декабря 1904 года. Взыскательный художник находил, что повесть

нуждается в доработке, и не отдавал ее в печать. «Хаджи-Мурат» был впервые опубликован в 1912 году, уже после смерти писателя.

Описанные в повести события произошли в начале 50-х годов прошлого века, во время войны за присоединение Кавказа к России. Как уже говорилось, Толстой был очевидцем и участником этой войны. В декабре 1851 года он писал из Тифлиса своему брату, С. Н. Толстому, о переходе Хаджи-Мурата к русским и о разговорах среди военных людей, вызванных этим событием.

Толчком к созданию повести послужил случай, описанный Толстым в дневнике 19 июля 1896 года. Вот эта запись: «Вчера иду по передвоенному черноземному пару. Пока глаз окинет, ничего, кроме черной земли,— ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной, серой дороги куст татарина (репья), три отростка: один сломан, и белый, загрязненный цветок висит; другой сломан и забрызган грязью, черный, стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в середине краснеется.— *Напомнил Хаджи-Мурата.* Хочется написать. *Отстаивает жизнь до последнего,* и один среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял ее».

Первая редакция повести о Хаджи-Мурате была озаглавлена «Репей». Она была закончена месяц спустя после того, как в дневнике писателя появилась запись, приведенная выше. Затем работа над повестью протекала с большими перерывами.

Повесть «Хаджи-Мурат» написана Толстым не только по его личным воспоминаниям об эпохе кавказской войны, но и на основе огромного количества книг об этой войне, изученных писателем, а также воспоминаний и писем современников, к которым Толстой обращался за сведениями об интересовавшей его эпохе. Так, он вступил в переписку с семьей И. И. Карганова, уездного начальника г. Нухи, под надзором которого одно время находился Хаджи-Мурат. Толстой просил сообщить, как был одет Хаджи-Мурат, говорил ли он хоть немного по-русски, заметно ли он хромал, какой масти были лошади, на которых Хаджи-Мурат хотел бежать, и т. д. «Чем больше сообщите мне подробностей,—указывал он,— как бы незначительны они не казались Вам, тем более буду благодарен».

В феврале 1897 года Толстой ездил в Петербург. Здесь он побывал у В. В. Стасова, собиравшего для него книги о кавказской войне, о жизни и быте горских народов. («Главное,— писал Толстой Стасову 28 декабря 1896 г.,— нужно мне историю, географию, этнографию Аварского ханства в нынешнем столетии».)

Стасов составил пространный «Список книг о Кавказе (Дагестан — Авария)» и переслал его Толстому с просьбой отметить в нем нужные ему книги. Любопытно, что из двадцати томов «Описания племен Кавказа» Толстой попросил прислать в Ясную Поляну «те, которые касаются Аварии и Чечни».

Многие материалы, необходимые ему для работы над повестью, Толстой почерпнул в десяти выпусках «Сборника сведений о кавказских горцах», изданных в 1869—1881 годах в Тифлисе, а также в таких изданиях, как «Акты, собранные археографическою комиссией» (Тифлис, 1895 г.), журнал «Исторический вестник» за целый ряд лет и другие.

В 35 томе Полного собрания сочинений Толстого (М., 1950) напечатан «Список источников» к «Хаджи-Мурату», насчитывающий 82 названия (с. 631—633). Там же напечатаны «Материалы «Хаджи-Мурата» — пометы, записи и конспекты Толстого, по которым можно представить себе объем и характер его работы над источниками к повести (см. с. 634—643).

Не ограничиваясь изучением книжных источников и писем, Толстой разыскивал людей, лично знавших Хаджи-Мурата. В феврале 1897 года, находясь в Петербурге, он встретился с участником Кавказской войны генералом К. А. Дитерихсом, не раз видевшим Хаджи-Мурата и в сражениях, и после того как тот перешел к русским. По свидетельству дочери Дитерихса, он целый вечер рассказывал Толстому о Хаджи-Мурате, «о его внешности, характере, о том, как он хромал, как кинулся со скалы и пр.» (т. 35, с. 589).

Кроме книжных и изустных источников, Толстой черпал материалы для повести в иконографических изданиях. Уроженец Кавказа Г. А. Джаншиев писал Толстому в марте 1897 года: «Приятель мой С. И. Танеев передал мне вчера, что вы желали бы иметь типы и виды кавказские. Позвольте предложить вам все, что у меня оказалось. Если найду еще что-нибудь у знакомых, не замедлю прислать».

Автор «Хаджи-Мурата» жадно изучал все присылавшиеся ему материалы и признавался, что этот «кавказский рассказ» *преследует* его «уже давно» (т. 84, с. 302).

Толстой работал над повестью с исключительным напряжением. К осени 1902 года была написана десятая по счету редакция «Хаджи-Мурата», но автор еще оставался недовольным своим произведением и продолжал над ним работать в последующие годы.

Как и многие другие произведения Толстого, царская цензура сильно изуродовала «Хаджи-Мурата» при его первых изданиях. Так, например, глава пятнадцатая (о Николае I) была

сокращена наполовину, а в главе семнадцатой была оставлена только первая фраза. Лишь в советские годы «Хаджи-Мурат», как и все другие произведения Толстого, был напечатан полностью, без каких-либо сокращений и изменений.

Стр. 258. *...к русскому начальнику, к Воронцову, князю.* — Воронцов Семен Михайлович (1823—1882) — сын наместника Кавказа М. С. Воронцова, командир Куринского егерского полка [1].

Стр. 265. *...ротный командир Полторацкий...* — Полторацкий Владимир Алексеевич (1828—1889) — подпоручик. Его «Воспоминания», опубликованные в «Историческом вестнике» (1893 и 1895), Толстой использовал, работая над «Хаджи-Муратом».

Стр. 288. *Воронцов Михаил Семенович* (1782—1856) — с 1844 по 1856 год наместник Кавказа, пользовавшийся неограниченной властью.

Стр. 292. *Мюрат* Иоахим (1771—1815) — маршал Наполеона.

Стр. 294. *Клюки-фон-Клюгенау* Франц Карлович (1791—1851) — генерал-лейтенант, командовал войсками в Северном Дагестане.

Стр. 296. *Лорис-Меликов* Михаил Тариелович (1825—1888) — адъютант М. С. Воронцова, впоследствии крупный русский государственный деятель, министр внутренних дел.

Стр. 299. *Кази-Мулла* (1794—1832) — первый имам Чечни и Дагестана, объявивший хазават (священную войну мусульман против «неверных»). В 1832 г. был окружен в Гимрах войсками под командованием барона Розена и убит. После него имамом стал Гамзат-Бек (1789—1834).

Стр. 302. *Мансур* Хасс Мохамед — мусульманский проповедник на Кавказе.

Стр. 314. *...Захара Чернышева...* — Чернышев Захар Григорьевич (1797—1862), граф, декабрист, член Северного тайного общества. В событиях 14 декабря 1825 г. непосредственно не участвовал. Был приговорен к четырем годам каторги и затем к ссылке на поселение. Многие современники были уверены, что этот суровый судебный приговор явился результатом интриги А. И. Чернышева, ближайшего помощника Николая I по ликвидации заговора декабристов. А. И. Чернышев, однофамилец осужденного в каторжные работы Захара Чернышева, пытался завладеть его наследством.

Стр. 320. *...план Ермолова...* — Ермолов Алексей Петрович (1777—1861) — генерал, с 1817 по 1827 г. главноуправляющий в Грузии, «проконсул Кавказа».

---

[1] Реальные примечания использованы из предыдущих изданий Л. Н. Толстого.

Стр. 344. *Барятинский* Александр Иванович (1814—1879), князь, генерал, один из главных деятелей кавказской войны; с 1856 г. — наместник Кавказа.

Стр. 363. *Карганов* Иосиф Иванович — уездный воинский начальник г. Нухи. В его доме перед побегом жил Хаджи-Мурат.

«ФАЛЬШИВЫЙ КУПОН»

В середине ноября 1897 года Толстой записал в дневнике: «Думал в pendant к «Хаджи-Мурату» написать другого русского разбойника Григория Николаева, чтоб он видел всю незаконность жизни богатых, жил бы яблочным сторожем в богатой усадьбе с lawn-tennis'ом» (т. 53, с. 161).

Однако замысел «Фальшивого купона» (где «разбойник» Григорий Николаев предстает под именем дворника Василия) относится к концу 80-х годов, когда Толстой составил список тем, в котором под № 7 названа «Комедия Спириты» (будущие «Плоды просвещения»), а под № 8 записано: «Передача купона. Убийца». «За что?».

В течение целого ряда лет Толстой возвращался к замыслу «Рассказа о купоне» (о чем свидетельствуют упоминания в дневнике), но работа над ним (о чем свидетельствуют сохранившиеся рукописи) началась лишь осенью 1902 года и продолжалась с перерывами до февраля 1904 года. Как и ряд других произведений «позднего» Толстого, рассказ «Фальшивый купон» не был доведен автором до полного завершения. В феврале 1904 года Толстой пометил в дневнике: «Работаю над Купоном» (т. 55, с. 12). Эта запись — последнее упоминание о работе над рассказом, которую Толстой предполагал продолжить, но не выполнил своего намерения (в конце 1904 г. Толстой составил новый список волновавших его сюжетов, включив в него весьма близкий к «Фальшивому купону» сюжет: «Убийца, ужаснувшийся непротивления»).

Первые публикации «Фальшивого купона» были сделаны в московском и берлинском изданиях «Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого», вышедших в 1911 году. Московское издание пострадало от цензурных изъятий. Издательству «Свободное слово» в Берлине удалось напечатать полный текст рассказа.

«АЛЕША ГОРШОК»

В дневнике Толстого есть лишь одно упоминание о работе над рассказом «Алеша Горшок», сделанное в конце февраля 1905 года: «Писал Алешу, совсем плохо. Бросил» (т. 55, с. 125).

Трудно сказать, почему Толстой был недоволен этим рассказом, написанным за несколько дней. По словам Т. А. Кузминской, прототипом героя рассказа послужил живший в 60-е годы прошлого века в Ясной Поляне дворник (он же помощник повара) по имени Алеша, по прозвищу Горшок, «которого почему-то *опоэтизировали* так, что, читая про него, я не узнала нашего юродивого и уродливого Алешу Горшка. Но, насколько я помню его, он был тихий, безобидный и безропотно исполняющий все, что ему приказывали» (Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1958, с. 200. Подчеркнуто мной. — *К. Л.*).

«Алеша Горшок» увидел свет в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого», т. 1. М., 1911.

«КОРНЕЙ ВАСИЛЬЕВ»

Весной 1879 года Толстой познакомился со сказителем былин, крестьянином Олонецкой губернии Василием Петровичем Щеголенком и пригласил его в Ясную Поляну. Летом того же года В. П. Щеголенок гостил в Ясной Поляне, и Толстой, слушая его, записал с его слов много народных легенд и рассказов (см. эти записи в т. 48, с. 198—213).

Сюжетами некоторых из них Толстой позднее воспользовался для своих произведений. Одно из них — рассказ «Корней Васильев», написанный в 1905 году для «Круга чтения».

24 февраля 1905 года Толстой пометил в дневнике: «Начал писать Корнея Васильева. Плохо», а четыре дня спустя сделал такую помету: «Дописал Корнея. Порядочно» (т. 55, с. 125). Судя по рукописям, рассказ переделывался автором тринадцать раз. Кроме того, Толстой внес большую правку в корректуры «Корнея Васильева».

Впервые «Корней Васильев» был опубликован в «Недельных чтениях» первого тома «Круга чтения», изданного «Посредником» в 1906 году.

«ЯГОДЫ»

В июне 1905 года Толстой отметил в дневнике: «Написал в два дня рассказ «Ягоды». Не дурно» (т. 55, с. 146). Автограф произведения имеет дату: 11 июня 1905 г. Таким образом 10 и 11 июня указанного года можно считать днями рождения рассказа «Ягоды».

Как и «Корней Васильев», «Ягоды» предназначались для «Круга чтения», представляя собой, по выражению Толстого, «рассказы к воскресеньям», произведения, вошедшие в раздел «недельных чтений».

Впервые рассказ «Ягоды» был напечатан в 1906 году.

«ЗА ЧТО?»

В рассказе «За что?» Толстой воскрешает события 30-х годов прошлого века, когда польские патриоты-революционеры восстали против деспотического гнета императора Николая I.

Сведения об этом событии Толстой почерпнул в книге историка-этнографа С. В. Максимова «Сибирь и каторга», изданной в 1871 году. Кроме того, он прочитал десятки книг по истории польского восстания, которые по его просьбе прислали в Ясную Поляну известный критик В. В. Стасов и другие друзья писателя.

«Надо,— говорил Толстой,— прочесть много книг, чтобы написать пять строк, разбросанных по всему рассказу». А еще он замечал так: «Когда я пишу историческое, я люблю быть до мельчайших подробностей верным действительности».

Рассказ «За что?» Толстой переделывал пятнадцать раз, стремясь добиться наибольшей рельефности в обрисовке людей и событий и сильнее выразить чувство негодования против самодержавия, превратившего Россию в тюрьму народов.

В печати рассказ «За что?» впервые появился в 1906 году. Он вошел во второй том книги «Круг чтения», составленной Толстым и выпущенной в свет издательством «Посредник».

Стр. 458. *...времен второго раздела Польши.* — Второй раздел Польши (Речи Посполитой) между Пруссией и Россией произошел в 1793 г. и вызвал в стране подъем национально-освободительного движения. В марте 1794 г. оно вылилось в восстание, во главе которого встал Т. Костюшко. Восстание вскоре было подавлено.

Открытие сейма в Варшаве Александром I... Священный Союз... — 27 ноября 1815 г. Александр I подписал конституцию Королевства Польского. По этой конституции оно имело двухпалатный сейм и свое собственное правительство во главе с наместником. Однако фактическим наместником-диктатором стал великий князь Константин Павлович.

Стр. 460. *...известие о парижской революции ...бегстве Константина Павловича...* — Июльская революция 1830 г. во Франции и сентябрьская революция в Бельгии послужили толчком к вооруженному восстанию в Польше (1830—1831 гг.). 17 ноября 1830 г. восставшие напали на дворец (бельведер) Константина, и он бежал из Польши.

«БОЖЕСКОЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»

В декабре 1897 года Толстой внес на страницы дневника обширный перечень сюжетов, которые, как он полагал, «стоит и можно обработать, как должно». В числе этих сюжетов — «казнь в Одессе» (т. 53, с. 170).

Осенью 1897 года в Одессе были приговорены к смертной казни через повешение трое революционеров-народовольцев, обвиненные в подготовке покушения на императора Александра II. Один из них — Дмитрий Лизогуб — привлек особенное внимание писателя, узнавшего о его жизни и судьбе из рассказов знакомых, а также из биографий Лизогуба, написанных С. М. Степняком-Кравчинским (см. очерк «Дмитрий Лизогуб» в его книге «Подпольная Россия») и неизвестным автором (по всей вероятности, одним из друзей Лизогуба). Ее текст сохранился среди бумаг писателя.

О трагической гибели Лизогуба Толстой рассказал в одном из эпизодов романа «Воскресение», однако не вошедшем в его окончательный текст (см.: Толстой. Памятники творчества и жизни, вып. 2. М., 1920, с. 10—12). Этот эпизод предшествовал повести «Божеское и человеческое», где Лизогуб выступает прототипом главного героя Светлогуба.

Другой персонаж повести — противостоящий Светлогубу революционер старшего поколения Меженецкий — несет в себе некоторые черты характера знаменитого народовольца Германа Лопатина. Жизнь и деятельность Г. Лопатина, с которым Толстой был знаком лично, вызывала у писателя большой интерес. Беседуя с Горьким в Гаспре в конце 1901 года, Толстой рассказывал: «Теперь он (Г. Лопатин) сидит в Шлиссельбурге. Раньше его сажали и выпускали. Он рассказывал... как он приспособил

свое воображение к тому, чтобы выносить одиночное заключение. Он мысленно переносил себя, куда ему вздумается. Например, он идет по такой-то улице, смотрит на магазины, на людей, входит в такой-то дом, подымается по лестнице, входит к приятелю, говорит то-то, ему отвечают и т. д. и т. д. Время проходит незаметно, и при этом он управляет воображением, а не воображение им, что бывает со многими заключенными, доходящими до галлюцинаций» («Литературное наследство», т. 69, кн. 2. М., 1961, с. 156).

Читатель легко отметит эти подробности, найдя их в десятой главе «Божеского и человеческого», где изображена жизнь Меженецкого в одиночном заключении.

Описывая тюремный быт и его пагубное влияние на заключенных, Толстой воспользовался также рассказами двух революционеров — узников Шлиссельбургской крепости — Тригони и И. П. Ювачева (Миролюбова). С воспоминаниями Тригони он познакомился в записи, а с Ювачевым беседовал осенью 1905 года в Ясной Поляне.

Работал над повестью около трех лет с перерывами. Толстой исправлял ее текст не только по многочисленным рукописным копиям, но и в корректурах. У него возникало желание назвать ее «Еще три смерти» (напомним, что один из рассказов Толстого 60-х годов назывался «Три смерти»), однако вскоре писатель отказался от этого намерения.

Впервые «Божеское и человеческое» было напечатано во втором томе «Круга чтения», выпущенного издательством «Посредник» в 1906 году.

Стр. 508. *...террор и все убийства... самого Александра II...* — Речь идет о террористической деятельности «Земли и воли» и «Народной воли» в 70—80-х годах.

Стр. 512. *Халтурин, Кибальчич, Перовская...* — С. И. Халтурин — один из руководителей «Северного Союза русских рабочих» (1878—1879 гг.), сблизившийся в 1879 г. с «Народной волей». В 1880 г. им был произведен взрыв в Зимнем дворце. Н. И. Кибальчич, С. Л. Перовская и другие видные деятели организации «Народная воля» принимали участие в подготовке покушения на Александра II. Они были казнены 3 апреля 1881 г.

К. Ломунов

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОШЕДШИХ В ТОМА 1—12

СОДЕРЖАНИЕ

ПЬЕСЫ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
1903—1905

Толстой Л. Н.

Т54 Собрание сочинений. В 12-ти томах. Т. 12. Пьесы. Повести и рассказы 1903—1905. Примеч. К. Н. Ломунова. Оформл. худ. И. Жихарева. М., «Худож. лит.», 1976.

558 с.

В том вошли лучшие драматургические произведения Л. Толстого: «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Живой труп» и избранные повести и рассказы последнего периода творчества великого писателя: «Хаджи-Мурат», «Фальшивый купон», «За что?» и другие.

Т $\frac{70301-028}{028\ (01)-76}$ подписное

Р 1

Лев Николаевич
Толстой

Собрание сочинений
том 12

Редактор
Ч. Залилова

Художественный редактор
С. Данилов

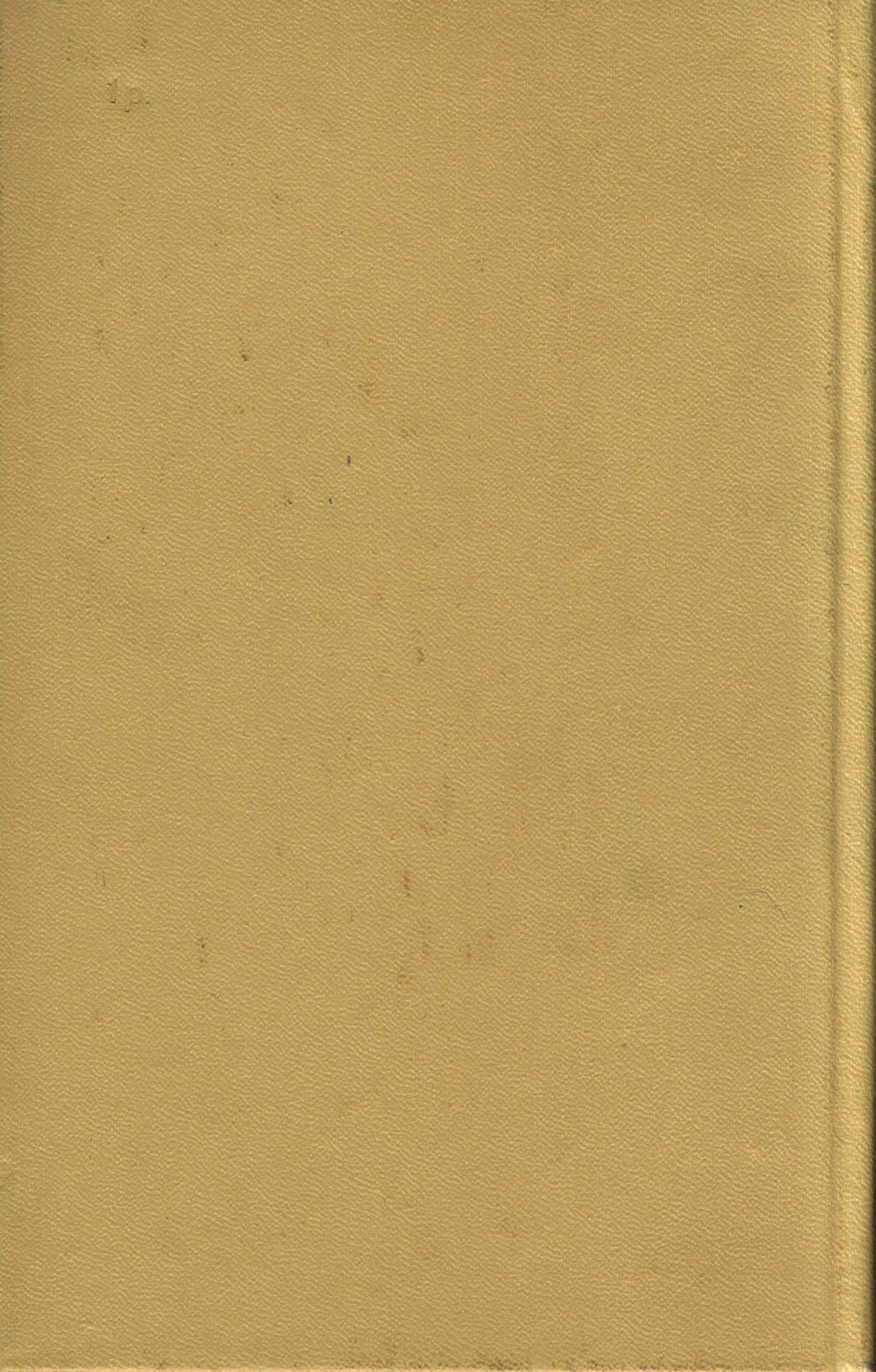
Технический редактор
О. Ярославцева

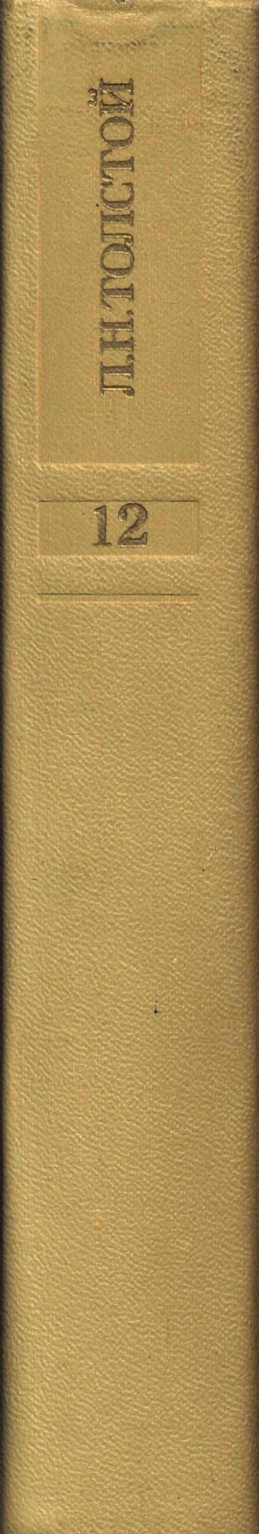
Корректор
Т. Кузина

Сдано в набор 28/IV 1975 г. Подписано к печати 27/XII 1975 г. Бумага тип. № 1. Формат 84×108 1/32. 17,5 печ. л. 29,4 усл. печ. л. 29,05 уч.-изд. л. Заказ № 9. Тираж 300 000. Цена 1 р.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26


1 р.


Л.Н.ТОЛСТОЙ
12